

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Из небытия...

Страницы русской литературы разных лет.

Опубликованные и републикованные.

Бишкек 2017

УДК 821.161.1(082.2)

Составитель и автор предисловий: докт.филол. наук профессор А. С. Кацев,

Подготовка материалов: А. Б. Амуржанова

Рецензенты:

Док. филол. наук К. Мамбеталиев

Народный поэт КР, Президент общественного фонда «Международная Академия поэзии Омора Султанова» О. Султанов

Кан. филол. наук доцент Н. Л. Слободянюк

Ю. М. Горайнова – Диана Светличная

Рекомендовано к изданию

Кафедрой международной журналистики КРСУ,

Ученым советом ФМО КРСУ

ИЗ НЕБЫТИЯ... Страницы русской литературы разных лет. Опубликовано и републикованные. Хрестоматия-учебник. /Сост. авт. пред. А. С. Кацев – Бишкек: КРСУ, 2017.

Хрестоматия-учебник «ИЗ НЕБЫТИЯ... Страницы русской литературы разных лет. Опубликовано и републикованные» включает произведения разных эпох, изъятые более чем на полвека и возвращенные читателю в последние десятилетия XX в. Имена авторов, свидетельствует о культурных лакунах в истории русской литературы, которая обрела свою целостность в конце столетия.

Оглавление

Предуведомление.....	5
Н.В. Гоголь. Размышления о Божественной Литургии.	7
К. Р. Стихотворения.....	43
З. Гиппиус. Стихотворения	52
М. Арцыбашев. Рассказ о великом знании.....	59
Н.А. Тэффи. Потустороннее.....	69
Тайны шифра.....	73 поэтического
Пушкиниана.	76
Живые герои.....	80
Ненаписанный триллер.....	89
Дм. Фурманов о мемуарной литературе, посвященной гражданской войне.....	92
А. Октябрь.....	101 Колосов. Кулацкий
И. Эренбург. Исчезнувшая глава романа «Хулио Хуренито».....	115
М.А. Булгаков. Золотистый город.....	120
Дьяволиада.....	136
Лжедмитрий Луначарский.....	166
Рассказы.....	170
Вода жизни.....	183
Юрий Лунцу.....	187 Тынянов – Льву

Б. Пильняк. Его Величество Кнеeb Piter Komandor.....	190
Штосс в жизнь.....	216
Б. Пильняк. Вариант Письма писателей Совецанию в отделе печати ЦК ВКП(б)	
9 мая 1924г.....	241
Минувшее и актуальное. Страницы литературной полемики 20-х годов.....	243
Стенограммы. Л. Троцкий. (Прочсть без предубеждения).....	249
Н. А. Бухарин. О судьбах русской интеллигенции.....	260
Вс. Иванов. 16-ое наслаждение эмира.....	273
М. Горький. Владимир Ленин.....	279
Современники о И. Сталине.....	298
Б. Савинков. Почему я признал Советскую власть!?	311
Один только путь – труд непрерывный... Письма П. Антокольского.....	318
Приложение	
Амитин – Шапиро. О народной медицине туземных евреев Туркестана.....	344
К. Мамбеталиев. Экзамен на время.....	358
О. Султанов. Мысли о книге «Из небытия...Страницы русской литературы разных лет».....	360
Н. Л. Слободянюк. Когда писателю везет.....	362
Д. Светличная. Когда в помещении собираются литераторы.....	363

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Произведения русской и советской литературы, изъятые в СССР из обращения по разным причинам, трудно возвращались к читателю, поэтому сложился некий литературный хаос. Например, творчество Булгакова вызвало культурный шок и ажиотаж. Это, во многом, произошло вслед за публикацией в урезанном виде, и одновременно ходивших в самиздате, напечатанных на папиросной бумаге, более 70 страниц через один интервал, изъятого текста а, затем, и в полном объеме «Мастера и Маргариты». Замечу, что появившийся в конце 50-х сборник пьес писателя, обратил на себя внимание лишь достаточно узкого круга знатоков. Здесь же, все творчество Булгакова переосмысливалось. Первые сборники рассказов, повести, роман «Белая гвардия»; все это читалось и зачитывалось.

Публикации в середине 50-х годов, нескольких «возвращенных» литераторов, в среде интеллигенции получили название «эпоха реабилитанса». Конец 60-х годов - открытие широкому читателю М. Булгакова, Б. Пильняка, Н. Гумилева ит.д.

В этой связи, лишь два любопытных факта: Константин Симонов вспоминал, что когда он был отправлен на некоторое время в Ташкент (ссылка-не ссылка), к нему пришел известный исследователь Абрам Вулис и убеждал, в важности издания библиотеки юмора и сатиры. Среди прочих, прозвучала фамилия М.А. Булгакова Симонов, поинтересовался, что за автор? Симонов сделал все, для издания «Мастера и Маргариты» и, даже, написал предисловие к книге, о которой Габриэль Гарсиа Маркес говорил, что его романы, кроме «Ста лет одиночества», написаны под её воздействием.

С середины 80-х «публикаторский зуд», благодаря которому увидели свет многие произведения, обучал многих.

История литературы не только обрела целостность в эти годы: сформировался конгломерат, когда, например, Н.В. Гоголь «появлялся на свет» вслед за тем же Булгаковым, Эренбург за Антокольским и т.д.

К сведению, только мной было опубликовано тридцать шесть произведений.

Полуанекдотическая ситуация. Библиотекари, в те годы, устав от популярности Булгакова, в главной библиотеке страны, им. Ленина (Москва) изымали библиографические карточки, чтобы наплыв любителей писателя не обременял их; лишь дальновидные исследователи, догадавшиеся запастись шифрами, под которыми книги «обретались» на полках, безболезненно получали «вожделенную литературу».

Еще одна особенность. Можно было получить ограниченное количество копий выполненных на множительном аппарате, в этой же библиотеке, необходимых для работы (менее двух десятков), да и занимать очередь приходилось чуть ли не с рассвета, но... «голь на выдумки хитра» - то ли кто-то подсказал, то ли я дошел своей сообразительностью (известно, действие равно противодействию). Вместо бумажных копий, можно было заказать микрофильмы необходимых книг (здесь давки не было). Это стоило несколько дороже. Самые изворотливые, просили вместо позитива изготовить негатив микрофильма. С ним отправлялись в ближайшую фотомастерскую и получали пачку книг-фотоснимков. У меня, например, появился целый шкаф подобных изданий, которые через несколько лет, были опубликованы и републикованы. От XIX века до второй половины XX века.

На просторах СССР, вслед за первыми робкими публикациями, в местной и центральной периодике появляются самые-пресамые, возражающие имена и произведения. А вслед, один за другим, однотомники – многотомники вновь рожденных литераторов.

Это издание воспроизводит произведения, почерпнутые из разных источников. Литература, как будто очнувшаяся от долгого летаргического сна запретов и умолчаний.

У каждого публикатора этих лет имеются свои заслуги перед культурой. Надеюсь, и я заложил маленький кирпичик в здание Русской Литературы.

Еще один факт, дающий представление об особенностях появления книг полузапретных авторов. После выступления Н. Бухарина на 1 съезде советских писателей, резко отрицательно оценившего творчество С. Есенина, поэта перестали издавать. Позже сложилось впечатление, что он «возродился, как птица Феникс», только период оттепели. Это заблуждение, в 1946 году, однотомник поэта, появляется вдруг а уже в середине 50-х, известный двухтомник, опубликованный в Москве, торопливо перепечатывается в Алма-Ате, одним томом, внутри которого так и значилось т 1, т 2. Издатели спешили, они не надеялись, что опубликование «запрещенной и забытой литературы» продлится долго...

Слаб человек, нередко гордящийся своими деяниями. Я не исключение, поэтому привожу письма известных, а точнее выдающихся, литераторов и ученых, посвященные моей работе, знакомящей с тем, что и как было написано – выстрадано в разные эпохи и вновь обретено в последние десятилетия 20 века:

это письма В. Каверина, Г.Белой, М.Чудаковой, Д. Рубиной, Д. Маркиша.

Автографы цитируемых материалов воспроизведены в форме иллюстраций.

Хрестоматия – учебник воссоздает лишь один, из многочисленных эпизодов того, как хаотично рождалось–возрождалось прошлое, далекое и близкое. Сегодня все

произведения увидели свет. Первой была публикация литераторов разных эпох, по крохам собирающая – возрождающая то, что было утеряно, запрещено – репрессировано.

Надеюсь, что эти отрывочные свидетельства разных эпох – не «лоскутное одеяло», а целостная картина всего, что почувствовал литератор, ибо, как писал поэт: «Времена не выбирают, в них живут и умирают» и другой – «если суждено в империи родиться, лучше жить в глухой провинции...»

Забытые, запрещенные, притягательные...

Полагаю, что хрестоматия – учебник воочию представляет целостность творчества и литературного процесса.

Студенты–журналисты и филологи смогут почувствовать и талант, воплощенный в Слове, прошедшем своеобразный экзамен на время: и в эпохи забвения, и в эпохи возвращения...

При подготовке книги, которую Вы держите в руках, само собой, встал вопрос в каком порядке располагать материал? По времени современного появления произведения или в хронологическом порядке. Логичен второй вариант с указанием даты современной публикации. Несколько произведений одного автора опубликованных в разные годы сгруппированы.

Гоголь Николай Васильевич

Размышления о Божественной Литургии

В литературе о Н.В Гоголе последний период его жизни характеризуется, как время депрессии, но церковнослужители оценивают это время, как духовный подъем, связанный с обращением к Богу.

Не будем впадать в крайность. Прочитаем еще одно произведение великого писателя. Несомненно, оно углубляет наше знание Гоголя, разгадать которого пытались В.Г Белинский и Андрей Белый, Владимир Набоков и многие другие, для которых он остался современником в разные эпохи. Без Гоголя не понять ни литературу прошлого, ни настоящего, ни будущего... Заметим, что произведение, о котором речь - предавалась по ошибке огню, но, как известно то, что должно сохраниться, мистическим образом сохраняется.

Её окончательный вариант был по ошибке сожжён самим автором в ночь на 12 февраля 1852 года. Возможно, он был гораздо более последовательным и выверенным, а известный нам сегодня текст — это предварительный, черновой вариант.

Уже после смерти автора Цензурный комитет подверг уцелевший черновик значительным сокращениям и в таком виде «Размышления...» впервые увидели свет в 1857 году

В советское время «Размышления» не переиздавались ни разу до 1990 года. Произведение не было включено в Полное собрание сочинений Гоголя, изданное в советское время, как якобы «не имеющее прямого отношения к литературной деятельности писателя и представляющее узко биографическое значение»

Впервые после Октябрьской революции 1917 «Размышления о Божественной Литургии» были републикованы в газете «Комсомолец Киргизии» № 8(8927) 21.02.1990, далее в № 11, 14, 16, 18, 28, 31, 32, 33, 35, 56, 37, 38 и 39.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью этой книги - показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша Литургия, юношам и людям, еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением. Из множества объяснений, сделанных Отцами и Учителями, выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотой и доступностью, которые служат преимущественно к тому, чтобы понять необходимый и правильный исход одного действия из другого. Намеренье издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, со вниманьем следующему за Литургиею, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значение ее раскрываться будет само собою.

ВСТУПЛЕНИЕ

Божественная Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося. Скорбя от неустроений своих, человечество отовсюду, со всех концов мира взывало к Творцу своему - и пребывавшие во тьме язычества и лишенные Боговедения - слыша, что порядок и стройность могут быть водворены в мире только Тем, Который в стройном чине повелел двигаться мирам, от Него созданным. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца. Воплями взывало все к Виновнику своего бытия, и вопли эти слышней слышались в устах избранных и пророков. Предчувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданных, предстанет Сам лицом к человекам, - предстанет не иначе, как в образе того создания Своего, созданного по Его образу и подобию. Вочеловечение Бога на земле представлялось всем, по мере того как сколько-нибудь очищались понятия о Божестве. Но нигде так ясно не говорилось об этом, как у пророков Богоизбранного народа. И самое чистое воплощение Его от Чистой Девы было предельно слышаемо даже и язычниками; но нигде в такой ощутительно видной ясности, как у пророков.

Вопли услышались: явился в мир, Им же мир бысть; среди нас явился в образе человека, как предчувствовали, как предслышали и в темной тьме язычества, но не в том только, в каком представляли Его неочищенные понятия - не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, не как судья, приходящий истребить одних и наградить других. Нет! Послышалось кроткое лобзание брата. Совершилось Его появление образом, только одному Богу свойственным, как прообразовали Его Божественно пророки, получившие повеление от Бога...

ПРОСКОМИДИЯ

Священник, которому предстоит совершать Литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми, должен опасаться питать какое-нибудь неудовольствие на кого бы то ни было. Когда же наступит время, идет он в церковь; вместе с диаконом поклоняются они оба пред царскими вратами, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, поклоняются ликам святых всех, поклоняются всем предстоящим направо и налево, испрашивая сим поклоном себе прощения у всех, и входят в олтарь, произнося в себе псалом: Вниду в дом Твой, поклонюся храму Твоему во страхе Твоем. И, приступив к престолу лицом к востоку, повергают пред ним три наземные поклона и целуют на нем пребывающее Евангелие, как бы Самого Господа, сидящего на престоле; целуют потом и самую трапезу и приступают к облачению себя в священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей, - и от самих себя, ничего не напомнить в себе другим похожего на человека, занимающегося ежедневными житейскими делами. И произнося в себе: Боже! очисти меня грешного и помилуй меня! священник и диакон берут в руки одежды. Сначала одевается диакон; испросив благословение у иерея, надевает стихарь, подризник блистающего цвета, во знаменование светоносной ангельской одежды и в напоминанье непорочной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна с саном священства, почему и произносит при воздевании его: Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя; яко жениху, возложи ми венец и, яко невесту, украси мя красотою. Затем берет, поцеловав, орарь, узкое длинное лентие, принадлежность диаконского звания, которым подает он знак к начинанью всякого действия церковного, воздвигая народ к молению, певцов к пению, священника к священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности во служении. Ибо званье диакона, что званье ангела на небесах, и самым сим на него воздетым тонким лентием, развевающимся как бы в подобие воздушного крыла, и быстрым хождением своим по церкви изобразует он, по слову Златоуста, ангельское летание. Лентие это, поцеловав, он набрасывает себе на плечо. Потом надевает, он поручи, или нарукавницы, которые стягиваются у самой кисти его руки для сообщенья им большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. Надевая их, помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе Божией и, воздевая на правую, произносит он: Десница Твоя, Господи, прославилася в крепости; десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов и множеством славы Своей Ты истребил супостатов. Воздевая на левую руку, помышляет о самом себе, как о творении рук Божиих и молит у Него же, его же сотворившего, да руководит его верховным, свышним Своим руководством, говоря так: Руки Твои сотворили и создали мя. Вразуми меня, и научуся Твоим заповедям.

Священник облачается таким же самым образом. Вначале благословляет и надевает стихарь, сопровождая сие теми же словами, какими сопровождал и диакон; но, вслед за стихарем, надевает уже не простой одноплечный орарь, но двухплечный, который, покрыв оба плеча и обняв шею, соединяется обоими концами на груди его вместе и сходит в соединенном виде до самого низу его одежды, знаменуя сим соединение в его должности двух должностей - иерейской и диаконской. И называется он уже не орарем, но эпитрахилью, и самим воздеваньем своим знаменует изливание благодати свыше на священников, почему и сопровождается это величественными словами Писания: Благословен Бог, изливающий благодать Свою на священники Своя, яко миро на главе, сходящее на браду, браду Аароню, сходящее на ометы одежды его. Затем надевает поручи на обе руки свои, сопровождая теми же словами, как и диакон, и препоясует себя поясом сверх подризника и эпитрахили, дабы не препятствовала ширина одежды в отправлении священнодействий и дабы сим препоясанием выразить готовность свою, ибо препоясует

человек, готовясь в дорогу, приступая к делу и подвигу: препоясуетя и священник, собираясь в дорогу небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы Божией, его укрепляющей, почему и произносит: Благословен Бог, препоясующий мя силою, соделавший путь мой непорочным, быстрейшими еленей мои ноги и поставляющий меня на высоких, то есть, в доме Господнем. Если же он облечен при этом званием высшим иерейства, то привешивает к бедру своему четырехугольный набедренник одним из четырех концов его, который знаменует духовный меч, всепобеждающую силу Слова Божия, в возвешение вечного ратоборства, предстоящего в мире человеку, - ту победу над смертью, которую одержал в виду всего мира Христос, да ратоборствует бодро бессмертный дух человека противу тления своего. Потому и вид имеет сильного оружия брани сей набедренник; привешивается на поясе у чресла, где сила у человека, потому и сопровождается воззванием к Самому Господу: Препояши меч Твой по бедре Твоей, Сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит тя дивно десница Твоя. Наконец, надевает иерей фелюнь, верхнюю всепокрывающую одежду, в знаменование верховной всепокрывающей правды Божией, и сопровождает сими словами: Священники Твои, Господи, облечутся в правду и преподобии Твои радостию возрадуются. И одетый таким образом в орудия Божий, священник предстоит уже иным человеком: каков он ни есть сам по себе, как бы ни мало был достоин своего звания, но глядят на него все стоящие во храме, как на орудие Божие, которым наляцает Дух Святой. Как священник, так и диакон омывают оба руки, сопровождая чтеньем псалма: Умыю в неповинных руки мои и обыду жертвенник Твой. Повергая по три поклона в сопровождении слов: Боже! очисти мя грешного и помилуй, встают омытые, усветленные, подобно сияющей одежде своей, ничего не напоминая в себе подобного другим людям, но подобая скорее сияющим видениям, чем людям.

Диакон напоминает о начале священнодействия словами: Благослови, владыко! И священник начинает словами: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков, и приступает к боковому жертвеннику. Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть, в отделении от приношений, или хлебов-просфор, того хлеба, который должен вначале образовать Тело Христово, а потом пресуществиться в него.

Так как вся Проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой Литургии, то и соединила с нею Церковь воспоминание о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовленьем к Его подвигам в мире. Она совершается вся в олтаре при затворенных дверях, при задернутом занавесе, незримо от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекала незримо от народа. Для молящихся же читаются в это время часы - собрание псалмов и молитв, которые читались христианами в четыре важные для христиан времена дня: час первый, когда начиналось для христиан утро, час третий, когда было сошествие Духа Святого, час шестой, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту, час девятый, когда Он испустил дух Свой. Так как нынешнему христианину, по недостатку времени и беспрестанным развлеченьям, не бывает возможно совершать эти моления в означенные часы, для того они соединены и читаются теперь.

Приступив к боковому жертвеннику, или предложению, находящемуся в углублении стены, знаменующему древнюю боковую комору храма, иерей берет из них одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом Телом Христовым - средину с печатью, означенной именем Иисуса Христа. Так он сим изъятьем хлеба от хлеба

знаменует изъятие плоти Христа от плоти Девы рождение Бесплотного во плоти. И, помышляя, что рождается Принесший в жертву Себя за весь мир, соединяет неминуемо мысль о самой жертве и принесении и глядит на хлеб, как на агнца, приносимого в жертву, на нож, которым должен изъять, как на жертвенный, который имеет вид копья в напоминание копья, которым было прободено на кресте Тело Спасителя. Не сопровождает он теперь своего действия ни словами Спасителя, ни словами свидетелей, современных случившемуся, не переносит себя в минувшее, - в то время, когда совершилось сие принесение в жертву: то предстоит впереди, в последней части Литургии; и к сему предстоящему он обращается издали прозревающею мыслию, почему и сопровождает все священнодействие словами пророка Исаии, издали, из тьмы веков, прозревавшего будущее чудное рождение, жертвоприношение и смерть и возвестившего о том с ясностью непостижимою. Водружая копьё в правую сторону печати, произносит слова Исаии: как овечка ведется на заколение; водрузив копьё потом в левую сторону, произносит: и как непорочный ягненок, безгласный перед стригущими его, не отверзает уст своих; водружая потом копьё в верхнюю сторону печати: Был осужден за Свое смирение (в смиреньи Его суд Его взятся). Водрузив потом в нижнюю, произносит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением осужденного Агнца, - слова: Род же Его кто исповесть? И приподъемлет потом копьём вырезанную средину хлеба, произнося: яко вземлетя от земли живот Его; и начертывает крестовидно, во знамение крестной смерти Его, на нем знак жертвоприношенья, по которому он потом раздробится во время предстоящего священнодействия, произнося: Жертвоприносится Агнец Божий, вземлющий грех мира сего, за мирской живот и спасение. И обратив потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобье агнца, приносимого в жертву, водружает копьё в правый бок, напоминая, вместе с заколеньем жертвы, прободение ребра Спасителя, совершенное копьём стоявшего у креста воина; и произносит: един от воин копием ребра Его прободе, и абие изыде кровь и вода: и видевый свидетельствована, и истинно есть свидетельство его. И слова сии служат вместе с тем знаком диакону ко влитою в Святую Чашу вина и воды. Диакон, доселе взиравший благоговейно на все совершаемое иереем, то напоминая ему о начинании священнодействия, то произнося внутри самого себя: Господу помолимся! при всяком его действии, наконец, вливает вина и воды в Чашу, соединив их вместе и испросив благословенья у иерея. Таким образом приготовлены и вино, и хлеб, да обратятся потом во время возвышенного священнодействия предстоящего.

И во исполнение обряда первенствующей Церкви и святых первых христиан, воспоминавших всегда, при помышлении о Христе, о всех тех, которые были ближе к Его сердцу исполнением Его заповедей и святостью жизни своей, приступает священник к другим просфорам, дабы, изъяв от них части в воспоминание их, положить на том же дискосе возле того же Святого Хлеба, образующего Самого Господа, так как и сами они пламенели желанием быть повсюду с своим Господом. Взявши в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу в воспоминанье Пресвятыя Богородицы и кладет ее по правую сторону Святого Хлеба, произнося из псалма Давида: Предста Царица одесную Тебя, в ризы позлащены одеяна, преукрашенна. Потом берет третью просфору, в воспоминанье святых, и тем же копьём изъемлет из нее девять частиц в три ряда, по три в каждом. Изъемлет первую частицу во имя Иоанна Крестителя, вторую во имя пророков, третью во имя апостолов и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъемлет четвертую частицу во имя святых отцов, пятую во имя мучеников, шестую во имя преподобных и богоносных отцов и матерей и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом изъемлет

седьмую частицу во имя чудотворцев и бессребреников, восьмую во имя Богоотец Иоакима и Анны и святого, его же день; девятую во имя Иоанна Златоуста или Василия Великого, смотря по тому, кого из них правится в тот день служба, и завершает сим третий ряд и чин святых, и полагает все девять изъятых частиц на святой дискос возле Святого Хлеба по левую его сторону. И Христос является среди Своих ближайших, во святых Обитающий зрится видимо среди святых Своих - Бог среди богов, человек посреди человеков. И принимая в руки священник четвертую просфору в поминовение всех живых, изъемлет из нее частицы во имя императора, во имя синода и патриархов, во имя всех живущих повсюду православных христиан и, наконец, во имя каждого из них поименно, кого захочет помянуть, о ком просили его помянуть. Затем берет иерей последнюю просфору, изъемлет из нее частицы в поминовение всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная от патриархов, царей, создателей храма, архиерея, его рукоположившего, если он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан, изъемя отдельно во имя каждого, о котором его просили, или во имя которого он сам восхочет изъять. В заключение же всего испрашивает и себе отпущения во всем и также изъемлет частицу за себя самого, и все их полагает на дискос возле того же Святого Хлеба внизу его. Таким образом, вокруг сего хлеба, сего Агнца, изображающего Самого Христа, собрана вся Церковь Его, и торжествующая на небесах, и воинствующая здесь. Сын Человеческий является среди человеков, ради которых Он воплотился и стал человеком. Взяв губку, священник бережно собирает ею и самые крупницы на дискос, дабы ничто не пропало из Святого Хлеба и все бы пошло в утверждение.

И отошедши от жертвенника, поклоняется иерей, как бы он поклонялся самому воплощению Христову, и приветствует в сем виде хлеба, лежащего на дискосе, появление Небесного Хлеба на земле, и приветствует Его каждением фимиама, благословив прежде кадило и читая над ним молитву: Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовного, которое принявши во превышено бесный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа.

И весь переносится мыслию иерей во время, когда совершилось Рождество Христово, возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на этот боковой жертвенник, как на таинственный вертеп, в который переносилось на то время Небо на землю: Небо стало вертепом, и вертеп - Небом. Обкадив звездицу, две золотые дуги со звездой наверху, и постановив ее на дискосе, глядит на нее, как на звезду, светившую над Младенцем, сопровождая словами: И, пришедши, звезда стала вверху, иде же бе Отроча; на Святой Хлеб, отделенный на жертвоприношение, - как на новородившегося Младенца; на дискос - как на ясли, в которых лежал Младенец; на покровы - как на пелены, покрывавшие Младенца. И обкадив первый покров, покрывает им Святой Хлеб с дискосом, произнося псалом: Господь воцарися, в лепоту облечеса... и проч., - псалом, в котором воспевается дивная высота Господня. И обкадив второй покров, покрывает им Святую Чашу, произнося: Покрыла небеса, Христос, Твоя добродетель, и хвалы Твоей исполнилась земля. И взяв потом большой покров, называемый святым воздухом, покрывает им и дискос, и Чашу вместе, взывая к Богу, да покроет нас кровом крыла Своего. И отошед от предложения, поклоняются оба Святому Хлебу, как поклонялись пастыри-цари новорожденному Младенцу, и кадит пред вертепом, изображая в сем каждении то благоухание ладана и смирны, которые были принесены вместе с золотом мудрецами.

Диакон же по-прежнему соприсутствует внимательно иерею, то произнося при всяком действии: Господу помолимся, то напоминая ему о начинании самого действия. Наконец, принимает из рук его кадильницу и напоминает ему о молитве, которую следует вознести ко Господу о сих для Него приуготовленных Дарах, словами: О предложенных Честных Дарах Господу помолимся! И священник приступает к молитве. Хотя Дары эти не более как приуготовлены только к самому приношению, но так как отныне ни на что другое уже не могут быть употреблены, то и читает священник для себя одну молитву, предваряющую о принятии сих предложенных к предстоящему приношению Даров. И в таких словах его молитва: Боже, Боже наш, пославший нам Небесный Хлеб, пищу всего мира, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Спасителя, Искупителя и Благодетеля, благословляющего и освящающего нас. Сам благослови предложение сие и приими во свышенебесный Твой жертвенник: помяни, как Благой и Человеколюбец, тех, которые принесли, тех, ради которых принесли, и нас самих сохранив неосужденными во священнодействии Божественных Тайн Твоих. И творит, вслед за молитвой, отпуст Проскомидии; а диакон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу. Помышляя о земном рождении Того, Кто родился прежде всех веков, присутствуя всегда повсюду и повсеместно, произносит в самом себе: во гробе плотски, во аде же с душою, яко Бог, в раю же с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный. И выходит из олтаря, с кадильницей в руке, чтобы наполнить благоуханием всю церковь и приветствовать всех, собравшихся на Святую Трапезу Любви. Каждение это совершается всегда в начале службы, как и в жизни домашней всех древних восточных народов предлагались всякому гостю при входе омовения и благовоения. Обычай этот перешел целиком на это пиршество небесное - на Тайную Вечерю, носящую имя Литургии, в которой так чудно соединилось служение Богу вместе с дружеским угощением всех, которому пример показал Сам Спаситель, всем служивший и умывший ноги. Кадя и поклоняясь всем равно, и богатому, и нищему, диакон, как слуга Божий, приветствует их всех, как наилюбезных гостей небесному Хозяину, кадит и поклоняется в то же время и образам святых, ибо и они суть гости, пришедшие на Тайную Вечерю: во Христе все живы и неразлучны. Приуготовив, наполнив благоуханием храм и, возвратившись потом в олтарь и вновь обкадив его, полагает, наконец, кадильницу в сторону, подходит к иерею, и оба вместе становятся перед святым престолом.

Став перед святым престолом, священник и диакон три раза поклоняются долу и, готовясь начинать настоящее священнодействие Литургии, призывают Духа Святаго, ибо все служение их должно быть духовно. Дух - учитель и наставник молитвы: о несом бо помолимся, не вемы, говорит апостол Павел: но Сам Дух ходатайствует о нас воздыханьи неизглаголаннми. Моля Святаго Духа, дабы вселился в них и, вселившись, очистил их для служения, и священник, и диакон дважды произносят песнь, которою приветствовали ангелы Рождество Иисуса Христа: Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение. И вослед за сей песнью отдергивается церковная занавесь, которая отдергивается только тогда, когда следует подъять мысль молящихся к высшим горним предметам. Здесь отъять горных дверей знаменует, вослед за песней ангелов, что не всем было открыто Рождество Христово, что узнали о нем только ангелы на небесах, Мария с Иосифом, волхвы, пришедшие поклониться, да издалека прозревали о нем пророки. Священник и диакон произносят в себе: Господи! отверзи уста мои - и уста мои возвестят хвалу Твою. Священник целует Евангелие, диакон целует святую трапезу и, подклонив главу свою, напоминая так о начинании Литургии: тремя перстами руки подымлет орарь свой и произносит: Время сотворить Господу: благослови, владыко! И благословляет его

священник словами: Благословен Бог наш, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. И помышляя диакон о предстоящем ему служении, в котором должно подобиться ангельскому летанию, - от престола к народу и от народа к престолу, собирая всех в едину душу, и быть, так сказать, святой возбуждающею силою, и чувствуя недостойность свое к такому служению, - молит смиренно иерея: Помолись обо мне, владыко! - Да исправит Господь стопы твоя! - ему отвечает на то иерей. Помяни меня, владыко святой! - Да помянет тебя Господь во Царствии Своем, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Тихо и ободренным гласом диакон произносит: аминь, и выходит из олтаря северной дверью к народу. И, взошед на амвон, находящийся противу царских врат, повторяет еще раз в самом себе: Господи, отверзи уста моя - и уста моя возвестят хвалу Тебе; и, обратившись к олтарю, вызывает еще раз к иерею: Благослови, владыко! Из глубины святилища возглашает на то иерей: Благословенно Царство... - и Литургия начинается.

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ

Вторая часть Литургии называется Литургией оглашенных. Как первая часть, Проскомидия, соответствовала первоначальной жизни Христа, Его Рождению, открытому только ангелам да немногим людям. Его младенчеству и пребыванию в сокровенной неизвестности до времени появления в мир, - так вторая соответствует Его жизни в мире среди людей, которых огласил Он словом истины. Называется она Литургией оглашенных еще потому, что в первоначальные времена христиан к ней допускались и те, которые только готовились быть христианами, еще не приняли св. Крещения и находились в числе оглашенных. Притом самый образ ее священнодействий, состоя из чтений пророков, Апостола и Св. Евангелия, есть уже преимущественно огласительный.

Иерей начинает Литургию возглашением из глубины олтаря: Благословенно Царство Отца, и Сын, и Святаго Духа... Так как чрез воплощенье Сына стало миру очевидно ясно Таинство Троицы, то по этому самому троичное возглашенье предшествует и предияет начинанью всяких действий, и молящийся, отрешившейся от всего, должен с первого раза поставить себя в Царство Троицы.

Стоя на амвоне, лицом к царским вратам, изображая в себе ангела, побудителя людей к молениям, подняв тремя перстами десная руки узкое лентие, - подобие ангельского крыла, - диакон призывает молиться весь собравшийся народ теми же самыми молитвами, которыми неизменно от апостольских времен молится Церковь, начиная с моления о мире, без которого нельзя молиться. Собрание молящихся, знаменуясь крестом, стремясь обратить свои сердца в. согласно настроенные струны органа, по которым должно ударять всякое воззвание диакона, восклицает мысленно вместе с хором поющих: Господи, помилуй!

Стоя на амвоне, держа молитвенный орарь, изображающий поднятое крыло ангела, стремящего людей к молитве, призывает диакон молиться: о свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира, благосостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех; о святом храме и о входящих в него с верой, благоговением и страхом; о государе, синоде, начальствах духовных и гражданских, палатах, воинстве, о граде, об обители, в которой служится Литургия, о благорастворении воздухов, об обилии плодов земных, о временах мирных; о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их; о избавлении нас от всякие скорби, гнева и нужды. И, собирая все сею

всеобъемлющею цепью молений, называемую великой эктенией, на всякое ее отдельное призыванье, собранье молящихся восклицает вместе с хором поющих: Господи, помилуй!

В знаменованье бессилья наших молений, которым недостает душевной чистоты и небесной жизни, призывает диакон, - вспомня о тех, которые умели лучше нашего молиться, - предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу. В желаньи искреннем предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу, как умели это сделать вместе с Богородицею святыя и лучшие нас, взывает вся церковь совокупно с ликом: Тебе, Господи! Цепь молений завершает диакон троичным славословием, которое, как вседержущая нить, проходит сквозь всю Литургию, начиная и оканчивая всякое ее действие. Собранье молящихся отвечает утвердительно: Аминь: Буди! да будет! Диакон сходит с амвона; начинается пение антифонов.

Антифоны - противугласники, песни, выбранные из псалмов, пророчески изображающие пришествие в мир Сына Божия, - поются попеременно обоими ликами на обоих крылосах; они заменили сокращенно прежние псаломские, более продолжительные.

Пока продолжается пение первого антифона, священник молится в олтаре внутренней молитвой; а диакон стоит в молитвенном положении пред иконою Спасителя, поднося орарь тремя перстами руки. Когда же окончится пение первого антифона, восходит он снова на амвон призывать собранье молящихся словами: Вновь и вновь Господу помолимся! Собранье молящихся восклицает: Господи, помилуй! Обратив взоры к ликам святых, диакон напоминает вспомнить вновь Богородицею и всех святых, предать самих себя, и друг друга, и всю жизнь Христу Богу. Собранье восклицает: Тебе, Господи! Троичным славословием заключает он. Утвердительно аминь изглашает вся церковь. Следует пение второго антифона.

В продолжение второго антифона священник в олтаре молится внутренней молитвою. Диакон становится опять в молитвенном положении пред иконою Спасителя, держа молитвенный орарь тремя перстами руки; по окончании же пения восходит он снова на амвон и обращается к ликам святых, призывая, как прежде, словами: В мире Господу помолимся! Собранье восклицает: Господи Заступи, помилуй, спаси и сохрани нас. Боже, Твоею благодатию. Собранье восклицает: Господи, помилуй! Возведя глаза к ликам святых, диакон продолжает: Пресвятую, Пречистую, Препоблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми помянувши, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Собранье восклицает: Тебе, Господи! Троичным славословием оканчивается моление; утвердительно аминь отвечает вся церковь; диакон сходит с амвона. А священник в закрытом олтаре молится внутренней молитвой; она - в сих словах: Ты, даровавший нам сии общие и согласные молитвы! Ты, обещавший двум и трем, собравшимся во имя Твое, подать прошения! исполни же теперь к полезному прошения рабов Твоих: подай в настоящем веке познание Твоей истины, а в будущем даруй вечную жизнь!

С крылоса громко возглашаются во всеуслышание блаженства, возвестившие в настоящем веке познание истины, а в будущем вечную жизнь. Собранье молящихся, взывая воззванием благоразумного разбойника, возопившего к Христу на кресте: Во Царствии Твоем помяни нас. Господи, егда приидеши во Царствии Твоем, повторяет вслед за чтецом сии слова Спасителя:

Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное - не гордящиеся, не возносящиеся умом.

Блаженны плачущие, яко тии утешатся - плачущие еще больше о собственных несовершенствах и прегрешениях, чем от оскорблений и обид, им наносимых.

Блаженны кроткие, яко тии наследят землю - не питающие гнева ни противу кого, всепрощающие, любящие, которых оружие - всепобеждающая кротость.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся - алчущие небесной правды, жаждущие восстановить ее прежде в самих себе.

Блаженны милостивые, яко тии помилованы будут - состраждущие о каждом брате, в каждом просящем видящие Самого Христа, за него просящего.

Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят - как в чистом зеркале успокоенных вод, не возмущаемых ни песком, ни тиной, отражается чисто небесный свод, так и в зеркале чистого сердца, не возмущаемого страстями, уже нет ничего человеческого, и образ Божий в нем отражается один.

Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божий нарекутся - подобно Самому Сыну Божию, сходящему на землю затем, чтобы внести мир в наши души: так и вносящие мир и примиренье в дома - истинные Божьи сыны.

Блаженны изгнанные правды ради, яко тех есть Царствие Небесное изгнанные за возвещенье правды не одними устами, но благоуханьем всей своей жизни.

Блаженны есте, егда поносят вас и изженут и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесах - м н о г а, ибо заслуга их троекратна: первая - что уже сами по себе они были невинны и чисты; вторая - что, быв чисты, были оклеветаны; третья что, быв оклеветаны, радовались, что потерпели за Христа.

Собрание молящихся слезно повторяет вослед за чтецом сии слова Спасителя, возвестившия, кому можно ждать и надеяться на вечную жизнь в будущем веке, которые суть истинные цари мира, сонаследники и соучастники Небесного Царства.

Здесь торжественно открываются царские врата, как бы врата самого Царствия Небесного, и глазам всех собравшихся предстает сияющий престол, как селенье Божией славы и верховное училище, отколе исходит к нам познание истины и возвещается вечная жизнь. Приступив к престолу, священник и диакон снимают с него Евангелие и несут его к народу не царскими вратами, но позади олтаря боковой дверью, напоминающею дверь в той боковой комнате, из которой в первые времена выносились книги на середину храма для чтения.

Собрание молящихся взирает на Евангелие, несомое в руках смиренных служителей Церкви, как бы на Самого Спасителя, исходящего в первый раз на дело Божественной проповеди: исходит Он тесной северной дверью, как бы неузнанный, на середину храма, дабы, показавшись всем, возвратиться во святилище царскими вратами. Служители Божьи посреди храма останавливаются; оба преклоняют главы. Иерей молится внутреннею

молитвой, чтобы Установивший на небесах воинства ангелов и чины небесные в служенье славы Своей повелел теперь сим самым силам и ангелам небесным, сослужащим нам, совершить вместе с ними вшествие во святилище. А диакон, указывая молитвенным орарем на царские двери, говорит ему: Благослови, владыко, святой вход! - Благословен вход святых Твоих, всегда, ныне, и присно, и во веки веков! - возглашает на это иерей. Дав поцеловать ему Святое Евангелие, диакон несет его в олтарь; но в царских вратах останавливается и, возвысив его в руках своих, возглашает: Премудрость! - знаменуя сим, что Слово Божье, Его Сын, Его Вечная Премудрость благовестилась миру чрез Евангелие, которое он теперь возвысил в своих руках. И вслед за тем возглашает: Прости! то есть воспряньте, воздвигнитесь от лени, от небрежного стоянья. Собрание молящихся, воздвигаясь духом, вместе с хором взывает: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу! Спаси нас. Сыне Божий, Тебе поющих: Аллилуйя! В еврейском слове аллилуйя выражается: Господь идет, хвалите Господа; но так как, по существу священного языка, в слове идет сокрыто и настоящее и будущее, то есть: идет пришедший и вновь грядущий, то, знаменуя вечное хождение Божие, это слово аллилуйя сопутствует всякий раз тем священнодействиям, когда Сам Господь исходит к народу в образе Евангелия или Даров Святых.

Евангелие, возвестившее Слово Жизни, поставляется на престоле. На крылосах раздаются или песни в честь праздника того дня, или же хвалебные тропари и гимны в честь святому, которого день празднует Церковь за то, что фуподобился тем, которых поименовал Христос в прочитанных блаженствах, и что живым примером собственной жизни показал, как возлетать вослед за ним в жизнь вечную.

По окончаньи тропарей наступает время Трисвятого пения. Испросив на него у иерея благословения, диакон показывается в царских дверях и, проводя орарем, подает знак певцам. Торжественно-громогласно оглашает всю церковь Трисвятое пение, состоящее в сем тройном воззвании к Богу: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас! Воззванием: Святой Боже возвещает Трисвятая песнь Бога Отца; воззванием: Святой Крепкий - Бога Сына: Его крепость. Его создающее Слово; воззванием Святой Бессмертный - Его бессмертную мысль, вечно живущую волю Бога Духа Святаго. Троекратно певцы подъемлют сие пение, чтобы звучало вслух всем, что с вечным пребываньем Бога пребывало в Нем вечное пребыванье Троицы, и не было времени, чтобы у Бога не было Слова, и чтобы Слову Его оскудевал Дух Святой. Словом Божьим небеса создашася, и духом уст Его вся сила их, говорит пророк Давид, Каждый из собранья, сознавая, что и в нем, как в подобьи Божьем, есть та же тройственность, есть Он Сам, Его Слово и Его Дух, или мысль, движущая словом, но что человеческое его слово бессильно, изливается праздно и не творит ничего, а дух его принадлежит не ему, завися от всех посторонних впечатлений и только по возвышенны! его самого к Богу то и другое приходит в нем в силу: в слове отражается Божье Слово, в духе - Дух Божий, и образ Троицы Создавшего отпечатлевается в создании, и создание становится подобным Создателю, - сознавая все сие, каждый, внемлющий Трисвятому пению, молится внутренне в себе, чтобы Бог Святой, Крепкий и Бессмертный, очистив его всего, избрал его Своим храмом и пребываньем, и три раза повторяет в себе: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас! Священник в олтаре, молясь внутренней молитвой о принятии сего Трисвятого пения, три раза повергается перед престолом и три раза повторяет в себе: Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный! И, подобно ему, повторив в себе три раза ту же Трисвятую песнь, диакон три раза повергается вместе с ним перед святым престолом..

И сотворив поклонение, отходит иерей на горнее место, как бы во глубину Боговедения, отколе истекла нам тайна Всесвятыя Троицы, как бы в то возвышеннейшее, всюду носящее место, где Сын пребывает в лоне Отчем единством Духа Святаго. И восхождением своим изображает иерей восхождение Самого Христа вместе с плотью в лоно Отчее, призывающее человека вослед стремиться в лоно Отчее, - возрождение, прозретое издали пророком Даниилом, который видел в высоком видении своем, как Сын Человеческий дошел даже до Ветхого деньми. Иерей идет нетрепетной стопой, произнося: Благословен грядый во имя Господне, и на призвание диакона: Благослови, владыко, горний престол, благословляет его, произнося: Благословен еси на престоле славы Царствия Твоего, седяй на херувимех, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. И садится на горнем месте возле седалища, назначенного для архиерея. Отселе, как Божий апостол и его наместник, обратясь лицом к народу, приготовляет он вниманье к слушанию наступающего чтения апостольских посланий, - сидящий, изображая самим сиденьем своим свое равенство апостолам.

Чтец, с Апостолом в руке, выходит на середину храма. Воззваем: в о н м е м! призывает диакон всех предстоящих ко вниманию. Священник посылает из глубины олтаря и чтецу, и предстоящим желание мира; собрания молящихся ответствует священнику тем же. Но так как служенье его должно быть духовно, подобно служенью апостолов, которые глаголали не свои слова, но Сам Дух Святой двигал их устами, то не говорят: мир тебе, но: духови твоему. Диакон возглашает: Премудрость! Громко, выразительно, чтобы всякое слово было слышно всеми, начинает чтец, прилежно, сердцем приемлющим, душою ищущею, разумом, испытующим внутреннии смысл читаемого, внемлет собрание, ибо чтение Апостола служит ступенью и лестницей к лучшему уразумлению чтения евангельского. Когда чтец окончит чтение, иерей возглашает ему из олтаря: мир тебе. Лик ответствует: и духови твоему. Диакон возглашает: Премудрость! Лик гремит: аллилуйя, возвещающее приближение Господа, идущего говорить народу устами Евангелия.

С кадильницей в руке идет диакон исполнить благоуханьем храм, навстречу идущего Господа, напоминая кажденьем о духовном очищении душ наших, с каким должны мы внимать благоуханным словом Евангелия. Священник в олтаре молится внутренней молитвой, чтобы воссиял в сердцах наших свет Божественного благоразумия, и отверзлись бы наши мысленные очи в уразумение евангельских проповеданий. О воссиянии того же света в сердцах своих молится внутренне собрание, приготовляясь к слушанию. Испросив благословения от иерея, получа от него в напутствие: Бог молитвами всесвятаго, всехвальнаго апостола и евангелиста (именуется его имя), да даст тебе глагол благовествующему силою мноюю, во исполнение Евангелия, Возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, диакон восходит на амвон, предшествуемый несомым светильником, знаменующим всепросвещающий свет Христов. Священник в олтаре возглашает к собранию: Премудрость! Прости, услышим Святого Евангелия! Мир всем! Лик ответствует: и духови твоему. Диакон начинает чтение.

Благоговейно преклонив главы, как бы внимая Самому Христу, говорящему с амвона, все стараются принять сердцами семя Святого слова, которое устами служителя сеет Сам Сеятель Небесный, - не теми сердцами, которых уподобляет Спаситель земле при пути, на которую хоть и упадают семена, но тут же бывают расхищены птицами - налетающими злыми помышлениями; - не теми также сердцами, которых уподобляет Он каменистой почве, только сверху прикрытой землею, которые хоть и охотно приемлют слово, но слово не водружает глубоко корня, ибо нет глубины сердечной; - и не теми также сердцами,

которые уподобляет Он неочищенной земле, глухимой тернием, на которой хоть дает семя всходы, но быстро вырастающие тут же вместе с ними терния, - терния трудов и забот века, терния обольщений, бесчисленные обаяния светской умерщвляющей жизни с ее обманчивыми удобствами, заглушают едва поднявшиеся всходы - и семя остается без плода; - но теми приемлющими сердцами, которых уподобляет Он доброй почве, дающей плод - ово сто, ово шестьдесят, ово тридесят, которые все, принятое в себя, по выходе из церкви, возвращают в домах, в семье, в службе, в труде, в отдохновеньях, в увеселеньях, с людьми в беседах и наедине с самим собою. Словом, всяк верный стремится быть тем, и слушающим и творящим вместе, которого обещает Спаситель уподобить мужу мудру, строящему храмину не на песке, но на камени, так что, если бы тут же, по выходе из церкви набежали на него дожди, реки и вихри всех бедствий, его духовная храмина осталась бы неподвижная, как твердыня на камени. По окончании чтенья священник в олтаре возвещает диакону: Мир тебе благовествующему. Приподымая главы, все предстоящие в чувствовании благодарности восклицают вместе с ликом: Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Стоящий в царских дверях священник приемлет от диакона Евангелие и поставляет его на престол, как Слово, исшедшее от Бога и к Нему же возвратившееся. Олтарь, изображающий высшие горние селенья, скрывается от глаз - врата царские затворяются, горняя дверь задергивается, знаменуя, что нет других дверей в Царство Небесное, кроме отверстых Христом, что с Ним только можно войти в них: Аз есмь дверь.

Тут обыкновенно в первоначальное время христиан было место проповеди; следовали изъяснение и толкование прочитанных Евангелий. Но так как проповедь в нынешнее время говорится большею частью на другие тексты и, стало быть, не служит изъяснением прочитанного Евангелия, то, чтобы не разрушать стройного порядка и связи священной Литургии, она отнесена к концу.

Изображая ангела, побудителя людей к молениям, диакон идет на амвон воздвигнуть собранье к молениям еще сильнейшим и прилежнейшим. Рцем еси от всея души, и от всего помышления нашего рцем! - взывает он, подымля тремя перстами молитвенный орарь; и, стремя моления от всех помышлений, все восклицают: Господи, помилуй! Усугубляя моления троекратным воззванием о помиловании, диакон призывает сызнова молиться о всех людях, находящихся на всех ступенях званий и должностей, начиная с высших, где трудней человеку, где ему больше преткновений и где ему нужней помощь от Бога. Каждый из собранья, зная, как много благоденствие многих зависит от того, когда высшие власти исполняют честно свои обязанности, молится сильно о том, чтобы Бог их вразумил, и наставил исполнять честно свое званье, и всякому подал бы силы пройти честно свое земное поприще. О сем молятся все прилежно, произнеся уже не один раз: Господи, помилуй! - но три раза. Вся цепь этих молений называется сугубой эктенией, или эктенией прилежного моления, и священник в олтаре перед престолом молится прилежно о принятии всеобщих усугубленных молений, и самая молитва его называется молитвой прилежного моления.

И если в тот день случится какое-либо приношение об усопших, тогда вослед за сугубой эктенией возглашается эктения об усопших. Держа орарь тремя перстами руки, призывает диакон молиться об успокоении душ Божиих рабов, которых всех называет по именам, чтобы Бог простил им всякое прегрешение, вольное и невольное, чтобы водворил их души там, где праведные успокоаются. Тут всякий из предстоящих припоминает всех близких своему сердцу усопших и произносит в себе три раза на всякое воззвание диакона:

Господи, помилуй! - молясь прилежно и о своих, и о всех почивших христианах. Милости Божией, - восклицает диакон: Небесного Царствия и оставления грехов их у Христа, Бессмертного Царя и Бога нашего, просим! Собрание взывает с хором поющих: Подай, Господи! А священник молится в олтаре, чтобы Поправший смерть и Даровавший жизнь успокоил Сам души усопших рабов Своих в месте злачном, в месте покойном, откуда отбежали болезнь, печаль и воздыхание, и, прося им в сердце своем отпущения всех согрешений, возглашает громко: Яко Ты еси воскресение, и жизнь, и покой усопших рабов Твоих, Христе, Боже наш, и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцом, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Утвердительным аминь отвечает лик. Диакон начинает эктению об оглашенных.

Хотя и редко бывают теперь не принявшие святого Крещения и находящиеся в числе оглашенных, но всякий присутствующий, помышляя, как далеко он отстоит и верой и делами от верных, удостаивавшихся соприсутствовать Трапезе Любви в первые веки христиан, видя, как он, можно сказать, только огласился Христом, но не внес Его в самую жизнь, только что слышит разум слов Его, но не приводит их в исполнение, и еще холодно его верованье, и нет огня всепрощающей любви к брату, поядающей душевную черствость, и что, крещеный водой во имя Христа, он не достигнул того возрожденья в духе, без которого ничтожно его христианство, по слову Самого Спасителя: кто не родится свыше, не внидет в Царствие Небесное, - соображая все сие, всякий из присутствующих сокрушенно поставляет себя в число оглашенных и на призванье диакона: Помолитесь, оглашенные, Господу! - от глубины сердца взывает: Господи, помилуй!

Верные - взывает диакон: помолимся об оглашенных, чтобы Господь их помиловал, чтобы огласил их словом истины, чтобы открыл им Евангелие правды, чтобы соединил их Своей Святой Соборной и Апостольской Церкви, чтобы спас, помиловал, заступил и сохранил их Своею благодатью!

И верные, чувствующие, как мало они стоят названия верных, молясь об оглашенных, молятся о самих себе, и на всякое отдельное призванье диакона восклицают внутренне вослед за поющим ликом: Господи, помилуй! Диакон взывает: Оглашенные, главы ваши Господу преклоните! Все преклоняют свои главы, восклицая внутренне в сердцах: Тебе, Господи!

Священник втайне молится об оглашенных и о тех, которых смиренье души поставило себя в ряды оглашенных. Молитва его в сих словах: Господи Боже наш, живущий на высоких, взирающий на смиренных, ниспославший спасенье человеческому роду - Своего Сына, Бога и Господа нашего, Иисуса Христа! возри на оглашенных рабов Твоих, подклонивших Тебе свои выи! Приобщи их Церкви Твоей и сопричисли Твоему избранному стаду, чтобы и они славили вместе с нами пречестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Лик гремит аминь. А в напомниманье, что наступила минута, в которую древле выводились из церкви оглашенные, диакон возглашает громко: Оглашенные, изыдите! И вслед за тем, возвысив голос, возглашает в другой раз: Оглашенные, изыдите! И потом в третий раз: Оглашенные, изыдите! да никто от оглашенных, одни только верные, вновь и вновь Господу помолимся!

От слов этих содрогаются все, чувствующие свое недостойство. Взывая мысленно к Самому Христу, изгнавшему из храма Божия продавцов и бесстыдных торгашей, обративших в торжище Его святыню, каждый предстоящий старается изгнать из храма души своей оглашенного, неготового присутствовать при святыне, и взывает к Самому Христу, чтобы воздвигнул в нем верного, причисленного к избранному стаду, о котором сказал Апостол: Язык свят, люди обновления, камение, зиждущееся в храм духовен, - причисленного к тем истинно верным, которые присутствовали при Литургии в первые века христиан, которых лики глядят теперь на него с иконостаса. И объемля их всех взорами, призывает их на помощь, как братьев, молящихся теперь на небесах, ибо предстоят священнейшие действия - начинается Литургия верных.

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

В закрытом олтаре иерей распростирает на святом престоле антиминос, вместилопрестолие, - плат с изображеньем Тела Спасителя, на котором должны быть поставлены приуготовленные им на Проскомидии Святой Хлеб и Чаша, исполненная вина и воды, и которые с бокового жертвенника перенесутся теперь торжественно в виду всех верных. Распростерши антиминос, - напоминающий время гонения христиан, когда Церковь не имела постоянного пребывания и, не могши переносить с собою престола, стала употреблять сей плат с частицами мощей, и который остался как бы в возвешенье, что и ныне не прикрепляется она ни к какому исключительному зданию, городу или месту, но, как корабль, носится поверх волн сего мира, не водружая нигде своего якоря: ее якорь на небесах, - распростерши сей антиминос, он приступает к престолу так, как бы приступал к нему в первый раз и как бы только теперь готовился начинать настоящее служение: ибо в первоначальное время у христиан только теперь открывался престол, доселе оставшийся закрытым и занавешенным по причине присутствия оглашенных, и только теперь начинались настоящие моления верных. Еще в закрытом олтаре припадает он к престолу, и двумя молитвами верных молится он об очищении своем, о неосужденном предстоянии святому жертвеннику, об удостоении его приносить жертвы в чистом свидетельстве совести. А диакон, стоя на амвоне посреди церкви, изображая ангела, побудителя к молитвам, держа орарь тремя перстами, призывает всех верных к тем же молениям, какими началась Литургия оглашенных.

И так стараясь о приведении своих сердец в согласное настроение мира, теперь еще необходимейшего, все верные взывают: Господи, помилуй! и еще сильнее молятся о свышнем мире и о спасении душ наших, о мире всего мира, благосостоянии Божьих Церквей и соединении всех, о святом храме сем и о входящих в него с верою, благоговением и страхом Божиим, о том, чтобы избавиться от всякия скорби, гнева и нужды. И взывают еще сильнее в сердцах своих: Господи, помилуй!

Иерей из глубины олтаря возглашает: Премудрость! - знаменуя сим, что Та же Самая Премудрость, Тот же Вечный Сын, исходивший в виде Евангелия сеять Слово, учившее жить, перенесется теперь в виде Святого Хлеба принестись в жертву за весь мир. Воздвигнутые сим напоминанием, все предстоящие устремляют мысли, готовят к предстанущим священнейшим священнодействиям и служениям. Иерей литургисающий втайне молится, припадая к престолу, сею возвышенной молитвой: Никто из связавшихся чувственными пожеланиями и наслаждениями недостойн приступать к Тебе, или приближаться, или служить Тебе, Царю Славы: ибо служенье Тебе велико и страшно и самим силам небесным. Но так как, по безмерному Своему человеколюбию. Ты

непреложно и неизменно был человек. Сам был архиерей и Сам передал нам священнодействие сея служебный и бескровные жертвы, как Владыка всех, -ибо Ты один. Боже, владычествуешь и небесными, и земными, - носимый херувимски на престоле, Господь серафимов и Царь Израилев, Единый Свят и во святых почивающий, то молю Тебя, Единого Благаго, воззри на меня, грешного и непотребного раба Твоего, очистимую душу и сердце от совести лукавыя и удовли меня, облеченнаго благодатью священства, удовли меня силою Твоего Святаго Духа предстать Святой Твоей Трапезе и священнодействовать Святое и Пречистое Твое Тело и Честную Кровь! К Тебе же прихожу, преклоня мою выю, и молюсь Тебе: да не отворишь лица Твоего от меня, ниже отринешь меня от отроков Твоих; но сподоби принестись Тебе, посредством меня недостойного, сим Дарам Твоим: ибо Ты еси и приносящий, и приносимый, и приемлющий, и раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.

Царские врата разверзаются на середине молитвы, так что иерей зрится еще молящийся с распростертыми руками. Диакон с кадильницею в руке исходит уготовить путь Царю всех, и, обильно распространяемым куреньем подъемля облака кадильных благоуханий, посреди которых перенесется Носимый херувимами, напоминает всем о том, чтобы исправилась их молитва, яко кадило пред Господом,- напоминает о том, чтобы все, будучи благоуханьем Христовым, по слову Апостола, они вспомнили о том, что нужно им быть чистыми херувимами для поднятия Господа. А лики на обоих клиросах поднимают от лица всей церкви сию Херувимскую песнь: Мы, тайно изображающие херувимов и воспевающие Трисвятую песнь Животворящей Троице, отложим ныне всякое попеченье, да Царя всех подыдем, невидимо копьеносимаго ангельскими чиньми.

Был у древних римлян обычай новоизбранного императора выносить к народу в сопровождении легионов войск на щите под осененьем множества наклоненных над ним копий. Песню эту сложил сам император, упавший в прах со всем своим земным величием пред величием Царя всех, копьеносимого херувимами и легионами небесных сил: в первоначальные времена сами императоры смиренно становились в ряды служителей при выносе Святого Хлеба.

Пенье сей песни устраивается ангельским, подобное тому, как в вышине пели незримые силы. Иерей и диакон, повторяя внутренне в себе ту же Херувимскую песнь, приступают к боковому жертвеннику, где совершалась Проскомидия. Приступивши к Дарам, накрытым воздухом, диакон говорит: Возьми, владыко! Иерей снимает воздух, и возлагает ему на левое плечо, и глаголет: Возьмите руки ваша во святая и благословите Господа. Потом берет дискос с Агнцем и возлагает его на главу диакона; а сам берет Святую Чашу и, предходящему светильнику или лампаде, выходит боковой, или северной, дверью к народу. Если же служенье совершается собором, при множестве иереев и диаконов, то один несет дискос, другой - Чашу, третий - святую ложку, которою приобщаются, четвертый - копье, прободшее Св. Тело. Все принадлежности выносятся, даже самая губка, которою собирались крупцы Святого Хлеба на дискос и которая образует ту губу, омоченную в укуси желчь, ею же напоили люди Творца своего. При пении Херувимской песни, подобясь небесным силам, выступает сей торжественный ход, называемый Великим Выходом.

При виде Царя всех, несомого в смиренном виде Агнца, лежащего на дискосе, как бы на щите, окруженного орудиями земных страданий, как бы копьями несчетных невидимых воинств и чиновачалий, все долу преклоняют свои главы и молятся словами разбойника, завопившего к Нему на кресте: Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Своем. Посреди храма останавливается весь ход. Священник пользуется сей великой минутой, чтобы в присутствии несущих Дары помянуть пред Господом имена всех христиан, начиная с тех, кому трудней и священной достались обязанности, от исполнения которых зависит счастье всех и собственное спасенье душ их, - заключая словами: Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Певцы оканчивают Херувимскую песнь троекратным пеньем: Аллилуйя, возвещающим вечное хожденье Господне. Ход вступает в царские врата. Впереди всех вшедший в олтарь диакон, остановившись по правую сторону дверей, встречает священника словами: Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем. Священник отвечает ему: Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое во Царствие Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков! И поставляет Святую Чашу и Хлеб, представляющий Тело Христово, на престол, как бы на гроб. Врата царские затворяются, как бы двери Гроба Господня; занавесь над ними задергивается, как кустодия, поставленная на страже. Иерей снимает с главы диакона святой дискос, как бы он снимал Тело Спасителя со креста, поставляет его на расстланный антиминос как бы на плащаницу и сопровождает сие действие словами: Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе нове закрыв, положи. И вспоминая вездесущность Того, Кто теперь лежит пред ним во гробе, говорит в себе: Во гробе Ты был плотски, во аде с душою, как Бог, в раю с разбойником и в то же время на престоле с Отцем и Духом, Христос, все Собой исполняли, неописанный! И, вспоминая славу, в которую облекся сей гроб, говорит: Как живоносец, как воистину краснейший рая и как светлейший всякого царскаго чертога, явился нам Твой гроб, Христе, источник всякого воскресенья. И снявши покров от дискоса и от Чаши и воздух с плеча диакона, изображающий теперь уже не пелены, в которые повит был Иисус Младенец, но сударь и гробовые покровы, в которые повито было Его мертвое Тело, обкадив их фимиамом, покрывает он ими снова дискос и Чашу, произнося: Благообразный Иосиф, сняв со древа Пречистое Твое Тело, плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе новые закрыв, положи. Потом, взявши от диакона кадильницу, кадит Святые Дары, поклоняясь пред ними три раза, и готовясь к предстоящему жертвоприношению, говорит в себе словами пророка Давида: Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены иерусалимская: тогда благоволиши жеатву правды, возношение и всесожигаемая, тогда возложат на олтарь Твоей тельцы: ибо, пока Сам Бог не воздвигнет, не оградит душ наших иерусалимскими стенами от всяких плотских вторжений, мы не в силах вознести Ему ни жертв, ни всесожжения, и не поднимется кверху пламень духовного моленья, разносимый посторонними помышлениями, набегом страстей и вьюгой возмущенья душевного. Молясь об очищеньи своем для предстоящего жертвоприношения, отдавая кадильницу диакону, опустив фелонь и преклонив главу, говорит он ему: Помяни меня, брат и сослужитель! - Да помянет Господь Бог твое священство во Царствии Своем! отвечает диакон и свою очередь, помышляя о недостойности своем, преклоняет голову и, держа орарь в руке, говорит ему: Помолись о мне, владыко святой! Священник ему отвечает: Дух Святой найдет на т я, и сила Вышняго осенит т я. - Той же Дух содействует нам вся дни живота нашего. И, полный сознания своего недостойства, диакон присовокупляет: Помяни мя, владыко святой! Священник ему: Да помянет Тебя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно,

и во веки веков. Диакон, произнесши: аминь и поцеловав ему руку, исходит боковой северной дверью призвать всех предстоящих к молитвам о перенесенных и постановленных на престол Святых Дарах.

Взошед на амвон, лицом к царским дверям, подняв орарь тремя перстами руки, в подобье поднятого крыла ангела, побудителя к молитве, возносит он цепь молений, уже непохожих на прежние. Начинаясь призыванием к моленью о перенесенных на престол Дарах, они скоро переходят в те прошения, какие только одни верные, живущие во Христе, возносят к Господу.

Дня всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим, взывает диакон.

Собрание молящихся, соединяясь с хором поющих, взывает от сердца: Подай, Господи!

Ангела мирна, верна наставника хранителя душ и телес наших, у Господа просим.

Собрание: Подай, Господи!

Прощенья и оставленья грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Собрание: Подай, Господи!

Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа просим.

Собрание: Подай, Господи!

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Собрание: Подай, Господи!

Христианския кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной и добраго ответа на Страшном Судище Христове просим.

Собрание: Подай, Господи!

Пресвятую, Пречистую, Преблагое ловенную. Славную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми помянуше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

И в истинном желаньи подобно предать самих себя и друг друга Христу Богу, все восклицают: Тебе, Господи!

Эктения завершается возгласеньем: Щедротами Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков.

Лик гремит: Аминь.

Олтарь все еще закрыт. Священник все еще не приступает к жертвоприношению: еще много должствующего предшествовать Тайной Вечери. Из глубины олтаря посылает он приветствие Самого Спасителя: Мир всем! Ему ответ: И духу твоему. Стоя на амвоне, диакон, как было у первых христиан, призывает всех ко взаимной любви словами:

Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедаем... Окончанье признанья подхватывает лик поющих: Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, возвещая, что, не полюбивши друг друга, нельзя полюбить Того, Кто весь - одна любовь, полная, совершенная, содержащая в Своей Троице и любящего, и любимого, и самое действие любви, которою любящий любит любимого: любящий - Бог Отец, любимый - Бог Сын и сама любовь, Их связующая, - Бог Дух Святой. Три раза поклоняется священник в олтаре, произнося в себе тайно: Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь утвержденье мое и прибежище мое, и целует покрытые покровами святой дискос и Святую Чашу, целует край святой трапезы и, сколько бы ни случилось священников, с ним сослужащих, каждый делает то же, и потом все целуют друг друга. Главный говорит: Христос посреди нас. Ему отвечают: И есть, и будет. Диаконы также, сколько бы их ни случилось, целуют каждый вначале свой ораль в том месте, где на нем изображенье креста, потом друг друга, произнося те же слова.

Прежде все предстоящие в церкви лобызали также друг друга, мужи мужей, жены - жен, произнося: Христос посреди нас, и тут же отвечаю: и есть, и будет; а потому и теперь всякий предстоящий, собирая мысленно пред собою всех христиан, не только присутствующих во храме, но и отсутствующих, не только близких к сердцу, но и далеких от сердца, спеша примириться с теми, против которых питал какую-нибудь нелюбовь, ненависть, неудовольствие, - всем им спешит дать мысленно лобзанье, говоря внутренне:

Христос посреди нас - и отвечаю за них: И есть, и будет, - ибо без этого он будет мертв для всех следующих священнодействий, по слову Самого Христа: Остави дар свой и шед прежде примиришься с своим братом и тогда принеси жертву Богу, и в другом месте: Аще кто речет: люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо нелюбяи брата своего, егоже виде, како может любить Бога, Егоже не виде?

Стоя на амвоне лицом ко всем предстоящим, держа ораль тремя перстами, произносит диакон древнее возглашение: Двери! Двери! - древле обращаемое к привратникам, стоявшим у входа дверей, чтобы никто из язычников, имевших обыкновение нарушать христианские богослужения, не ворвался бы нагло и святотатственно в церковь, ныне же обращаемое к самим предстоящим, чтобы берегли двери сердец своих, где уже поселилась любовь, и не ворвался бы туда враг любви, а двери уст и ушес отверзли бы к, слышанью Символа Веры, во знаменованье чего и отдергивает завеса над царскими дверями, или горния двери, отверзающиеся только тогда, когда следует устремить вниманье ума к таинствам высшим. А диакон призывает к слушанью словами: Премудростию вонмем. Певцы твердым мужественным пеньем, больше похожим на выговариванье, читают выразительно и громко: Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И сохранив миг отдохновенья, чтобы отделилось в мыслях у всех первое лицо Св. Троицы - Бог Отец, продолжают, возвышая голос: И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быта. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедишго с небес, и воплотивишгося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавши и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судили живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. И сохранив миг отдохновения, чтобы отделилось в

мыслях у всех третье лицо Св. Троицы - Бог Дух Святой, продолжает: Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и. жизни будущего века. Аминь.

Твердым, мужественным пением, водружая в сердце всякое слово исповедания, поют певцы: твердо повторяет каждый вслед за ними слова Символа. Мужествуя сердцем и духом, иерей перед святым престолом, долженствующим изобразить Святую Трапезу, повторяет в себе Символ Веры, и все ему сослужащие повторяют его в самих себе, колебля святой воздух над Св. Дарами.

И твердой стопой исходит диакон и возглашает: Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносит, то есть станем, как прилично человеку предстать перед Богом, с трепетом, с страхом и в то же время с мужественным дерзновением духа, славословящего Бога, с восстановившимся согласием мира в сердцах, без которого нельзя вознестись к Богу. И в ответ на призыв вся церковь, принося в жертву хваление уст и умягченное состояние сердец, повторяет вслед за хором певцов: Милость мира, жертву хваления. В первоначальной Церкви было в обычае приносить в это время елей, знаменующий всякое умягчение. Елей и милость в греческом языке тождественны.

Священник в олтаре снимает между тем воздух со Святых Даров, целует его и кладет на сторону, произнося: Благодать Господа... А диакон, взойдя в олтарь и взявши в руки веяло, или рипиду, веет ею благоговейно над Дарами.

Приступая к совершению Тайной Вечери, иерей посылает от олтаря к народу сие благовествующее возглашение: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами! И отвечают ему на то все: и со духом твоим! И олтарь, изображавший вертеп, теперь уже горница, в которой была уготована Вечера. Престол, представляющий гроб, теперь уже трапеза, а не гроб. Напоминая о Спасителе, возведем очи горе перед тем, как преподать Божественную пищу ученикам, священник возглашает: Горе имеем сердца! И каждый из стоящих во храме помышляет о том, что имеет совершиться, - что в эту минуту Божественный Агнец идет за него заклаться, Божественная Кровь Самого Господа вливается в Чашу, в его очищение, и все небесныя силы, соединяясь с иереем, о нем молятся, помышляя о том, стремя свое сердце от земли к Небу, от тьмы к свету, восклицает вслед за всеми: Имамы ко Господу.

Напоминая о Спасителе благодарившем, по возведении очей горе возглашает иерей: Благодарим Господа. Лик отвечает: Достойно и праведно есть поклоняться Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной. А священник молится втайне: Достойно и праведно есть Тебя воспевать. Тебя благословить, Тебя хвалить, Тебя благодарить. Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего, ибо Ты еси Бог неизреченен, неведом, невидим, непостижим, присно сый, такожде сый Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой. Ты от небытия в бытие нас привел еси и отпадшия вновь восстановил нас и не отступил еси, вся творя, дондеже на Небо нас возвел еси, и даровал нам Твое будущее Царство. О сих всех благодарим Тебя, и Единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, о всех, которыхы знаем и которых не знаем, о явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тебя и о службе сей, которую из рук наших прияты изволил еси, хотя и предстоят Тебе тысящи архангелов, и тмы ангелов, херувими и серафими шестокрылатые, многоочитые возвышающиеся

пернатые, победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоя!

Эту победную Серафимскую песнь, которую слышали в святых виденьях своих пророки, подхватывает весь лик певцов, унося мысли молящихся к незримым небесам и заставляя их вместе с серафимами повторять: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, и облетая вместе с серафимами престол Божественной славы. И так как в то же время вся церковь ожидает в эти минуты сошествия Самого Бога, грядущего принестись в жертву за всех, то к Серафимской песне, раздающейся в небесах, присоединяется песнь еврейских отроков, которую они встретили вшествие Его во Иерусалим, подстилая ветви по пути: Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Ибо Господь взойти готовится во храм, как в таинственный Иерусалим. Диакон продолжает веять веялом над Святыми Дарами, чтобы не могло упасть туда какое насекомое, изображая веяньем движенье благодати; а священник продолжает молиться втайне: С сими блаженными силами, Владыко Человеколюбце, и мы вопием и глаголем, Свят еси и Пресвят, Ты и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой. Свят еси и Пресвят, и великолепна слава Твоя, Иже мир Твой тако возлюбил еси, яко же Сына Твоего Единородного дати, да всяк, веруяй в Него, не погибнет, но имать живот вечный, Который, пришед и все смотрение о нас исполнив, в ночь, в которую был предан, или, лучше, Сам Себя предал за жизнь мира, взявши хлеб в святых Своих, пречистых, непорочных руках, благодарив, благословив, освятив, преломив и давши святым своим ученикам и апостолам, сказал... И громко возглашает иерей слова Спасителя: Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. И вся церковь вослед за ликом возглашает аминь. А диакон, держа орарь, указывает священнику на святой дискос, на котором положен Хлеб. Священник продолжает втайне: Подобно и Чашу по вечере, глаголя - и также, по указанию диакона на Чашу, возглашает громко: Пийте от нея еси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов. И также громко возглашает вся церковь: аминь.

Священник продолжает молиться втайне: И так вспоминая сию спасительную заповедь и все о нас бывшее: крест, гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное пришествие вновь - и, произнесши это в себе, возглашает громко: Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся. Отложив рипиду, диакон приподымает святой дискос и Святой Потир - олтарь уже не горница Тайных Вечери, престол не трапеза: он уже теперь жертвенник, на котором приносится страшная жертва за весь мир Голгофа, на которой совершилось заклень Божественной Жертвы. Эта минута есть минута и жертвоприношенья, и напоминанья всякому о жертве Творцу. Поклоненье отдается нами иземным властям; обожанье, уваженье, покорность мы воздаем и людям, но жертву - единому Творцу. Она не прекращалась от самого создання мира и, в каком бы виде ни приносилась, требовалась не самая жертва, но дух сокрушен, с которым она приносилась. Поэтому, всякий из предстоящих, вспомни, что в эту минуту священник, презрев все долнее, оставивши все помыслы, все мысли о земном, подобно как Авраам, который, когда восходил на горы принести жертву, оставив внизу и жену, и раба, и осла своего, взявши с собой только дрова горького исповеданья прегрешений своих и сжегши их огнем раскаянья душевного, огнем и мечом духа заколовши в себе всякое желанье земных стяжаний и блага земного. Но что пред Богом все наши жертвы, когда Он гласит устами пророка: яко порт нечист вся дела ваша? В глубоком сознании, что нет Богу на земле ничего достойного жертвы, каждый из предстоящих обращается мысленно к той же Чаше, которую в олтаре подымлет служитель олтаря, и восклицает во глубине сердца

своего: Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся. Лик поет: Тебе поем, Тебе благословим. Тебе благодарим. Господи, и молимтися, Боже наш!

И наступает верховнейшая минута всей Литургии: пресуществление. В олтаре происходит троекратное призыванье Святаго Духа на Святые Дары, - Того Самаго Святаго Духа, Которым совершилось воплощенье Христово от Девы, Его смерть, Воскресенье и без Которого не может пресуществиться хлеб и вино в Тело и Кровь Христову.

Упав ниц перед св. престолом, священник и диакон творят троекратно земные поклоны, произнося в себе: Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый. Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихся. И каждый вослед за сим призываньем произносит в себе стих: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. И во второй раз то же призывание: Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим ниспославый. Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихся; вслед за тем стих: Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от мене. И в третий раз призывание: Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Своим ниспославый. Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас молящихся. Подклонив главу, диакон указывает орарем на Святой Хлеб, произнося в себе: Благослови, владыко, Святым Хлеб; и знаменует его трижды иерей, глаголя: И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего. Диакон произносит: аминь. И Хлеб уже есть самое Тело Христа. И так же безмолвно указывает диакон орарем на Святую Чашу, произнося в себе: Благослови, владыко, Святую Чашу. И, благословляя, глаголет священник: А еже в Чаши сей, Честную Кровь Христа Твоего. Диакон, произносит: аминь и, указав на обоя святая, глаголет: Благослови, владыко, обоя. Благословив, произносит священник: Преложив Духом Твоим Святым; троекратно произносит диакон: аминь - и на престоле уже Тело и Кровь: пресуществленье совершилось! Словом вызвано Вечное Слово. Иерей, имея глагол наместо меча, совершил закланье. Кто бы он ни был сам, - Петр или Иван, - но в его лице Сам Вечный Архиерей совершил сие закланье, и вечно свершает Он его в лице Своих иереев, как по слову: да будет свет, свет сияет вечно; как по слову: да произрастит земля былие травное, произращает его вечно земля. На престоле - не образ, не вид, но самое Тело Господне, - то самое Тело, которое страдало на земле, терпело заушенья, было оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось вместе с Господом и сидит одесную Отца. Вид хлеба сохраняет оно только затем, чтобы быть снедью человеку, ичто Сам Господь сказал: Аз есмь хлеб.

Церковный звон подьмется с колокольной возвестить всем о великой минуте, чтобы человек, где бы он в это время ни находился - в пути ли, в дороге, обрабатывает ли землю полей своих, сидит ли в доме своем, или занят другим делом, или томится на одре болезни, или в тюремных стенах - словом, где бы он ни был, чтобы он мог отовсюду вознести моленье и от себя в эту страшную минуту. Все повергается ниц в виду Тела и Крови Господней, взывая ко Господу словами разбойника: Помяни мя. Господи, во царствии Твоем!

Подклонив главу священнику, диакон произносит: Помяни мя, святыи владыко! Ему отвечает священник: Помянет тебя Бог во Царствии Своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. И приступает священник к поминанью всех пред лицом Господа, собирая всю Церковь, и торжествующую, и воинствующую, в том виде и порядке, как вспоминались все на Проскомидии, начиная с Богопресвятой, Пречистой Матери Господа,

Которую тут же вся церковь ублажает, вместе с ликом, хвалебную песнью, как Предстательницу за весь род человеческий, как единственную удостоившуюся, за высокое смирение свое, понести в себе Бога, - чтобы каждый в эту минуту слышал, что высшая добродетель - смирение, и в сердце смиренного воплощается Бог. И вослед за Божию Материю вспоминаются пророки, Апостолы, отцы Церкви в том же порядке, как изнимались за них части на Проскомидии; потом - все усопшие, которых помянник читает диакон, потом живущие, начиная с тех, на которых возложены важнейшие обязанности и высшие, с право правящих слово истины духовных и светских чинов, от государя: да пособит ему Господь на трудном его поприще во всяком деле общего добра, и да в союзном стремлении ко благу ответствует ему весь государственный корабль управления, палата власти, воинства, исполняя честно долг, да и мы, в тишине их, тихое и безмолвное житие проживем во всяком благочестии и чистоте. И о всех предстоящих христианах до единого молится в это время иерей, чтобы Милостивый на всех излил Свои милости, сокровища их исполнил блага, супружества их соблюл бы в единомыслии и мире, младенцев воспитал бы, юность наставил, старость поддержал, малодушных утешил, расточенных собрал, прельщенных обратил и совокупил Святой Своей Соборной и Апостольской Церкви. И обо всех до последнего христианина в это время молится смиренно иерей, где бы такой христианин ни находился - в пути ли он, в дороге, в плавании, путешествии, страдает ли в недуге, томится ли в заточении, в рудах и пропастях земли. Обо всех до единого молится в это время вся церковь, и каждый из предстоящих, сверх этого общего моления обо всех, молится еще о всех своих, близких своему сердцу, всех их поименовая пред лицом Тела и Крови Господней. И возглашает громко священник из олтаря: И даждь нам едиными усты и единым сердцем славить и воспевать пречестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Утвердительно аминь ответствует церковь. Священник возглашает: И да будут милости Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами! Ему ответствен: и со духом твоим. И сим оканчиваются моления о всех, составляющих Церковь Христову, совершаемые перед лицом самого Тела и самой Крови Христовой.

Диакон восходит на амвон воздвигнуть моления о самых Дарах, уже принесенных Богу и пресуществленных, да не в суд и в осуждение обратятся. Подъяв орарь тремя перстами десныя руки своей, так восперяет он всех к молитве: Вся святая помянувши, вновь и вновь миром Господу помолимся! И воспевае лик: Господи, помилуй! - О принесенных и освященных Честных Дарах Господу помолимся. И воспевае лик: Господи, помилуй! - Яко да Человеколюбец Бог наш, взывает диакон: прияв их во святыи превышенебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовного, возниспослет нам Божественную благодать и дар Духа Святаго, помолимся. И воспевае лик: Господи, помилуй! - О избавлении нас от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся. И воспевае лик: Господи, помилуй! - Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию! И взывает лик: Господи, помилуй! - Дня всего совершенного, всего святаго, мирного, безгрешного у Господа просим. И воспевае лик: Подаи, Господи! - Ангела мирнаго, вернаго наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. И воспевае лик: Подаи, Господи! - Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. И воспевае лик: Подаи, Господи! - Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа просим. И воспевае лик: Подаи, Господи! - Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим. И воспевае лик: Подаи, Господи! - Христианския кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на Страшном Судилище Христовом просим! И воспевае лик: Подаи, Господи! И

произносит диакон, уже не призывая в помощь святых, но обращая всех прямо ко Господу: Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивши, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И воспевают все в полной и совершенной преданности: Тебе, Господи!

Священник же наместо троичного славословия возглашает: И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно сметь призывать Тебя, Небесного Бога Отца, и глаголати. И все верные в эту минуту не как рабы, исполненные страха, но как дети, как чистые младенцы, доведенные самими молениями и всею службою и постепенным ходом ее святых обрядов до того небесно-умиленного, ангельского состоянья души, в котором может прямо говорить человек с Богом, как с нежнейшим отцом, произносят сию молитву Господню: Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Все обняла собою сия молитва, и в ней все заключилось, что нам нужно. Прошеньем: да святится имя Твое, просится первое, о чем прежде всего мы должны просить: где святится Божье имя, там всем хорошо, там, значит, все в любви живут, ибо любовью только святится имя Божие. Словами да приидет Царствие Твое, вызывается Царство Правды на землю, ибо без прихода Божья не быть правде: ибо Бог есть правда. К словам: да будет воля Твоя - приводит человека и вера, и разум: чья же воля может быть прекрасней Божьей воли? Кто же лучше Самого Творца знает, что нужно Его творению? Кому же ввериться, как не Тому, Который весь есть благотворящее благо и совершенство? Словом: даждь нам хлеб наш насущный, просим мы всего, что нужно для дневного существования нашего, хлеб же наш есть Божья Премудрость, есть Сам Христос. Он Сам сказал: Аз есмь хлеб, и ядый Меня не умрет. Словом: остави нам долги наша, мы просим и о снятии с нас всех тяжких грехов наших, на нас тяготеющих, - просим прощенья нам всего того, чем задолжали мы Самому Творцу в лице братии наших, Который ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку Свою, надрывающим всю душу воплем умоляя о милости и милосердии. Словом: не введи нас во искушение, мы просим о избавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. Словом: но избави нас от лукаваго, мы просим о небесной радости: ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу душу, и мы уже на земле, как на небесах.

Так все заключает в себе и все объемлет собою сия молитва, которою молиться научила нас Сама Премудрость Божия, и кому же молиться? молиться Отцу Премудрости, породившему Премудрость Свою прежде веков. Так как все предстоящие должны повторять в себе молитву сию не устами, но самой чистой невинностью младенческого сердца, то и самое пенье ее на ликах должно быть младенческое: не мужественными и суровыми звуками, но звуками младенческими, как бы лобзающими самую душу, должна воспеваться сия молитва, да весеннее дыханье самих небес в ней слышится, да лобзанье самих ангелов в ней носится, ибо в молитве этой уже не называем мы и Богом Того, Кто сотворил нас, а говорим Ему просто:

Отче наш!

Иерей приветствует из глубины олтаря как бы приветствием Спасителя: Мир всем! Ему отвечают: И духови твоему! Напоминая о сердечном внутреннем исповедании, которое

должен всякий совершить внутри самого себя в сию минуту, диакон взывает: Главы ваши Господеви преклоните! И, преклонив главы свои, все до единого из предстоящих произносят в себе почти такую молитву: Тебе, Господи Боже мой, преклоняю главу и во исповедании сердечно вопию: Грешен, Господи, и недостойн просить у Тебя прощения, но Ты, как Человеколюбец, так же ни за что, как блуднаго сына, меня помилуй, как мытаря, меня оправдай, и удостой меня, как разбойника, Твоего Небеснаго Царства. И когда все таким образом, преклонив главы свои, пребывают в внутреннем сокрушении сердечном, иерей молится у олтаря за всех такими, внутри самого себя произносимыми словами: Благодарим Тебя, Царю Невидимый, Иже неисчетною Твоею силою вся содетельствовал еси, и множеством милости Твоя от небытия в бытие вся привел еси. Сам, Владыко, с небес призри на преклонивших Тебе главы своя, ибо подклонили они их не плоти и крови, но Тебе, Страшному Богу. Ты же, Владыко, все, что предлежит нам, изравняй во благо нам, каждому по потребности его: плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующия исцели. Врачу душ и телес! И возглашает вслед за тем великолепное троичное славословие, обращенное к небесной милости Божией: Благодатию, и щедротами, и человеколюбием Единородного Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков! Лик возглашает: аминь. А священник, приуготовляя к приобщению себя самого и всех потом Тела и Крови Христовой, молится такую тайною молитвою: Вонми, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего! Прииди освятить нас, горе с Отцем сидящий и здесь невидимо нам спребывающий, и сподоби державной рукой Твоей преподать нам священникам Пречистое Тело Твое и Честную Кровь Твою, а нами всем Твоим людям.

Во время глаголения сей молитвы диакон готовится к причащению: становится перед царскими вратами, опоясуя себя орарем и складывая его крестовидно на себе в подобье ангелов, крестовидно складывающих на себе крылья и закрывающих ими лица свои перед неприступным светом Божества. Поклоняясь три раза, так же как и священник, произносит он три раза в себе: Боже, очисти меня грешного и помилуй меня! Когда же священник прострет руки свои к святому дискосу, воздвигающим словом вонмем напоминает он всем во храме к устремленью мысли на происходящее. Олтарь сокрывается от глаз народа, завеса задергивается, да совершится прежде приобщение самих иереев. Один только голос иерея, подьемлющего святой дискос: Святая святым, раздается из олтаря. Содрогаясь от сего возвещения, говорящего, что нужно быть святым для принятия святости, весь молящийся храм отвечает ему: Един Свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, и воспевает вслед за тем хвалебный гимн святому, его же день, в возвещенье, что можно быть святу человеку, так же как стал свят святой, которому гимн поется: стал свят он не своей святостью, но святостью Самого Христа. Пребываньем во Христе святится человек и в такие минуты пребывания свят, как Сам Христос, подобно как железо, когда пребывает в огне, становится и само огонь и потухает вмиг, как только изымлется из огня, и становится вновь темным железом.

Священник раздробляет теперь Святой Хлеб, сначала по знаку, начертанному на Проскомидии, на четыре части, с благоговением произнося: раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда же иждиваемый, но освящаяй причащающиеся. И сохранив одну из сих частей для приобщения себя и диакона Святого Тела в виде, не соединенном еще с Кровию, дробит потом части хлеба по числу приобщающихся, но не дробится в сем дроблении самое Тело Христово, которого и кость не сокрушилась, и в малейшей частице сохраняется тот же всецелый Христос, как в

каждом члене нашего тела присутствует та же человеческая душа нераздельная и всецелая, как в зеркале, хотя бы оно и сокрушилось на сотни кусков, сохраняется отражение тех же предметов даже в самом малейшем куске. Как в звуке, нас огласившем, сохраняется то же единство его, и остается он тот же самый единый всецелый звук, хотя и тысячи ушей его слышали. Но в Чашу не погружаются все те части, которые были вынуты на Проскомидии во имя святых, во имя усопших и во имя некоторых живущих. Они остаются до времени еще на дискосе: только частями, составляющими Тело и Кровь Господню, приобщается Церковь. В первоначальные времена Церкви причащались ими в виде несоединенном, как ныне приобщаются у нас одни иереи, и каждый, приемля в руки Тело Господа, испивал потом сам из Чаши. Но когда, - бесчинством невежественных новообращенных христиан, ставших только по имени христианами, - начали уносить Святые Дары в дома свои, употребляя их в суеверия и колдовства, или же бесчинно обращаться с ними тут же во храме, толкая друг друга, производя шум и даже проливая Святые Дары, когда нашлись в необходимости отцы многих Церквей отменить вовсе приобщение Крови для всего народа, заменив его хлебным знаком облатки, как сделала то у себя католическая Западная Церковь, - тогда святой Иоанн Златоуст, чтобы не случилось и в Церкви Восточной того, установил преподавать народу Кровь и Тело не порознь, но в соединенном виде, и не давать ему ни того, ни другого в собственные руки, но преподавать святой ложкой, имеющей образ тех клещей, которыми огненный серафим прикоснулся устам пророка Исаии, дабы напомнить всем, какого рода то прикосновение, которое готово прикоснуться устам, дабы увидел ясно всяк, что сей святой ложкой держит иерей тот горящий уголь, который схватил таинственными клещами серафим от самого жертвенника Божия, дабы единым только прикосновением его к устам пророка отъять от него все грехи его. Тот же самый Златоуст, чтобы удалить с тем вместе всякую мысль о том, что сие соединение Тела и Крови воедино и вместе делается произвольно иереем, ввел в минуту самого соединения их вместе влитие теплой воды в сосуд, знаменующее теплотворную благодать Духа Святаго, изливаемую в разрешение такого соединения, почему и произносится при этом диаконом: Теплота веры, исполнь Духа Святаго. А на самое влитие теплоты призывается благословение Того же Духа Святаго, чтобы ничто не совершилось при этом без благословенья Самого Господа, чтобы в то же время и теплота послужила подобием теплоте Крови, давая самим вкушением ее чувствовать всякому, что не от мертвого тела, из которого не истекает теплая кровь, но от Живого, Животворящего и Животворного Тела Господня он ее приемлет, чтобы и здесь он слышал возвешенье того, что и от мертвого Тела Господня не отступила Божественная Душа, и было действ Духа оно полно, и Божество с ним не разлучалось.

Приобща вначале себя, потом диакона, служитель Христов предстоит новым человеком, как очищенный святынею приобщения от всех своих прегрешений, как святой истинно в эту минуту и как достойный приобщать других.

Врата царские разверзаются, ; диакон возносит торжественный глас: со страхом Божиим и верою приступите! И всем предстоит преображенный серафим с Святой Чашей в руках - иерей, во святых вратах стоящий.

Горя желанием Бога, сгорая любовным пламенем к Нему, сложив руки крестом на груди своей, один за другим подступают к нему приобщающиеся и, преклоня главу, повторяет всяк в себе сие исповедание Распятого:

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго, - пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко Сие самое есть Пречистое Тело Твое и Сия есть самая Честная Кровь Твоя, молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися Пречистых Твоих Таинств во оставление грехов и в жизнь вечную. И остановившись на одно мгновение, дабы объять мыслию значение того, к чему приступает, продолжает глубиной сердца своего повторять последующие слова: Вечери Твоея Тайныя днесь. Сыне Божий, причастника меня приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но, яко разбойник, исповедую Тя: помяни меня. Господи, во Царствии Твоем. И совершив один миг благоговейного молчания в себе, продолжает: Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела.

И прочитав сие исповедание, уже не так, как к иерею, но как к самому огненному серафиму, приступает каждый, готовясь раскрытыми устами принять с святой ложки тот огнепальный уголь святого Тела и Крови Господа, который долженствует в нем попалить, как тленый хворост, весь черный дрязг его прегрешений, изгнав вечную ночь из души его, превратив его самого в просветленного серафима. И когда, подъяв святую ложку над устами его и упомянувши его, произнесет иерей: Причащается раб Божий Честныя и Святыя Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в жизнь вечную, приемлет он Тело и Кровь Господа, и в них приемлет минуту свиданья с Богом, становясь лицом к лицу к Нему Самому. В минуте этой нет времени, и ничем не отличается она от самой вечности, ибо в ней пребывает Тот, Кто есть начало вечности. Прияв в Телe и Крови сию великую минуту, исполненный святого ужаса, стоит приобщившийся; святым воздухом осушаются уста его при повторении серафимских слов пророку Исае: Се прикоснуса устном твоим, и отымет беззакония твоя, и грехи твоя очистит. Сам святой, возвращается он от Святой Чаши, поклоняясь святым, их приветствуя, и поклоняясь всем предстоящим, как ближайшим в несколько раз своему сердцу, чем дотолe, как связавшихся теперь с ним узами святого, небесного родства, и становится потом на свое место, исполненный той мысли, что принял в Себя Самого Христа и что Христос в нем, что Христос сошел Своею плотью, как во гроб, к нему в утробу, дабы, проникнув потом в тайное хранилище сердца, воскреснуть в духе его, совершая в нем самом и погребенье, и Воскресенье Свое. Сияет светом сего духовного Воскресенья вся церковь, и воспевают певцы сии ликующие песни:

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите еси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде крестом радость всему миру. Всегда благословяше Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертью смерть разруши. И подобно ангелам, соединяющимся в это время:

Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе; Ты же Чистая, красуйся. Богородице, о восстании Рождества Твоего. О Пасха Велия и Священнейшая, Христе! О Мудросте и Слове Божий и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего!

В продолжение же того, как воскресными песнями оглашается ликующая церковь, священник в закрытом олтаре, поставив Святую Чашу на святую трапезу, которая так же, как и дискос, покрывается вновь покровами, произносит благодарственную молитву Самому благодетелю душ Господу за удостоение приобщиться небесных и бессмертных Его Таинств и заключает ее прошением, да исправит путь наш, утвердит нас всех в священном страхе к нему, соблюдет житие наше и соделает твердыми стопы наши.

Священник, благословив предстоящих словами: Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, - ибо предполагает, что все по чистоте в эту минуту обратились в собственное достояние Божие, - устремляется мыслью к вознесению Господню, которым завершилось его пребывание на земле: становится вместе с диаконом пред святым престолом, и, поклоняясь, кадит он в последний раз, и кадя произносит в себе: Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, между тем как лик восторгающим песнопением и звуками, сияющими весельем духовным, стремится просветленные души всех предстоящих к произнесению вослед за ним сих слов самой радости духовной: Видехом сеет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, Нераздельной Троице поклоняемся, Та бо нас спасла есть.

Диакон показывается в святых дверях с святым дискосом на главе, не произнося ни одного слова: безмолвным воззрением своим на все собрание и уходом знаменует удаление от нас и вознесение Господне. Вослед за диаконом показывается в святых дверях иерей с Святою Чашею и возвещает пребывание с нами до скончания веков вознесшегося Господа словами: Всегда, ныне, и присно, и во веки веков, после чего и Чаша, и дискос относятся вновь на боковой жертвенник, на котором совершалась Проскомидия, который изобразует теперь уже не вертеп, видевший Рождение Христово, но то верховное место славы, где совершился возврат Сына в лоно Отчее.

Здесь вся церковь, предводимая поющим ликом, соединяется в одно торжественно-благодарное пение душ своих; и сии суть слова ее восхваления: Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститься Святым Твоим Божественным, Бессмертным и Животворящим Тайнам: соблюди нас во Твоей святости, весь день поучатися правде Твоей! И воспевают троекратно вослед за тем хор певцов воздвигающее слово: аллилуйя, говорящее им непрестанное хождение и всюду пребывание Божие. Диакон же восходит на амвон воздвигнуть в последний раз предстоящих к молениям благодарственным. Подъяв ораль тремя перстами руки своей, говорит он: Прости, приимше Божественных, Святых, Пречистых, Бессмертных, Небесных и Животворящих, Страшных Христовых Тайн, достойно благодарим Господа. И благодаря сердцами, воспевают все тихо: Господи, помилуй! - Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас. Боже, Твоею благодатию! - взывает в последний раз диакон. И воспевают все: Господи, помилуй! - День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивши, сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. И с покорностию кроткой младенца, в небесной доверенности к Богу, все восклицают: Тебе, Господи! А священник, складывая в это время антиминос и, с Евангелием в руках, ознаменовав, возглашает Троичное славословие, которое, озаряв доселе, подобно всеозаряющему маяку, весь путь богослужения, и теперь вспыхивает еще сильнее светом в просветившихся душах; и такое на сей раз обращение Троичного славословия: Яко ты еси освящение наше, и Тебе славу воссылаем. Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков.

Затем священник приступает к боковому жертвеннику, на котором постановлены Чаша и дискос. Все те частицы, которые оставались доселе на дискосе и были вынуты на Проскомидии в воспоминание святых, в упокой усопших и в душевное здравие живущих, теперь погружены во Святую Чашу и в сем действии их погружения приобщается Телу и Крови Христовой вся Церковь Его и та, которая еще странствует и воинствует на земле, и та, которая уже торжествует на небесах: Богоматерь, пророки, апостолы, отцы церковные, святители, отшельники, мученики, все грешные, за которых были вынуты части, на земле живущие и отшедшие, приобщаются в эту минуту Телу и Крови Христовой. И священник, предстоя в такую минуту пред Богом, как представитель всей Его Церкви, испивает из Чаши сие причащение всех и, приемля в себя приобщение всех, молится о всех, да омыются грехи их, ибо за искупление всех принесена жертва Христом как за тех, которые жили до Его пришествия, так и за тех, которые жили по пришествии Его. И как бы ни была грешна молитва его, но священник возносит ее за всех, даже за самых святейших, ибо, как сказал Златоуст, общее предлежит очищение вселенная.

Церковь повелевает о всех возносить всеобщую молитву; высокое значение такой молитвы и ее строгая надобность узнались не мудрецами мира и не совопросниками века, но теми верховными людьми, которые высоким духовным совершенством и небесно-ангельской жизнью дошли до познания глубочайших душевных тайн и видели уже ясно, что разлуки нет между живущими в Боге, что минутной тленностью нашего тела не прекращаются сношения, и что любовь, завязанная на земле, приходит в большую меру на небесах, как на родине своей, и брат, отшедший от нас, становится еще ближе к нам от силы любви. И все, что ни истекает из Христа, то вечно, как вечен Сам источник, из которого оно истекает. Слышали также они высшими органами чувств своих, что и на небесах торжествующая Церковь долженствует молиться и молится также о странствующих на земле братьях своих; слышали они, что Бог предоставил, как лучшее из наслаждений, наслаждение молиться, ибо ничего не совершает Бог и ничему не благодетельствует, не делая участником в самом совершении и в самом благодеянии Своем Свое творение, да насладится оно высоким блаженством благотворения: несет ангел Его повеление и утопает в блаженстве уже оттого, что несет Его повеление. Молится на небесах святой о братьях своих на земле, и утопает в блаженстве уже оттого, что молится. И все соучаствует с Богом во всех высочайших Его наслаждениях и блаженствах: миллионы совершеннейших творений исходят из рук Божиих, дабы участвовать в высших и высших блаженствах, и нет им конца, как нет конца Божиим блаженствам. Испив из Чаши приобщение всех с Богом, иерей выносит народу те просфоры, от которых были отделены и изъяты частицы, и сим сохраняет высокий древний образ Трапезы Любви, исполнявшийся христианами первых времен. Хотя и не накрывается теперь для этого стол, по причине того, что невежественными христианами, безумным буйством их ликований, словами раздора, а не любви, давно была опозорена святыня этого трогательного небесного пиршества в самом доме Божиим, на котором все пирававшие были святые, как одна душа были души их, и, чистые младенцы сердцем, вели они такую беседу, как бы у Самого Бога были на небесах; хотя сами Церкви увидели строгую надобность уничтожить это, и самое воспоминанье об этой трапезе исчезнуло во многих Церквях; но, несмотря на то, одна Восточная Церковь не могла решиться на уничтожение вовсе такого обряда, и в раздаче Святого Хлеба среди церкви всему народу совершает ту же Святую Трапезу Любви. А потому всяк приемлющий просфору и приемлет ее, как хлеб от того пиршества, за которым Сам Хозяин мира беседовал с людьми своими, - а потому вкушал бы благоговейно, представляя себя окруженного всеми

людьми, как нежнейшими братьями своими, - и так же, как было в обычае первоначальной Церкви, вкушает его прежде всякой другой пищи, или относит в дом свой домашним, или же отправляет больным, неимущим и тем, которые почему-нибудь не могли быть на то время в церкви.

Раздав Святой Хлеб, священник творит отпуст Литургии и благословляет весь народ словами: Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, молитвами отца нашего архиепископа Иоанна Златоуста (если Литургия Златоуста идет день в день), молитвами святого (и называет по имени святого, его же день) и всех святых помилует и спасет нас яко Благ и Человеколюбец. Народ, знаменуясь крестом и поклоняясь, расходится при громком пении лика, многолетствующего императора.

Священник в олтаре совлекается от одеяний своих, произнося: Ныне отпускаеши раба Твоего, и сопровождаая разоблачение хвалебными тропарями, гимнами отцу и святителю церковному, которого служилась Литургия, и той Пречистой Святой Деве, в Которой совершилось вочеловеченье Того, Кому служилась вся Литургия. Диакон в это время потребляет все оставшееся в Чаше и потом, налив в нее вина и воды и всполоснув внутренние стены ее, испивает, осушив тщательно губкой, дабы ничто не оставалось, слагает святые сосуды вместе, покрыв и обвязав их, и подобно священнику говорит: Ныне отпускаеши раба Твоего, повторяя те же песни и молитвы. И оба выходят, наконец, их храма, неся сияющую свежесть в лице, радость ликующую в духе, благодаренье Господу на устах своих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Действие Божественной Литургии над душою велико: зримо и воочью совершается, б виду всего света, и скрыто. И если только молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, покорный призыванью диакона, - душа приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и бремя легко. По выходе из храма, где он присутствовал при Божественной Трапезе Любви, он глядит на всех, как на братьев. Примется ли он за обыкновенное течение своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было, в каком бы ни было, сохраняет невольно в душе своей высокое начертанье любовного обращенья с людьми, принесенного с небес Богочеловеком. Он невольно становится милостивей и любовней с подчиненным. Если сам под властью другого, то охотней и любовней ему повинуетя, как Самому Спасителю. Если видит просящего помощи, сердце его более чем когда-либо располагаетя помогать, чувствует он больше наслаждения, с любовью дает он неимущему. Если он неимущий, он благодарнопринимает малейшее даяние: растроганное сердце его теряетя в благодарности, и никогда с такой признательностью не молитя он о своем благодетеле. И все, прилежно слушавшие Божественную Литургию, выходят кротче, милее в обхожденьи с людьми, дружелюбнее, тише во всех поступках.

А потому для всякого, кто только хочет идти вперед и становитя лучше, необходимо частое, сколько можно, посещение Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату. А потому кто хочет укрепитя в любви, должен, сколько можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовью, при Священной Трапезе

Любви. И если он чувствует, что недостойн принимать в уста свои Самого Бога, Который весь любовь, то хоть быть зрителем, как приобщаются другие, чтобы незаметно, нечувствительно становиться совершеннее с каждой неделей.

Велико и неисчислимо может быть влияние Божественной Литургии, если бы человек слушал ее с тем, чтобы вносить в жизнь слышанное.

Всех равно уча, равно действуя на все звенья, от царя до последнего нищего, всем говорит одно не одним и тем же языком, всех научает любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина всего стройно движущегося, пища, жизнь всего.

Но если Божественная Литургия действует сильно на присутствующих при совершении ее, тем еще сильнее действует на самого совершателя, или иерея. Если только он благоговейно совершал ее со страхом, верой и любовью, то уж весь он чист, подобно сосудам, которые уже ни на что потом...; пребывает ли он весь тот день в отпавлении своей многообразной пастырской обязанности, в семье ли посреди своих домашних, или посреди своих прихожан, которые суть также семья его, - Сам Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет действовать Христос; и в словах его будет говорить Христос. Будет ли склонять он на помиренье между собой враждующих, будет ли преклонять на милость сильного к бессильному, или ожесточенного или утешать скорбящего, или к терпению угнетенного, или..., - слова его приобретут силу врачующего еля и будут на всяком месте словами мира и любви.

ПРИЛОЖЕНИЕ К "РАЗМЫШЛЕНИЯМ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ"

Фрагмент первоначальной редакции

...в огнях и в блистаньях неслись перед ним. В одном из них признал пророк образ, напомнивший ему образ льва, в другом признал образ, напомнивший ему образ быка, в третьем - образ, напомнивший образ орла, в 4-м - образ, напомнивший образ человека. И каждый, сохраняя свой собственный образ, вмещал в себе с тем вместе образы других: имевший образ орла напоминал в себе в то же время образ льва, быка и человека; имевший образ льва напоминал в себе быка, орла и человека. Всякий напоминал собою и других и неся, носимый сими четверичными образами животных Дух, сохранявший в Себе одно только высшее подобие человека. Четвероликие образы неслись вперед, куда неся Дух, ими носимый, и двигались движеньем ими двигающего Духа и не обращались назад. Вослед им вращались в огнях колеса, и дух жизни был в колесах, и подвигались они от земли по мере подъятая самих животных, и двигались, куда двигались они, обращенные движением ими носимого Духа. Те же четыре образа четвероликих существ предстали Иоанну в его откровении, союзно друг с другом противудержающиеся, супротивогласно восклицавшими, не имея покоя ни в дни, ни в ночи: "Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф!" Потому ж возглашает иерей четырьмя словами: "Поюще, вопиюще, взывающе и глаголя", разумея под ними четырьеликих животных, усвоив пенье орлу, вопль быку, взыванье льву и глаголанье человеку. Воспевает орел: "Свят", вопиет бык: "Свят", взывает лев: "Свят", глаголет человек, яко имущий слово: "Господь Саваоф". Тремя словами: "Свят" знаменуется Троица Божия, единым же словом "Господь Саваоф" - Его единство. Церковь, пораженная подобием сим четвероликим существам небесным, какое представили собою потом евангелисты, которые также понесли на себе Того, Кто принял на себя образ человека на земле, и двигались Духом Его, и не обращались также назад, и

пронесли благовестие и славословие о Нем, и, сохранивши каждый свой образ, напомнили в себе в одно и то же время то же, что и в других евангелистах, - пораженная таким подобием, придала в принадлежность каждому из них образ одного из четырех образов. Но что вполне знаменует великий смысл многих видений пророческих, равно как и сего, того не объяснить никому на земле без воли Пославшего самые видения. К нам донеслась только Серафимская песня:

"Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, земля и небеса исполнены славы Твоей", и знаем мы только то, что ее слышали все высочайшие пророки на земле, начиная от Исаии, слышавшего ее в притворе храма. И все святые, когда достигали глубокими совершенствами души до высших явлений в духе своем, открывая в себе уже другие высшие чувства, то слышали внутренним слухом умного слуха своего ту же неумолкно раздающуюся победную песнь. И не может быть иначе: не могут другой песни петь серафимы, как только: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!" И человек, когда встретит на земле в человеческом образе необыкновенное соединение красоты телесной с небесной красотой души, остается как бы прикованным к пленившему его предмету, восхваляя святую его красоты. Встретив на небесах высшую красоту, перед которою ничтожная пыль вся красота земная, и Силы небесные остаются уже прикованными к ее святине. Но человек не в силах глядеть неотлучно и непрерывно в глаза пленившей его красоте: и пища, и питье, и презренные заботы жизни его отвлекают от , и плачет он горько на свое бессилие, на то, что не может весь предаться красоте. Небесные же Силы глядят неотлучно и непрерывно в глаза пленившей их Красоте: и пищу, и питье, и все заботы существа своего черплют они из ней же, - из той же красоты, и в высокой полноте блаженства воспевают: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф", ощущая и в самом наслаждении песнословить возрастающую полноту блаженства.

К этой песни, раздающейся на небесах, присоединила Церковь песню, несущуюся к ней навстречу от земли, - ту песню, которою встретили Его на земле еврейские отроки, когда совершалось Его вшествие в Иерусалим на принесение Себя в жертву: "Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне!" Сею песней встречает Его теперь и вся Церковь, невидимо грядущего с небес во храм, как в таинственный Иерусалим, для пренесения Самого Себя в предстоящем ныне таинстве. И потому каждый из предстоящих таким же самым образом, как воспевал, соединявшись с ангелами, возвещавшими о воплощении Его, ангельскую песнь, как воспевал, соединявшись с честнейшими херувимами при подъятии Царя всех, херувимскую песнь, да воспет теперь в соединении с пламенеющими серафимами Серафимскую победную песнь. Вознесись же всяк на серафимскую высоту: "можешь, если только захочешь", как сказал Златоуст. Припомни только и собери в памяти своей все прекраснейшее, что ни видал ты на земли и чем восхищался, и представь себе только то, что потому было оно прекраснейшее, что было бледное отражение великой небесной Красоты, мелькнувший край одной только ризы Божией - и вознесется душа твоя сама собой к источнику и лону Красоты и воспет победную песню, облетая вместе с серафимами вечный престол Всевышнего.

Во все время, когда во храме раздается торжествующее сладкопенье Серафимской песни, диакон стоит в олтаре по правую руку священника перед Святыми Дарами, с которых сняты уже и воздух и покровы, и веет [во все время] над ними веялом из перьев в подобье крыл серафимских, да ничто не прикоснется и не упадет во Святую Чашу. А священник втайне молится такою молитвою: "С сими блаженными силами и мы, Владыко Человеколюбче, вопием и глаголем: Свят еси и Пресвят, Ты и Единородный Твой Сын, и

Дух Твой Святой; Свят еси и Пресвят, и великолепна слава Твоя, Иже мир Твой тако возлюбил еси, якоже Сына Твоего Единородного дата, да всяк, веруяй в Него, не погибнет, но имет живот вечный, Который, пришед и все смотрение о нас исполнив, в ночь, в нюже предашеся, или, лучше, Сам Ся предаше за мирской живот, прием хлеб во святых Своих, всечистых и непорочных руки, благодарив и благословив, освятив, преломив, даде святым Своим учеником и апостолом, рек..." и возглашает громко иерей слова Самого Спасителя: "Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов". Диакон сопровождает сии слова иерея безмолвным указанием на Святой Хлеб тремя перстами, держащими орарь; а лик возглашает торжественно: "аминь". И продолжает втайне иерей: "Подобно и Чашу по вечери, глаголя", и громко возглашает сей глагол Самого Спасителя: "Пиите от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многая изливаемая, во оставление грехов". И также диакон сопровождает возглашенье иерея, указывая на Святую Чашу перстами, держащими орарь, и также лик возглашает: "аминь". Священник же молится так в самом себе: "Поминающе убо спасительную сию заповедь и вся, яже о нас было: крест, гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное пакипришествие" - и громко возглашает вослед за сими словами: "Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся".

[И эта] минута есть минута жертвоприношения, напоминающая всем предстоящим об отношении твари к Творцу. Поклонение мы отдаем и земным властям; обожание, покорность мы воздаем и людям, но жертву только одному Богу. Нет другого приношения от твари к Творцу, как жертва. Не прекращалась она от века ни в каком углу мира. Слова пророков гремели [только] противу нечистой жертвы, ибо чистоты ее требует Бог, и без душевной чистоты, без подвигов чистых приносящего ее, не принимается Богом никакое приношение; но сообразя всю чистоту наших действий и помышлений, с какими приносится наша жертва, видя, как померкают они все перед той чистотой, какая надобна, слыша, как прав пророк, сказавший: "яко порт нечист вся дела ваша!" - не посмел человек принести дел своих, как чистую жертву Богу, и, не найдя ничего в мире чище Жертвы небесной - Тела и Крови Самого Христа, их же приносит Ему Самому, в настроении душевном восклицая: "Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся!" Вознеси же всяк в эту минуту Жертву сию, не просто повторяя вослед за священником слова сии, но совершая [вместе] самое жертвоприношение. Всяк христианин в эту минуту есть священник, - взойди же один на высоту духа своего: так же, как Авраам восходил на высоту горы, дабы совершить на ней одному жертвоприношение, оставив внизу и жену, и раба, и осла своего, оставь так же и ты в эту минуту все, связывающее тебя с землею. Принеси с собою дрова горького исповедания прегрешений своих, сожги их огнем раскаянья душевного, как жрец, и как священник соверши духовное заклание собственной души своей, да огнем и мечем духа заколется в ней помышление всех земных стяжаний и вожделений, да сгорит всякое желание блага земного и в пепел да превратится в ней все, что не есть Божье. И когда будешь готов совершенно воскурить такую жертву Богу, став чрез то высочайшим самих Сил небесных, умей отвергнуть и эту жертву, как недостойную, устремив к себе слова пророка: "яко порт нечист вся дела ваша!" и подыми тогда небесными руками вместе с иереем Святую Чашу, возглашая: "Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся!"

Во все то время, когда все совершают жертвоприношение в душах своих, на клиросах подымается сие умиляющее и тихое сладкопение: "Тебе поем, Тебе благословим, Тебя благодарим. Господи, и Тебе молимся. Боже наш!"

И наступает верховная минута во всей Литургии, всех страшнейшая и таинственнейшая, - минута самого пресуществления, когда приносимое в жертву Творцу становится действительно той самой Жертвой, которую принес Сам Творец Самому Себе за всех людей, становится не образом Тела и Крови, но самим Телом и Кровью Христа. В олгаре происходит [страшное] троекратное призывание Духа Святаго, - Того Самого Духа, Кем совершилось воплощение Христово от Девы, Его смерть и Воскресение, Кем возглаголяли пророки и апостолы и Кто носился один над водами тогда, когда еще земля была невидима и нестроена, когда по слову Писания: "тьма была вверху бездны и Дух Божий ношашеся над водами", и без Которого не совершается пресуществление. Упавши ниц перед святым престолом, и священник и диакон, полагая троекратно наземные поклоны, произносят троекратно в себе самих сие призывание: "Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый. Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся Тебе!" И вослед за первым призываньем читают в себе стих: "Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей". Вослед же за третьим призываньем диакон подклоняет главу свою и, указуя орарем на Святый Хлеб, не смея вымолвить и самого слова, говорит только в глубине души своей: "Благослови, владыко, Святый Хлеб!"

Восстав от поклона, знаменует трижды иерей Святые Дары, глаголя: "И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего", диакон произносит: "аминь", и Хлеб уже есть самое Тело Христа. Безмолвно указывает диакон орарем на Святую Чашу, произнося только устами души своей: "Благослови, владыко, Святую Чашу!" Благословляя ее, глаголет иерей: "А еже в Чаше сей. Честную Кровь Христа Твоего". Диакон возглашает: "аминь", и содержимое в Чаше есть уже самая Кровь Христова. И вновь указывая на Чашу и на дискос вместе, произносит во глубине себя самого диакон: "Владыко, благослови обоя"; и благословляет обоя священник, глаголя: "Преложив Духом Твоим Святым". Диакон троекратно возглашает: "аминь". И Дух Святый уже в Дарах, обративший их в Кровь и в Тело, и пресуществление совершено. Словом вызвано Вечное Слово, и то самое Тело, в которое облеклось Слово, быв на земле. Тело Самого Владыки лежит теперь закланное на олгаре, и совершилось заклание глаголом наместо меча. Да позабудет в это время всяк о иерее: не иерей, носящий вид и имя подобное нам, но Сам Верховный Вечный Архиерей совершил сие заклание, совершающий его вечно в лице Своих иереев. И так же сие пресуществление творится вечно, как все творится вечно, что ни исходит от вечных уст Его: и как сказал Он некогда: "да будет свет" - и вечно светит свет; "да произрастит земля былие травное" - и вечно с тех произрастает [растущее на] земле, так и пресуществление сие творится вечно. И Тело, лежащее теперь на святом престоле, есть то самое Тело Господне, которое страдало на земле, терпело заушения, было оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось вместе с Господом и сидит одесную Отца!

На колокольнях подымается звон, да возвестится повсюду страшная минута, чтобы, где ни услышал о том человек, - находится ли он в то время путником в дороге, обрабатывает ли землю полей своих, сидит ли в доме своем, или занят [каким] делом в ином месте, томится ли даже в тюремных стенах или на одре самой болезни, - чтобы отовсюду мог в эту минуту вознести моление свое о страшном таинстве сем и о том, да не в суд и осуждение оно будет кому-либо из его братии. Все молящиеся в храме повергаются в сию минуту долу перед Господом. Повергнувшись ниц святым престолом, творят усердные поклоны служители Церкви. И всяк возносит внутренний глас ко Господу, да помянет его в виду самого Тела и Крови Своей во Царствии Своем. Диакон, подклонив главу иерею, произносит: "помяни мя, владыко", и отвечает ему иерей: "Да помянет тебя Господь

Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков". Сказав: "аминь", диакон становится по-прежнему с правой стороны престола, вея веялом в подобии серафимских крыл над Святой. Священник же, помолившись втайне, дабы всем предстоящее Тело и Кровь Христа были во трезвение души, в оставление грехов, во исполнение Царства Небесного, в дерзновение к Господу, а не в суд и осуждение, приступает к поминанию всех пред Господом в виду самого Тела и самой Крови Его. И собирает перед Христом всю Церковь Его: и ту, которая уже торжествует, и ту, которая еще воинствует, - и на земле путешествующую, и в небесах пребывающую, помяная всех от ветхозаветных патриархов и пророков до единого из ныне живущих христиан. Прежде всех других именуется он Пресвятую Богородицу, и в ответ на то воспевает весь лик сие определяющее Ее славословие, которое повторяет за ним вся Церковь: "Достоинно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем".

Величание Пресвятая Девы всем хором вошло уже в последующее время, когда исповедатели ересей дерзнули отнимать от Нея даже имя Богородицы, не размыслив, что отъятием сего имени отнимают Божество Самого Христа, бывшее с Ним при самом Его Рождении. Почему и поместила Церковь навсегда величание Богородицы, и поместила именно здесь, и о Ней упоминает прежде всех, ибо Ее одну из всех других избрал Бог, да от Нее воплотится. А высокое преимущество Ее пред всеми и почему на Нее упал выбор, объясняется Ее же словами. Когда возвещена была Ей ангелом великая весть, не знала Она, за что такая радость досталась Ей, не нашла в себе ни одного достоинства и умела только сказать: "Величит душа моя Господа, яко призрел на смирение рабы Своей". Сам Дух Божий славил себя в этой песни и возвестил устами Девы высокую тайну смирения и что смирение требует от нас Бог. Одно воззрение Того, Иже на смиренныя презирает, одно воззрение Божие на смирение рабы Своей произвело в Ней существенное воплощение Слова Божия. Да внесет каждый из предстоящих смирение в душу свою и совершится в нем также духовное воплощение Самого Христа по слову апостола: "Сам Христос вообразится в нем". Вот почему и пророки, и евангелисты, и великие Отцы церковные, и все совершеннейшие из святых, бывшие при жизни органами Духа Божия, уступили место смиренной Деве. Вот почему и Церковь величает Ее Царицею, так же как и самое смирение есть царица всех добродетелей; представительница же этого смирения есть одна Она, Чистейшая, Богоматерь. Вот почему именуют Ее Предстательницею человеческого рода, так же как одно только смирение может предстательствовать о всех и за все у Бога. Вот почему и раздаются в эту минуту, при упоминании имени Богородицы, славословия и величание Ее от уст всего лика, и все до единого из предстоящих последуют за всяким словом сего величания.

Вослед за тем поминает иерей, в виду Тела и Крови Господней, всех приблизившихся жизнью своею к Господу, начиная от Иоанна Предтечи: апостолов, исповедников, мучеников, воздержников, о всяком духе праведном, скончавшемся в вере, о святом, которого память совершается в тот день, и о всех усопших.

Вослед за тем поминает иерей о всех живущих, начиная с тех, которые поставлены во главы прочим, которых должности высшие и обязанности труднейшие. Молится, в виду Тела и Крови Господней, о государе и, помышляя о всей святости такого звания и о всей трудности его выполнить, слезно умоляет Бога, да укрепит его святой силою Своею, да ниспровергнет все, что ни станет ему препятствием на пути ко благу, да покорит ему

под ноги всякого врага и супостата, как внешнего, так и внутреннего, еще опаснейшего татя и хищника души, да управит Сам всякой мыслью его, да все изнесущееся из уст его изравняется во благо его подданным и всего мира. И молится иерей, да в союзном стремлении ко благу отвечает ему весь государственный корабль, все части великого строения: палата, власти и воинство, исполняя честно, твердо святой долг свой, чтобы мирно было такое царствование, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Во время сего безмолвного моления в олтаре да взмолятся всяк из предстоящих о том же, и да взмолятся крепко и слезно, как бы молился он о собственном деле, и о собственной душе, дороже которой нет ничего для человека. А священник продолжает моления. Так же слезно и так же сильно молится он о сохранении тех, которые облечены в высокий духовный сан, освятились на управление кормилом Церкви и должны править словом самой истины Божией. Помышляя, как свят их долг и страшен ответ, иерей не иначе, как в душевном сокрушении, возносит к Богу сии слова: "Даруй их церквям Твоим, целых в мире, честных, здравых, долгоденствующих, право правящих слово Твое истины!" И молят все предстоящие, да будут они такими, да правят право словом истины и да возвещается один Бог в их правлении. Затем провозглашают торжественно певцы: "и всех, и вся". И молится священник о всех и за вся, начиная с того града и с того храма, в котором молятся предстоящие, и объемя молитвой своей всякий город, всякую страну, и о всех, верую живущих в них, плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, молясь в то же время о спасении, молясь о плодоносящих и добротворящих, да поможет им Бог вечно и еще более приносить плоды и благодетельствовать; молится о творящих злое и о самих преступниках, губящих души свои, да ниспослет раскаянье и сокрушение душевное; молится о всех несчастных, да поможет им Бог обрести высокое счастье небесное в самом несчастии, и призывая изливание милости Божией и благодати Его на все, даже на мрачные пропасти и недра земли, где ни находится человек; молится наконец поименно и за всех тех, за которых просили его особенно в тот день помолиться; молится наконец и за тех, которых позабыла его молитва.

И слезным безмолвным молением соединяясь с безмолвным молением пастыря, молится весь народ о всех и за вся, присоединяя каждый от себя в эту минуту всех поименно им знаемых, - не только тех, которых он сам любит и которые его любят, но даже и тех, которых он не любит и которые также его не любят, одним моля, да преуспевают еще в большей любви, о других моля, да вселит Бог в души им ненависть и гнев не против кого-либо из людей, но противу собственной ненависти людей, губящей их души. В сию минуту всяк да помолится о всех, с кем ни случилось ему столкнуться на жизненной дороге, молится даже и о тех, которых позабыла его молитва, молится наконец и о том, что дается Богом одним избранныкам только: молится об уменьи за всех молиться. И когда совершится наконец это глубокое безмолвное моление - всех и о всех, возглашает громко иерей: "И даждь нам едиными устами и единым сердцем славить и воспевать всечестное и великолепное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа ныне и присно, и во веки веков!" И сливаясь сердцами в одно сердце, устами в одни уста, возглашает: "аминь" вся церковь, и есть в эту минуту вся одно нераздельное единство. [Как во едину веру и в един Дух крестились все, так и единой пищей должны питаться все - тем же и сим единственным Духом (да отражается в ней, как в слитной поверхности вод, образ Самого Пастыря Церкви).] Священник из олтаря посылает всем благодатное желание...

«Комсомолец Киргизии», 1990

ПОЭТ ДОМА РОМАНОВЫХ

«Один из многих». Сколько их в любой культуре, затерявшихся на страницах периодики?! Время неумолимо. Для потомков остаются вершины — таланты и гении, а рядовые литературы, ее фундамент и фон, принадлежат современникам. Но если копнуть

толщю лет, то столько необычного и интересного вдруг откроется: и определенность минувшей эпохи предстанет в характерологических нюансах, из которых складывается понимание ее закономерностей и особенностей. Литераторы второго, третьего ряда — у них своя индивидуальность, свой голос, своя судьба,.. Об одном из них сегодняшней наш рассказ.

К.Р. Псевдоним, похожий на древний вензель. Константин Константинович Романов (1858-1915) — поэт и переводчик. Его имя нет- нет да и мелькнет в антологии поэзии начала XX века, то ли из-за бытующего мнения, что его «занятия литературой носили дилетантский характер» (Русский сонет. /Сонеты русских поэтов XVII— начала XX века./М.: Советская Россия, 1983, с. 469), то ли из-за принадлежности к царствующей фамилии, как-никак, великий князь. По этим ли, по другим причинам, но справочные издания советской эпохи стыдливо умалчивают его имя. «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона в XVI томе, напротив, подробно знакомит с «жизнью и деятельностью» Его Императорского Высочества, второго сына великого князя Константина Николаевича. Ан-шеф 15-го гренадерского тифлисского полка, президент Академии наук (с 1889), командир лейб-гвардии Преображенского полка (с 1891) и т. п., и при этом «пианист и талантливый поэт». Опять же поэзия — дополнение. Автор как бы удивляется; «Это ж надо, великий князь, а стишки пописывают, сборники издают! И при этом не кичатся своим происхождением»:

Но пусть не тем, что знатного я рода,

Что царская во мне струится кровь,

Родного православного народа

Я заслужу доверье и любовь.

(Узнают ли эти строки наши памятливые писатели-патриоты, мгновенно сделают князя своим знаменем). Честное слово, не модная сегодня, вдруг проснувшаяся, монархическая идея, а стремление познакомить с литератором скромного, но разностороннего дарования позволяет говорить о творчестве К. Р.

Александр Блок ставит его имя первым среди имен переводников «Гамлета». Случайно ли? Как случайно ли и то, что в 1930 году (!) «Трагедия о Гамлете, принце датском» 3-им изданием появляется под грифом «ГИЗ, Москва-Ленинград» Или это недосмотр обозначенного № А-78454 работника Главлита (интересно, что с ним случилось через несколько лет?), или одна из последних ласточек-книг, без экивоков на социальное происхождение? Приведем лишь маленький отрывок, свидетельствующий о мастерстве взявшего на себя смелость поэтически переложить на русский слово Шекспира:

Быть или не быть? Вот в чем вопрос.

Что выше:

Сносить в душе с терпением удары

Пращей и стрел судьбы жестокой, или,

Вооружившись против моря бедствий,
Борьбой покончить с ними?
Умереть, уснуть,—
Не более; и знать, что этим сном покончишь
С сердечной мукою и с тысячью терзаний,
Которым плоть обречена, — о, вот исход
Многожеланный! Умереть, уснуть; —
Уснуть! И видеть сны, быть может? Вот оно!
Какие сны в дремоте смертной снятся,
Лишь тленную стряхнем мы оболочку, — вот,
что

Удерживает нас. И этот довод —
Причина долговечности страданья.
Кто б стал терпеть судьбы насмешки и обиды,
Гнет притеснителей, кичливость гордецов,
Любви отвергнутой терзание, законов
Медлительность, властей бесстыдство и

презренье

Ничтожества к заслуге терпеливой,
Когда бы сам все счета мог покончить
Каким-нибудь ножом?
Кто б нес такое бремя,
Стеная, весь в поту под тяготою жизни,
Когда бы страх чего-то после смерти,
В неведомой стране, откуда ни единый
Не возвращался путник, воли не смущал,
Внушая нам скорей испытанные беды

Сносить, чем к неизведанным бежать?

И вот Как совесть делает из всех нас трусов;

Вот как решимости природный цвет

Под краской мысли чахнет и бледнеет,

И предприятия важности великой,

От этих дум течение изменив,

Теряют и названье дел. — Но тише!

Прелестная Офелия! — О нимфа!

Грехи мои в молитвах помяни!

Позже Б. Пастернак, переведя «Гамлета», напишет об этом монологе: «Это самые трепещущие и безумные строки, когда-либо написанные о тоске неизвестности в преддверии смерти, силою чувства возвышающиеся до горечи Гефсиманской ноты». (Борис Пастернак. Об искусстве.—М.: Искусство, 1990, с. 179, 175).

С театром К. Р. связывает не только перевод Шекспира, но и оригинальные произведения, такие, как, например, «Царь Иудейский», драма, вышедшая отдельным изданием в 1914 году, «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона отмечает, что уже в первом поэтическом сборнике К. Р. много стихов религиозного характера и переложений из Апокалипсиса. «Царь Иудейский» относится к той же литературе, интерпретирующей библейскую мифологию. И здесь К. Р. был «одним из многих», кто в начале века обращается к Библии, как в сфере философии, так и в сфере литературы и искусства. Нет надобности перечислять хорошо известные имена деятелей русской культуры, внесших свой вклад в новое прочтение древней и вечной Книги. К. Р. — среди других.

Миф о Христе и Понтии Пилате литературой перелагался не раз. В драме «Царь Иудейский» предстает одна из версий. Вот несколько эпизодов:

«Центурион. (Обращаясь к Понтию Пилату)

Первосвященники и старшины

Со всем синедрионом собрался

Сейчас перед Преторией.

Они Какого-то с тобою Иисуса

На суд твой привели. Войти сюда

Нельзя уговорить их: осквернением

Языческий им угрожает дом.

Они тебя к ним выйти просят.

Пилат.

Как бы

Не оскверниться мне дыханьем скверным Нечистых уст еврейских!

(.....)

Ужели в твердости моей сомнение Есть у кого-нибудь? — Я не пойму,

Что так тебя волнует и тревожит!

Ждет моего суда еврей какой-то:

Когда невинен Он, Его на волю

Я отпущу; а если смертной казни

Достоин – повелю казнить. Одним

Презренным иудеем меньше будет...

(.....)

Пилат.

Уф! Легче целый день в бою кровавом

Германцев отражать, чем полчаса

С еврейскою толпою препираться.

(.....)

Выхожу я к ним.

Смотрю перед возвышенным помостом,

Внизу на площади шумит народ;

Первосвященник, книжники и члены

Синедриона впереди. Ко мне

По мраморным ступеням стража всходит

И узника ведет. И Он предстал

Передо мной без обуви, одетый,
Как нищий. Но в убогом этом виде
Величествен казался Он, как некий
Под рубищем скрывающийся царь.
Он не похож на иудея; сходства
В Нем нет ни с кем из остальных людей.
С достоинством, спокойно, без движенья,
Без тени робости или тревоги
Он вдумчиво и прямо мне в глаза
Смотрел. И этот строгий взор как будто
Преследует меня... Я от него
И до сих пор избавиться не в силах.
(.....)
Центурион.
Свершилось бичеванье. Прокуратор,
Несчастливого увидев, ужаснулся.
Его истерзанный кровавый вид
Разжалобит, он думал, иудеев.
В венке терновом, в багрянице, с тростью
К ним вывел я Страдальца Иисуса.
И произнес Пилат: — Се Человек! —
Но лишь народ Его завидел, снова
Поднялся крик: — «Распни Его, распни!»
И говорят их старцы, что имеют
Закон; что по закону их Он должен
Быть умерщвлен за то, что выдал
Себя за Сына Божия.

(.....)

Голос Пилата.

Я умываю руки в знак того,

Что неповинен я в крови невинной.

За Праведника вам держать ответ!

Голос народа.

Пусть кровь Его на нас и детях наших!

Даже этот небольшой фрагмент разных частей драмы представляет традиционность взгляда автора. Но, может быть, подобная традиционность и сформировала новаторство Блока, вложившего в руки Христа кровавый флаг.

О поэтических вкусах К. Р. мы узнаем из письма А. Блока матери от 13 июня 1915 года:

«Вчера встретил С. М. Зарудного (сенатор и цыганист, друг Художественного театра), который... рассказал о том, как К. Р. просил его раз прочесть мои стихи. Он прочел «Незнакомку», К. Р. возмутился; когда же он прочел «Озарены церковные ступени», К. Р. нашел, что это лучше. Очевидно уловил родственное, немецкое».

Блок намекает в последней фразе или на немецкий перевод стихов К. Р. (Берлин, 1891), или на брак К. Р. с принцессой Саксен-Альтенбургской Елизаветой (15 апреля 1884).

Стихи же самого К. Р. по признанию современников примыкают к «поэзии чистого искусства». Его художественные воззрения формируются под воздействием Фета, Майкова, Полонского.

* * *

Последней стаи журавлей

Под небом крики прозвучали.

Сад облетел. Из-за ветвей

Сквозят безжизненные дали.

Давно скосили за рекой

Широкий луг, и сжаты нивы.

Роня листья, над водой

Грустят задумчивые ивы.

В красе нетронутой своей
Лишь озимь зеленеет пышно,
Дразня подобьем вешних дней...
— Зима, зима ползет неслышно!
Как знать. Невидимым крылом.
Уж веет смерть и надо мною...
О, если б с радостным челом
Отдаться в руки ей без бою;
И с тихой, кроткою мольбою,
Безропотно, с улыбкой ясной
Угаснуть осенью безгласной
Пред неизбежною зимою!

К ОСЕНИ

Роковая, неизбежная,
Подползла, подкралась ты,
О, губительница нежная
Милой, летней красоты!

Обольстительными ласками
Соблазнив и лес и сад,
Ты пленительными красками
Расцветила их наряд.

Багрянницей светозарною
Ты по-царски их убрав,

Сдернешь прихотью коварною

Ризу пышную дубрав.

Но пока красы обманчивой

Не сорвала ты с лесов,

Сколько прелести заманчивой

В этой радуге цветов!

Скоро с кротостью печальною

В увяданья тихий час

Сад улыбкой нас прощальною

Подарит в последний раз.

И с порою, грустно веющей,

Я безропотно мирюсь

И природе вечереющей

Побежденный отдаюсь.

...

Тихая, теплая ночь. Позабудь

Жалкие нужды земли.

Выйди, взгляни: высоко Млечный путь

Стелется в синей дали.

Что перед светлою звездной стезей

Темные наши пути?

Им, ознакомленным с ложью людской,

Неба красой не цвести.

Глаз не сводил бы с лучистых высот!

— Выйди, зову тебя вновь:

В небо взглядишь, отрешись от забот,

К вечности душу готовь.

Еще одно имя. Нет-нет, не забытое, а скорее находящееся в полузабвении. Еще один из тех, кто пребывал в серебряном веке русской поэзии. Ничего не поделаешь, когда рядом Блок и Гумилев, Мандельштам и Волошин, Цветаева и Ахматова... Несравненные и несравнимые. Но был же и такой поэт. С псевдонимом, похожим на древний вензель — К. Р. Жил. Писал. Думал о вечности.

«Литературный Кыргызстан», 1991, №5

Зинаида Гиппиус

«Иди за мной, когда меня не станет...»

«Гиппиус Зинаида Николаевна... русская писательница, идеолог декаденства. С 1920 г. в эмиграции, заняла крайне антисоветскую позицию», («Литературный энциклопедический словарь. М., 1987) десятилетиями характеризуется в советских изданиях. Одна из интереснейших поэтесс первой половины XX века. Она последовательно негативно оценивала Октябрьскую революцию. Без её произведений невозможна русская поэзия.

Стихи Гиппиус публикуются по тексту дореволюционных антологий, там они занимали достойное место.

Она

В своей бессовестной и жалкой

низости

Она, как пыль, сера, как прах земной. И умираю я от этой близости,

От неразрывности ее со мной.

Она шершавая, она колючая,

Она холодная, она змея.

Меня изранила противно-жгучая

Ее коленчатая чешуя.

О, если б острое почувал жало я!

Неповоротлива, тупа, тиха.

Такая тяжкая, такая вялая,

И нет к ней доступа — она глуха.

Своими кольцами она, упорная,

Ко мне ласкается, меня душа.

И эта мертвая, и эта черная,

И эта страшная — моя душа.

Не страшно быть одной, в тени, без сна,
И слышу, я, как шепчет тишина.
О тайнах красоты невоплощенной.
Лишь неразгаданным мечтанья полны.
Не жду и не хочу прихода дня.
Гармония неслышная таится.
В тенях, в нетрепетной заре... И
мнится:

Созвучий нерожденных вокруг меня
Поют и плещут жалобные волны.

Конец

Огонь под золоюсцышал незаметный,
Последняя искра, дрожа, угасала,
На небе весеннем заря догорала,
И был пред тобою я все безответней,
Я слушал без слов, как любовь
умирала.
Я ведал душой, навсегда покоренной,
Что слов я твоих не постигну случайных,
Как ты не поймешь моих радостей тайных,
И, чуждая вечно всему, что бездонно,
Зари в небесах не увидишь бескрайних.
Мне было не грустно, мне было не больно,
Я думал о том, как ты много хотела,
И мало свершила, и мало посмела;
Я думал о том, как душе моей больно,

О дом, что заря в небесах догорела,..

Сентиментальное стихотворение

Час одиночества укромный,
Снегов молчанье за окном,
Тепло... Цветы... Свет лампы темный —
— И письма старые кругом.
Бегут мгновения немые...
Дыханье слышу тишины... ,
И милы мне листы живые
Живой и нежной старины.
Истлело все, что было тленьем,
Осталась радость чистоты.
И я с глубоким умиленьем
Читаю бледные листы.
«Любовью, смерти неподвластной,
Люблю всегда, люблю навек»...
Искал победы не напрасно
Над смертью смелый человек.
Душа, быть может, разлюбила —
Что нам до мимолетних снов?
Хранит таинственная сила
Бессмертие рожденных слов.
Они когда-то прозвучали...
Пускай забыты все печали —
Словам, словам забвенья нет!
Теснятся буквы черным роем,

Неверность верную храня,
И чистотою, и покоем
От лжи их веет на меня.
Живите, звуков сочетанья,
И повторяйтесь без конца.
Вы, сердце смертного созданья,
Сильнее своего творца.

* * *

Летит мгновенье за мгновеньем,
Молчат снега и спят цветы...
И я смотрю с благоговеньем
На побледневшие листья.

Любовь — одна
Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет: любовь — одна.
Мы негодуем, иль играем,
Иль лжем, — но в сердце тишина.
Мы никогда не изменяем:
Душа одна — любовь одна.
Однообразно и пустынно
Однообразием сильна,
Проходит жизнь...
И в жизни длинной

Любовь одна, всегда одна.
Лишь в низменном — бесконечность,
Лишь в постоянном глубина.
И дальше путь, и ближе вечность,
И все ясней: любовь одна.
Любви мы платим нашей кровью,
Но верная душа — верна,
И любим мы одной любовью...
Любовь одна, как смерть одна.

Иди за мной

Полувядавших лилий аромат
Мои мечтанья легкие туманит.
Мне лилии о смерти говорят,
О времени, когда меня не станет.
Мир — успокоенной душе моей.
Ничто ее не радует, не ранит.
Не забывай моих последних дней,
Пойми меня, когда меня не станет.
Я знаю, друг, дорога не длинна,
И скоро тело бледное устанет.
Но ведаю: любовь, как смерть сильна,
Люби меня, когда меня не станет.
Мне чудится таинственный обет...
И, ведаю, он сердца не обманет, —
Забвения тебе в разлуке нет!
Иди за мной, когда меня не станет.

Только о себе

Мы, — робкие, — во власти всех мгновений.

Мы, — гордые, — рабы самих себя.

Мы веруем, — стыдясь своих прозрений,

И любим мы, — как будто не любя.

Мы, — скромные, — бесстыдно молчаливы.

Мы в радости боимся быть смешны,

И жалобно всегда самолюбивы,

И неизменно всегда раделены!

Мы думаем, что новый храм построим

Для новой, нам обещанной земли...

Но каждый дорожит своим покоем

И одиночеством в своей щели.

Мы, — тихие, — в себе стыдимся

Бога,

Надменные, — мы тлеем, не горя... О, страшная и рабская дорога!

О, мутная последняя заря!

«Комсомолец Киргизии», 1990, №49

НЕ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ

Сегодня уже трудно удивить кого-либо новым возрожденным литературным именем или произведением, пролежавшим под спудом десятилетий. Культурная не востребованность, как ни печально, символ современности. Внеисторичность художественного процесса второй половины 80-х годов, когда возвратились находящиеся в забвении «целые пласты» различных эпох отечественной словесности, привела сначала к эйфории всепоглощающего чтения, а затем к эстетической апатии. "Служенье муз не терпит суеты",- сказано не вчера. Приобщение к вечным ценностям - тоже. Поток нового, неизвестного не прекращается. И вдруг мы обнаруживаем, что он бывает и мутным. Неразборчивость в именах, когда рядом писатели и писатели, как бы смещает ориентиры, не позволяет расставить необходимые акценты. (А нужны ли они?!). И опять, «размахивая шашкой», одних, еще вчера классиков, «рубим», других - идеализируем. Ох, как еще далеко до объективного взгляда на творчество! Все впереди. Пока же время сбора тех камней, которые мы же и разбросали.

Михаил Петрович Арцыбашев (1878-1927) - "и этого раскопали!" - воскликнет умудренный читатель - известен по той скандальной славе, которой он обязан роману "Санин", названному порнографическим сразу после появления в печати (1907). Арцыбашеву приписывали и приписывают биологизм и нищиеанство, неонатурализм и реакционность. Во многом потому, что он "пытался развенчать саму идею социальной и моральной ответственности искусства" (Е.Е.Красовский, Арцыбашев. Русские писатели. Библиографический словарь. Т.1. М.; 1990, с.48).

Парадокс состоит в том, что Арцыбашев в своих произведениях постоянно изображает реальный мир социальных противоречий. Его угол зрения отличен от видения писателей-современников. "Арцыбашев со злым отвращением старается унижить человека, сбросить с того пьедестала, на который его поставил М.Горький". (Я. А.Назаренко. Арцыбашев. Литературная Энциклопедия. Т.1 М., 1929. Стр. 265). Но при этом в произведениях "представляет некоторый интерес своей яркостью красок импрессионистический пейзаж, проникнутый, однако, эротикой". (Там же).

Исследователи множество раз цитировали нравственную проповедь одного из героев Арцыбашева (Наумов." У последней черты"), ставя как бы знак равенства между автором и персонажем: "Я говорю вам о том, что раз и навсегда надо понять, что ни революции, ни какие бы то ни было формы правления, ни капитализм, ни социализм - ничто не дает счастья человеку, обреченному на вечные страдания. Что нам в нашем социальном строе, если смерть стоит у каждого за плечами, если мы уходим в тьму, если люди дорогие нам, умирают..., если мир прежде всего - огромное кладбище, которое мы зачем-то сторожим". Было бы наивно проецировать произведение десятых годов начала века на день сегодняшней. Только мысли о вечности и бренности присутствуют при рождении и окончании XX века.

Арцыбашев среди своих собратьев по перу стоит как бы особняком, и сегодня, среди всего возрожденного, он - один из тех, кто не вошел в общий "поминальный список", несмотря на то, что "после Октября он эмигрировал за границу, где стал одним из злейших врагов советской власти" (Я. А.Назаренко. Арцыбашев. Стр. 262).

Поверим А. Блоку, который писал: "Удивительно, что погружаясь в стихию революции, Арцыбашев начинает чувствовать природу, окружающие предметы, все мелочи - гораздо ярче и тоньше". И еще: "Санин" Арцыбашева... кажется мне самым замечательным произведением писателя. ...у него (Арцыбашева - А. К.) нет искусства и нет своего языка. Но здесь есть настоящий талант..." И последнее: "Вместо русского дворянства, появился новый господствующий класс, который... как бы его назвать? Назовем, пожалуй, класс фармацевтов... Да, все заполнили фармацевты, это для них мы пишем книги, это они запоем ругают и запоем читают "Санина" Арцыбашева..." (Александр Блок. Собр. соч., т.5. М.-Л., 1962, с.115, 228, 337).

До революции известны несколько изданий писателя: Собрание сочинений в 10 томах (1905-1917); Записки писателя в 3-х томах (1917). По пятому тому собрания сочинений печатаются рассказы прозаика, драматурга и публициста Михаила Петровича Арцыбашева, одного из тех писателей, кого нам предстоит вновь открыть.

Михаил Арцыбашев

Рассказ о великом знании

I

Был у меня один приятель, человек души уязвленной и ума иступленного.

Был он весьма талантлив и не так еще давно написал книгу, вызвавшую большой и даже необыкновенный шум. Многие узрели в нем пророка, многие безнравственного мерзавца и только некоторые — человека глубочайшей иронии. Вряд ли не я один понял, что книга эта (кстати сказать, характера мрачного и даже нигилистического в глубочайшем смысле этого слова) была просто криком сердца измученного, души изверившейся, разума, смеющегося над самим собою.

Я не вполне знаю его биографию. Известно только, что родился он где-то в захолустном городишке, в семье мелкого чиновника, детство провел болезненное и заброшенное, ибо матери лишился что-то очень рано и остался на руках няньки, совершенно простой бабы из солдаток, которая к тому же любила выпивать не в меру.

Каким образом у него появилось это непомерное, можно сказать, трагическое самолюбие и мечты о власти необычайной, сказать трудно, принимая во внимание наследственность мелкого чиновника, бедность, заброшенность и воспитание няньки, солдатки и пьяницы.

Не менее трудно определить, откуда явилась непобедимая пытливость ума; склонность к мечтаниям, незаурядная воля и талантливость натуры вообще.

Надо сознаться, что мы еще очень далеки от проникновения в подлинные тайны человеческого я.

Трудность же анализа даже для меня, человека... впрочем, это все равно... трудность анализа усугублялась тем, что он не любил и даже не умел рассказывать о себе. Как-то так

выходило, что во всем его детстве не было ничего замечательнее любви к дворовым собакам и первой книги, прочитанной им лет семи от роду, а именно — сочинений Марка Твена.

Несколько раз, правда, он рассказывал при мне один эпизод, случившийся в год смерти матери, когда ему было не больше двух лет, и рассказывал даже с большим удовольствием... Но я никак не мог понять, чем замечателен этот случай и какие выводы на нем можно построить.

Желая быть объективным, однако, эпизод этот воспроизведу, хотя, повторяю, не вижу в нем ничего достопримечательного.

Дело было так: в яркий солнечный день мальчик этот, двух лет от роду, сидел где-то на дворе и мыл в луже свои собственные штанишки; жил же в их дворе какой-то отставной и выживший из ума профессор, длинный и сухой немец, всегда ходивший в длиннейшем черном сюртуке; оный немец наткнулся на мальчика и спросил его:

— Что ты делаешь? Малшик, маленький малшик?

На это мальчик весьма рассудительно и солидно объяснил, что моет он свои штанишки, так как мамы у него нет, и если он сам о себе не заботится, то так и будет ходить в грязных штанишках.

Тогда немец тяжело вздохнул, кряхтя полез в задний карман своего бесконечного сюртука, вытащил длинный фуляровый красного цвета платок и приложил к глазам. Потом погладил мальчика по голове, сказал:

— Бедный малшик!

И отошел...

Вот и весь эпизод! И я, ей-Богу, не понимаю, какой может быть в нем особый смысл, чтобы рассказывать его с таким многозначительным наслаждением.

О последующей его жизни знаю уже совсем мало. Знаю только, что гимназии он не кончил, шалуном и драчуном был отъявленным, с явным стремлением вечно быть вождем, чем главным образом и объяснялись все его выходки, иногда для детского возраста даже и совсем нелепые.

Так, например, будучи в пятом, кажется, классе, идя однажды ночью по полю, усмотрел он огромную вывеску с надписью: место для свалки навоза. Немедленно отодрал он огромную доску от столба, с величайшим трудом притащил в город и прибил на воротах городского кладбища... Зачем?.. Неизвестно!..

По выходе из гимназии куда-то отправился учиться живописи, где-то голодал, едва не сделался шулером, зарабатывал на жизнь, рисуя увеличенные портреты и карикатуры в уличных листках, и вдруг неожиданно всплыл на верха литературы и весьма скоро стал известен у нас, а после своей пресловутой книги, с идеей которой я совершенно не согласен, прогремел даже и за границей.

Был он всегда меланхоличен и замкнут, хотя и высказывался весьма откровенно. Думаю, однако, что откровенность была только кажущаяся, а самое главное, без чего все остается ложью, он всегда таил.

Когда я с ним познакомился, был он в угаре увлечения женщинами. Был же он сладострастен несомненно. Глупые женщины льнули к нему со всех сторон, прельщенные его известностью и некоторой оригинальностью манер и внешности, и брал он их всех без разбора, даже до странности.

После нескольких лет форменного распутства вдруг объявился женоненавистником и даже стал жесток, хотя и не без странностей: явно презирая женщин, умилялся каждой милой женской черте, явно издеваясь над ними, был иногда излишне даже мягок и жалостлив до сентиментальности.

Впрочем, в этой сентиментальности было нечто, что наблюдается у закоренелых и хладнокровных убийц, которые, вырезав на своем веку десятки людей, вдруг сюсюкают над каким-нибудь слюнявым младенцем или шелудивым щенком.

Вот и все, что я могу сказать о нем.

К тому же времени, от которого хочу начать рассказ о его странном и страшном конце, вдруг явилась у него потребность одиночества, и, уехав в глухую провинцию, поселился он в уединенной барской усадьбе, в которой даже и мебели порядочной не было.

Туда-то по некоторым обстоятельствам, о которых, как о не идущих к делу, распространяться не буду, приехал к нему и я.

II

Усадьба была окружена глухим сосновым лесом, в котором еще сохранились следы бывшего когда-то парка и кое-где еще попадались разбитые амурсы и Венеры без носов.

По ночам во тьме, когда начинали шуметь сосны и казалось, что обезображенные Венеры и амурсы движутся в темноте, бывало прямо-таки жутко.

Комнаты были обширны, но обставлены самыми плачевными остатками мебели, так что в зале, например, стоял всего-навсего один древнейший зеленый штофный диван, из которого крысы повытаскивали всю набивку и который иногда даже безо всякой видимой причины начинал звенеть всеми своими многочисленными пружинами.

Спали мы в разных концах дома, перед сном же обычно сходились в столовой, ужинали и спорили о вопросах чисто философских, причем он заявлял себя реалистом чистой воды, хотя тайн и не отрицал и узок не был. Материалистом я бы его не назвал, ибо материалист ограничен и все знает, и все объясняет, а он допускал неограниченность тайн и возможность невозможнейшего.

Думаю, что могу прямо перейти к той непонятной ночи, которую попытаюсь объяснить только в конце, а пока предоставлю принимать, как угодно.

Перед этим несколько дней он был очень задумчив и раздражителен, а в этот вечер мы много спорили и, между прочим, коснулись вопроса об удивлении. Я утверждал, что ничему удивляться не могу, ибо и самое невозможное возможно, и что бы я ни узнал и ни увидел, хотя бы и самого черта, приму как факт, доселе мне не известный, но вытекший из законов, несомненно существующих.

Вот тут-то меня поразила его улыбка. Он улыбнулся так, как будто ловил меня на слове.

— Итак, вы ничему не способны удивиться?

— Конечно!

— Но в таком случае вы и ужаснуться не можете?

— Да. Я могу испугаться явной опасности, но не непонятного, как бы ни было оно странно.

Тогда он закивал головой с явным, но совершенно не понятным мне в ту минуту удовольствием и как-то уж очень скоро распрощался и ушел к себе.

Я лег на кровать одетый, начал было читать, но незаметно уснул, забыв даже погасить лампу.

Спал я, должно быть, недолго и проснулся от неопределенного ощущения какого-то беспокойства.

Когда я открыл глаза, он стоял в ногах моей кровати и, заметив, что я не сплю, сказал:

— Я хотел попросить вас встать и пойти со мною.

Я встал, несколько встревожившись: от такого человека можно было ожидать всевозможных неожиданностей. К тому же лицо его меня поразило.

Было оно чрезвычайно бледно, с синими кругами под глазами, но в то же время странно восторженно. Почему-то мне пришло в голову, что такое замученное и восторженное лицо должно быть у какого-нибудь алхимика, до смертельной усталости просидевшего всю жизнь над труднейшими и опаснейшими изысканиями, когда вдруг видит он, что вслед за последним усилием уже близко величайшее и вожделенное открытие.

Я тотчас же встал и последовал за ним, мгновенно почему-то решив ничего не спрашивать и приготовиться ко всему.

III

Еще из коридора увидел я, что дверь в зал, обычно темный, освещена странным зеленоватым светом.

— Что это значит? — невольно вырвалось у меня, но он не ответил и поспешно прошел вперед.

Я вошел за ним.

И вот тут-то увидел я нечто весьма странное и даже совершенно непонятное.

Весь этот пустой и унылый зал был освещен мутным зеленым и как бы студенистым светом от высоких четырех подсвечников, стоящих по всем углам.

В их свете было нечто противное, мертвое и даже как бы разлагающееся. Взглянув на его лицо, я заметил, что и оно, благодаря освещению, приняло вид трупа. Помню, что с отвращением необъяснимым подумал, что, вероятно, и у меня такое же лицо.

Однако, почему-то не говоря ни слова, я сел на зеленый диван, едва не чихнув от поднявшейся пыли и невольно вздрогнув от жалобного звона всех его проржавевших пружин.

Какое-то странное раздражение охватило меня. Мне вдруг стало все противно, ненужно и совершенно нелепо. Но в то же время не хотелось ничего говорить и спрашивать, и, с величайшим омерзением стиснув зубы, я решил сидеть и молчать, какие бы глупости ни вздумал он выкинуть.

О своих личных дальнейших ощущениях ничего не могу сказать определенного, ибо и помню все смутно. В последующее время у меня было такое ощущение, как у человека, который, проснувшись, помнит, что видел какой-то скверный и страшный сон, но совершенно не может вспомнить, что именно.

Я передам только то, что видел, прибавив, что помню отлично, как чувство невыносимого отвращения не оставляло меня все время, иногда доходя даже до положительной тошноты.

Как только я сел и замолкли застонавшие пружины, он встал посреди зала и поднял руку, как бы призывая к вниманию. Жест показался мне театральным и противным, как и все остальное, но лицо его я рассмотрел хорошо: оно было полно восторга неизъяснимого, близкого к безумию, и глаза его блестели лихорадочно.

И как только он поднял руку, сейчас же ярче вспыхнул зеленый свет, и заметил я, что как бы малые зеленые огоньки пробежали вдоль его поднятой руки. Мне послышалось, что сосны кругом дома зашумели усиленно и жалобно, как бы предостерегая.

И вместе с тем увидел я, что в углу, за каждым светильником появилось нечто... Было это неопределенно, подобно туманным фигурам весьма высоким и тощим, но колебалось, как водоросли в воде, и расплывалось во все стороны.

И я услышал его голос, восторженный, надорванный напряжением невероятным:

— Я готов!

В ту же минуту заметил я, что на подоконнике огромного, наглухо запертого венецианского окна что-то появилось.

Сосны зашумели еще протяжнее и жалобнее.

На окне сидело нечто чрезвычайно неопределенное... Как бы огромное студенистое и зеленоватое брюхо, с весьма отчетливо видимым пупком. Ясно был виден этот пупок и жирные складки, свисавшие с подоконника. Но выше едва намечалось, то выступая, то совсем выпадая, некое лицо. Черт его я не мог разобрать, несмотря на все усилия. К тому же тошнота поднялась к самому горлу и, помню, я с большим спокойствием подумал:

«Надо бы касторки принять!»

Между тем зеленый свет то разгорался, то погасал; зеленые тени по углам за светильниками колебались, растягивались, выступали и пропадали; то ярче, то призрачнее намечалось огромное надутое чрево на окне. Временами оно блестело от жира и было мясисто, временами делалось как бы прозрачно и сквозь него ясно были видны переплеты окна. Сосны шумели, и слышно было, как старая ель под самым окном мучительно скрипела.

Я ровно ничего не понимал. Тишина стояла в пустом зале мертвая. Но в то же время каким-то внутренним слухом в глубоком молчании воспринимал я как бы разговор двух голосов.

И вдруг понял, что присутствую при церемонии продажи души черту и что отвратительное брюхо на окне и есть черт.

Помню, что я не удивился, не испугался, принял это, как нечто самое естественное и возможное. Но сознание какой-то страшной роковой ошибки, полной ненужности и отвращения стало даже как бы нестерпимой грустью.

— Ты хочешь знать? — спрашивал некто, как бы из всех углов. Но великое знание умножает скорбь, и печаль — удел мудрого!

— Знаю... хочу! — отвечал человеческий голос, восторженный и отчаянный.

Светильники вспыхнули ярче, брюхо на окне выступило отчетливо, голо и нагло, лоснясь от жира.

— Ты не вынесешь всезнания, ты — человек! — повторил голос.

— Знаю, хочу! — ответил другой среди полного безмолвия еще иступленнее.

Сосны зашумели как бы с воплем и стенанием.

— Ты погибнешь! — сказала тишина.

— Знаю... хочу! — в третий раз услышал я голос, и это был уже не тот голос: это был мертвенный, как бы смертельно усталый шепот. Глубочайшее равнодушие звучало в нем.

Ярко вспыхнули светильники; над тенями в углах выглянули какие-то отвратительные ужасные лица; голо и страшно выступило на подоконнике массивное чрево, сотрясшееся от смеха. И над ним на одно мгновение показалось лицо красоты поразительной, блеска нестерпимого. Мне почудилось, что было это лицо прекраснейшей из женщин в соблазнительной и страшной красоте...

Я вскочил, сам не зная почему... Мне еще показалось, что прекрасное сладострастное лицо женщины выразило скорбь неутолимую и жалость почти любовную.

Но вдруг мрак и тишина охватили меня.

Молча, с душой потрясенной, я ощупью выбрался из зала. Ужас бессмыслия стоял за моей спиной.

В комнате моей по-прежнему горела лампа. Подушка была измята моей головой, книга лежала поверх одеяла. Все было так просто, обычно и мило. Я бросился лицом вниз на кровать и почувствовал, что тоска рвет мое сердце. Мгновенно лицо мое стало мокро. Я плакал, рвал на себе волосы, бился лицом о подушку... Я чувствовал, что Нечто великое умерло сейчас, и я не могу никогда, никогда поправить какой-то ужасной ошибки...

IV

Я проснулся поздно и не мог понять, что со мной. Проснулся одетый, с сознанием чего-то ужасного, но не мог осознать, сон или явь было то, что я видел ночью.

Кое-как умывшись, я вышел на террасу.

День был бледный и пасмурный. Небо было бело и неприветливо. Холодный ветер гнал между соснами мелкую сухую пыль и кружил прошлогодними листьями. Странная пустота и тишина были вокруг.

Страшное сознание полного одиночества в мертвом пустом лесу охватило меня. Я крикнул его имя и испугался собственного голоса. Он прозвучал слабо, и никто не ответил ему. Впервые я почувствовал так ясно, что громаден и безграничен мир, и я один — пылинка, которую ветер кружит среди мертвых сосен.

В страшной тоске я сбежал с крыльца и бросился искать. Я стучал по соснам, кричал, звал, ругался, просил... Я готов был плакать, чтобы только показалось живое лицо.

И вдруг увидел его.

Он шел среди сосен и смотрел прямо на меня, Я как-то не заметил, был ли он одет или наг, я видел только как бы идущее по воздуху отделенное от всего мира его лицо.

Я бросился к нему и стал в ужасе.

Мертвое, совершенно остекленевшее лицо бледно и медленно проплыло мимо меня. Еще увидел я его глаза: в них было мертвое равнодушие... Ни тоски, ни страха, ни боли, ни отчаяния, ни одного человеческого чувства не было в их прозрачной, как бы всевидящей и ничего не отражающей глубине. Они показались мне совершенно пустыми, эти человеческие глаза!

Он прошел мимо и скрылся среди сосен. Я остался на месте в тупом и бледном забытьи. Сосны высоко стояли кругом, ветер крутил мелкую сухую пыль и листочки прошлогодней травы. Белое небо слепо и равнодушно стояло высоко вверху, недостижимое и пустое.

И вдруг страшное бешенство охватило меня. Я весь затрясся.

«Он знает все!» — вдруг нелепо пронеслось у меня в голове, и ужас этого всезнания оледенил меня. Я почувствовал, что должен бежать, должен во что бы то ни стало найти его, убить, уничтожить, растоптать ногами, как ядовитую гадину.

В ярости и дрожи ужаса я сорвался с места и побежал. Я бегал среди сосен, за домом, в поле, пробежал все комнаты, через зал, где унылым звоном откликнулись на мой иступленный бег все пружины старого дивана... Я рыскал, как зверь, как сумасшедший, и думал в бешенстве только о том, что я не найду его, и он останется жить... Он, с этими пустыми глазами!

Помню, что пробегая через свою комнату, я бессознательно схватил тяжелый стальной штатив от своего фотографического аппарата.

И я нашел его....

За сарайчиком для дров было у нас отхожее место...

Простая, неглубокая зловонная яма, через которую была перекинута доска...

Он был там: он стал на колени, прилег грудью на край ямы и погрузил голову в зловонные нечистоты...

Он был совершенно мертв!

V

Конечно... Все это был сон!.. Но он действительно покончил жизнь таким странным и непристойным образом. Он даже и здесь, очевидно, стремился к своеобразной оригинальности!

Теперь вспоминая его, я вижу ясно, что это был деспот, свою прекрасную душу и громадный ум отдавший в жертву неутолимому стремлению к мировой власти!

И к тому же, как все деспоты, он был позер, гнавшийся даже в последнюю минуту за исключительной оригинальностью!

Все же ночное я видел во сне. Его навеял мне наш последний разговор и та инстинктивная тоска, которую чувствует все живое при приближении смерти, которая заставляет собак выть перед покойником.

Несомненно, что в эту ночь он обдумывал свое самоубийство, а я чувствовал это.

Чем была вызвана его позорная, малодушная смерть?.. Не знаю... Возможно, в конце концов, что он был просто ненормален.

Странности в нем всегда замечались.

«Литературный Кыргызстан», 1991, №12

День смеха немыслим без сатиры. Смеясь, мы не только расстаемся со своим прошлым, но и отдаем дань сатирикам, которые подготовили это расставание. Может быть, не случайно, именно в день смеха родился великий сатирик Н. В. Гоголь! И сколько еще сатириков обязаны своим рождением дню смеха, даже если родились они задолго до его возникновения! А может быть, это просто предрассудок, что 1 апреля — день смеха! Почему надо смеяться нормативно и дозирование только 24 часа в году! А если — до! А если — после! И вообще, над кем смеемся!

Среди многочисленных имен литераторов- сатириков — имя Тэффи (1876—1952) стоит в одном ряду с А. Аверченко, А. Буховым и другими. Одаренный прозаик и поэт, она была широко известна читателям журнала «Сатирикон», выходявшего в начале века, сотрудничала с которым с момента его основания. Сатирические и юмористические рассказы и стихи, фельетоны, разделы в коллективных изданиях (как, например, «Всемирная история, обработанная «Сатириконом») — все это неполный перечень написанного Тэффи (псевдоним свой Надежда Александровна Бучинская почерпнула у Р. Киплинга).

Тэффи отдает дань и высмеиванию предрассудков, ее юмор и сатира направлены против «просвещенного варварства» — веры в потусторонний мир, гадания, столоверчения и пр., и пр., чего и сегодня в конце XX века с избытком хватает. Так, может быть, не будет предрассудком в день смеха представить один из рассказов Тэффи о силе предрассудков!

Н. А Тэффи

ПОТУСТОРОННЕЕ

Были вчера вечером у Ложкиных. Договорились до таких страстей, что потом жутко было в метро лезть. И то правда, как подумаешь, -- под землю в полночь! Это в Париже все как-то незаметно выходит, потому что по-французски, а если бы устроить метро где-нибудь в Тиму или Малоархангельске, так уж наверное в нем завелись бы покойники.

Мы, русские, вообще народ мистически настроенный, но в частности мадам Ложкина превзошла всякую меру. Сама позовет в гости, а придешь, она ноздри раздует, глаза закатит:

-- У меня, -- говорит, -- было предчувствие, что вы ко мне сегодня придете.

Муж у нее человек грубоватый.

-- Сама же, -- говорит, -- позвала, чего же тут чувствовать-то?

У женщин вообще, я считаю, натура тоньше. И действительно, в мадам Ложкиной этой самой мистики ужасно много. Вчера рассказывала удивительные случаи.

-- У меня, -- говорит, -- необычайная сила внушения на расстоянии. Сколько раз проверяла. У мужа, знаете, преотвратительная память, -- что ни поручить, все забудет. А я очень люблю пряники, и всегда его прошу купить к чаю. И вот иногда перед чаем начинаю ему мысленно внушать: "Не забудь пряники, не забудь пряники". И представьте себе, ведь иногда покупает.

Это, действительно, поразительно, -- такая сила!

Олечка Бакина, оказывается, тоже не без силы. Была она влюблена в одного актера, и каждый вечер внушала ему: "Встань, выйди из дому и иди ко мне". И он, говорит, действительно всегда вставал и шел. Прямо удивительно.

Шел он, положим, не к Олечке, а к Марье Михайловне, но все-таки половину внушения исполнял, то есть вставал и из дому выходил. Ну разве это не чудо?

Прямо завидно! Почему у меня никакой такой силы нет?

От разговора о внушении перешли к спиритизму и загробной жизни. Был в нашей компании как раз один специалист по спиритизму. Рассказывал массу интересного. У него у самого такая медиумическая сила, что стоит ему за стол сесть, как моментально дух тут как тут. Специалист, конечно, сначала спрашивает:

-- Дух, если ты здесь, стукни один раз. Если тебя нет, стукни два раза.

И представьте, тот моментально все честно отстукивает.

-- Ну, а спрашивали вы у них, у духов-то, о загробной жизни?

-- Не успевал-с. Потому что они меня сразу начинали колотить твердыми предметами по темени. При этом как-то неудобно предлагать вопросы. Одно могу вывести, что, вероятно, у них там характеры очень портятся. Потому что такие злющие являются, что иногда прямо даже неудобно. Очень уж ругаются. И что удивительнее всего -- всегда по-русски. Видно, там получают возможность владеть всеми языками. Явилась раз душа Офелии. Ну и душа! И откуда она такие выражения подцепила, -- видно, Гамлет научил. Н-да, грубоватые они все там делаются, быт, видно, такой простецкий.

-- Вот бы узнать, как у них там!

А мадам Ложкина говорит:

-- А вдруг у них там тоже гостиная, столовая, передняя, спальня и кабинет. И тоже в гости ходят, и изволь им печенье покупать.

Последнее замечание было, по-моему, нетактично, так как мы же у нее в гостях сидели. А Олечка подхватила:

-- А одеваются, может быть, моднее нашего.

-- А чем же, -- говорю, -- эту грубость разговора объяснить?

Спирит выразил мнение, что это, вероятно, сказывается влияние среды. Что на том свете люди объединяются не по признаку хороших манер, а по своим духовным качествам. Может быть, душа какой-нибудь добродетельной девицы из высшего общества в течение многих веков находится в компании раскаявшихся разбойников с большой дороги. Может быть, души-то их и очень высоки в духовной оценке, а все-таки то, что называется на языке эстетов "финтифлю", у них, конечно, отсутствует. И общаются они между собою по-простецки. Ну вот, девицына душа и впитывает в себя эти простецкие эманации, и если заглянет случайно на спиритический сеанс, то, конечно, и выявляется в словесной форме разбойничьего тона.

А мадам Ложкина нашла, что это было бы несправедливо, если бы так перемешивали людей различных кругов общества. Конечно, в смысле манер, если какой-нибудь праведник ел рыбу ножом, -- это неважно, потому что на том свете ни рыбы, ни ножа нет, но сама душа у человека благовоспитанного должна очень шокироваться и страдать от близости праведника дурного тона.

А Олечка стала протестовать в том смысле, что это только в светской жизни важна бонтонность, а, например, у нас при большевиках случилось, что и бывшие фрейлины водили компанию с бывшими прачками и прямо жили душа в душу.

Тут опять хозяйка ввязалась в разговор.

-- Так ведь это, -- говорит, -- при большевиках. Так сказать, в аду, а мы говорим про райское народонаселение и социальный строй блаженства. А какое же блаженство при наличии таких дефектов?

Потом разговор потек по своему руслу дальше, в дебри, и сам Ложкин высказал удивительнейшую мысль.

-- Не замечали ли вы, -- сказал он, -- как часто то, что считалось предрассудком и заблуждением темного разума, неожиданно освещается наукой и признается ею за правильное и достоверное? Вот, например, лечили деревенские старухи рожу тем, что очерчивали воспаленное место мелом. Люди интеллигентные, конечно, издевались над бабьей ерундой, а затем бактериолог какой-то взял да и разъяснил, что бабы-то очень правильно дело-то разумели, что бактерии рожи не могут переходить через меловое препятствие, так как мел, по природе своей, им неблагоприятен. И многое, что казалось пустяком и над чем смеялись, оказалось правильным. Так вот иногда приходит мне в голову, -- а ну как земля-то вовсе не шар, а блин, и держится она на трех китах, а внизу ад, и черти на сковородках грешников жарят? Подумайте только, какой конфуз для образованного человека, который всю жизнь губы кривил по всем правилам скепсиса и анализа, и умер, "погружаясь в великое Ничто", и вдруг -- пожалуйста-с сковородку лизать, и самый настоящий черт зеленого цвета, изрыгая хулу и серный дух, будет ему подкладывать угольков под пятки. Вот уж это действительно был бы настоящий ад! А срам-то какой для человеческой гордыни! Вот тебе и скепсис, вот тебе и наука! И все эти Галилеи и Коперники -- все по сковородкам рассажены и жарятся за распространение ложных слухов.

Тут уж и я ввязалась в разговор.

-- Это, -- говорю, действительно, очень страшно -- то, что вы рассказываете. Но есть во всем этом нечто утешительное, что делает этот наивный ад местом не столь уж отвратительным. А именно то, что в аду этом предполагается для каждого грешника особая сковорода. Я одобряю это не в смысле комфорта или гигиены, а имея в виду, что при этом для них недопустимо взаимное общение. Хотя с точки зрения грешника это, может быть, большой дефект и пушная мука.

-- Темно говорите, не понимаю, -- прервал меня хозяин.

-- А я это в том смысле, что лишены они возможности друг другу гадости делать. Тяжело ведь это, а?

Все опустили головы и замолчали.

Страшны, страшны муки адовы!

Сладка земная жизнь!

«Вечерний Фрунзе», 1987, 31/3

ТАЙНЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ШИФРА

Поэзия всегда загадочна. Каждое новое обращение к хорошо известным стихам приносит их новое прочтение, пусть маленькое, но открытие нюансов многогранности образной мысли автора.

Насколько развит поэтический слух читателя, настолько глубоко воспринимается созданное поэтом. История литературы знает немало примеров того, когда через десятилетия постигался глубинный смысл поэтического произведения.

Искусство акrostиха уходит в седую древность. Известны имена поэтов разных времен и народов — непревзойденных мастеров поэтической графики.

В советское время на страницах периодики не раз появлялись акrostихи различного содержания. В «Поэтическом словаре» А Квятковского имеются сведения о некоторых из них: «... в газете «Правда» от 13 декабря 1922 г. было помещено за подписью «Рабочий До» стихотворение-А., где начальные буквы составляют фразу «Подпишись на «Правду». В кооперативном журнале «Город и деревня» за 1924 год (№ 11—13) помещен рекламный А., в котором начальные буквы стиха составляют фразу: «Принимается подписка на «Город и деревня». (А. Квятковский, Поэтический словарь, М, 1966, с. 15.)

Акrostихи не только содержат в себе зашифрованные слова или выражения. Они нередко помогают глубже понять смысл стихотворного произведения в целом, Приведем несколько примеров, когда то, что было понятно читателям-современникам, в последующем забывалось.

Имя Н. П. Огарева хорошо известно как имя выдающегося деятеля русского освободительного движения, талантливого публициста и поэта, В 1956 году в Большой серии «Библиотеки поэта» были опубликованы его «Стихотворения и поэмы». В разделе «Дружеские послания, стихотворения на случай и стихотворные шутки», помещенном в «Приложении», напечатано шутивное послание друзьям «Вот Новый год — а я больной»:

Вот Новый год — а я больной,

И заперт дома, как пустынный,

Вчера был Боткин именинник,

А я был с болюю зубной.

Там все поэты ликовали...

Здесь пять начальных букв первых строк стихотворения составляют слово

В

И

В

А

Т — дополнительное приветствие, которое шлет Огарев друзьям, встретившим Новый год без него. Но можно предположить, что «виват» является своеобразной скрытой иронией, дополняющей общий тон послания. «Виват (Ура!), что в Новый год я был не с вами».

Комментаторы произведения этого акростиха не увидели.

Среди деятелей русской культуры, важное место принадлежит ученому-филологу и поэту В. К. Шилейко, человеку, без остатка посвятившему себя изучению египтологии. Многие письменные памятники древности были не только расшифрованы им, но и переданы в форме, адекватной их реальному бытованию.

В многоаспектной статье Т. Шилейко «Легенды, мифы и стихи...» («Новый мир», 1986, № 4) раскрывается один из талантов этого энциклопедически образованного ученого, чьему перу принадлежали работы, имеющие непреходящее значение и в наши дни. Здесь же приводятся высказывания о В. Шилейко людей, близко знавших его. А. Ахматова вспоминала о совместной жизни с ним: «...он безо всего мог обходиться, но только не без чая и без курева. Еду мы варили редко — нечего было и не в чем...».

Цитируя поэтические произведения В. Шилейко, автор статьи в «Новом мире» пишет: «Без стихов, без поэзии Шилейко не мог жить. Всю жизнь у него была потребность не только самому переживать красоту слова, красоту мысли и чувства, но и делиться этими сокровищами с другими, близкими людьми».

Среди других в статье приводится одно из шести стихотворений, опубликованных в конце 1918 — начале 1919 года в журнале «Сирена», в то самое время, о котором вспоминала А. Ахматова:

Над мраком смерти обоюдной

Есть говор памяти времен,

Есть рокот славы правосудной,

Могучий гул; но дремлет он

Не в ослепленьи броней медных,

А в синем сумраке гробниц,

Не в клетоте знамен победных,

А в слабом шелесте страниц.

Здесь кредо поэта, который «мог бы стоять в единственной очереди — в очереди в библиотеку», выражено как в прямой форме: «говор памяти времен» — «в слабом шелесте страниц», так и в акростихе, который составляют первые буквы строк:

Н

Е

Е

М

Н

А

Н

А

Не ем нана. Нан (нон) — в тюркских языках — хлеб. Значит — не ем хлеба.

В данном случае передана характерная черта эпохи времени создания стихотворения.

Прочтение акrostиха помогает понять то, что автор зашифровывает для близких и далеких читателей.

«Вопросы литературы», 1986, №10

Забитые страницы пушкинианы

Советские журналы 20-х годов о Пушкине

О Пушкине написаны горы статей, книг, стихов... О Пушкине еще будет написано. Этой фразой могла начинаться статья уже в конце XIX века. Но и сегодня появляются все новые публикации (беллетристические, литературоведческие), посвященные поэту. О современности Пушкина пишут все. Это стало общим местом. Но мысль о непреходящем значении Пушкина его личности и творчества подтверждается вновь и вновь художественной практикой нашего времени.

Каждое поколение писателей и читателей находит в Пушкине то главное, что составляет сумму черт безграничного понятия — культура.

Пушкину нельзя подражать. Можно только пытаться понять его в связи, со своим временем. Поэтому в переломные моменты истории взоры обращаются к нему...

Не будет преувеличением, что проблема «традиций-новаторства», в начале 20-х годов была одной из самых острых. Виднейшие художники слова стремились осознать в бурное время перемен значение и роль Пушкина в культурном преобразовании многонациональной России. Об этом свидетельствует творчество Н. Маяковского, в котором Пушкину отведено едва ли не наибольшее место. С именем Пушкина связана художественная эволюция В. Маяковского. И не только его. Вслед за М. Цветаевой каждый, из литераторов может сказать: «Мой Пушкин».

Старые пожелтевшие, ломкие от времени страницы периодики 20-х годов доносят атмосферу полемики о путях развития революционного искусства.

Отношение деятелей культуры к классическому наследию нередко связывается в те годы с отношением к Пушкину. Он не укладывается в новомодные схемы, разрывает пути традиций. Не случайно Маяковский полемически отторгает свою любовь к Поэту от традиционного обожания пушкинистов.

Пушкин во всем новатор. С его вечной молодостью и вечной непокорностью связано отношение к нему как к современнику. Гениальному современнику. Это чувствуется и в высказываниях писателей 20-х годов. Они были опубликованы в дни празднования 125-летия со дня рождения поэта в пушкинском номере журнала «Ленинград» (1924, № 11 (27), 6 июня) подборке «Ленинградские писатели об А. С. Пушкине». Высказывания эти интересны как любопытный документ времени, свидетельство революционной молодости советской литературы. Различны жизненный опыт писателей, их художественные воззрения— но одина любовь к Пушкину.

МИХ. ЗОЩЕНКО

Пушкин для меня замечательнейший писатель и умнейшей человек.

Для Современности Пушкин явление не ахти какое: гражданин он плохой и доблестных заслуг перед революцией у него нету.

В современном плане это звучит убийственно. И современники таких не одобряют.

Впрочем, Пушкина можно причислить к героям труда. И тогда снова и по прежнему доброе имя Пушкина выглядит торжественно и неплохо.

НИК. НИКИТИН

Пушкин — литературный бунтовщик.

Все мы любим Пушкина. Никто не напишет: не люблю Пушкина. Пушкин закончил свою революцию. А все, кто пишет «люблю» не ушли за ПУШКИНА, не закончили, не перешагнули. И стоит Пушкин — маленький| «кудрявый, один, что курган на всю степь.»

А современности не знаю что...

Разве ежели ее спросят: «как у вас с культурой» — все же может ответить: — «У нас был Пушкин!»

Единственно, что хорошо, если бы читатели и писатели, да и не только они, а вообще все, почаще бы напоминали друг другу о Пушкине. Не было бы многих конфузов.

Е. ПОЛОНСКАЯ

Пушкин для меня учебник и постоянный источник радости.

Так, я думаю, должен чувствовать каждый читающий Пушкина.

Для современности Пушкин еще слишком ясен и легок. Лет через 10—15 он будет самым современным и модным поэтом; ему начнут подражать.

АННА РАДЛОВА

Пушкин современен и на все времена каноничен. Для меня он веселый, гениальный и великодушный учитель и друг.

ИЛЬЯ САДОФЬЕВ

Пушкин для меня, прежде всего, яркий пример непрерывного творческого беспокойства, организующего посредством слова, как поэтическое материала, в стройную систему каждое движение, каждый шорох жизненных явлений.

Пушкин, как поэт, вечный бунт и одновременно могучее организующее начало.

Пушкин — сумма русской культуры и живительный источник русской общественности. В этом смысле Пушкин и глубоко национален, и в то же время: международен.

Для современности Пушкин самый монументальный памятник всепобеждающей человеческой мысли, человеческой творческой воли, памятник искусства, которым гордятся все трудящиеся массы, завоевавшие свое право на жизнь и на свободное творчество.

Р. С. Стихотворцы, штампующие Пушкина не чувствуют, не понимают и не любят Пушкина. Ибо Пушкин не статика, а динамика, Пушкин не кухня, где ютятся приживалки, а упорная творческая работа на жизненном пути. Пушкин неповторим. Пушкин и эпитонство, особенно паразитизм — несовместимы. Читая память Пушкина без продвижения вперед, без преодоления созданного даже Пушкиным — просто преступно.

МИХ. СЛОНИМСКИЙ

Пушкин для меня — единственный в русской литературе создатель цельных и сильных характеров: именно в этом, мне кажется, особая его ценность для нашего времени.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Поэзия Пушкина для меня — как пенье птиц в роще, как песни ветра, как шум волн. Это голоса любви, печали, это ясные слезы и беззлобное лукавство. Поэзия Пушкина пульсирует в сердце человека. Читать и любить Пушкина значит - прислушаться к тому, как юность поет в твоей крови, наперекор всем будням, всем понедельникам на свете. Пушкин вне революции, вне борьбы, вне ударов молота о наковальню. Пушкин — это праздник человека. Пушкин больше чем национален. Пушкин это ощущение языческого, истинно аттического бытия.

Н. ТИХОНОВ

Пушкин является для меня лично образцом поэта-революционера, который, опрокидывая в один день весь строй царствующей литературной традиции, сам закрепляет линию, не каменеет в ней.

Современники называли его Прометеем. Постоянная борьба за многообразие и новизну форм. Он пишет о «Полтаве»: «В ней все почти оригинально», а мы из-за этого только и бьемся.

«Успех или неуспех моей трагедии, — говорит он о «Борисе Годунове» — будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы».

Его отношение к материалу, совершенно сродни нашему времени. «Вся: «Лалла-Рук» (поэма англ. поэта Мура) не стоила 10 строчек «Тристама Шенди»; пора ему иметь свое собственное воображение и крепостные (т. е. крепкие) вымыслы», — разве не из-за того же бьемся мы: чтобы система была преобразована, чтобы воображение было собственным, а стих — оригинальным.

Ямб «Медного всадника» живет сейчас, как сегодняшний. «футуристические» особенности Пушкина: пропуск предлогов, гиперболизм, игра звуковыми повторами, комические и составные рифмы, прозаизмы и неологизмы его — совершенно действительны и оказывают несомненное влияние на текущий поэтический материал.

Что же касается ощущения его массами, — мне кажется, Пушкин, за исключением устаревшей или ставшей только исторической части его, представляет самый широкий интерес, и путь рабочего или крестьянина, медленно идущего к поэзии сегодняшнего дня, несомненно лежит через кого-нибудь другого.

КОНСТ. ФЕДИН

Мне было семь лет, когда мать повела меня на площадь, где я редко бывал, далеко от дома. Эта площадь казалась мне тогда бесконечной. Я| нашел ее заперуженной большими людьми, за их спинами я ничего не видел| Тогда мать подняла меня на руки и показала пальцем, куда смотреть.

—Это кто? — спросил я.

—Это Пушкин, — ответила мать.

Я был поражен, что одного человека, да и то не настоящего, а железного, пришлось смотреть так много людей.

С тех пор прошло двадцать пять лет, а слово «Пушкин» по-прежнему вызывает во мне недоумение. Я узнал о многих великих людях, но Пушкин стоит где-то в стороне от них. Я, может быть, мог бы сказать о том, чем являются для меня другие гении. Но сказать что-нибудь о Пушкине я не могу: это совсем особенное имя.

ВЯЧ. ШИШКОВ

Имя Пушкина так велико, что о нем написано горы. Что ж, кроме общих мест, можно сказать в несколько строках?

Пушкин нам дорог тем, что свершал свой жизненный путь неуклонно лицом вперед, редко оглядываясь на прошлое, которое тащилось за ним, как хвост кометы. Он революционер духа. Он над жизнью. Жизнь вознесла его на вершину человеческих достижений, и, пока жив русский язык, будет жить и Пушкин.

«Литературный Киргизстан», 1987, №1

ЖИВЫЕ ГЕРОИ

20-е годы не случайно вошли в историю советской литературы как время творческого эксперимента. Споры о художественном творчестве заполняли страницы периодики, выявляя диаметрально противоположные точки зрения представителей различных творческих групп и группировок.

Творчество ДА. Фурманова во многом отражает это бурное время. Его жизненный опыт получает - художественное воплощение. Дневник, который Фурманов вел постоянно, свидетельствует, что от документально – автобиографического повествования, он надеялся перейти к чисто художественному. Смерть прервала его творческие устремления.

«Мятеж» — представляет Восток в конкретике работы группы Уполномоченного РВС Туркестанского фронта в Семиречье. Где исторические события проходили по иным законам, нежели в России, где установление Советской власти имело свои особенности.

В архиве писателя сохранились различные исторические материалы, переосмысленные в процессе творческой работы. По ним и по биографиям реальных людей, ставших героями произведения, восстанавливается то далекое время, реконструируется ход принципов освоения событий.

За каждой страницей «Мятежа» - различные документальные источники. В процессе работы автор досконально изучил разнообразную военно-историческую, экономическую, этнографическую литературу. Известно, что при написании «Мятежа», среди других документальных книг был проработан «Краткий очерк возникновения и развития басмачества в Фергане по данным к 1-му марта 1922 г.» (М.: Изд. Разведуправления штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 1922), который хранится в материалах Фурманова в рукописном отделе Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. Он был издан в количестве 22 экземпляров под грифом «Секретно». В набросках и планах к «Мятежу» очерк упоминается как «кн. о басмачах»¹.

В «Кратком очерке» отразились различные взгляды его авторов на басмаческое движение. Сама структура книги давала возможность проследить истоки возникновения басмачества, его противоречивые стороны. «Краткий очерк» состоял из следующих глав, последовательно описывающих историю басмачества и этапы борьбы с ним: «Географическое положение и характер поверхности. 2. Административное деление. 3. Население, племена, их быт и взаимоотношения. 4. Возникновение и история развития басмачества. 5. Современное состояние басмаческих отрядов».

В набросках к «Мятежу» Фурманов составляет план-конспект этой брошюры, точнее страниц, рассказывающих об особенностях борьбы Советской власти с басмачами: «Возникновение басмачества (14 стр.). Иргаш (15). Конец 1918г. Май 1919 г. и Монстров — командарм Крестьянской армии (18). Монстров с басмачами. Май 1920: Хал-Ходжа убивает Мадаминбека (23)»² и «Положение и Фергане к Маю 1920 г. Мадамин перешел, идет договаривается и с Курширматом в долину Исфайрам, где его тот и захватывает. Басмачи могущественны, обучены, организованы. (Кн. о басмачах, стр. 23)»³.

Фурманов использует «Краткий очерк» в «Мятеже», когда рассказывает о ташкентском периоде жизни, контрасте между внешним спокойствием и напряженной работой Реввоенсовета и Политотдела Туркестанского фронта: «Глухая, забаяканная, ленивая тишь. По улицам в мертвом городе мертвый покой. А в каменном доме за широкими столами, у карт стенных, у столиков, где стрекочут неугомонные морзе, в глухой шифрвалке—таинственные имена: Иргаш, Мадамин, Хал-Хаджа, Курширмат...

От разбойников нет покоя многострадальной Фергане. И в другом краю, на далеком Семиреченском фронте, где под Копалом сдалась белая армия,— грозные ядерные остатки битой армии с Анненковым, со Щербаковым скачут в Китай... Им надо отрезать путь, нагнать, уничтожить, убить последнюю возможность возврата тяжелой боевой страды»⁴.

Фурманову предстояло возглавить группу политработников, отправляющуюся в Семиречье. «Мы завтра ранним утром покидаем Ташкент. Уезжаем в Семиречье, в Верный. На заманчивую, неведомую работу. Неизменный Василь Василич прихлопывает нам оранжевой печатью семимильные мандаты. Я на свой улыбнулся не раз: тут целая программа в сто параграфов, устав, весь мой символ веры. «Если, — подумал я, — все выполнять, что сказано в этом мандате, — сроку надо никак не меньше двести годов. Это вот так мандатец: с таким и в воде не утонешь, в огне не сгоришь», (с. 8).

И хотя Фурманов подшучивает над текстом мандата, в нем действительно была дана целая программа действий, которая поручалась группе Уполномоченного РВС Туркестанского фронта в Семиречье.

Мандат этот писатель бережно сохранил и использовал среди других документов при написании романа. Вот как он выглядел:

«Революционный военный Совет

Туркестанского фронта

15 марта 1920 г.

№ 1763

д. Армия

Мандат

Предъявитель сего тов. Фурманов является Уполномоченным Революционного Военного Совета Туркестанского фронта в Семиречье.

Тов. Фурманову поручается ознакомиться с действующими в Семиречье полевыми и тыловыми войсками и учреждениями и отдача в случае надобности распоряжений имени РВС Туркестана.

На тов. Фурманова возлагается обязанность наблюдения за выполнением приказов РВС за № 31 и 39 и формирование частей.

Тов. Фурманов уполномочивается своими распоряжениями и назначениями поставить на должную высоту работу Политических отделов и всех политических органов и Военкоматов.

Тов. Фурманову предоставляется право смещения и перемещения должностных лиц по своему усмотрению.

Все распоряжения тов. Фурманова должны выполняться как приказания РВС Туркфронта, причем о всех отданных распоряжениях тов. Фурманов обязан немедленно доводить до сведения РВС, а в особо важных случаях и спрашивать его предварительного согласия.

Тов. Фурманову предоставляется право беспрепятственного пользования прямым проводом, телеграфом, телефоном и всеми прочими средствами- связи.

При служебных поездках по шоссейным и железным дорогам тов. Фурманову должны предоставляться администрацией сих путей подводы и места в штабных, делегатских и прочих служебных вагонах.

Все военные и гражданские учреждения должны оказывать тов. Фурманову безусловное содействие.

В. КУЙБЫШЕВ»5

Текст мандата свидетельствовал и о той огромной работе, которая предстояла в Семиречье. Задача упрощалась тем, что по словам Фурманова: «Ребята со мною ехали, что называется, «на все руки» — специалисты по всем, отраслям: тут были и мастера — организаторы и военные инструктора, агитаторы-пропагандисты, лектора, руководители партийных школ, газетчики, трибунальщики, театралы и прочая» (с. 14).

Если проследить, какие должности занимали в Ташкенте члены группы Уполномоченного РВС Туркестанского фронта, то можно с уверенностью сказать, что это были в большинстве своем опытные политработники: «Никитченко — заведующий информационным отделом политотдела Туркфронта; Фурманова — зав. театрально-музыкальной секцией; Линденбаум — инспектор-инструктор; Альтшуллер — инспектор-инструктор; Колосов — секретарь культпросвета; Рубанчик — инструктор по театрам; Муратов — пом. зав. инструктора отдела» и другие.

Биография каждого из них — пример беззаветного служения революции.

Вот как писатель характеризует, например, Никитченко: «...У Никитченки под стеклышком, словно огоньки далекой деревушки, ровным, немигающим светом лучатся покойные круглые зрачки... Глядишь на него, и представляется: попадет он в плен какому-

нибудь белому офицерскому батальону, станут, сукины сыны, его четвертовать, станут шкуру сдирать, а он посмотрит кратко и молвит:

— Осторожней... Тише... Можно и без драки шкуру снять...» (с. 85).

Журналист М. Дубинский в статье, название которой дали фурмановские строчки из «Мятежа» «А огоньки все горят...» восстановил этапы жизни Ионы Тимофеевича Никитченко: «Родился он в 1895 году в семье безземельного крестьянина-бедняка. С тринадцати лет начал самостоятельную жизнь. Поначалу работал мальчиком в землемерных партиях, затем на шахтах Донбасса. В свободное время учился. В 1916 году вступил в ряды Коммунистической партии.

И вот первое боевое задание — принять участие в создании подпольной Красной гвардии в Новочеркасске. А несколько позже — и первое боевое крещение. В декабре 1918 года политработник И. Т. Никитченко участвовал в боях с белогвардейцами на Восточном фронте. Там же Иона Тимофеевич встретился с Фурмановым. А когда Фурманова назначили начальником политуправления Туркестанского фронта, Никитченко изъявил желание поехать с ним в Ташкент»⁶.

За несколько дней до Варненского мятежа Фурманов направляет Никитченко на работу в военный трибунал. «Фурманов почти никогда не приказывал. Он старался убедить, причем на конкретных примерах. Так было и на сей раз. Никитченко пошел работать в трибунал. Так определилась его судьба. Позже он работал в военном трибунале Семиреченской группы войск, а затем - в Фергане, Ташкенте, в Москве. Вечерами учился на юридическом факультете Московского университета.

В дни Отечественной войны Никитченко И. Т. находится на фронте, работал в Верховном суде СССР. В июне 1945 года участвовал в разработке лондонского соглашения четырех союзных держав о суде над главными фашистскими преступниками, представлял Советский Союз на Нюрнбергском процессе»⁷.

Борис Полевой в книге «Эти четыре года. Из записок военного корреспондента» вспоминал: «Но не менее колоритной фигурой в Трибунале является и советский представитель — член Международного Военного Трибунала — Иона Тимофеевич Никитченко. Для нашего брата журналиста он почти недоступен, однако, судя по тому, что мы о нем вызнали, это интересная личность. О том, что происходит на закрытых заседаниях Трибунала, до нас доходят лишь смутные слухи. Тем не менее помощник советского прокурора Лев Шейнин рассказывает нам о Никитченко как о человеке, в котором счастливо синтезировались отличное знание законов и непоколебимое спокойствие, не покидающее Иону Тимофеевича ни при каких обстоятельствах. Он был военным юристом еще в годы гражданской войны. Всеволод Вишневецкий, обладающий удивительной памятью, говорит, что знал его еще в ту пору и что и тогда он славился среди бойцов своей справедливостью. Всеволод Витальевич утверждает даже, что об этих чертах судьбы Никитченко писал когда-то Дмитрий Фурманов в своей книге «Мятеж»⁸.

Известный в Киргизии литературовед М. А. Рудов многие годы посвятил исследованию творчества Фурманова. В его личном архиве сохранилась переписка с Лидией Августовной Отмар-Штейн, входившей в группу Уполномоченного РВС Туркестанского фронта в Семиречье — «общей любимицей», по словам Фурманова,

которой в «Мятеже» посвящены следующие строки: «Вот девочка Лидочка, восемнадцатилетний несмышлениш — кристально-чистая и наивная, как дитя... Потом вместе с нами и она прошла трудный путь, вынесла и выдержала испытания тех дней, когда смерть стучала нам по вискам, — Лидочка в эти дни была в городе и буре восстанья вместе с нами...» (с. 10).

Письма И. Т. Никитченко к ней Лидия Августовна переслала М. А. Рудову. Вот выдержки из них: «Листал статью в «Огоньке» и смотрел снимок. Фотография напоминала давно минувшие времена и образы друзей, многих из которых, к великому огорчению, нет с нами. Фурманова я всегда вспоминаю с чувством глубокого уважения к нему и его удивительной способности пламенно гореть и увлекать за собой на борьбу за дело, которому он был безгранично предан» (4 марта 1958 года).

А вот другое письмо от 25 марта 1959 года: «Ваше письмо напомнило мне безвозвратно ушедшие времена, о которых с удовольствием и некоторой грустью вспоминаю... О событиях и лицах тех времен сохранились в памяти отрывочные воспоминания, которые сейчас вряд ли можно было бы привести в какую-то систему. Записей в свое время, к сожалению, никаких не вел. Ничего не писал и не пишу до сих пор, даже о Фурманове, о котором осталось самое теплое воспоминание как о кристально чистом и до самозабвения преданном делу народа человеку, по одной причине — считаю себя неспособным и неприспособленным для этого».

А вот письмо, свидетельствующее о том, как члены группы Фурманова заботились о восстановлении первоначального варианта «Мятежа», изданного при жизни писателя: «Сегодня звонил из главной Военной прокуратуры полковник Савинич, который собирает справки о всех, кто упоминается Фурмановым в «Мятеже» и чьи фамилии А. Н. (Анна Никитична Фурманова — А. К.) заменила другими или выбросила... Если будете иметь отношение восстановлению первоначального текста, надо добиваться, чтобы печатали без изъятий и в той же редакции, как было издано при жизни автора. Никитченко».

В книге «Эти четыре года» Б. Полевой пишет: «Мы больше заботимся о том, что написать, а не как и не когда. И рано или поздно всем нам, советским журналистам, придется учиться давать репортажи, как это умел делать Михаил Кольцов. Как это умеют делать в своей сфере Иван Рябов, Алексей Колосов, Борис Галин...»10.

Колосов тоже входил в группу Уполномоченного, «был едва ли не самым юным из всех», «создал отличные партийные курсы и руководил ими до самых трудных дней, до мятежа, да и после того — не сразу выбрался из Семиречья» (с. 86).

Родился он в 1897 году, принимал активное участие в революционных событиях. В 1917 году становится депутатом Сызранского уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В 1918 году вступает в Коммунистическую партию. В Сызрани редактирует газету, заведует уездным отделом народного образования. Знакомится в эти годы с К. Фединым. А. И. Колосов стал прототипом одного из героев фединского романа «Города и годы» — Семена Ивановича Голосова. О нем писатель вспоминал впоследствии в мемуарном очерке «Сызранский эпизод».

В Туркестане А. И. Колосов с 1919 года. Сначала — секретарь культпросвета политотдела Туркфронта, затем вместе с Фурмановым в Семиречье, а позже в 1921—1922

гг. работает заведующим театральным отделом Наркомпроса, сотрудником военно-редакционного совета Туркестанского фронта, редактором журнала «Театр и искусство»¹¹, заведующим отделом печати в представительстве Туркестанской республики, секретарем журнала «Путь МОПРа», разъездным корреспондентом «Известий», а с 1928 года и до конца жизни (1956 г.) — в газете «Правда».

А. И. Колосов — не только один из прототипов «Мятежа», его очерк «Кулацкий мятеж» стал одним из документальных источников романа.¹²

К теме гражданской войны в Средней Азии и Казахстане Колосов обращается в разные годы. В 1923 году на страницах журнала «Красная нива» печатается его рассказ «Кулацкий октябрь». В основу образа главного героя летчика Петровского автором была положена действительная история зверски убитого летчика Шаврова. О ней же расскажет сначала в дневнике и документальном очерке, а затем в «Мятеже» Дмитрий Фурманов.

Вот как показана смерть Петровского Колосовым: «В двух шагах от Петровского — Калашников. Пьян. В глазах — звериное:

—Товарищи! Мой зачин!..

Петровский зажмурил глаза.....»¹³.

В очерке «Дело летчика Шаврова» Дм. Фурманов писал: «Вчера закончился суд по делу убийства летчика Шаврова.

Прошлый год в июне месяце его растерзала в селе Абакумовском разнузданная красноармейская масса. Этой массой руководили бандиты, составившие тогда свой особый Военно-Полевой суд, который и приговорил Шаврова к расстрелу. Но до места расстрела его не довели — толпа расправилась с ним преждевременно».

И «Мятеже» трагическую историю летчика Шаврова Фурманов описал так: «Подошла и уже проходила весна девятнадцатого года. Этой весной прилетел в Семиречье летчик Шавров. Он прилетел из Ташкента. Летел над Курдаем, торопился скорее в центр области, был наслышан о грозных опасностях, о трудном положении; не хватало терпенья гнать на почтовых, — летел, горел нетерпеливым, страстным ожиданием окунуться в кипящую семиреченскую действительность. И как только прилетел, увидев разноряд, первым делом заключил (умный был человек), заключил, что объединить в одно целое части можно только в живом, быстром действии...

Создал Шавров Реввоенсовет фронта.

Перестроил Шавров отряды в полки, придал частям законченную стройность, привел в единый вид, торопился вышибить самостийный хулиганский дух, заменить его сознательным отношением к делу, суровой, крепкой дисциплиной. Начал смело, уверенно, объявляя повсюду свежую мысль, обнажая крутую, железную волю. Да не рассчитал. Забылся. Не учел того, что не с рабочими, не с беднотой крестьянской имеет дело, а с крепкими, сытыми мужичками, которые все еще держатся за таких подлецов, как Николай Калашников, которые в трудную минуту скорей его поддержат, а не тебя, железный летчик Шавров.

В самом деле — Калашников взбунтовал:

—Что за ревсоветы? Долой их, к черту! Что за полки! Не позволю отряд мой перестраивать в полк...

Когда узнал про гнусную калашниковскую агитацию, живо, раз-два, послал конвой, арестовал Калашникова, посадил под замок. ...Банда Калашникова освободила, дала ему возможность бежать в Абакумовское... И через несколько минут конная ватага скакала на Копал, где в ту пору остановился Шавров. Домчалась. Ворвалась нежданная. Захватила летчика, поволокла с собой в Абакумовку.

...И здесь же на площади кинулся зверем Калашников, первый разбил бледное суровое лицо Шаврова.

Дальше было, что бывает всегда: сначала колотилось в судорогах о камни мостовой, извивалось в предсмертных конвульсиях окровавленное, избитое тело, а когда было смято в комок и уж пропала зверская охота бить его, пинать, колотить прикладом — оттащили в сторону, к колодцу, спихнули туда, словно падаль в зловонную яму, и долго еще бросали вниз камень, видимо боясь, чтобы не ожило это с кровью и землей растоптанное человеческое тело.

Так погиб летчик Шавров.

Мужественный, умный, смелый строитель» (с. 117—119).

Фурманов знал о Шаврове не только по процессу над убийцами летчика и другим документам. Одним из исторических источников романа явилась обширная работа «Семиречье 1917—1920 гг.», в которой отразились и события, связанные с расправой над Шавровым. Автором этой работы, видимо, был Иван Панфилович Белов — начальник 3-й Туркестанской стрелковой дивизии, с которым Фурманов познакомился уже в Верном¹⁵.

Белов прошел большой и трудный путь. В дни Верненского мятежа он принимал активное участие в его подавлении, был рядом с Фурмановым. Мужественность сочеталась в этом человеке со скромностью. Не случайно автор «Мятежа» отмечал: «Белов, например, скромн настолько, что постыдится фамилию свою назвать даже в любом, величайшем деле, хотя бы роль его там была исключительная».

После Октябрьской революции И. П. Белов участвует в формировании первых красноармейских отрядов в Ташкенте, затем он на Бухарском фронте. В начале 1918 года Белов — начальник Ташкентского гарнизона и комендант Ташкентской крепости. Он сыграл не последнюю роль в подавлении контрреволюционного мятежа, вспыхнувшего в Ташкенте в январе 1919 года. «В марте 1919 г. Белов был принят в большевистскую партию. Белов становится членом РВС Туркестана и главкомом Туркеспублики. Реввоенсовет и главком руководили всей многогранной борьбой на фронтах Туркестана до прихода сюда войск Туркфронта под командованием М. В. Фрунзе. Затем РВС Туркфронта назначает Белова — одного из опытейших командиров Туркестана — начальником 3-й Туркестанской стрелковой дивизии, расположенной в Семиречье, где шла борьба с белогвардейцами генерала Анненкова.

Заключительным этапом деятельности Белова в Средней Азии было его участие под руководством М. В. Фрунзе в военных операциях против войск бухарского эмира в августе-сентябре 1920 г.»¹⁶.

За боевую деятельность в годы гражданской войны И. П. Белов был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Бухарской звезды, именными золотыми часами и почетным оружием.

Впоследствии он командовал войсками Северо-Кавказского, Ленинградского, Московского и Белорусского военных округов и внес существенный вклад в укрепление обороноспособности страны. В 1935 году ему было присвоено звание командира 1 ранга.

Маршал Жуков вспоминал: «В 1937 году командующим Белорусским военным округом был назначен И. П. Белов. Осенью 1937 года им были умело проведены окружные маневры, на которых в качестве гостей присутствовали генералы и офицеры немецкого генерального штаба. За маневрами наблюдали нарком обороны К. Е. Ворошилов и начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников»¹⁸.

Биография И.П. Белова типична для человека, сформировавшегося в эпоху революционных событий. Не случайно он явился прототипом одного из главных героев «Мятежа».

В Семиречье 20-х годов рядом с Уполномоченным РВС Туркестанского фронта были люди для которых Семиречье и, шире, Туркестан стали важной отправной точкой в их биографиях,

События, участником которых стал Фурманов, не только принесли ему новые знания как политработнику, но через годы, художественно переосмысленный, предстали на страницах «Мятежа».

Примечания:

1 ИМЛИ (Институт мировой литературы им. А М Горького), П. 62. 2014.

2 ИМЛИ. П. 62. 2053.

3 ИМЛИ. П. 62. 2014.

4 Фурманов Д. Мятеж: роман. — Собр. соч. в 4 тт. — М.: ГИХЛ, 1960, т. 2, с. 7—8. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках — страницы.

5 Рукописный отдел музея Вооруженных Сил СССР 16149

6 Дубинский М. «А огоньки все горят...». — Правда Востока, 1961, 4 марта.

7 Дубинский М. Указ статья.

8 Борис Полевой. Эти четыре года. Из записок военного корреспондента М.: Молодая гвардия, 1974. Т. 2, с. 529.

9 Свои воспоминания И. Т. Никитченко впервые опубликовал еще до Великой Отечественной войны. 15 марта 1941 года на страницах «Казахстанской правды» появилась его статья «В дни мятежа. (Воспоминания очевидца)».

10 Борис Полевой. Эти четыре года, с. 418.

11 Подробнее об этом в статье: Б. Геронимус. Литературные журналы Советского Туркестана. — Звезда Востока, 1971, № 4, с. 173—182.

12 См.: Р у д о в М. Открытие темы. — В кн.: М. Рудов. Звенья открытий Литературно-критические статьи. — Фрунзе: Кыргызстан, 1970, с. 80.

13 Колосов А. Кулацкий октябрь. — Красная нива, 1923, № 16, (22 апреля), с.10.

14 Рукописный отдел государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

Ф. Фурм., XIII, 22.

15 См. об этом: М.А. Р у д о в. «Доклад Белова» (К истории создания «Мятежа» Дм. Фурманова). — Русская литература, 1967, № 2, с. 148—152; М. Р у д о в. Уполномоченный партии. (О деятельности Дм. Фурманова в Семиречье). — Фрунзе: Мектеп, 1967.

16 Военно-исторический журнал, 1963, № 3, с. 63.

В 1926 и 1936 гг. в газете «Красная звезда» появятся воспоминания Белова о Фурманове¹⁷.

17 См. об этом: Р у д о в М. А. «Доклад Белова», с. 152.

18 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления. — М.: Изд-во АПН, 1969, -с. 148.

«Литературный Киргизстан», 1986, №1

НЕНАПИСАННЫЙ ТРИЛЛЕР

Учебник для чиновника

Каждая эпоха не только оставляет свой след в истории, но и старается понять, а то и переписать то, что происходило раньше. Сколько «историоведческой посуды» перебито, чтобы дать однозначный ответ: кто он - Иван Грозный, Петр Первый, Иосиф Сталин, например.

В истории Кыргызстана немало фактов, трактуемых подчас неоднозначно и противоположно. Ну о тех же басмачах. Кто они? «Бандиты», как оценивали их в советское время, «движение сопротивления против колонизации, советизации», как начали утверждать в период перестройки? Однозначного ответа и сейчас нет. И, видимо, быть не может.

Тем интереснее, что и как писали в первые годы советской власти, когда создавалась и собиралась литература, связанная с национальным самосознанием, религиозными приоритетами, социальным протестом.

В дореволюционные годы издавались и книги, посвященные «местным условиям». Они были необходимы, чтобы избежать ненужных конфликтов между чиновниками и населением, чтобы первые понимали, где они работают и с кем имеют дело.

Вот некоторые из таких «Коран и прогресс. По поводу умственного пробуждения современных российских мусульман», «Мусульманский Мистик и искатель бога. X-XI века по Р.Х. (Странички из великого прошлого Закаспийского края)» и, конечно, многотомное издание «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Под редакцией В.П. Семенова». Кстати, 18-й том посвящался Киргизскому краю, а 19-й - Туркестанскому.

Видимо, по аналогии или при политической необходимости в советское время также издавалась литература, знакомящая со своеобразием менталитета и особенностями краеведения тех или других национальных анклавов.

О, лихолетье...

Любопытна глава книги «Современное состояние басмаческих отрядов». Вот конспект, описывающий людей и события, которые в литературе так и не стали сюжетом триллера.

«(...) В результате колонизации у коренного населения отобраны лучшие культурные земли со всеми оросительными системами, между тем как за ханами и беками (туземной буржуазией) царская власть закрепила все их земли в полную собственность. Все это создало почву для прогрессивного роста крупных и сильных хозяйств, чем и воспользовалась туземная буржуазия, обладавшая к тому времени капиталом, инвентарем и семенами.

Особенно ухудшилось положение кочевого населения от произвола чиновников переселенческого управления в вопросе отчуждения принадлежавших кочевникам земель. Отсутствие твердого земельного закона создавало у кочевников неуверенность в завтрашнем дне, вынуждая их существовать под вечной угрозой отчуждения участков, на которых они привыкли издавна кочевать. Медленно, но неуклонно накапливалась ненависть к угнетателям в низах трудовой бедноты, положение которой стало почти невыносимым в течение войны 1914-1918 гг. Когда в 1916 году в Туркестане была объявлена мобилизация туземцев для отправки на фронты для тыловых работ, вспыхнуло восстание. Военские части и русские крестьяне-переселенцы подавили его с исключительной жестокостью. Скот, домашний скарб и другие предметы несложного хозяйства восставших перешли в руки усмирителей. Значительная часть бедноты была таким образом обречена на голодную смерть».

...и смута

«Октябрьская революция положение не изменила. Русское переселенческое крестьянство, заявившее о признании советской власти, поняло ее принципы совершенно своеобразно и поддерживало ее лишь до тех пор, пока декреты и распоряжения не задевали его шкурных интересов. Великолепно усвоив принципы реквизиции и конфискации, крестьяне отбирали у туземцев не только землю но и скот, что в некоторых областях Туркестана (Семиречье) привело к вооруженной борьбе. Но как только советская власть попыталась провести декреты, направленные против деревенского кулачества, все крестьянство сразу показало свое подлинное отношение к власти. На эти декреты деревня ответила джалалабадским восстанием 1919 года и семиреченскими беспорядками 1920 года. Обыватели упорно не признавали новой власти и не выполняли ее распоряжений».

Герои - антигерои?

«Иргаш быстро увеличил свои отряды, организовал их и стал совершать набеги и грабежи в пределах Кокандского уезда. Постепенно вся власть в уезде, за исключением народа и железной дороги, перешла в руки Иргаша. Советский власти фактически не существовало. Иргаш чувствовал себя полным хозяином положения. Каждому курбаши его отряда был отведен определенный район, в котором шайка кормилась за счет местного населения, относившегося к басмачам сочувственно. В конце 1918 года в западной части Ферганской области появляется новый главарь басмачей - Мадамин Бек, состоявший на советской службе в Маргелане на должности начальника милиции и бежавший оттуда с десятком бывших при нем милиционеров. Нападая на мелкие посты милиционеров и красноармейцев и обезоруживая их, Мадамин быстро увеличил свой отряд и вскоре после своего выступления, присоединился к Иргашу, стоявшему в то время под Кокандом. (...) В

результате тренировок в мае 1919 года между ними произошло вооруженное столкновение и Иргаш окончательно отделился от Мадамина. От решительного поражения Иргаша спасло наступление наших частей против Мадамина. Можно полагать, что это обстоятельство сыграло решающую роль в признании Иргашем советской власти. (...)

Вся шайка Мадамин Бека имела организованный характер и делилась на ряд отрядов под командой курбашей; некоторые из них оперируют в Фергане и по настоящее время. Главными его помощниками были: Сали-Максум, Махкам-Ходжа и Ширмат (Курширмат, т.е. кривой - слепой на один глаз). Кроме того, в подчинении Мадамина находился также курбаши Хал-Хаджа с отрядом в 400 человек из отчаянных головорезов, конокрадов и грабителей».

Про Монстрова и басмачей

Константин Иванович Монстров - фигура реальная. С 5 мая 1919 года - командующий Крестьянской армией. Из хуторян селения Бугры Андижанского уезда. На военной службе в царской армии не состоял, при организации КА назначен помощником секретаря штаба затем заведующим мобилизационным отделом и помощником начальника штаба и, наконец, избран командующим.

Еще из архива. «После нашей неудачной операции под Горбуа 3-5 декабря 1919 года инициатива действий осталась в руках басмачей и они предприняли ряд дерзких налетов, не вызвавших с нашей стороны серьезного отпора. Такая обстановка существовала приблизительно до половины января 1920 года. В половине февраля Мадамин Бек, видя бесполезность сопротивления, уже пытался вступить с нами в переговоры. (...) В результате переговоров Мадамин Бек признал советскую власть и 6 марта 1920 года заключил с нами договор. Одновременно с Мадамином на нашу сторону в Наманганском уезде перешел Рахманкул, но через полтора месяца он снова изменил нам. 8 марта в Ош прибыли сдавшиеся нам шайки Хал-Ходжи и Юлчи. Но и переходе к нам Мадамин Бека, ушел от нас 13 марта после неудачной попытки обезоружить его.

(...) Такое положение существовало до половины мая, когда Мадамин Бек был командирован в долину реки Исфайрам для заключения договора с Курширматом о переходе его на сторону советской власти. Но в момент торжественной встречи нашего отряда с ним в Уч-Кургане Курширмат произвел вероломное нападение на наш гарнизон, захватил в плен Мадамина и прервал переговоры. Это еще раз показало совершенную непримиримость Курширмата по отношению к советской власти.»

От автора. Вот так в первые послереволюционные годы представлялась история басмачества, переродившегося из освободительного в контрреволюционное движение, ставшее важной вехой в формировании кыргызской диаспоры.

И глупо было бы, разрушая ленинские монументы сегодня, воздвигать памятники руководителям повстанческих отрядов. Но знать, кем были, чего хотели и к чему стремились прашуры, не только необходимо, но и интересно.

Использованы материалы из архивов Института мировой литературы имени Горького и музея Вооруженных сил СССР (РФ).

**ДМ. ФУРМАНОВ О МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ**

Революция и гражданская война явились неисчерпаемым источником для советской литературы. Известно, что овладение и осмысление жизненного материала шло взаимосвязанно в документальных и художественных жанрах. Это наложило соответствующий отпечаток на весь литературный процесс первой половины 20-х годов. Для литературы этого периода особенно характерно бурное развитие различного рода воспоминаний и мемуаров, которое было вызвано в первую очередь тем, что, по определению К. Федина, «множество людей взялось за перо после войны и революции, побуждаемое... потребностью осмыслить жизненный опыт, хотя редко сознавая природу своих побуждений, особенно при столкновении с высокими требованиями искусства»¹. Критика уже в начале 20-х годов констатировала: «Мы стоим у истока реки, которая обещает быть многоводной,— реки воспоминаний... Уже в настоящее время (начало 1921 года.—А. К.) мемуарная литература о Великой Русской революции может быть исчислена десятками книг и брошюр»².

Фурманов, занимаясь литературным трудом, постоянно интересовался различными документальными книгами, посвященными гражданской войне. Откликаясь на выход в свет хрестоматии «Гражданская война в художественной прозе», он подчеркивал, указывая на просчеты составителей книги: «...не использован вовсе материал, писанный «белой» стороной...»³. Сам скрупулезно анализировал книги разных авторов, утверждая, что «исторические очерки — не повести, не рассказы; тут вымысла, нет договоренностей или перебарщивания быть не должно»⁴. Обращает на себя внимание предисловие Дм. Фурманова к вышедшей в 1924 году книге бывшего врангелевского генерала Я. Слащова, в котором характеризуется личность Слащова, его деятельность в Крыму, рассмотрена политическая позиция генерала и в связи с этим — место его книги среди различных документальных работ о гражданской войне.

Фурманова интересует факт осознания одним из видных руководителей белого движения своей исторической вины и процесс духовного перерождения человека под воздействием революции. Писатель обращает особое внимание на эти вопросы в своем предисловии, предваряющем книгу Слащова «Крым в 1920 г.». Написанию этого предисловия предшествовала одна из самых крупных рецензий Фурманова «Краткий обзор литературы (непериодической). О гражданской войне (1918—1920 гг.)», где среди

других материалов по истории этого периода писатель разобрал книгу Слащова «Требуя суда общества и гласности (Оборона и сдача Крыма). Мемуары и документы» (Константинополь, 1921). Эту работу Фурманов охарактеризовал «горемычно злобной исповедью», в которой автор «ядовитой слюной обиженного карьериста плюет... в лицо барону (Врангелю.— А. К.), своему недавнему повелителю», но, наряду с этим, подчеркивал, что в ней «имеются всяческие донесения, рапорты, проекты и соображения, цифровые данные по разным вопросам, различные таблицы...», что «по книжке Слащова мы можем видеть, какой степени достигло к тому времени разложение среди врангелевского офицерства, как оно трусливо и недостойно держалось даже за такими неприступными укреплениями, какими считались Перекопские»⁶. В этой же статье Фурманов, анализируя различные работы о гражданской войне, обращает внимание на тот факт, что «История Красной гвардии», хотя бы в самом сжатом виде, еще не написана. А писать ее надо теперь же, пока живы участники; без них, да без материалов — документов, что будет за история?». «В гражданской войне не может быть бутафорского, мишурного блеска — она проходит в условиях нищеты, жестокости и всех тяжких спутников решительной схватки двух борющихся на смерть классов»⁷.

Писатель отмечает прямую зависимость между политическими заблуждениями и нравственной ущербностью белогвардейцев. С этих позиций он анализирует в предисловии к книге Слащова различные воспоминания, написанные теми, кто сражался в Крыму. Фурманов в сжатой форме излагает свои мысли по поводу данных работ, которые более подробно он разбирает в специальных рецензиях, появившихся в 1923—1924 годах. Так, вместе с рассматриваемой в предисловии книгой Г. Раковского «Конец белых»⁸ писатель рецензирует его работу «В стане белых»⁹, — при чтении их, по его словам, «проникаешься уверенностью в неизбежности гибели белой армии»¹⁰. А об упоминаемых в предисловии воспоминаниях Г. В. Немировича-Данченко Фурманов в одной из своих рецензий писал: «Книжка Немировича, это — очередное вздыхание белогвардейского писателя о постигших Россию несчастьях, в виде организации советского строя, изгнания буржуазии с командующих высот и т. д. и т. д. ...Невыносимо скучны эти талантливые писатели и бесталанные политики, когда они с ребяческой смелостью подходят к разрешению исторических проблем, не уясняя ни на грош основы дела... Что ему (Немировичу-Данченко. — А. К.) действительно удалось — так это описание панического бегства и погрузки на суда». И как вывод: «О книжке много говорить не следует — нового она ничего не дает, а всем известное пережевывает с тошнотворной скукой»¹¹. Подобным работам Фурманов противопоставляет такие, как, например, сборник «Антанта и Врангель», который он высоко оценил, потому что: «Десять статей, вошедших в этот сборник, дают полное и разностороннее представление о том, чем был Крым в 1920 году». «В нашей небогатой литературе о врангелевщине он (сборник. — А. К.) сразу занимает видное место. Популярное изложение превращает его из специальной исследовательской работы — в книжку для широкого распространения»¹².

Как показывают данные примеры, Фурманов подходит к документальной литературе 20-х годов с тщательностью историка и страстностью публициста. Предисловие к книге Слащова вобрало в себя основные положения, сформулированные Фурмановым в различных рецензиях этого периода. Кроме того, высказанные в предисловии замечания Фурманова о сильных и слабых сторонах воспоминаний Слащова выходят за рамки отдельной книги и с полным основанием могут быть отнесены к мемуарному жанру в целом. Сравнение же различных рецензий с предисловием к книге «Крым в 1920 г.» дает картину того, как Фурманов исподволь собирал и осмысливал материал по истории

гражданской войны, который в дальнейшем думал использовать в работе над незавершенной «Эпопеей гражданской войны».

Особое внимание в своем предисловии Фурманов обращает на то, «что два года работы у нас, в Красной Армии, не прошли для него (Слащова. — А. К.) даром, а работа над уничтожением своего политического невежества только яснее развернула перед ним весь ужас его мрачной деятельности в борьбе с Советской властью»¹³. Об этом подробно писал во введении к своей книге и сам Слащов: «В настоящее время в печати появляется много мемуаров, исследований и статей о событиях 1918—1920 годов, когда русский народ переживал великую драму гражданской войны. Многие из авторов облачают себя в беспристрастную тогу историка, претендуя на абсолютную верность своих взглядов и суждений. Лично я на это не претендую. Человек, переживший бурный период, беспристрастно его описывать не может. На всем его изложении ляжет отпечаток его личных воззрений и впечатлений. Поэтому я, приступая к своим запискам, заранее предупреждаю читателей, что все изложенное будет пропитано моими настроениями и моей идеологией, потерпевшей страшный излом за это бурное время.

В изложении фактов, конечно, я буду придерживаться полной правдивости, но освещение их будет носить следы моей прежней идеологии, изжить которую мне удалось лишь в самое последнее время, когда у меня открылись глаза и я понял многое, чего не понимал во время переживания излагаемых событий»¹⁴.

Известно, что личность Слащова в ее трагическом восприятии получила художественное воплощение в пьесе М. Булгакова «Бег» (Слащов явился прототипом Романа Хлудова), а его книга «Крым в 1920 г.» стала одним из документальных источников произведения¹⁵.

Оценка личности Слащова у обоих писателей во многом близка.

Предисловие Фурманова дает материал для сравнения, и не только с «Бегом», но и с произведениями других писателей о гражданской войне, такими, как, например, «Падение Дайра» А. Малышкина и т. д.

После того, как предисловие Фурманова было впервые напечатано в книге Слащова, оно не вошло ни в один сборник, ни в одно собрание сочинений писателя, хотя и сегодня читается с интересом, еще раз подтверждая, что Фурманов, по словам А. Серафимовича, «был одним и тем же и в партийной работе, и в гражданском бою, и с пером в руке за письменным столом». Ниже мы публикуем это предисловие.

«Прежде чем говорить о самой книжке, пару слов скажем о ее авторе.

Слащов — это имя, которое не мог никто из нас произносить без гнева, проклятий, без судорожного возбуждения. Слащов—вешатель, Слащов — палач: этими черными штемпелями припечатала его имя история. В каждой статейке, очерке, рассказе, воспоминаниях о крымской борьбе 1920 года вы встретите имя Слащова только с этими позорными клеймами. Перед «подвигами» его, видимо, бледнеют зверства Кутепова, Шатилова, да и самого Врангеля — всех сподвижников Слащова по крымской борьбе. Даже сами белогвардейские писатели в первую очередь аттестуют нам Слащова именно с этой стороны:

«В Крыму установился «слащовский» режим...— говорит Г. Ваковский в книжке «Конец белых».— Можно, конечно, представить, какой тяжелой атмосферой бесправия и самодурства был окутан в это время Крым. Слащов упивался своей властью... в буквальном смысле слова измывался над несчастным и забытым населением полуострова. Никаких гарантий личной неприкосновенности не было. Слащовская юрисдикция... сводилась к расстрелам. Горе было тем, на кого слащовская контрразведка обращала внимание...» (стр. 11), а несколько дальше: «...Попытки обуздать Слащова и прекратить вопиющие расстрелы закончились тем...» и т. д. (стр. 12)¹⁶.

Расстрел практиковался Слащовым в широчайших размерах. Он применял его безудержно направо и налево, подписывая приговоры, отдавая приказы:

«Проездом через Вознесенск Слащов расстрелял 18 человек,— говорит тов. Ингулов (сборн. «Антанта и Врангель», стр. 155).— Слащов оставался в Вознесенске всего лишь несколько часов... В день приезда в Николаев Слащов расстрелял 61 человека...»

Припомним еще эпизод с расстрелом группы товарищей, арестованных «по делу о предполагаемом восстании». Про этот факт, правда, довольно бледно, упоминает и сам автор. Подробнее же он воспроизведен в упомянутом сборнике тов. Ингуловым. Дело «десяти» слушалось в Севастополе, в военно-полевом суде, 22 марта. Так или иначе, но 5 человек было оправдано... Лишь только узнал об этом Слащов, как примчался в Севастополь, взял ночью с собою арестованных и увез их в Джанкой. Там несчастные были расстреляны. Отвечая на запрос об этом деле Мельникову (председателю совета министров), Слащов говорил:

«...Десять прохвостов расстреляны по приговору военно-полевого суда...

Я только что вернулся (с фронта.— Д. Ф.) и считаю, что только потому в России у нас остался один Крым, что я мало расстреливаю подлецов, о которых идет речь...»¹⁷.

Хватит примеров. Мы видим, с кем имели дело. Мы видим по этим примерам, что не напрасно на имени Слащова мрачными клеймами впаялись прозвища вешателя и палача.

Но целый ряд обстоятельств, которых отчасти автор касается и в данной книжке, привел к тому, что Слащов покинул ряды белой армии, проклял свое ужасное прошлое и вот уже два года как живет и работает в Советской России. Он объясняет всю свою прошлую деятельность как следствие полной «политической безграмотности», абсолютного неумения разобраться в развернувшихся событиях. В наши задачи не входит разбираться в этого рода вопросах. Во всяком случае, будет не лишним отметить, что два года работы у нас, в Красной Армии, не прошли для него даром, а работа над уничтожением своего политического невежества только яснее развернула перед ним весь ужас его мрачной деятельности в борьбе с Советской властью.

Вся жестокость и бессмысленность белого террора, в котором повинен и Слащов, конечно, не может быть отнесена целиком лишь на долю его личных, индивидуальных качеств. Дело не в том. Дело в самой структуре белой, бывшей царской армии, в том духе, которым она была пропитана, в тех традициях и навыках, которыми она жила, в той системе отношений, которые она воспитывала. И Слащов-палач — это живое воплощение старой армии, самое резкое, самое подлинное.

Наоборот, Красная Армия, построенная на совершенно иных принципах, воспитывает иных людей, иных вождей; здесь не может быть места личному разгулу, той вакханалии зверств и издевательств, которые столь характерны для белой армии. Красная Армия, за два года работы в ней, показала и Слащову, в чем ее сила, и на него воздействовала, и его перевоспитала, открыла ему на многое глаза. Недаром он теперь говорит;

«Много пролито крови... Много тяжких ошибок совершено. Неизмеримо велика моя историческая вина перед рабоче-крестьянской Россией. Это знаю, очень знаю. Понимаю и вижу ясно. Но если, в годину тяжких испытаний, снова придется Рабочему государству вынуть меч, — я клянусь, что пойду в первых рядах и кровью своей докажу, что мои новые мысли и взгляды и вера в победу рабочего класса — не игрушка, а твердое глубокое убеждение». Белогвардейский писак Г. В. Немирович-Данченко, обретающийся в Берлине, выпустил книжку «В Крыму при Врангеле». Предисловие к этой книжке он заканчивает такими словами:

«Знать болезни, подтачивавшие организм армии в 1920 г., во избежание в будущем возможных рецидивов — прямой долг каждого кто любит русскую армию и хочет ее видеть не в Галлиполи и Болгарии, а в освобожденной Москве».

Этот чудак все еще надеется, что врангелевские войска, возглавляемые бароном, придут «освободить» Москву.

Предлагаемая книжка Слащова, если распространить ее по жалким остаткам врангелевских войск, несомненно, поможет тому, что бы «русская армия была не в Галлиполи или Болгарии», а самотеком перебиралась бы в Советскую Россию.

Эта книжка многим и на многое откроет глаза, расскажет, как барон продавал Россию; что разделявал он по указке французских биржевиков; как измывались белогвардейцы над населением; какие чинились расправы; как «правители» за спиной своей армии занимались грабежами и всякими темными делишками; расскажет о массе подлостей, своекорыстия, об удушающей атмосфере лжи, завистничества, карьеризма, о предательстве и поражающем ничтожестве и невежестве «руководителей» белой армии.

Центр тяжести этой книжки не столько в описании и анализе военных операций, сколько в описании обстановки и условий, при которых эти военные операции развивались. Автор шаг за шагом, от первого до последнего дня, излагает перипетии борьбы, останавливаясь более или менее подробно на отдельных ее эпизодах. И конечно, наиболее подробно описаны те именно эпизоды, в которых действующим лицом является сам Слащов. В этом и недостаток Книги и ее достоинство. Недостаток — потому, что в хаосе «личного» материала затеривается и тонет материал другого порядка; достоинство — потому, что многое из сообщаемого автором впервые видит свет и ценно своей свежестью и новизной.

Общий очерк взаимоотношений Антанты с крымским правительством мы найдем, например, в сборнике «Антанта и Врангель» (ГИЗ, 1923); более или менее объективное и мастерски изложенное описание военных действий найдем в превосходной статье Гравицкого (ж. «В, Мир», № 2, 1923 г.); общее положение белых за данный период полней, чем у Слащова, изложено Г. Раковским («Конец белых»), — но ни в одной из этих работ не найдем мы того, что и как рассказывает Слащов, напр., о самом Врангеле, о его

ближайших сподвижниках, о закулисных махинациях «верхов», затем о десанте, возглавлявшемся самим Слащовым, об обороне Крыма белыми в 1919 году и т. д.

Именно этот материал выделяет книжку из ряда других работ и оправдывает ее издание. Зато совершенно недостаточно представлена та полоса крымской действительности, с которой Слащов не имел постоянного и непосредственного соприкосновения: жизнь и деятельность партий, рабочих организаций, интеллигенции, вопросы «большой» политики и экономики, вопрос национальный и т. д. и т. д.— все это находится вне поля зрения автора и затрагивается им только мимоходом, или вовсе остается в тени. Чрезвычайно важно было бы вкратце осветить историю отношений к крымскому правительству Англии, ее активное участие в первое время и постепенное ослабление этого участия под влиянием начавшихся переговоров ее с Советским правительством; рассказать, как за счет английского выросло участие Франции и как все эти перемены сказывались в Крыму. В конце концов это обстоятельство — большая или меньшая степень участия Антанты — имело для Крыма решающее значение, и, лишь исходя отсюда, можно понять все важнейшие этапы крымской эпопеи. Антанта помогала Врангелю не «просто так» — она ставила ему определенные условия, требовала определенных гарантий.

«Демократическая» Франция, например, никогда не признала бы Врангеля, если бы он во всеуслышание заявил о своем прогорклости монархизме, — для нее, для «республики», это было бы слишком зазорно. Она имела с ним дело лишь потому, что он «демократ», и волей-неволей Врангель вынужден был возиться с разными правительствами, разрешать легальное существование меньшевистским профсоюзам, издавать свой «демократический» земельный закон на пользу кулачеству и т. д.— все это лишь результаты и следствия тех или иных отношений Врангеля с Антантой. Врангеля нельзя рассматривать как самостоятельную величину, его можно понять лишь под углом зрения всецелой зависимости его от «великих держав». Слащов об этом говорит мало и объясняет это, во-первых, своей политической безграмотностью того времени, во-вторых, тем, что он от политики вообще стоял в стороне и был по преимуществу «фронтовиком».

Затем о рабочих организациях и партийном влиянии.

Когда Слащов касается этих вопросов — он говорит о том, что сам лично видел, слышал и знал. Он говорит, напр., что большевики в то время не имели в Крыму почти никакого удельного веса. Конечно, если иметь в виду «официальное» участие в делах крымского правительства—тут большевики были ни при чем, тут все козыри были в руках меньшевиков и правых эсеров. Но если посмотреть на фактическое влияние большевиков в рабочей массе — картина получается иная. Когда Слащов увез с собою из Севастополя в Джанкой десять арестованных «заговорщиков», рабочая масса горячо выражала свой протест и через голову меньшевистского Совпрофа объявила 3-дневную забастовку (Совпроф лишь потом был вынужден взять на себя руководство этою забастовкой, опасаясь, что она может затянуться или осложниться чем-либо непредвиденным). Когда же у меньшевиков стряслась своя беда и они призвали рабочих в знак протеста на забастовку — рабочие не откликнулись. (Это было по поводу прикрытия меньшевистской газеты «Прибой».) Надо сказать, что меньшевики и эсеры, существовавшие легально, не избежали-таки гонений со стороны врангелевского правительства — эти гонения на лакействующих «социалистов» учинялись тогда, когда лакеи чем-либо не потрафляли, или ввиду полного их использования становились совершенно ненужными и

обременительными со своей словесной брехней и газетными мечтаниями. Работа легализованных соглашателей была, конечно, у всех на виду, и могло составить впечатление, будто рабочие массы вверили им свою судьбу.

На деле было иное: лишь только приближалась Красная Армия, как рабочие начинали сочувственно волноваться, они то и дело организовывали стачки, на собраниях открыто принимали большевистские резолюции, бурно выражали свой протест, как это было хотя бы в упомянутом «деле десяти», поддерживали зеленую армию; они даже готовы были к вооруженному восстанию, провалившемуся единственно из-за разгрома коммунистической организации и неподготовленности воинских частей.

Это фактическое состояние рабочей массы и фактическое влияние в среде ее большевиков, видимо, не было известно Слащову. Но оно было именно таково — и это несмотря на сравнительную малочисленность подпольной большевистской организации, даже некоторую ее засоренность, массовое предательство провокаторов, многочисленные «провалы» и разгромы. Эти вопросы освещены автором или недостаточно, или неверно. Зато другая половина вопросов, касающихся главным образом жизни и деятельности соратников Слащова, разработана обстоятельно и со вкусом. Автор не пожалел своих недавних коллег и с документами в руках представил их довольно мрачной группой великодержавных бандитов: тут и Шиллинг с бриллиантами, и Шатилов с нефтяными бумагами, и сам Врангель, у которого «рыльце в пушку», — весь золотопогонный сброд, так бессовестно грабящий народное добро, пьянствующий непробудно, а в промежутках пакостно издевающийся над «непокорными».

Среди этой братии толкался и епископ Вениамин, воодушевляющий по-христиански бить большевиков.

Нет никакого сомнения, что Шатилов или Врангель в своих воспоминаниях воздадут должное и Слащову, но это дела нисколько не меняет: характеристики, данные автором врангелевской компании нисколько не кажутся преувеличенными и надуманными — они построены на довольно убедительном сыром материале. В то же время самая книжка Слащова далеко не похожа на исповедь или покаянное завывание с целью подхалимствования и заискивания перед Советской властью. Ничего подобного. Она написана в тонах довольно самостоятельных, все явления называет своими именами, и если в ком-либо убеждает, так именно благодаря откровенности, с которой автор подходит к разъяснению всяких вопросов и фактов. Правда, своей личной «деятельности» автор старается отговориться лишь общими фразами и избегает упоминания о большинстве фактов своего мрачного прошлого, зато о соратниках своих он не замалчивает. Нет никакого сомнения, что в оценке деятельности Врангеля и описании его личности автором руководило и чувство глубокого оскорбления, нанесенного ему Врангелем, но все же портрет крымского барона вышел довольно правдоподобно. Врангель не любил Слащова. Слащов платил ему тем же. Дело началось, конечно, не с каховской «неудачи», за которую якобы Слащов и был отстранен. Надо помнить, что до Каховки Слащов провел довольно удачную десантную операцию и уже никак не мог почитаться «неудачником». Дело в другом. Когда Деникин надумал «отставляться», в соответствующих кругах, наряду с Врангелем, усиленно называли и кандидатуру Слащова, что Врангелю, конечно, было известно. Это первое. Затем, когда один из высокопоставленных молодцов, некто Лейхтенбергский, задумал устроить маленький дворцовый переворот и воссесть на престол Врангеля, он метил в главкомы поставить

опять-таки Слащова. Это тоже стало известным Врангелю. Да и вообще иметь при себе такого популярного, в своем роде, соперника было Врангелю совершенно невыгодно. И он его сплавил.

Отношениям своим с Врангелем Слащов посвящает немало страниц, и чувствуется в каждой строке, как ему охота растянуть на обе лопатки свое недавнее начальство. Нас занимает весь этот материал цинично, совсем не потому, что тут фигурирует персона Врангеля и Слащова, - не будь их, другие возглавили бы белую армию,—непременно, неизбежно возглавили бы, иначе не было бы и самой гражданской войны, сомой классовой борьбы, всей тяжелой борьбы труда с капиталом, Поскольку же эта борьба существует, постольку неизбежно должны быть и главари в борьбе. И весь материал о Врангеле и ближайших его сподвижниках занимает нас лишь постольку, поскольку он характерен для руководящей головки наших врагов. Вся эта бессмысленная, ничем не оправдываемая жестокость, тьма узких, крошечных и ядовитых интересиков, отсутствие элементарной порядочности, — все это типичные черты погибающего, наполовину сгнившего, враждебного нам класса. И в то же время — серая, непроглядная слякоть в мозгах военных главарей, полное непонимание своего места на исторической арене, отсутствие определенных убеждений и целей незнание того, за что бороться, и надо ли вообще вести эту борьбу? Мы (без похвальбы) представить себе не можем какого-нибудь кобрига (не то что начдива или выше) в Красной Армии не понимающим, за что, во имя чего он борется. Это для нас просто невысказанное дело. А вот «там», оказывается, самые высокопоставленные руководители были политическими младенцами и работали как заправские профессионалы, спецы своего дела. И только. И все это в чаду интрижек, замыслов, предательства, всевозможных заговоров. Орлов замыслил кувырнуть Слащова, Лейхтенбергский готовился свергнуть Врангеля, Врангель то же подумывал в свое время насчет Деникина.

В то же время в области специальной они, разумеется, были большими мастерами. И провели против нас не одну талантливую операцию. И совершили, по-своему, немало подвигов, выявили немало самого доподлинного личного геройства, отваги и прочего. Красная Армия имела перед собою не случайный сброд и не военный кисель, а организованного, стойкого, сильного, часто отважного решительного, прекрасно обеспеченного врага, имеющего богатейший заморский тыл.

Поэтому она и геройская, Красная Армия, что даже такого врага, а повалила, придушила, сбросила.

Мы не беремся судить о точности описания автором военных эпизодов, а равно и правдивости приводимых им цифр, — это дело специальных исследований. Зато книжка свежа, откровенна, поучительна. В этом и вся ее ценность.

Дм. ФУРМАНОВ

11/XI-23 г.».

Примечания:

1 Конст. Федин, Горький среди нас. Картины литературной жизни, «Молодая гвардия», М. 1967, стр. 50.

2 Вяч. Полонский, Искатели объективной истины, «Печать и революция», 1921, кн. 2, стр. 15.

3 «Печать и революция», 1925, кн. 5—6, стр. 529.

4 Дм. Фурманов, Краткий обзор литературы (непериодической). О гражданской войне (1918—1920 гг.), «Пролетарская революция», 1923, № 5 (17), стр. 327.

5 Я. С л а щ о в, Крым в 1920 г. Отрывки из воспоминаний. С предисловием Дм. Фурманова, ГИЗ, М.—Л. [1924].

6 «Пролетарская революция», 1923, № 5 (17), стр. 340—341.

7 Та м же, стр. 322, 326—327.

8 Г. Н. Раковский, Конец белых. От Днепра до Босфора (Вырождение, агония и ликвидация), «Воля России», Прага, 1921.

9 Г. Н. Раковский, В стане белых (От Орла до Новороссийска), Константинополь, 1920.

10 «Пролетарская революция», 1923, № 5 (17), стр. 340.

11 И. К., Г. В. Немирович-Данченко. «В Крыму при Врангеле». Берлин, 1922, 117 стр., «Пролетарская революция», 1924, № 1 (24), стр. 261—262.

12 Игорь Кречетов, «Антанта и Врангель» Сб. статей, вып. I, Госиздат, 1923, 260 стр., «Пролетарская революция», 1923, № 11 (23), стр. 241, 244.

13 Я. Слещов, Крым в 1920 г. Отрывки из воспоминаний, стр. 5.

14 Я. Слещов, Крым в 1920 г. Отрывки из воспоминаний, стр. 15.

15 См. об этом примечания К. Рудницкого к пьесам М. Булгакова (Михаил Булгаков, Драммы и комедии, «Искусство», М. 1965, стр. 583—584) и кн. К. Рудницкого «Спектакли разных лет» («Искусство», М. 1974, стр. 250—258).

16 Правда, книжка Раковского написана уже после отъезда Слещова в Советскую Россию и рассматривает его, конечно, как «изменника». (Сноски, разрядка в тексте здесь и далее — Д. Фурманова.— А. К.)

17 Как видно из работы Слещова, он совершенно отгораживается от тех расстрелов и истязаний, которые чинились белогвардейской контрразведкой, утверждая, что за них ответственности нести он не может.

«Вопросы литературы», 1978, №1

А. И. Колосов (1897—1956) — известный советский журналист и писатель. Его биографии типична для молодого человека, личность которого формировалась в эпоху революций. В 1917—18 гг. он — депутат Сызранского уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, редактор газеты, заведующий уездным отделом народного образования. Здесь он знакомится с А. Н. Толстым, работает с К. А. Фединым. Позже К. Федин сделает его прототипом героя романа «Города и годы» Семена Ивановича Голосова, а в начале 50-х годов в мемуарном очерке «Сызранский эпизод» расскажет о Колосове — «первом народном комиссаре просвещения Сызранского уезда».

С 1919 года А. И. Колосов — в Туркестане. Сначала секретарь культпросвета политотдела Туркестанского фронта, затем, в 1920 г., он входит в группу Д. Фурманова, назначенного уполномоченным РВС Туркестанского фронта в Семиречье. В Верном (Алма-Ате), по словам Фурманова, — Колосовым «едва ли не самым юным из всех» были созданы «отличные партийные курсы», которыми он «руководил до самых трудных дней, до мятежа». В 1921—1922 гг. Колосов — в Ташкенте, заведующий театральным отделом Наркомпроса, сотрудник военно-редакционного совета Туркестанского фронта, редактор журнала «Театр и искусство», заведующий отделом печати в представительстве Туркестанской республики, секретарь журнала «Путь МОПРА», разъездной корреспондент «Известий», а с 1928 года и до последних дней жизни работает в «Правде».

А. И. Колосов — не только прототип героя «Мятежа» Д. Фурманова — Алеши Колосова. Его очерк «Кулацкий мятеж» стал одним из документальных источников этого романа.

Публицистика, документальные и художественные произведения Колосова были отмечены в разные годы И. Буниным, Б. Полевым и другими.

Работа в Туркестане, и особенно в Семиречье, отразилась в его творчестве. В 20-е годы Колосовым были написаны очерки «Кулацкий мятеж», «Заметки о Туркестане», рассказ «Кулацкий октябрь». Они, также как и многие другие, были посвящены революции и гражданской войне. О произведениях А. И. Колосова этого периода положительно отзывался Анри Барбюс, который в предисловии к сборнику «Идут

легионы» (М.—Л.: Молодая гвардия, 1927) писал: «Являются ли все эти очерки, рассказы и фельетоны» чистой литературой?»

«Чистая литература». Я анализирую этот термин, вновь и вновь, я задумываюсь над ним и не знаю, как ответить на этот вопрос.

Что делает здесь автор! Он разрывает завесу, скрывающую действительность, он бросает могучий свет прожектора на страшные вещи, и вещи эти встают перед глазами такими, какими они есть. Автор берет трепещущие куски жизни, подносит их нам, ничего не скрывая, ничего не приукрашивая. Если это — литература, то такая, чернилами которой является кровь бережно собранная автором.

И все же перед нами только куски жизни, маленькая частица современной действительности».

В основу образа главного героя Петровского была положена действительная история зверски растерзанного летчика Шаврова. О ней же расскажет сначала в дневнике и документальном очерке, а затем и «Мятеже» Д. Фурманов.

Колосову была известна заметка, опубликованная верненской «Правдой» 28—29 июля 1920 г.: «На Сев. Семиреченского фронта в станице Абакумовской Калашников организовал самосуд над председателем РВС Сев. Семиреченского фронта А. А. Шавровым и убил его». Знал Колосов и о процессе над убийцами Шаврова, о котором писал Фурманов в очерке «Дело летчика Шаврова»: «Вчера закончился суд по делу убийства летчика Шаврова. Прошлый год в июне месяце его растерзала в селе Абакумовском разнузданная красноармейская масса. Этой массой руководили бандиты, составившие тогда свой особый Военно-полевой суд, который и приговорил Шаврова к расстрелу. Но до места расстрела его не довели — толпа расправилась с ним преждевременно».

Колосов в рассказе «Кулацкий октябрь», показывает сложности установления Советской власти в Семиречье.

Он среди первых изобразил социальные преобразования бывшей царской окраины, условно говоря, воплощая материал и в орнаментальном, и в фактографическом освоении.

Рассказ «Кулацкий октябрь» печатается по изданию: журнал «Красная нива», 1923, № 16, 22 апреля.

Алексей Колосов

КУЛАЦКИЙ ОКТЯБРЬ

Рассказ

I

РАЗМАЛЕВАННЫЙ желтой краской и углем большой серый плакат

«Сегодня, 10-го февраля, в клубе коммунистов, по случаю блестящей победы Красной армии Семиреченского края под гор. Лепсинском, будет дано замечательное представление и митинг по следующей программе».

Петровский достал зажигалку, заслонил ее от ветра и прочел написанное мелкими буквами:

«Отделение 1-е.

1. Речь идейного коммуниста, большевика т. Лавренчука о текущем моменте революции и нашей победе под г. Лепсинском.

2. Фокусы Индейского Мага и повсеместно известного Чародея Лего- Джамо по выдающейся программе:

Золотой дождь на берегах Нила, Сад Идема, Секреты Екатерины 'Великой, Чудесное видение из загробной жизни, 12 Египетских, Индейских и Елиатских превращений»...

И дальше:

«Режу без боли, с признаками сильного кровопускания, по желанию публики, но без всякого вреда и заражения, члены тела каждого человека, а также самому себе.

Приглашаю на современное чудо науки, изобретенное мною лично во время пребывания в Аравии, всех сомневающихся, а также представителей медицины и научного ценза.

Отделение 2-е.

1. Речь героя фронтовой линии, победителя атамана Анненкова в 6 сражениях, командира 2-й кавалерийской бригады т. Михаленко на тему:

О нашей борьбе с контрреволюционными бандами.

2. Декларация поэтов революции Ивана Ященко, Пети Палина и Сергея...»

Милый мой пошел на фронт Ах, да на Лепсинский.

Прямо на Петровского двигалась толпа. Ах, да на Лепсинский, Крутоярошный...

Пели задорно, крикливо, совсем подеревенски.

Петровский извинился, — спросил о клубе.

—А тут близехонько. Идемте с нами!

Девушки расхохотались.

—Кавалером будете!

Расхохотались громче.

В галихфе он нарядился,

При револьверте...

Петровский понял: это о нем.

Завернули за угол.

—А скажите, молодой человек! Вы приезжаючи?

—Да, приезжающий.

—Из Ташкента?

—Нет, из Москвы.

Девушки обернулись:

—Да ну! А как же?

—На аэроплане.

Опять расхохотались:

Ты не ври, не ври,

Добрый молодец,

Не учися врать:

Будет мать стегать.

Не поверили...

II.

При входе в клуб девиц встретили кавалеры:

—А вы запоздали, многоуважаемые. Антракт...

—А нам-то что! Нам — танцы...

За маленьким столом белокурая девушка торговала брошюрами Туркестанского Государственного Издательства, семиреченскими газетами «Вестник Трудового Народа» и старыми открытками.

Петровский купил последний номер «Вестника», получил сдачу семиреченскими бонами, «обеспеченными всем наличием опия области», отыскал свободное место и углубился в чтение.

Вслед за передовицей — «Казачество еще не разгромлено» — следовал «Коммунистический Символ Веры»:

«Верую во единую Коммунистическую партию большевиков, творящую жизнь новую»...

...«В товарища Ленина, иже от Марксизма рожденного»...

Пробил третий звонок, публика заняла места, и конферансье, юркий малый в белой папахе, в накинутой на плечи солдатской шинели, лихо вы-крикнул:

—Слово предоставляется герою нашего фронта, командиру доблестной 2-й кавалерийской бригады товарищу Ивану Сергеевичу Михаленко!

Михаленко, рослый, широкоплечий парень, с глубоким шрамом на правой щеке, крупным сизым носом и большими воспаленными глазами, снял черную туркменскую папаху, презрительно махнул рукой на восторженно шумевшую публику и шагнул на авансцену:

—Товарищи! Которые здесь занимаются фокусами, а которые на фронте льют свою горячую кровь за Нашу дорогую свободу! В сражении у города Лепсинска на той неделе потеряли мы с бою сорок три товарища, которые ранены, а которые лежат схороненные.

Предлагаю встать за честь их и храбрую кончину за мировую революцию!

Публика поднялась, оркестр исполнил похоронный марш.

—Товарищи! Когда я ехал сюда, по задачам продовольствия и оперативной тайне, кругом шипит подлая провокация, будто эта земля, по приказу центра, которая кровью нашей полита, к той-то хочет отнять, которую будто землю — казаре, котору — киргизне, а крестьянство, как и допреж, опять с старыми наделами и потом безо всяких прав на батрачный киргизский труд.

Михаленко повысил голос:

—Я, как командир боевой бригады, заявляю: Советская власть и весь фронт с оружием в руках не потерпят тайной провокации, чтобы земля, которая наша с бою у казары отнятая, пошла кому-то другому, и потому отдаю приказ: всех контрпроvokeкторов в бутылку, а которых — прямо с места в кальер — на луну Аврамову. Так что, товарищи, надо понимать Советскую власть и за что мы боремся! Потому сказано явственно: «вся власть рабочим и крестьянам», но нигде того не сказано, чтобы власть — казаре или киргизне!

Голос Михаленко зазвучал грозно:

—И эта самая подлая контра! Потому, что есть казара? Что есть казара? — спрашиваю я у тайных контршелтателей! Кровавая оплота царизма! И еще на счет Киргизии Советская власть говорит: не нация, а Азия. И нигде не сказано: «Советы киргизских депутатов» или другой дикарской породы. А раз в Семиречьи, собой понятно, рабочего классу нет, ясно в глаза каждому, что вся полноправная власть — у трудового класса крестьянства — и земля, и вода, и скот, и разное богатство, и потом также насчет батрачного труда. Я это с оружием в руках подтверждаю, товарищи, и которые сомневаются, прошу сохранять спокойствие и держаться за революцию, как малое дите за мать свою...

Далее следовало выступление «поэтов революции».

Ш.

Петровский прошел за кулисы.

—Скажите, — обратился он к толпившейся у двери молодежи: нельзя ли видеть кого-нибудь из комитета партии?

Ему указали на конференсье:

—Сам председатель.

Петровский подошел:

—Разрешите, товарищ, познакомиться. По приказу Реввоенсовета Республики я послан для связи и организационной работы на фронте. Может быть, познакомитесь с моими документами.

Конференсье прочел мандат, прочел еще раз, и улыбка восторженного удивления расплылась по его лицу:

—Так вы, значит, из самой Москвы на аэроплане?

—Да.

—А где же вы его поставили?

—За городом, у караван-сарая.

—Та-ак. Я — сейчас!

Через три минуты вокруг Петровского стояла толпа.

—Разрешите, многоуважаемый, познакомиться: председатель совета народных комиссаров...

—Комиссар внутренних дел...

—Народного просвещения...

—Судов и юстиции...

—Уполномоченный по делам церкви...

Мандат Петровского ходил по рукам:

—Зампред... рев., воен... совета...

—Зампред...рев.,воен.,совета...Сте-клян...цев.,

—Скля...нов...ский!

—Склянский, — улыбнулся Петровский.

—Та-ак! Приветствуем! Приветствуем!

—Видите ли, товарищи. Здесь я — всего три-четыре часа, но для меня — совершенно ясно, что вы... не получаете информацию о происходящем сейчас в России, о жизни нашей партии, о советском строительстве... Это, конечно, понятно. Ведь, легко сказать: пятьсот верст от железной дороги, восемьсот верст от Ташкента. Поэтому я хотел сейчас кое-что вам сообщить...

—Это даже очень желательно, товарищ Петровский. Вот сейчас кончится декламация, и мы значит, вам слово...

На сцене восемнадцатилетний юноша, Петя Палин, засунув руки в карманы матросских брюк, декламировал:

Звездой Вифлеема

Взвились знамена,

Великая молельня,

Октябрьская заря...

—Так вы — председатель совета народного хозяйства? — обратился Петровский к толстяку в синей суконной поддевке и ярко начищенных сапогах.

—Имею честь.

—Так вот у меня к вам дело. Нужен бензин: два-три пуда. Иначе не доберусь до фронта.

—Ну, какие же могут быть разговоры! — почти обиделся толстяк. — Поищем — найдем. Для вас беспременно найдем.

—Сейчас вам даю слово! —заявил конферансье, и бомбой бросился на сцену.

—Товарищи! Настоящий наш вечер посетил проездом на фронт... председатель московского революционного совета товарищ Петровский, срочно прибывший на аэроплане...

Сделав полминутную паузу, конферансье добавил:

—Ихний аэроплан стоит в настоящее время в караван-сараяе, у Карагачевой роши... Предлагаю приветствовать дорогого гостя!

Зал разразился аплодисментами, оркестр заиграл «Интернационал». Сотни глаз жадно впились в Петровского

Легкая дрожь охватила оратора, где-то глубоко мелькнула мысль:

—Раскрываю им глаза... Я — первый

—Товарищи!

Зал притих. Окаменели люди.

—Товарищи! Вам, на тысячи верст оторванным от Советской России, ошупью бредущим по красной дороге Октября, но стойко и бесстрашно несущим революционные знамена, я привез из далекой Москвы, из колыбели революции, братский привет...

Загудела аудитория. Бурной волной вырвались аплодисменты.

—С внешнего положения! — мелькнуло в голове.

Страстный подъем охватил Петровского, и с первых же фраз он овладел аудиторией, захватил ее, и пошла она, следом за ним, по улицам и площадям гниющей, окровавленной и испепеленной Европы, вместе с ним опускалась в гневно бушующие шахты и рудники, входила в версальские дворцы и буржуазные парламенты, с негодованием остановилась у трупов германских коммунистов и жадно ловила мятежный гул революционного вала, вздымающегося над старой Европой.

А затем он привел ее к берегам Волги, на поля борьбы Красной армии с колчаковскими полками, развернул перед ней картины безмерного героизма, побеждающего огонь танков и броневиков, преодолевающего голод, нищету, разруху, и ввел потом в кремлевские палаты, в зал заседаний первого Конгресса Коминтерна и уже оттуда вернул ее в медвежьи углы Семиречья, в оторванные от мира городки и поселки, кишлаки и аулы...

—Товарищ Михаленко только что говорил, что вся земля Семиречья, все необъятные богатства ее принадлежат только тремстам тысячам русских крестьян, что казачество — сплошная контрреволюционная масса и что четыре миллиона туземцев — не нация, а рабы... Это, конечно, не так!

И страстной волной, красочной и волнующей, следовали положения, доказательства, примеры... О братстве угнетенных всей земли, о единой армии, — штурмующей твердыни угнетения, говорил Петровский, но, по мере развития своих мыслей, он видел, как все дальше и дальше уходила от него аудитория, как росло ее разочарование, он слышал, как зашептались в задних рядах и позади него на сцене, видел, как поднимались и, укоризненно качая головой, выходили из зала отдельные слушатели...

Петровский кончал:

—Товарищ Михаленко сказал, что вся земля, весь скот и даже батраки переходят к русским и только русским крестьянам, а на знаменах Октябрьской Революции кровью рабочих и крестьян написано:

—Вся земля, все богатство ее — всем трудящимся — без различия национальностей, населяющих Советскую Республику. — И написано еще: «В советской стране — нет батрака, нет бессловесного раба, нет...».

—Провокация! — громко крикнул кто-то позади.

Прорвалась плотина: шум, топот, выкрики, свистки заглушили слова Петровского.

Ошеломленный стоял он на авансцене...

По дороге на постоянный двор Петровский вспомнил о бензине и вернулся в клуб. За кулисами стояла толпа встревоженных наркомов, среди которых он сразу отыскал глазами толстяка из совнархоза.

—Так вы разрешите завтра зайти за бензином?

—Зайдите! Если найдем, отпустим. Только едва ли-с кажется, в расходе. Кстати, мандатик захватите.

—Какой мандатик?

—А с приписочкой, что такому-то — разрешается получать из складов бензин... Только, чтобы ташкентский или верненский. Московские для нас — не действительны... Так что имеете-с...

V.

...11 марта. Поселок Никольское.

До фронта — 90 верст. Ремонт машины затянется на неделю.

Продолжаю свое «исследование». Основное осмыслил. Оно трагично: происходит борьба двух лагерей — кулацко-крестьянского и кулацко-казачьего. Борьба за лучшие земли, за право нещадной эксплуатации туземцев. Кулацко-крестьянская армия идет под знаменами Октября, под звуки Интернационала, казацкая — под знаменами монархии, под звуки царского гимна.

Вчера секретарь местного партийного комитета — дьякон Сергей Благовидов — убеждал меня:

—Вы подумайте, молодой человек! Кто по сто десятин первейшей земли владеет? Казак! Кто по тысяче баранов имеет? Казак! Кто по тридцать батраков держит? Казак! А, ведь, крестьянин и половины того не имеет. Вот вы, молодой человек, и подумайте!

Сидит дьякон в комитете партии, лежит перед ним папка с партийными делами, на папке — лозунг, рукой дьякона выведенный:

—Пролетарии всех стран, объединяйтесь!

А на стенах портреты — Ленина, Троцкого, Бакунина и Иоанна Крондштадтского.

Говорю дьякону:

—Наша партия находит, что «религия — опиум для народа».

Снисходительно улыбается:

—А Господь Бог наш, Иисус Христос, по вашему не коммунист был? Я вам, молодой человек, из писания засвидетельствую: коммунист был, чистой воды коммунист, и на крестное страдание за то иудейской буржуазией, в лице книжников и фарисеев, присужден... Рассказать бы в России — не поверили.

...14-е марта. Никольское.

Во вторник в путь. Встретился с ташкентским железнодорожником Варловым. Рассказывает о фронте много любопытного. Кулацко-красноармейское «вече» выбирает и смещает командиров вплоть до командующего. На полковых и ротных митингах обсуждаются и, разумеется, корректируются все боевые приказы. Наибольшей популярностью среди партизанов пользуется командир одного из полков — Калашников, декретирующий при своем вступлении в тот или иной поселок «повальное винокурение сроком на неделю».

В присутствии Варлова пьяный Калашников избил плеткой до потери сознания командующего фронтом за отдачу «неправильного», будто бы, боевого приказа...

VI.

ПРИКАЗ № 96.

С сего числа выборное начало отменяется. Назначение на командные должности производится исключительно Реввоенсоветом фронта. Неподчинение приказам назначаемых командиров будет караться тяжкими наказаниями, до расстрела включительно.

Командующий фронтом Павленко.

Член Реввоенсовета Петровский.

ПРИКАЗ № 99.

Военный трибунал Семиреченского фронта утвержден в составе — председателя т. Варлова и членов — Куценко и Дорожиняка.

ПРИКАЗ № 101.

4-го сего апреля 6-м пехотным полком под командой Калашникова совершен набег на прибалхашские аулы.

При набеге, совершенном с целью грабежа, зверски убиты девять киргиз, изнасилованы киргизские женщины, и две девушки, оказавшие сопротивление, по приказу командира полка Калашникова сожжены в кошмах, облитых предварительно керосином.

Доводя до сведения фронта об арестах всех виновных в преступлении и предании их суду трибунала, Реввоенсовет Семиреченского фронта предупреждает всех красноармейцев, что всякое насилие, совершенное над туземцами, повлечет за собой немедленное привлечение виновных к суду трибунала, с присуждением тяжких кар, до расстрела включительно.

ПРИКАЗ № 109.

Приговор Реввоен трибунала о расстреле командира 16-го полка Яковенко и командира 21-го полка Смерчека за невыполнение боевых приказов и самовольный отвод полков в тыл утверждается...

VII.

Злоба гуляет по пьяному Яшкову.

Злоба в пьяных глазах.

Лютый мат висит над лагерями.

А у лагерей, на амбарах, на кирпичных сараях, с раннего утра прокламации расклеены, — Васька Козырь, по- чьему-то приказу, постарался. Ловко загнул Васька. — Правильно! — недаром полковым писарем при царизме был.

«Дорогие товарищи! Боевые орлы Семиречья! Пришло время образумиться и посмотреть, что стало на нашем славном фронте. Где наши дорогие вожди и все наши храбрые товарищи?

Они спрятаны в бутылку и ждут расстрела.

А управляет нами центральная редиска. Снаружи наш московский посланник — красный, а внутри — белый. Известно ли вам, дорогие товарищи, что летает редиска каждую ночь на аэроплане над станицами и разбрасывает бумажки с боевыми тайнами и секретами? Вот кто такой московский посланник!

И еще нам стало известно, что летал московский Изменник на прошлой неделе в Заторную волость, собирал там из Киргизии митинги и вел через переводчиков злостную агитацию против Советской власти. Говорил он киргизне, что Советская власть в Семиречье — искаженная, что свобода пришла для всего трудящегося народа без признака какой-нибудь нации, и что все земли, скот и разные вещи, которые взяты у киргиз, Советская власть возвратит им обратно. И говорил еще изменник, что вы, киргизы, выбирайте свои советы!

Из фактов нам, дорогие товарищи, стало еще известно, что в настоящее тревожное время сидит редиска у Пржевальской киргизни и формирует дикие полки, чтобы нас разоружить.

Товарищи! Пора опомниться и спасти дорогую революцию, так как придется нам ответ держать перед мировым пролетариатом и трудящимся классом.

Завтра всему лагерю с оружием в руках явиться в 9 часов утра на базарную площадь для решения текущего момента и опасения революции».

— Ловко загнул Васька! Правильно!

VIII.

Серебро бежит по Иссык-озеру. А где тени легли от гранитных скал, там дрожат на воде ткани цветов несказанных: то, будто, оранжевые, то — синезолотистые, то — словно бронзой осыпанные: как стекло вода иссыкская, — играют под ней в ночь майскую камни беломраморные, красно-гранитные, камни многоцветные...

Сказка-озеро.

Спят аулы иссыкские. Не спит старый Бурибай не спит сын его Ханиф, сын Акмаль, сын Адельбек.

У озера сидят, гостя слушают, гостю московскому о горестях своих рассказывают...

Много их, этих горестей.

Царь был, — плохо было. Царь ушел,

—свобода пришла. Свобода пришла,

—хуже стало. Свобода — говорят — совсем не уйдет. Ой, плохо! Скот берут для войны, кошмы, шерсть берут для войны, денег просят для войны...

Землю берут, воду берут... Ой, плохо! Свобода — совсем плохо!

Страшные были гостю московскому рассказывает Акмель:

—Был шестнадцатый год. Царь приказ прислал на войну киргиз — и старых, и молодых. Голод был. Падал скот. Умирили люди. Черная беда неслась над стенами Джетысуйскими.

Не захотел киргиз на войну идти. Царь солдат прислал. Кулаку ружье дал. Прогнал киргиз кулака с земли: «Моя земля», — говорит. Скот взял, юрты взял, все взял, — смерть пришла. Не хотел киргиз умирать: на кулака войной пошел... Ой, кровь!..

Киргизу горло резали. Вилами в живот лазали. У детей уши, нос резали. У женщин, девушек груди резали... Ой, кровь!..

Свобода пришла... Кулак пришел...

—Приказ, — говорит, — есть: наша — крестьянская власть. Прежде казаку служили, — нам мало служили, — теперь нам служить будете...

Ой, плохо!.. Свобода — совсем плохо!..

Серебро бежит по Иссык-озеру. А где тени легли от гранитных скал, там дрожат на воде ткани цветов несказанных—

Сказка-озеро...

Шумит базарная площадь. Не справится с тысячной толпой председателю митинга Митяеву.

До тридцати ораторов влезало на арбу, а желающих до сотни, если не больше.

Охрип Митяев.

Охрип, а ораторы прут и прут. И все

—одно и то же:

—Вот кобылка!

Рассердился:

—Това-а-рищи! Ввиду заповной ясности в глаза каждому, предлагаю к делу...

—Пусть все скажут!..

—Пусть Пашка свое веское слово скажет!..

А Пашка — уже на арбе. Красный, лохматый, — самогоном прет на всю площадь, а дело свое знает:

—Мое предложение, товарищи, к делу, так как ясность полная. Первый параграф — товарищей наших немедля освободить. Второй параграф — московскую редиску — в бутылку и судить судом народным, как за измену и урон народной революции... И еще послать письмо товарищу Ленину, Троцкому и всем нашим вождям...

Пашка лукаво улыбнулся:

—А чтобы вас, дорогие товарищи, в понятие ввести, письмо, к примеру, такое...

Пашка вытащил из кармана бумажку.

—«Дорогим вождям революции и советской правды. Приехал к нам на фронт делегат ваш Петровский и оказался несоответствующий своему положению, как не понимающий звание советского делегата, и снюхался он с Киргизией, хотел формировать из нее отряды в ущерб народным интересам и говорил потом, что Советская власть в Семиречье искаженная и, что Киргизия, таранча и всякая прочая Азия может выбирать свои советы, а в мандате его об этом ничего не сказано, так что с его действий выходит контрреволюция ясная.

И летал еще ваш делегат над казачьими станицами и разбрасывал контрам бумажки, и называл их обманутыми братьями, и по догадкам нашего мнения в письмах тех были всякие боевые секреты и тайны.

И последний параграф, дорогие вожди наши, — заарестовал ваш делегат наших героев, которые кровь свою за революцию пролили, и посадили их в бутылку, и потому постановил всенародный митинг из 25 тысяч пролетариата поставить вашего делегата перед судом всего трудящегося народа и что суд присудит, то ему и будет»...

«Суд нарядили» в церкви.

На амвоне стол. За столом — семь «членов народного военного суда». На левом клиросе — Петровский. В алтаре поп с дьяконом суетятся: боятся, как бы не вышло чего. В церкви — гривне негде упасть: полным-полна...

Председатель Пашка. Пашка свое дело знает; ведет суд строго:

— Московский делегат Петровский. Как вы понимаете свое дело и видите причину своих действий?..

Строго ведет суд Пашка:

«Приговор суда народной совести: ...лишить прав делегата и, как подлого предателя, расстрелять»...

XI.

В двух шагах от Петровского — Калашников. Пьян. В глазах — звериное:

—Товарищи! Мой зачин!..

Петровский зажмурил глаза..

XII.

Красный Октябрь несется над степями джетысуйскими:

—Правда пришла, — с большевиками пришла, с Красной армией пришла. Хан Сафар, справедливый большевик, настоящий большевик, грамоту от Ленина привез:

—Советская свобода киргизам... Нельзя киргиза обижать... Все отдать киргизу, что несправедливо кулак себе взял...

Вот, что сказано в той грамоте.

Ой, хорош большевик!..

Радостным караваном несутся от аула к аулу, от кишлака к кишлаку, от караван-сарая к караван-сарая, слухи о «грамоте», о свободе, о справедливом большевике хане Сафаре...

Шумят гузары. Скрипят по проселочным дорогам арбы: в гнезда родные, на земли прадедовские идут, спускаются с гор вчерашние рабы.

Конец пришел кулацкому октябрю:

По стенам джетысуйским идет Красный Октябрь...

Отыскал-таки Акмаль могилу русского гостя.

Долго сидел. Думал...

Потом в село пошел к кулаку.

Смело в хату вошел.

—Слушай: за селом большой человек, справедливый человек, в землю зарыт... За правду.!
Пойду в сад — дерево возьму...

Взял Акмаль куст белой акации, — на могилу понес...

А через час опять пришел:

—Вырвешь куст, — отвечать будешь... По законам революции!

Илья Эренбург

Исчезнувшая глава романа

Жизнь и творчество Ильи Эренбурга (1891—1967) прошли под знаком «культура против фашизма». Писатель и общественный деятель, человек энциклопедических знаний и эрудиции, в своих произведениях отразивший различные периоды отечественной и зарубежной истории XX века, новатор в прозе, в публицистике, в поэзии, чувствующий себя так же свободно в Париже, как и в Москве (нет, пожалуй, в Париже свободнее), общавшийся с государственными деятелями, друживший с великими художниками и литераторами...

Одним из первых, если не первым советским сатирическим романом становится созданный им в 1921 году роман с несколько эпатажным названием «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников: мосье Дэле, Карла Шмидта, мистера Куля, Алексея Тишина, Эрколе, Бамбучи, Ильи Эренбурга и негра Айши в дни мира, войны и революции, в Париже, в Мексике, в Риме, в Сенегале, в Кинешме, в Москве и других местах, а также различные суждения УЧИТЕЛЯ о трубках, о смерти, о любви, о свободе, об игре в шахматы, об иудейском племени, о конструкции и о многом ином». Крупская писала об этом романе: «Из современных вещей, помню, Ильичу понравился роман Эренбурга, описывающий войну: «Это знаешь — Илья Лохматый (кличка Эренбурга), — торжествующе рассказывал он. — Хорошо у него вышло».

Но литературная критика 20-х годов оценила роман по-иному. Так что, по словам Юрия Тынянова, понятия «человек культуры» и «Запад» — «два запрещенных у нас после Ильи Эренбурга слова». Лев Лунц в своей парадоксальной манере, откликаясь на первое издание романа (Москва—Берлин: Геликон, 1922), отмечал:

«Хулио Хуренито» — книга «опасная», не русская. Это сатира, но для русского читателя непривычная. Ведь у нас принято осмеивать только градоначальников, дьячков, пьяниц и врачей. А Эренбург смеется над всем и над всеми».

Был, правда, и другой отзыв о книге: «Хулио Хуренито — прежде всего, интересная книга. Можно было бы, конечно, сказать много «серьезных» и длинных фраз по поводу «индивидуалистического анархизма» автора, его нигилистического «хулиганства», скрытого скептицизма и т. д. Не трудно сказать, что автор — не коммунист, что он не очень шибко верит в грядущий порядок вещей и не особенно страстно его желает. Все это было очень верно и очень почтенно, но все же книга от этого не перестает быть увлекательной сатирой. Своеобразный нигилизм, точка зрения «великой провокации», позволяет автору показать ряд смешных и отвратительных сторон жизни при всех режимах...»

Так писал о «Хулио Хуренито» Н. Бухарин в предисловии к изданию 1923 года. Отцы советского государства умели читать художественную Литературу. В контексте последующих трагических страниц истории по-иному воспринимаются слова об «отвратительных сторонах жизни при всех режимах». Но нет, это не предвиденье Бухарина. Это уже наше знание. Чего не было, того не было — не предвидел «любимец всей партии» скорое будущее — свое и страны...

Популярность романа очевидна — вслед за первыми изданиями он выходит в 1927 и 1928 гг. В 1934 году вновь возникает идея его переиздания, но... уже в урезанном виде. На предложение издательства Эренбург отвечает: «На купюры не согласен: глупо переиздавать с купюрами то, что прошло в стольких экземплярах без купюр»¹.

Идут годы. В 1962 году роман включается в девятитомное собрание сочинений. С купюрами. Выпадает глава, которую в обиходе называют ленинской. Почему?! Произведение Ленину нравилось, в его личной библиотеке сохранились два первых издания... Да потому, что образ Ленина рисовался нетрадиционно. То, что для 20-х годов — норма, для 60-х — святотатство. Не было «хрестоматийного глянца». Но зато были узнаваемые черты. И тот, кому повезло, кто имеет собрание сочинений Эренбурга, может вклеить недостающие страницы. Текст печатается по изданию 1923 года.

1Цит. по ст.: Материалы к творческой биографии Ильи Эренбурга — Вопросы литературы, 1979, № 5, с. 185.

...

В скудные, томительные дни, голодая изрядно, замерзая, обмотанный вязаным шарфом поверх головы, начал я не думать, но раздумывать, то есть стараться обойти мир и самого себя со всех сторон. Ничего не выходило, ибо фас зачеркивал профиль, ансамбль же оставался неуловимым. Ни святой Грааль Продкома, ни идиллия Назимовых никак не объясняли смысл происходящего. Столь же неплодотворны были мои работы в театре Дурова.

Я день и ночь раздумывал, просто и в стихах (причем стихи даже озаглавил честно «Московские раздумья»). Я ужасно боялся быть андерсеновским дураком и заметить, что

король гол, ибо одни набожные взгляды миллионов давно соткали бы пышные облачения, ежели их даже по природе не полагалось. Но и обратная крайность меня мало удовлетворяла. Так уж я устроен: поет рослый детина о небесном воинстве, а я стою и думаю — какой у него нос угреватый, потный, сейчас, верно, соображает: «кончу петь, буду есть окрошку и кота Ваську с тоски по носу шелкать». Что лучше — апостола Павла посадить в каталажку, как громилу, или стоять разинув рот перед всяким, морды богов и людей сворачивающим, ожидая — вот-вот он разрешится новым евангелием?

Так я раздумывал, перебирая хронику «Известий», речи Ленина и полфунта воблы, выданной по купону 87 одним из помощников Раделова. Обо всех сомнениях я рассказал Хуренито. Учитель ответил:

— Я сам хочу несколько очистить свои впечатления от различной воблы. Для этого мы посетим капитанский мостик и побеседуем с неким, на оном стоящим.

Там ты сможешь, как медик-первокурсник, во время обхода палаты, предметно опознать различные симптомы этой новой патетической лихорадки. Итак — завтра в 2 часа пополуночи.

Зная Учителя, я не стал грешить любопытством и допрашивать его, к кому именно мы пойдем, почему в столь поздний час и, наконец, как он надеется получить пропуск.

Когда мы уже шли по пустынному завьюженному Кремлю к «капитану», я почувствовал, что боюсь. Не то, чтобы я верил очаровательным легендам досужих жен бывших товарищей прокуроров, кои изображали большевистских главарей чем-то средним между Джеком Потрошителем и апокалиптической саранчой. Нет, я просто боялся людей, которые что-то могут сделать не только с собой, но и с другими. Этот страх перед властью я испытывал всегда, даже мальчиком, тщательно обходя добряка-городового, дремавшего в башлыке на углу Пречистенки. В последние же годы, увидев ряд своих приятелей, собутыльников, однокашников в роли министров, комиссаров и прочих «могущих», я понял, что страх мой вызывается не лицами, но чем-то посторонним, точнее: шапкой Мономаха, портфелем, крохотным мандатиком. Кто его знает, что он, собственно, захочет, во всяком случае (это уже безусловно), захотев — сможет. Словом, я заявил Учителю, что к важному коммунисту я не пойду, потому что сильно боюсь его, а лучше похожу у ворот, подожду, он же мне после все расскажет. Это было уже в подъезде, и Учитель вместо ответа отечески вскинул меня на лестницу.

Войдя в кабинет, я только успел заметить чьи-то глаза насмешливые и умные, понял, что надо бежать, но вместо этого кинулся за стоящую в углу тумбу с бюстом Энгельса и ею прикрытый, сидя на корточках, зяб и томился: «Сейчас меня найдут! Какой позор! Как опишет грядущий биограф Ильи Эренбурга — поэта? Я не боялся ни пушек, ни пулеметов, ни Шмидта, ни сородичей Айши и вдруг испугался добродушного дяди, который пять лет тому назад был в Париже моим соседом и пил «боки» в излюбленном мною кафе...» И все же я не смог преодолеть страха. Все время, пока они беседовали, я просидел в углу, раз, от попавшей в нос пылинки, чихнув и вызвав недоуменный взгляд «самого» и пренебрежительное — «это со мной товарищ один, не обращайтесь внимания» — Учителя.

В европейской прессе появилось немало количество самых разнообразных интервью с вождями коммунизма. Особенной яркостью отличались два — беседа английского писателя Уэллса с Лениным о прогулках в грядущих городах, сопровождаемая веселым щелканьем развивавшего максимальную энергию фотографа, и рассказ собственного корреспондента мадридской газеты «Буэ-нас-Диэс» о том, как Троцкий с особенной жадностью пожирает небольшие котлетки из мяса буржуазных младенчиков. Все же, мне кажется, ночная беседа Учителя с коммунистом представляет интерес исключительный, благодаря остроте и первичности затронутых тем. Несмотря на свое печальное состояние, я действительно чувствовал, как небольшая комната с высокими окнами, выходящими на заснеженные пустыри, преобразается в капитанскую вышку, а мертвый Кремль и вся ледяная угрюмая Россия — в дикий корабль.

Сначала коммунист, впрочем, пытался говорить совсем о другом, не отвечать, но предпочтительно спрашивать — близка ли в Мексике социальная революция? Применялись ли там в широком масштабе электрификация? и прочее. Но Учитель быстро перевел беседу на другие рельсы. Для этого он применил верный способ нападения, предоставив коммунисту защищаться и, защищаясь, выявлять себя.

— Что вы думаете, — начал Хуренито, — о бездеятельности, разгильдяйстве и дикой расточительности сил, царящих в Советской Республике? У нас на очереди посевная кампания, Донбас, продагит, наконец, электрификация. А на что идут силы? Поэты пишут о мюридах и о черепахах Эпира, художники рисуют бороды и полоскательницы, философы выкачивают философские системы, филологи ковыряют свои корни, математики от них в этом не отстают. В театре — мистерия Клоделя. Почему не закрыты все театры, не упразднены поэзия, философия и прочее лодырничество?..

— Обо всем этом, — ответил миролюбиво коммунист, — вы поговорите лучше с Анатолием Васильевичем. Искусство его слабость, я же в нем ничего не смыслю и перечисленными вами ремеслами совершенно не интересуюсь. Мне кажется более занимательным писать декреты о национализации мелкого скота, пробуждающие от сна миллионы, нежели читать стихи Пушкина, от которых я сам честно засыпаю. Я с детских лет ничего не читал и не читаю, кроме работ по моей специальности. Я никогда не ходил в театр, вот только в прошлом году пришлось «по долгу службы» с «гостями республики», и это было еще снотворнее гимназического Пушкина. Чтобы перейти к коммунизму, нужно сосредоточить все силы, все помыслы, всю волю, всю жизнь на одном — на экономике. Засеянная десятина, построенный паровоз, партия мануфактуры, — вот путь к нему, а, следовательно, и цель нашей жизни. Оставьте санскритские словеса, любовные охи, постройки новых или ремонт старых богов, картины, стихи, трагедии и прочее. Лучше сделайте одну косу, достаньте один фунт хлеба!

— Я вас понимаю, — сказал Хуренито, — вы высокий образец здорового одноумья. Со многими мыслями жизнь кончают на корточках за тумбой (это было уже после моего чиханья), а начинают ее, напротив, с неумолимыми шорами, концентрирующими всю энергию на едином помысле. Одноумье — дело, движенье, жизнь. Раздумье — прекрасное и блистательное увеселение, десерт предсмертного ужина.

Позвольте теперь задать вам второй вопрос. Как можете терпеть вы левых эсеров, выступающих на митингах, идеалистов, продолжающих пусть тихо, в семейном кругу, поносить исторический материализм, наконец, просто миллионы людей, которые до сих

пор верят не в торжество коммунизма, а в целительные способности святителя Пантелеймона?

—Это опять не по моей части. За разъяснениями обратитесь к товарищу... (от острого приступа страха я прослушал имя) Мне кажется, что людей безвредных, даже если они заблуждаются, обижать не следует. Конечно, правы мы. Конечно, они ошибаются, одни из них глупцы, другие предатели, Первых мы просветим, научим, вторых — устраним.

—Вы безусловно правы, — подтвердил Учитель, — лицемеры будут ругать вас, фанатиков. Но разве можно делать что-либо не будучи слепым, не веря в свою абсолютную правоту? Если я, может быть, и прав, но прав и враг мой, один, другой, третий, и у всех нас лишь остатки единой истины, как уверяют импотенты сызмальства, то остается признать факты, а засим сесть на подушку и чесать до смертного часа зад. Действие начинается там, где кончаются высокоумные «но». Я вполне оценил всю мощь вашего «конечно». Это значит, что у вас не 99/100, а вся истина, ибо если у какого-нибудь меньшевика хоть 1/100 ее, то его, вместо Бутырок, надо позвать в Совет, начать советоваться, обсуждать, раздумывать, колебаться и перестать действовать. Ваша повязка на глазах — великолепный панцирь от беса мудрости, восприятия и прочей индо-последобеденной чепухи. Сегодня в «Известиях» опубликован список расстрелянных...

Коммунист прервал Учителя возгласом:

—Это ужасно! Но что делать — приходится! — Я не видел его лица, но по голосу понял, что он действительно удручен казнями, что слова его не дипломатическая отговорка, а искренняя жалость человека, вероятно, очень добродушного, никогда никого не обижавшего.

Он продолжал:

—Мы ведем человечество к лучшему будущему. Одни, которым это не выгодно, всячески мешают нам, прячась за кусты, стреляют в нас, взрывают дорогу, отодвигают желанный привал. Мы должны их устранять, убивая одного для спасения тысячи. Другие упираются, не понимая, что их же счастье впереди, боятся тяжелого перехода, цепляются за жалкую тень вчерашнего шалаша. Мы гоним их вперед, гоним в рай железными бичами, Дезертира-красноармейца надо расстрелять для того, чтобы дети его, расстрелянного, познали всю сладость грядущей коммуны!..

Он вскочил, забегал по кабинету, заговорил уже без усмешки, быстро, отчаянно выкашливая слова:

—Зачем вы мне об этом говорите? Я сам знаю! Думаете — легко? Вам легко — глядеть! Им легко — повиноваться! Здесь тяжесть, здесь мука! Конечно, исторический процесс, неизбежность и прочее. Но кто-нибудь должен был познать, начать, встать во главе. Два года тому назад ходили с кольями, ревя-ревели, рвали на клочки генералов, у племенных коров вырезывали вымя. Море мутилось, буйствовало. Надо было взять и всю силу гнева, всю жажду жизни направить на одно, четкое, ясное: стой, трус, с винтовкой, защитой Советы! Работай, лодырь, строй паровоз! Сейте! чините дороги! точите винты! Над генералами, над помещиками, подожженными в усадьбах, над прапорщиками в Мойке глумились, а потом ползали на брюхе под иконами, каясь и трепеща. Пришли?.. Кто? — я, десятки, тысячи, организация, партия, власть. Сняли ответственность.

Перетащили ее из изб, из казарм сюда, в эти ее исконные жилища, в проклятые дворцовые залы. Я под образами валяться не буду, замаливать грехи, руки отмывать не стану. Просто говорю — тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя!..

Высунувшись, я увидел, как Учитель подбежал к нему и поцеловал его высокий, крутой лоб. Я, очумев от неожиданности и ужаса, бросился бежать. Опомнился я только у Кремлевских ворот, где часовой остановил меня и Хуренито, требуя пропуска.

—Учитель, зачем вы его поцеловали, от благоговения или из жалости?

—Нет. Я всегда уважаю традиции страны. Коммунисты же тоже, как я заметил, весьма традиционны в своих обычаях. Выслушав его, я вспомнил однородные прецеденты в сочинениях вашего Достоевского и, соблюдая этикет, отдал за многих и многих этот обрядный поцелуй.

«Литературный Киргизстан», 1989, №3

«Писатель-репортер», «писатель-газетчик», «писатель-журналист». Эти понятия пошли я обиход на заре советской культуры. Определения «репортер», «газетчик», «журналист» раскрывали важную грань творчества, а часто и истоки революционной литературы. Можно с полным основанием утверждать, что зыбка в 20-е годы грань между очерком и рассказом, между фельетоном и сатирической новеллой. Многочисленны очерковый роман, роман-репортаж, роман-фельетон и т. л.

Для первого поколения советских писателей так же естественна работа в периодике, как и включение, а точнее, стилизация собственно «газетных» жанров при создании художественных произведений. Не случайно Б. Пильняк констатировал: «Первая полоса «Известий» была более романтической, чем беллетристический подвал на третьей полосе». В то же время «литература, — писал он, — была очерковой и познавательной». М. Шагинян в своем дневнике отмечала: «Решила писать «Колдунью и коммуниста» в форме г а з е т ы». И несколько позже: «План «Колдуньи и коммуниста» развивается все больше и больше. Пролог — газета в автобиографиях... Подробно создать и развить: 1) политическую передовицу, 2) фельетон, 3) хронику, 4) телеграммы, 5) научные статьи, 6) собственный селькор (или аулкор?)... Вся книга должна быть написана в форме газеты. Весь роман - газета. Глав нет. Чередование различных статей». При всей близости журналистики и литературы в 20-е годы близость эта получает диаметрально противоположную оценку. Имажинисты утверждают несоотнесенность их: «Два полюса: поэзия, газета. Первый: культура слова, т. е. образность, чистота языка, гармония, идея. Второй: варварская речь, т. е. терминологическая безобразность, аритмичность и вместо идеи: ходячие истины».

Перекликается с ними точка зрения Л. Троцкого, высказанная менее чем через год после публикации «Почти декларации» имажинистов, на совещании «О политике партии в художественной литературе», созванном отделом Печати ЦК РКП(б): «Конечно, было

бы великолепно, если бы мы имели в дополнение к нашей коммунистической политике и публицистике большевистское мироощущение, выраженное в художественной форме. Но этого нет, и нет совсем не случайно. Суть дела в том, что художественное творчество, по самой сути своей, отстаёт от других способов выражения духа человека, а тем более класса. Одно дело понять что-нибудь и логически выразить, а другое дело — органически усвоить это новое, перестроить порядок своих чувств и найти для этого нового порядка художественное выражение... Публицистика класса бежит вперед на ходулях, а художественное творчество ковыляет сзади на костылях... Пустосвятства, как известно, на свете немало: сошлись покрепче на Ленина, а проповедай прямо противоположное. В терминах, которые не допускают никакого иного толкования, Ленин беспощадно осудил «болтовню о пролетарской культуре». ...Да, к искусству надо относиться как к искусству, к литературе — как к литературе, т. е. как к совершенно специфической области человеческого творчества».

Иной подход был у представителей Лефа: «Пока искусство не свергнуто со своего самостоятельного пьедестала, футуризм должен его использовать, противопоставляя на его же арене: ...чистому искусству — газетный фельетон, агитку...». Но теории, особенно в своих декларативных крайностях, нередко опровергались художественной практикой. Сегодня неоспоримо взаимовлияние журналистики и литературы 20-х годов.

Большинство будущих известных писателей начинало с работы в периодических изданиях.

Талантлива журналистика Михаила Булгакова. Причем он выступает не только как известный фельетонист, иногда как очеркист. Многие его сатирические рассказы 20-х годов представляют собой стилизацию рабкоровских корреспонденций, различных жанров газеты.

В газетной работе (фельетонах, очерках) кристаллизовался авторский стиль, «оттачивалось перо» сатирика.

Сегодня многое из созданного писателем в 20-е годы и разбросанное в периодике тех лет увидело свет. Журналы и газеты день за днем возвращают читателю затерянное в пучине времени, забытое наследие.

Явление «Булгаков-журналист» — малоизвестное. Оно, может быть, менее значительно, чем «Булгаков-писатель», или «Булгаков-драматург». Но талант автора со всей очевидностью проявился и здесь.

Очерки Михаила Булгакова, посвященные социалистическим преобразованиям в советской России, были опубликованы в «Накануне» (1923 г.). «Золотистый город» — повествование, выходящее за рамки конкретного повода, послужившего его созданию. Экскурсия по павильонам сельскохозяйственной выставки дает возможность показать большие и малые изменения, которые принесла Октябрьская революция различным народам бескрайней России. В этом произведении нетрудно увидеть талант Булгакова-очеркиста и сатирика, репортера и литератора.

ЗОЛОТИСТЫЙ ГОРОД

I. ПИЦА БОГОВ

— Жуткая свинья. От угла рояля до двери в комнату Анны Васильевны.

— Вася!! Ведь ты врешь?

— Вру? Вру? Поезжайте сами посмотрите! Это обидно, в конце концов, все, что ни скажу, все вру! Сто восемнадцать пудов свинья.

— Ты сам видел?

— Все видели.

— Нет, ты скажи, ты сам видел?

— Ну... мне Петров рассказывал... Чудовищная свинья!

— Лгун твой Петров чудовищный. Ведь такая свинья в товарный вагон не влезет, как же ее в Москву везли?

— Я почему знаю! Может быть, на этой... как ее... на открытой платформе. Или на грузовике.

— Где ж такую свинью развели?

— А черт ее знает! В каком-нибудь совхозе. Конечно, не мужицкая. Мужичьи свиньи паршивые, маленькие, как кошки. Вот и притащили им такую с автомобиль. Они посмотрят, посмотрят, да и сами заведут таких.

— Нет, Вася... Ты такой человек... такой человек...

— Ну, черт с вами! Не буду больше рассказывать!

II. НА МОСКВЕ-РЕКЕ

Августовский вечер ясен. В пыльной дымке по Садовому кольцу летят гроыхающие ящики трамвая «Б» с красным аншлагом: «На выставку». Полным-полно. Обгоняют грузовики и легкие машины, поднимая облако пыли и бензинового дыму.

На Смоленском толчея усиливается. Среди шляпок и шляп вырастает белая чалма, среди спин пиджаков — полосатая спина бухарского халата. Еще какие-то шафранные скуластые лица, раскосые глаза.

Каменный мост в ущелье-улице показывается острыми красными пятнами флагов. По мосту, по пешеходным дорожкам льется струя людей, и навстречу, гудя, вылезает облупленный автобус. С моста разворачивается городок. С первого же взгляда в заходящем солнце на берегу Москвы-реки он легок, воздушен, стремителен и золотист.

Публика высыпается из трамвая, как из мешка. На усыпанных песком пространствах перед входами муравейник людей.

Продавцы с лотками выкрикивают:

— Дюшес, дюшес сладкий!

И машины рывкают, ползают, пробираясь в толпе. На остановках стена людей, осаждающих обратные «Б», а у касс хвосты.

И всюду дальше дерево, дерево, дерево. Свежее, оструганное, распиленное, золотое, сложившееся в причудливые башни, павильоны, фигуры, вышки.

Чешуя Москвы-реки делит два мира. На том берегу низенькие, одноэтажные красные, серенькие домики, привычный уют и уклад, а на этом — разметавшийся, острокрыший, островерхий, колючий город-павильон.

Из трамвая, отдуваясь, выбирается фигура хорошо и плотно одетая, с золотой цепочкой на животе, окидывает взглядом буйную толчею и бормочет:

— Черт их знает, действительно! На этом болоте лет пять надо было строить, а они в пять месяцев построили! Манечка! Надо будет узнать, где тут ресторан!

Толстая Манечка, гремя и сверкая кольцами, браслетами, цепями и камнями, впивается в пиджак, и пара спешит к кассам.

Турникеты скрипят, и продавцы и продавщицы значков Воздушного Флота налетают со всех сторон.

— Гражданин, значок! Значок!

— Газета «Смычка» с планом выставки! Десять рублей! С подробным планом!

Под ногами хрустит песок. Направо разноцветный, штучный, словно из детских кубиков сложенный павильон.

III. КУСТАРНЫЙ

Из глубины — медный марш. У входа, в синей форме, в синем мягком шлеме, дежурный пожарный. «Зажигать огонь и курить строго воспрещается». Сигнал. «В случае пожара...» и т. д. У стола отбирают дамские сумки и портфели.

Трехсветный, трехэтажный павильон весь залит пятнами цветных экспонатов по золотому деревянному фону, а в окнах синеющая и стальная гладь Москвы-реки.

«Sibcustprom» — изделия из мамонтовой кости. Маленький бюст Троцкого, резные фигурные шахматы, сотни вещиц и безделушек.

Горностаевым мехом по овчине белые буквы «Н. К. В. Т.» и щиты, и на щитах меха. Черно-бурые лисицы, черный редкий волк, песцы разные — непесок, синяк, гагара. Соболя прибайкальские, якутские, нарынские, росомахи темные.

Бледный кисейный вечерний свет в окне и спальня красного дерева. Столовая. И всюду Троицкий, Троицкий, Троицкий. Черный бронзовый, белый гипсовый, костяной, всякий.

«Игрушки — радость детей», и Кустсоюз выбросил ликующую золото-сине-красную гамму и карусель.

Мальцевский завод, Кузнецовские фабрики работают, и Продасиликат устали полки разноцветным стеклом, фарфором, фаянсом, глиной. Разрисованные чайники, чашки, посуда — экспорт на Восток, в Бухару.

Комиссия, ведающая местами заключения, показала работы заключенных: обувь, безделушки. Портрет Карла Маркса глядит сверху.

Gossprit. От легких растворителей масел, метиловых спиртов и ректификата к разноцветным 20-градусным водкам, пестроэтикетной башенной рябиновке-смирновке. Мимо плывет публика, и вздохи их выются вокруг поставца, ласкающего взоры. Рюмки в ряду ждут избранных — спецов-дегустаторов.

Уральские самоцветы, яшма, малахит, горный дымчатый хрусталь. На гигантском столе модель фабрики галош, опять меха, ткани, вышивки, кожи. Вижу в приволе, куда сбегают легкие лестницы, экипажи, брички показательной, образцовой мастерской. Бочки, оси, колеса...

Лампы вспыхивают под потолком, на стенах, павильон наливается теплым светом, угасает Москва-река за окном.

IV. ЦВЕТНИК-ЛЕНИН

Шуршит песок. Тень легла на Москву. Белые шары горят, в высоте арка оделась огнями. Киоск с пивом осаждают. Духота.

Главное здание — причудливая смесь дерева и стекла.

В полумраке — внутренний цветник. У входа — гигантские разные деревянные торсы. А на огромной площади утонула трибуна в гуще тысячной толпы. Слов не слышно, но видна женская фигура. Несомненно, деревенская баба в белом платочке. Последние ее слова покрывает не крик, а грохот толпы, и отзывается на него издали затерявшийся под краем подковы — главного павильона — оркестр. С трибуны исчезает белый платок, вместо него черный мужской силуэт.

— Доро-гой! Ильич!!

Опять грохот. Затем буйный марш, и рядами толпа валит между огромным цветником и зданием открытого театра к Нескучному на концерт. В рядах плывут клинобородые мужики, армейцы в шлемах, пионеры в красных галстуках, с голыми коленями, женщины в платочках, сельские бородатые захолустные фигуры и московские рабочие в картузах.

Даму отрезало рекой от театра. Она шепчет:

— Не выставка, а черт знает что! От пролетариата прохода нет. Видеть больше не могу!

Пиджак отзывается сильным шепотом:

— Н-да, трудновато!

И их начинает вертеть в водовороте.

К центру цветника непрерывное паломничество отдельных фигур. Там знаменитый на всю Москву цветочный портрет Ленина. Вертикально поставленный, чуть наклонный, двускатный щит, обложенный землей, и на одном скате с изумительной точностью выращен из разноцветных цветов и трав громадный Ленин, до пояса. На противоположном скате отрывок из его речи.

Три электросолнца бьют сквозь легкие трельяжи, решетки и мачты открытого театра. Все дерево, все воздушное, сквозное, просторное. На громадной сцене медный оркестр льет вальс, и черным-черны скамьи от народу.

V. ВЕЧЕР. УЗБЕКИ

Тень покрывает город и Москву-реку. В фантастическом выставочном цветнике полумрак, и в нем цветочный Ленин кажется нарисованным на громадном полотне.

Павильоны, что тянутся по берегу реки к Нескучному, начинают светиться. Ослепительно ярко загорается павильон с гипсовыми мощными торсами, поддерживающими серые пожарные шланги. На фронтоне, на стене надписи. Пожары в деревне. Борьба с пожарами. В павильоне полный свет, но еще стоят внутри кой-где леса. Он еще не окончен.

— Не беспокойтесь, завтра откроют. Со мной так было: утром придешь, помотришь работу, а вечером этого места не узнаешь — кончили!

И опять: свет, потом полумрак. Горит павильон Сельскосоюза. В стеклах дыни, груши. Рядом — темноватая глыба. Чернее подпись «Закрыто». В полумраке, в отсвете ламп с отдаленных фонарей, в кафе на берегу реки, едят и пьют. Сюда, на берег реки, еще не дали света.

По Москве-реке бегут огоньки на лодках. Стучит в отдалении мотор, и распластаный гидроплан прилепился к самому берегу. Армейцы в шлемах тучей облепили загородку, смотрят водяную алюминиевую птицу.

В полумраке же квадраты и шашечные клетки показательных орошаемых участков, темны и неясны очертания у цветников, окаймляющих павильоны рядом белых астр. Пахнут по-вечернему цветы табака.

По дорожкам народ группами стремится к Туркестанскому павильону, входит в него толпами. Внутри блестит причудливая деревянная резьба, свет волной. Снаружи он расписан пестро, ярко, необыкновенно.

И тотчас возле него начинает приветливо пахнуть шашлыком.

Там, где беседка под самым берегом, память угасшего, отжившего века Екатерины — Павла — Александра, на грани, где зеленым морем надвигается Нескучный сад с огнями

электрическими, резкими, новыми, вдоль берега кипят гигантские самовары, бродят тюбетейки, чалмы.

За Туркестанским хитрым, расписным домом библейская какая-то арба. Колеса-гиганты, гигантские шляпки гвоздей, гигантские оглобли. Арба. Потом по берегу, вдоль дороги, под деревьями навесы деревянные и низкие настилы, крытые восточными коврами. Манит сюда запах шашлыка москвичей, и белые московские барышни, ребята, мужчины в европейских пиджаках, поджав ноги в остроносых ботинках, с расплывшимися улыбками на лицах, сидят на пестрых толстых тканях. Пьют из каких-то безруких чашек. Стоят перетянутые в талию, тускло блестящие восточные сосуды.

В печах под навесами бушует красное пламя, висят на перекладинах бараньи освежеванные туши. Мечутся фартуки. Мелькают черные головы.

Раскаленный уголь в извитую громоздкую трубку, и черный неизвестный восточный гражданин Республики курит.

— Кто вы такие? Откуда? Национальность?

— Узбеки. Мы.

Что ж. Узбеки так узбеки. К узбеку в кассы сыпят пятидесяти— и сторублевые бумажки.

— Четыре порции. Шашлык.

Пельмени ворчат у печей. Жаром веет. Хруст и говор. Едят маслящиеся пельмени, едят какой-то витой белый хлеб, волокут шашлык на тарелках.

Мимо навесов по дороге непрерывно идут и идут в Нескучный сад. Оттуда доносится то глухо, то ясными взрывами музыка.

VI. ДВИЖЕНИЕ

По дорожкам, то утрамбованным, то зыбким и рыхлым, снуют и снуют, идут вперед к туркестанцам, идут назад к выходам. По дороге еще буфет и тоже темно. Тоже еще не дали свету. Но и там звенят ложечки и стаканы.

Круглое, светящееся преграждает путь. Павильон Нарпита. В кольцевой галерее снаружи, конечно, едят и пьют, и подает «услуживающий» в какой-то диковинной фуражке с красным ярлыком. Внутри, в стеклянном граненом павильоне, чинно и чисто. Диаграммы, масляными красками вдоль всей верхней части стены картины будущего общественного питания. Общественные кухни с наилучшим техническим оборудованием. Общественные столовые.

Посередине сервирован стол. Так чисто, на красивой посуде будут есть, когда процветет «Narpit».

Выставка теперь живет до 12 часов ночи. Но за два, за три часа по пескам, в суете, по пространству с уездный город, и вот ноги больше не хотят ходить.

На выставку надо ездить много — раз пять, шесть, чтобы успеть хоть сколько-нибудь добросовестно осмотреть, что-нибудь запомнить, всюду побывать.

На выход! На выход! Домой!

И вот у выходов долгий, скучный, тяжелый фокус. Отсюда в город трамвай идет полный, до отказа. Тучи ждут. Когда в него попадешь?

Вон мелькнула надежда. Стоит черный автомобиль с продолговатыми лавками.

— Берете публику?

— Нет. Это машина Горбанка.

Но вот спасительный красный ящик. Неуклюж, как слон, облуплен, тяжел, грузен.

— До Страстного?

— Семьдесят пять рублей.

Скорее садиться. Места занимают вмиг.

О Боже! Кишки вытрясет!

Последним на ходу вскакивает некто с портфелем. Физиономия настолько озабоченная, портфель настолько внушительный, взгляды настолько сосредоточенные, что сразу видно — не простой смертный, а выставочный. Так и есть.

— Вот я организую автобусное движение. На хороших машинах.

— Очень бы хорошо было. А то, знаете ли, пропадешь.

— Еще бы... Ведь это не машина, а...

Но не успел организатор сказать, что именно. Тряхнуло так, что язык вскочил между зубами. Так и надо. Скорее организовывай.

И загудело, и замотало, и начало качать по набережной к Храму Христа.

— Только бы живым выйти!

VII. ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

Две недели я не был на выставке, и за эти две недели резко изменился деревянный город.

Он окрасился, покрылся цветными пятнами. Затем исчезли последние леса у павильонов, исчез мусор. Почва под сентябрьским солнцем высохла, утрамбовалась, и идти теперь легко.

Потом город запыхтел, и застучал, и заиграл. Посетителей стало все больше, и в праздничные дни начинается толчея. Впечатление такое, что всех вливающих за турникеты охватывает какое-то радостное возбуждение. Крики газетчиков, звуки

оркестров, толпа, краски — все это поднимает настроение. Как грибы, выросли киоски — пивные, папиросные, винные, фруктовые, молочные. И надо сказать, что они очень облегчают осмотр и хождение. За несколько часов ходьбы под теплым солнцем хочется пить.

VIII. НАДИЯ НА БОГА

И ПОЖАРНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

Зычный пожарный трубный сигнал. Белый павильон, испещренный лозунгами. «Центральный пожарный отдел».

Громадные белые торсы поддерживают серые шланги. Кто делал? Резинотрест.

Дальше брезентовые костюмы на манекенах, каски, упряжь, насосы. Диаграммы, рисунки, плакаты, картины.

Смысл: деревню надо отстоять. Деревню надо учить не только бороться с пожарами, но и их предупреждать.

Во всю стену огнеупорная стена из «соломита» — прессованной соломы. Работа Стройноторга.

Над соломитом громадное полотно: без всяких футуристических ухищрений реально написана картина — горит деревня. Мечутся лошади, полыхает пламя, и женщины простоволосые простирают руки к небу. Старуха с иконой.

Подпись: «Кому разум не помог, молитва не поможет».

Харьков выставил литографии. На одной украинец, спокойный и веселый, у беленькой хаты. Он потому спокойный, что он меры против пожара принимал.

А рядом нищий, оборванный у пепелища. «Я не вживав заходяв проти пожеж. Жив на одчай и покладав надию на Бога — й пожежа довела мене до вбожества».

Красные блестящие коробки пожарных телеграфов, сложные телефоны, сигнализация, модели, показывающие, как проложить трубы от печек, чтобы они были безопасны, ценные огнетушители «Богатыря» и «Рекорда», водоподъемник системы «Шенелис», всевозможные виды керосиновых ламп и лозунги, лозунги и диаграммы.

Голос руководителя:

— Этим концом ударяете об землю и затем направляете струю куда угодно...

IX. КАК СБЕРЕЧЬ СВОИ ЛЕСА

В Дом крестьянина — большой двухэтажный дом — вовлекла толпа экскурсантов.

Женщина с красной повязкой на рукаве шла вперед и объясняла:

— Сейчас, товарищи, мы с вами пройдем в Дом крестьянина, где вы прежде всего увидите уголок нашего Владимира Ильича...

В Доме такая суета, что разбегаются глаза и смутно запоминаются лишь портреты Ленина, Калинина и еще какие-то картинки.

Стучат, ведут вверх, вниз. И вдруг — дверь, и, оказывается, внутри театр. Сцена без занавеса. У избушки баба в платочке, целый конклав умных клинобородых мужиков в картузах и сапогах и один глупый, мочальный и курносый, в лаптях. Он, извольте видеть, без всякого понятия свел целый участок леса.

— Товарищи! Мыслимое ли это дело? А? — восклицает умный, украшенный картузом, обращаясь к публике, — прав он или не прав? Если не прав, поднимите руки.

Публика с удовольствием созерцает дурака, вырубившего участок, но, не будучи еще приучена к соборному действию, рук не поднимает.

— Выходит, стало быть, прав? Пущай рубит? Здорово! — волнуется картуз на сцене, — товарищи, кто за то, что он не прав, прошу поднять руки!

Руки поднимаются у всех.

— Это так! — удовлетворен обладатель цивилизованного головного убора, — присудим мы его назвать дураком!

И дурак с позором уходит, а умные начинают хором петь куплеты. Заливается гармония.

Надо, надо нам учиться,

Как сберечь свои леса,

Чтоб потом не очутиться

Без избы и колеса!

Ходят, выходят, спешно распаковывают какую-то посуду. Вероятно, для крестьянской столовки. И опять валит навстречу толпа, и опять женский голос:

— ...и увидите уголок Владимира...

Х. КАРАМЕЛЬ, ТАБАК И ПИВО

От Дома крестьянина по берегу реки дальше вглубь в зелень, к Нескучному саду. Неузнаваемое место. По-прежнему вековые деревья и тени, гладь пруда, но в зелени белые, цветные, причудливые здания. И почти изо всех пыхтенье, стрекотание, стук машин.

Вот он, Моссельпром. Грибом каким-то. Под шапкой надпись «Ресторан».

И со входа сразу охватывает сладкий запах карамели. Белые колпаки, снежные халаты. Мнут карамельную массу, машина режет карамельные конуса. На плитах тазы с начинкой. Барышни-зрительницы висят на загородке — симпатичный павильон! 2-я государственная кондитерская фабрика имени П. А. Бабаева, бывшие знаменитые «Абрикосова Сыновья».

На стенах — диаграммы государственного дрожжевого № 1 завода Моссельпром.

В банках и ампулах сепаризованные дрожжи, сусло, солод ячменный и овсяной, культуры дрожжей.

Диаграммы производительности 1-й государственной макаронной фабрики все того же вездесущего Моссельпрома.

В январе 1923 года макаронных изделий — 7042 пуда, в мае — 10870 пудов.

В следующем отделении запах табака убивает карамель. Халаты на работницах синие. «Дукат». По-иностранному тоже написано: «Doukat». Машины режут, набивают, клеют гильзы. Выставка разноцветных коробок, и среди них уже появились «Привет с выставки».

Дальше приютился славный фруктовый бывш. Калинин, ныне первый завод фруктовых вод.

В карбонизаторе при 5 атмосферах углекислота насыщает воду. Фильтры Chamberland'a.

Разлив пива. Машина брызжет, моет бутылки, мелькают изумительного проворства руки работниц в тяжелых перчатках. Вертится барабан разливной машины, и пенистое золотистое пиво Моссельпрома лезет в бутылки.

За стойкой тут же посетители его покупают и пьют кружками.

Показательная выставка бутылок — что выпускает бывш. Калинин теперь? Все. По-прежнему сифоны с содовой и сельтерской, по-прежнему разноцветные бутылки со всевозможными водами. И приятны ярлыки: «На чистом сахаре».

XI. ОПЯТЬ ТАБАК, ПОТОМ ШЕЛКА,

А ПОТОМ УСТАЛОСТЬ

Здесь что? Павильон Табакотреста.

Здесь б. Асмолов, а теперь Донская государственная фабрика в Ростове-на-Дону. Тоже режут машины табак, набивают папиросы. Здесь торгуют специальными расписными острогранными коробками по сотне только что изготовленных папирос.

Растут зеленые лапчатые табаки — тыккульк, любек, тютюн. Стоят модели огневых сушильных сараев, висят цапки, шнуры, иглы. Пестрят лозунги: «Мотыженье в пору — даст обилие сбору», «Вершки и пасынок оборвешь, лучший лист соберешь».

Идет заведующий и говорит о том, насколько сократилась площадь плантаций в России и какие усилия употребляются, чтобы поощрить табаководство на Кубани, в Крыму, на Кавказе.

Гильз на рынке мало, и теперь в России не выделывают табаку, а только готовые папиросы.

Недалеко от павильона, где работает Асмолов, павильон с гигантским плакатом «Махорка». Плакат кричит крестьянину: «Сей махорку — это выгодно»...

Довольно табаку. Дальше!

И вот павильон текстильный. ВСНХ. Здесь прекрасно. Во-первых, он внешне хорош. Два корпуса, соединенных воздушной галереей-балконом с точеной балюстрадой. Зелень обступила текстильное царство. Внутри же бесконечная в двух этажах гамма красок, бесконечные волны шелков, полотен, шевиотов, ситцу, сукон.

Начинается с Петроградского гос. пенькового треста «The Petrograd State Hemp Trust», выставившего канаты, и мешки, и веревки, и диаграммы, а дальше непрерывным рядом драпированных гостиных идут вязниковские льняные фабрики, опять пеньковые тресты, Гаврило-Ямская мануфактура с бельевыми и простынными полотнами и десятки трестов: шелко-трест, хлопчатобумажный трест, суконный трест, Иваново-Вознесенский текстильный... камвольный «Мострикоб»...

Московский текстильный институт со своими шелковичными червями, которые тут же непрерывно жуют, жуют груды зеленых листьев...

После осмотра текстильного треста ноги больше не носят. Назад, к Москве-реке, к лавочкам, отдыхать, курить, смотреть, но не «осматривать»... В один раз не осмотришь все равно и десятой доли. Поэтому — назад. Мясохладобойни, скороморозилки Наркомтруда — потом, павильон НКПС'а — потом (сияющий паровоз вылезает прямо в цветник), Мосполиграф — потом...

К набережной — смотреть закат.

ХII. КООПЕРАЦИЯ! КООПЕРАЦИЯ!

НЕУДАЧНИК ЯПОНЕЦ

А он прекрасен — закат. Вдали догорают золотые луковицы Христа Спасителя, на Москве-реке лежат зыбкие полосы, а в городе-выставке уже вспыхивают бледные электрические шары.

Толпа густо стоит перед балконом павильона Центросоюза, обращенным на реку. Цветные пестрые ширмы на балконе, а под ними три фигурки. Агитационный кооперативный Петрушка.

За прилавком круглый купец в жилетке объегоривает мужика. В толпе взмывает смех. И действительно, мужик замечательный. От картуза до котомки за спиной. Какое-то особенное, специфически мужицкое лицо. Сделана фигурка замечательно. И голос у мужика неподражаемый. Классный мужик.

— Фирма существует 2000 лет, — рассыпается купец.

— Батюшки! — изумляется мужик.

Он машет деревянными руками, и трясет бородой, и призывает Господа Бога, и получает от жулика-купца крохотный сверток товара за миллиард.

Но является длинноносый Петрушка-кооператор, в зеленом колпаке, и вмиг разоблачает штуки толстосума, и тут же устраивает кооперативную лавку, и заваливает мужика товаром. Побежденный купец валится на бок, а Петрушка танцует с мужиком дикий радостный танец, и оба поют победную песнь своими голосами:

Кооперация! Кооперация!

Даешь профит ты нации!..

— Товарищи, — вопит мужик, обращаясь к толпе, — заключим союз и вступим все в Центросоюз.

У пристани Доброфлота — сотни зрителей. Алюминиевая птица — гидроаэроплан RRDaе — в черных гигантских калошах стоит у берега. Полет над выставкой — один червонец с пассажира. В толпе — разговоры, уже описанные незабвенным Иваном Феодоровичем Горбуновым.

— «Юнкерс» шибче «Фоккера»!

— Ошибаетесь, мадам, «Фоккер» шибче.

— Удивляюсь, откуда вы все это знаете?

— Будьте покойны. Нам все это очень хорошо известно, потому мы в Петровском парке живем.

— Но ведь вы сами не летаете?

— Нам не к чему. Сел на «шестой» номер — и в городе.

— Трусите?

— Червонца жалко.

— Идут. Смотрите, японцы идут! Летать будут! Три японца, маленькие, солидные, сухие, хорошо одетые, в роговых очках. Публика встречает их сочувственным гулом за счет японской катастрофы .

Двое влезли благополучно и нырнули в кабину, третий сорвался с лестнички, и в полосатых брюках, и в клетчатом пальто, и в широких ботинках — сел в воду с плеском и грохотом.

В первый раз в жизни был свидетелем молчания московской толпы. Никто даже не хихикнул.

— Не везет японцам в последнее время...

Через минуту гидроплан стремительно проходит по воде, подымая бурный пенный вал, а через две — он уже уходит гудящим жуком над Нескучным садом.

— Улетели три червончика, — говорит красноармеец.

ХIII. БОИ ЗА ТРАКТОР.

ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ

Вечер. Весь город унизан огнями. Всюду белые ослепительные точки и кляксы света, а вдали начинают вертеться в темной вечерней зелени цветные рекламные колеса и звезды.

В театре три электрических солнца заливают сцену. На сцене стол, покрытый красным сукном, зеленый огромный ковер и зелень в кадках. За столом президиум — в пиджаках, куртках и пальтишках. Оказывается, идет диспут: «Трактор и электрификация в сельском хозяйстве».

Все лавки заняты. Особенно густо сидят.

Наступает жгучий момент диспута.

Выступал профессор-агроном и доказывал, что нам в настоящий момент трактор не нужен, что при нашем обнищании он ляжет тяжелым бременем на крестьянина. Возражать скептику и защищать его записалось 50 человек, несмотря на то что диспут длится уже долго.

За конторкой появляется возбужденный оратор. В солдатской шинелишке и картузе.

— Дорогие товарищи! Тут мы слышали разные слова — «электрификация», «машинизация», «механизация» и тому подобное, и так далее. Что должны означать эти слова? Эти слова должны обозначать не что иное, товарищи, что нам нужны в деревне электричество и машины. (Голоса в публике: «Правильно!») Профессор говорит, что нам, мол, трактор не нужен. Что это обозначает, товарищи? Это означает, товарищи, что профессор наш спит. Он нас на старое хочет повернуть, а мы старого не хотим. Мы голые и босые победили наших врагов, а теперь, когда мы хотим строить, нам говорят ученые — не надо? Ковырай, стало быть, землю лопатой? Не будет этого, товарищи («Браво! Правильно»).

Появляются сапоги-бутылки из Смоленской губернии и сладким тенором спрашивают, какой может быть трактор, когда шпагат стоит 14 рублей золотом?

Профессор в складной речи говорит, что он ничего... Что он только против фантазий, взывает к учету, к благоразумию, строгому расчету, требует заграничного кредита и, в конце концов, начинает говорить стихами.

Появляется куцая куртка и советует профессору, ежели ему не нравится в России, которая желает иметь тракторы, удалиться в какое-нибудь другое место, например в Париж.

После этого расстроенный профессор накрывается панамой с цветной лентой и со словами:

— Не понимаю, почему меня называют мракобесом? — удаляется в тьму.

Оратор из Наркомзема разбивает положения профессора, ссылаясь на канадских эмигрантов и зовет к электрификации, к трактору, к машине.

Прения прекращаются.

И в заключительном слове председатель страстно говорит о фантазерах и утверждает, что народ, претворивший не одну уже фантазию в действительность в последние пять изумительных лет, не остановится перед последней фантазией о машине. И добьется.

— А он не фантазер?

И рукой невольно указывает туда, где в сумеречном цветнике на щите стоит огромный Ленин.

Кончен диспут. Валит все гуще народ в театр. А на сцене, став полукругом, десять клинобородых владимирских рожечников высвистывают на длинных деревянных самодельных дудках старинные русские песни. То стонут, то заливаются дудки, и невольно встают перед глазами туманные поля, избы с лучинами, тихие заводы, сосновые суровые леса. И на душе не то печаль от этих дудок, не то какая-то неясная надежда. Обрывают дудки, обрывается мечта. И ясно гудит в последний раз гидроплан, садясь на реку, и гроздьями, букетами горят огни, и машут крыльями рекламы. Слышен из Нескучного медный марш.

Комментарии.

Первая всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка была открыта 19 августа 1923 г. в Москве, на территории нынешнего Парка культуры и отдыха им. Горького. В сооружении павильонов и оформлении выставки принимали участие виднейшие архитекторы, скульпторы, инженеры-строители, художники: А. В. Щусев (главный архитектор выставки), И. В. Жолтовский, Ф. О. Шехтель, С. Т. Коненков, В. И. Мухина и др. Как сообщали газеты, выставку посетило около 1,5 миллиона человек.

Газета «Накануне» поручила Булгакову обстоятельно описать все происходящее на выставке. Этот случай хорошо запомнил Эм. Миндлин, писатель и сотрудник «Накануне». Вот его рассказ:

«Заведующему финансами московской редакции [„Накануне“] С. Н. Калменсу невообразимо импонировали светские манеры Булгакова... Скуповатый со всеми другими, прижимистый Калменс ни в чем ему не отказывал.

Открылась Первая всероссийская сельскохозяйственная выставка на территории бывшей свалки... Все мы писали тогда о выставке в московских газетах. Но только Булгаков преподал нам „высший класс" журналистики.

Редакция „Накануне" заказала ему обстоятельный очерк. Целую неделю Михаил Афанасьевич с редкостной добросовестностью ездил на выставку и проводил на ней по многу часов.

Наконец изучение завершилось, и Булгаков принес в редакцию заказанный материал. Это был мастерски сделанный, искрящийся остроумием, с превосходной писательской наблюдательностью написанный очерк... Много внимания автор сосредоточил... на всевозможных соблазнительных национальных напитках и блюдах... Ведь эмигрантская печать злорадно писала о голоде в наших национальных республиках!

Очерк я отправил в Берлин, и уже дня через три мы держали в Москве последний номер „Накануне" с очерком Булгакова на самом видном месте.

Наступил день выплаты гонорара... Счет на производственные расходы у Михаила Афанасьевича был уже заготовлен. Но что это был за счет!.. Уж не помню, сколько там значилось обедов и ужинов, сколько легких и нелегких закусок и дегустаций вин! Всего ошеломительней было то, что весь этот гомерический счет на шашлыки, шурпу, люля-кебаб, на фрукты и вина был на двоих.

На Калменса страшно было смотреть... Белый как снег, скаредный наш Семен Николаевич Калменс, задыхаясь, спросил — почему же счет за недельное пирование на двух лиц?..

Булгаков невозмутимо ответил:

— А извольте-с видеть, Семен Николаевич. Во-первых, без дамы я в ресторан не хожу. Во-вторых, у меня в фельетоне отмечено, какие блюда даме пришлось по вкусу. Как вам угодно-с, а произведенные мною производственные расходы покорнейше прошу возместить.

И возместил! Калменс от волнения едва не свалился... И все-таки возместил...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 146-147).

Но это был редкий случай. Чаще всего происходило наоборот: Булгакову не удавалось «выбить» из Калменса необходимые писателю суммы. Вот дневниковая запись Булгакова от 9 сентября 1923 г.: «Уже холодно. Осень. У меня как раз безденежный период. Вчера я, обозлившись на вечные прижимки Калменса, отказался взять у него предложенные мне 500 млн. рублей и из-за этого сел в калошу. Пришлось занять миллиард у Толстого (предложила его жена)».

Михаил Булгаков.

Дьяволиада

Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя

1. Происшествие 20-го числа

В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентрбазспимате (Главная Центральная База Спичечных Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он – Коротков – будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так...

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополуночи.

Вернулся же кассир в 4 1/2 часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку – портфель и сказал:

– Не напирайте, господа.

Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу – свою правую руку и молвил:

– Денег не будет.

– Завтра? – хором закричали женщины.

– Нет, – кассир замотал головой, – и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете.

– Как? – вскричали все, и в том числе наивный Коротков.

– Граждане! – плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. – Я же прошу!

– Да как же? – кричали все и громче всех этот комик Коротков.

– Ну, пожалуйста, – шипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:

«Выдать.

за т.Субботникова – Сенат».

Ниже фиолетовыми чернилами было написано:

«Денег нет.

За т.Иванова – Смирнов».

– Как? – крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.

– Ах ты, Господи! – растерянно заныл тот. – При чем я тут? Боже ты мой!

Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» – и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она, – босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.

2. Продукты производства

Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:

– Товарищ Коротков, идите жалованье получать.

– Как? – радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью: «касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

«Выдать продуктами производства.

За т.Богоявленского – Преображенский.

И я полагаю – Кшесинский».

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 маленьких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:

– Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.

Он постучался, к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в Губвинскладе.

– Войдите, – глухо отозвалось в комнате.

Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.

- 46, – сказала она и повернулась к Короткову.
- Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федоровна, – вымолвил пораженный Коротков.
- Церковное вино, – всхлипнув, ответила соседка.
- Как, и вам? – ахнул Коротков.
- И вам церковное? – изумилась Александра Федоровна.
- Нам – спички, – угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке.
- Да ведь они же не горят! – вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.
- Как это так, не горят? – испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй – в левый глаз товарища Короткова.
- А-ах! – крикнул Коротков и выронил коробку.

Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.

– Ах, Боже мой! – расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненного в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички.

– Врет, дура, – ворчал Коротков, – прекрасные спички.

Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидал дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный, живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался.

3. Лысый появился

На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать.

Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой, – будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой т.Чекушина.

И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом.

Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булабочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было облечено в расстегнутый, сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.

«Т-типик», – подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.

– Что вам надо? – спросил лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недалновидный Коротков сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало, – обиделся.

– Гм... довольно странно. Я иду с бумагой... А позвольте узнать, кто вы так...

– А вы видите, что на двери написано?

Коротков посмотрел на дверь и увидел давно знакомую надпись:

Без доклада не входить

– Я и иду с докладом, – сглупил Коротков, указывая на свою бумагу.

Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.

– Вы, товарищ, – сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками, – настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще тут у вас много

интересного, например, эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну, ничего, это мы все приведем в порядок. («А-ах!» – ахнул про себя Коротков.) Дайте сюда!

И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызенный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.

– Ступайте! – рявкнул он и ткнул бумагу Короткову так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении, – в кабинете Чекушина не было.

Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку де Руни, личную секретаршу т.Чекушина.

– А-ах! – ахнул т.Коротков. Глаз у Лидочки был закутан таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.

– Что это у вас?

– Спички! – раздраженно ответила Лидочка. – Проклятые.

– Кто там такой? – шепотом спросил убитый Коротков.

– Разве вы не знаете? – зашептала Лидочка, – новый.

– Как? – пискнул Коротков, – а Чекушин?

– Выгнали вчера, – злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: – Ну и гу-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! – добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.

– Как фа...

Коротков не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь:

– Ай, яй, яй... Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять... «Неразвиты»... Хм... Нахал... Ладно! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.

И одним глазом делопроизводитель прочел писание лысого. На бумаге стояли кривые слова:

«Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны».

– Вот это здорово! – восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он немедля вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил:

«Телефонограмма.

Заведующему подотделом укомплектования точка. В ответ на отношение ваше за №0,15015 (6) от 19-го числа, запятая Главспимат сообщает запятая, что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка Заведывающий тире подпись Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка».

Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал:

– Заведующему на подпись.

Пантелеймон подсевал губами, взял бумагу и вышел.

Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведывающий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В 3 1/2 часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона:

– Уехали на машине.

Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой т.Коротков.

4. Параграф первый – Коротков вылетел

На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир – словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у

стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание, и все потупились.

– Здравствуйте, господа, что это такое? – спросил удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке. Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый, ошеломляющий туман.

Приказ №1

1. За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно.

Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:

«Заведующий кальсонер».

Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпийской розы» царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.

– Как? Как? – прозвенел два раза Коротков совершенно как разбитый о каблук альпийский бокал, – его фамилия Кальсонер?..

При страшном слове канцелярские брызнули в разные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур.

– Ай, яй, яй, – загудел в отдалении, выглядывая из грессбуха. Скворец, – как же вы это так, батюшка, промахнулись? А?

– Я ду-думал, думал... – прохрустел осколками голоса Коротков, – прочитал вместо «Кальсонер» «Кальсоны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!

– Подштанники я не одену, пусть он успокоится! – хрустально звякнула Лидочка.

– Тсс! – змеей зашипел Скворец, – что вы?

Он нырнул, спрятался в грессбухе и прикрылся страницей.

– А насчет лица он не имеет права! – негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, как горностаи, – я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ де Руни!

– Тише! – пискнул побледневший Гитис, – что вы? Он вчера испытывал их и нашел превосходными.

Д-р-р-р-р-р-р-р, – неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью... и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилося по коридору.

– Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! – высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он стал перед страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона.

– Товарищ Пантелеймон, – заговорил беспокойно Коротков. – Ты меня, пожалуйста,пусти. Мне нужно к заведующему сию минуту...

– Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, – захрипел Пантелеймон и страшным запахом луку затушил решимость Короткова, – нельзя. Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет...

– Пантелеймон, мне же нужно, – угасая, попросил Коротков, – тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ... Пустименя, милый Пантелеймон.

– Ах ты ж, Господи... – в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон, – говорю вам, нельзя. Нельзя, товарищ!

В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос:

– Еду! Сейчас!

Пантелеймон и Коротков расступились; дверь распахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал перед ним задом.

– Товарищ Кальсонер, – забормотал он прерывающимся голосом, – позвольте одну минуточку сказать... Тут я по поводу приказа...

– Товарищ! – звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге, – вы же видите, я занят? Еду! Еду!..

– Так я насчет прика...

– Неужели вы не видите, что я занят?.. Товарищ! Обратитесь к делопроизводителю.

Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган «Альпийской розы».

– Я ж делопроизводитель! – в ужасе облившись потом, визгнул Коротков, – выслушайте меня, товарищ Кальсонер!

– Товарищ! – заревел, как сирена, ничего не слушая, Кальсонер и, на ходу обернувшись к Пантелеймону, крикнул:

– Примите меры, чтоб меня не задерживали!

– Товарищ! – испугавшись, захрипел Пантелеймон, – что ж вы задерживаете?

И не зная, какую меру нужно принять, принял такую, – ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действительной, – Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь.

– Пит! Питт! – закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла. Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел:

– Бе-да!

– Пантелеймон... – трясущимся голосом спросил Коротков, – куда он поехал? Скорей скажи, он другого, понимаешь ли...

– Кажись, в Центроснаб.

Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.

5. Дьявольский фокус

Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с «Альпийской розой». Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стучаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарахтела впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец у серого здания Центроснаба мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси, упал, ушиб колено, поднял кепку и под носом автомобиля поспешил в вестибюль.

Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы, и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью, и у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так и случилось. На 5-й площадке, когда делопроизводитель совершенно обессилел, спина растворилась в гуще физиономий, шапок и портфелей. Как молния Коротков взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой была две надписи. Одна золотая по зеленому с твердым знаком:

ДОРТУАР ПЕПИНЬЕРОКЪ

другая черным по белому без твердого:

НАЧКАНЦУПРАВДЕЛСНАБ

Наудачу Коротков устремился в эти двери и увидел стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин, бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную

перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки – там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых, мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов, – женских и мужских, но Кальсонеровой среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробегавшую с зеркальцем в руках.

– Не видели ли вы Кальсонера?

Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза:

– Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его.

Коротков побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и увидел открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову, – догнал... пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель.

– Товарищ Кальсонер, – прокричал Коротков и ооченел. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Коротков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: «Борода выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице, – что же это такое?» И затем вторая: «Борода фальшивая, – это что же такое?»

А Кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот, борода, последними глазки и рот, выкрикнувший нежные теноровые слова:

– Поздно, товарищ, в пятницу.

«Голос тоже привязной», – стукнуло в коротковском черепе. Секунды три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что остановка – гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснувшись руки Короткова, спросила его:

– У вас, товарищ, порок сердца?

– Нет, ох нет, товарищ, – выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке, – не задерживайте меня.

– Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу, – сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту.

– Я не хочу! – плаксиво вскричал Коротков, – товарищ! Я спешу. Что вы?

Но женщина осталась непреклонной и печальной.

– Ничего не могу сделать, вы сами знаете, – сказала она и придержала за руку Короткова. Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз.

– Пустите меня! – визгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наковле, он оказался внизу возле огромной новой стеклянной стены под надписью вверху серебром по синему:

Дежурные классные дамы

и внизу пером по бумаге:

Справочное

Темный ужас охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер. Кальсонер иссиня бритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не подалась.

Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись:

«Кругом, через 6-й подъезд».

Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом.

– Где шестой? Где шестой? – слабо крикнул он кому-то. Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.

– Что? Все ходите? – зашамкал он, – ей-Богу, напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.

– Откуда вычеркнули? – остолбенел Коротков.

– Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком – чирк, и готово – хи-хи. – Старичок сладострастно засмеялся.

– Поз... вольте... Откуда же вы меня знаете?

– Хи. Шутник вы, Василий Павлович.

– Я – Варфоломей, – сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб, – Петрович.

Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка.

Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам.

– Что ж вы путаете меня? Вот он – Колобков, В.П.

– Я – Коротков, – нетерпеливо крикнул Коротков.

– Я и говорю: Колобков, – обиделся старичок. – А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера – Чекушин.

– Что?.. – не помня себя от радости, крикнул Коротков. – Кальсонера выкинули?

– Точно так-с. День всего успел поуправлять, и вышибли.

– Боже! – ликуя воскликнул Коротков, – я спасен! Я спасен! – и, не помня себя, он сжал костлявую когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг радость Короткова померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился.

– Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?

– Обязательно, – подтвердил старичок, – тут и сказано – в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком.

Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями, у нее что-то спросить, и увидел, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку.

– Голубчик! – бросился к нему Коротков, – бумажник мой, желтый...

– Неправда это, – злобно ответил мальчишка, – не брал я, врут они.

– Да нет, милый, я не то... не ты... документы.

Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел басом.

– Ах, Боже мой! – в отчаянии вскричал Коротков и понесся вниз к старичку.

Но когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-чуть серой.

Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и выпрыгнула одна новая: «Трамвай!» Он ясно вдруг вспомнил, как жали его на площадке двое молодых людей, один из них худенький с черными, словно приклеенными, усиками.

– Ах, беда-то, вот уж беда, – бормотал Коротков, – это уж всем бедам беда.

Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свернул в переулок и очутился у подъезда небольшого здания неприятной архитектуры. Серый человек, косой и мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону, спросил:

- Куда ты лезешь?
- Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только что украли документы... Все до единого... Меня забрать могут...
- И очень просто, – подтвердил человек на крыльце.
- Так вот позвольте...
- Пушай Коротков самолично и придет.
- Так я же, товарищ, Коротков.
- Удостоверение дай.
- Украли его у меня только что, – застонал Коротков, – украли, товарищ, молодой человек с усиками.
- С усиками? Это, стало быть, Колобков. Беспременно он. Он в нашем районе специально работает. Ты его теперь по чайным ищи.
- Товарищ, я не могу, – заплакал Коротков, – мне в Спимат нужно к Кальсонеру. Пустите меня.
- Удостоверение дай, что украли.
- От кого?
- От домового.

Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.

«В Спимат или к домовому? – подумал он. – У домового прием с утра; в Спимат, стало быть».

В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мокрый снег пошел с неба.

«Поздно, – подумал Коротков, – домой».

6. Первая ночь

В ушке замка торчала белая записка. В сумерках Коротков прочитал ее.

«Дорогой сосед! Я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в подарок вино. Пейте на здоровье – его никто не хочет покупать. Они в углу.

Ваша А.Пайкова».

Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был в кепке и пальто, повалился на кровать. Как зачарованный, около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера. Сорвав кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.

– Вот! Вот! Вот! – провыл Коротков и с хрустом давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову Кальсонера.

При воспоминании об яйцевидной голове появилась вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков остановился.

– Позвольте... как же это так?.. – прошептал он и провел рукой по глазам, – это что же? Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно. Ведь не двойной же он в самом деле?

Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого не полегчало. Двойное лицо, то обрастая бородой, то внезапно обрываясь, выплывало по временам из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец, Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихонечко заплакал.

Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного поплакал.

– Позвольте... – вдруг пробормотал он, – чего же это я плачу, когда у меня есть вино?

Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут, – мучительно заболел левый висок, и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы...» – шептал он долго, пока мутный сон не сжалился над ним.

7. Орган и кот

В 10 часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятил чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было написано: «Домовой ». Рука Короткова уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали:

«По случаю смерти свидетельства не выдаются».

– Ах ты, Господи, – досадливо воскликнул Коротков, – что же это за неудачи на каждом шагу. – И добавил: – Ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся.

Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Анны Евграфовны, словом – никого. За столами, напоминая уже не ворон на проволоке, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина в светло-серых клетчатых костюмах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания и продолжали скрипеть в гроссбухах, а женщина сделала Короткову глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Странно», – подумал Коротков и, запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись: «Делопроизводитель », открыл дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено строча пером, сидел своей собственной персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.

– Что вам угодно, товарищ? – вежливо проворковал он фальцетом.

Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:

– Кхм... я, товарищ, здешний делопроизводитель... То есть... ну да, ежели помните приказ...

Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику.

– Извиняюсь, – вежливо ответил он, – здешний делопроизводитель – я.

Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова:

– А как же? Вчера то есть. Ах, ну да. Извините, пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.

Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло:

– Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?

И сам же себе ответил:

– Вторник, то есть пятница. Тысяча девятьсот.

Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости две коридорных лампочки, и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.

– Хорошо! – грохнул таз, и судорога свела Короткова, – я жду вас. Отлично. Рад познакомиться.

С этими словами он пододвинулся к Короткову и так пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист на крыше.

– Штат я разверстал, – быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер. – Трое там, – он указал на дверь в канцелярию, – и, конечно, Манечка. Вы – мой помощник. Кальсонер – делопроизводитель. Прежних всех в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть сведения, что он был лакеем в «Альпийской розе». Я сейчас сбегаю в отдел, а вы пока напишите с Кальсонером отношение насчет всех и в особенности насчет этого, как его... Короткова. Кстати: вы немного похожи на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.

– Я. Нет, – сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью, – я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого.

– Все? – выкрикнул Кальсонер, – вздор. Тем лучше.

Он впился в руку тяжело задышавшего Короткова и, пробежав по коридору, втопил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съезжился и, закрыв глаза, забормотал: «Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двадцать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходящий №0,15, место для подписи тире Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на Пэ, и пятница на Пэ, а воскресенье... вскрсс... на Эс, как и среда...»

Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее:

– Ага! Так. Так. Сию минуту приеду.

Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами:

– Ждите меня у Кальсонера.

Все решительно помутилось в глазах Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом:

«Предъявитель сего суть действительно мой помощник т.Василий Павлович Колобков, что действительно верно.

кальсонер».

– О-о! – простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку, – что же это такое делается?

В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер вернулся в своей бороде.

– Кальсонер уже удрал? – тоненько и ласково спросил он у Короткова.

Свет кругом потух.

– А-а-а-а... – взвыл, не вытерпев пытки, Коротков и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы. Ужас изобразился на лице Кальсонера до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком:

– Курьер! Курьер! На помощь!

– Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ... – опомнившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед.

Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили, как по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины.

– Будут стрелять. Будут стрелять! – пронесся ее истерический крик.

Кальсонер вскочил в вестибюль на площадку с органом первым, секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверно, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу коротковского пальто, гнилой шевиот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за Кальсонером.

– Боже... – начал Коротков и не кончил.

В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан, затем пыльное, утробное ворчание, странный хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука:

Шумел, гремел пожар московский...

В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг, и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками.

Ды-ым расстилался по реке-е.

– Что я наделал? – ужаснулся Коротков.

Машина, провернув первые застоявшиеся волны, пошла ровно, тысячеголовым, львиным ревом и звоном наполняя пустынные залы Спимата.

А на стенах ворот кремлевских...

Сквозь вой и грохот и колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через главный вход, – Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы

зашевелились на Короткове, и, взвившись, он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усеянный щебнем двор, а затем на улицу. Как на угонке полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание «Альпийской розы»:

Стоял он в сером сюртуке...

На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал клячу с места.

– Господи! Господи! – бурно зарыдал Коротков, – опять он! Да что же это?

Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом:

– Гони! Гони, негодяй!

Кляча рванула, стала лягать ногами, затем под жгучими ударами кнута понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а из-под нее разлетелись в разные стороны выющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но Кальсонер бешено начал тузить его в спину с воплем:

– Езжай! Езжай! Я заплачу.

Извозчик, выкрикнув отчаянно:

– Эх, ваше здоровье, погибать, что ли? – пустил клячу карьером, и все исчезло за углом.

Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно:

– Довольно. Я так не оставлю! Я его разъясню.

Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника:

– Где бюро претензий, товарищ?

– 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302, – ответил чайник женским голосом.

– 8-й, 9-й, 41-я, триста... триста... сколько бишь... 302, – бормотал Коротков, взбегая по широкой лестнице. – 8-й, 9-й, 8-й, стоп, 40... нет, 42... нет, 302, – мычал он, – ах. Боже, забыл... да 40-я, сороковая...

В 8-м этаже он миновал три двери, увидел на четвертой черную цифру «40» и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными обрывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла,

тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной, гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками:

– Ян Собеский.

– Не может быть... – ответил пораженный Коротков.

Мужчина приятно улыбнулся.

– Представьте, многие изумляются, – заговорил он с неправильными ударениями, – но вы не подумайте, товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом. О нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии – Соцвосский. Это гораздо красивее и не так опасно. Впрочем, если вам неприятно, – мужчина обидчиво скривил рот, – я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут.

– Помилуйте, что вы, – болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленным взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина-скорлупа, а потом добавил суконным языком: – Я очень рад, да, очень...

Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке; неясно поднимая руку Короткова, он повлек его к столику, приговаривая:

– И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки бумаги). Интриги... Но-о, мы развернемся, не беспокойтесь... Гм... Чем же вы порадуете нас новеньким? – ласково спросил он у бледного Короткова. – Ах да, виноват, виноват тысячу раз, позвольте вас познакомить, – он изящно махнул белой рукой в сторону машинки, – Генриетта Потаповна Персимфанс.

Женщина тотчас же пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно.

– Итак, – сладко продолжал хозяин, – чем же вы нас порадуете? Фельетон? Очерки? – закатив белые глаза, протянул он. – Вы не можете себе представить, до чего они нужны нам.

«Царица небесная... что это такое?» – туманно подумал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух:

– У меня... э... произошло ужасное. Он... Я не понимаю. Вы не подумайте, ради Бога, что это галлюцинации... Кхм... ха-кха... (Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него.) Он живой. Уверю вас... но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю... И голос меняет... кроме того, у меня украли все документы до единого, а домовой, как на грех, умер. Этот Кальсонер...

– Так я и знал, – вскричал хозяин, – это они?

– Ах, Боже мой, ну, конечно, – отозвалась женщина, – ах, эти ужасные Кальсонеры.

– Вы знаете, – перебил хозяин взволнованно, – я из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйтесь. Ну что он понимает в журналистике?.. – Хозяин ухватил Короткова за пуговицу. – Будьте добры, скажите, что он понимает? Два дня он пробыл здесь и совершенно меня замучил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору Васильевичу, и тот наконец убрал его. Я поставил вопрос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат или черт его знает еще куда. Пусть воняет там этими спичками! Но мебель, мебель он успел передать в это проклятое бюро. Всю. Не угодно ли? На чем я, позвольте узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи Каторэ этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют к чертовой матери.

– Какое бюро? – глухо спросил Коротков.

– Ах, да эти претензии или как их там, – с досадой сказал хозяин.

– Как? – крикнул Коротков. – Как? Где оно?

– Там, – изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол.

Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь №40.

– Ах, черт! – ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо и через 5 минут опять был там же. №40. Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидал хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки, с обиженным лицом.

– Извините, что я не попрощался... – начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая рука у него была отломана. Пятясь и холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.

– Баба! Баба! – тревожно закричал Коротков, – где бюро?

– Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, – ответила баба, – да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мыслимо – десять этажей.

– У-у... д-дура, – стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода. Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шахте, он наконец навалился на белое пятно, и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побежал вниз. Шаги послышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал останавливаться. Еще миг, – и показалась блестящая фуражка, мелькнуло серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завывали тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх, Кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса.

– Пойдите, – прохрипел Коротков, – минутку... вы только объясните...

– Спасите! – заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз затылком: удар не прошел ему даром. Обернувшись в черного кота с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг заволочла коротковский мозг, но тотчас свалилась, и наступило необыкновенное прояснение.

– Теперь все понятно, – прошептал Коротков и тихонько рассмеялся, – ага, понял. Вот оно что. Коты! Все понятно. Коты.

Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулкими раскатами.

8. Вторая ночь

В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоиться. Голова теперь у него болела вся: правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась со дна желудка, ходила внутри волнами, и два раза тов. Короткова рвало в таз.

– Я вот так сделаю, – слабо шептал Коротков, свесив вниз голову, – завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду: в переулочке или в тупичке. Он себе мимо и пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. И я уж больше не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или без бороды, – ты сам по себе, я сам по себе. Я себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы – и шабаш...

В отдалении глухо начали бить часы. Бам... бам... «Это у Пеструхиных», – подумал Коротков и стал считать. Десять... одиннадцать... полночь. 13, 14, 15... 40...

– Сорок раз пробили часики, – горько усмехнулся Коротков, а потом опять заплакал. Потом его опять судорожно и тяжело стошнило церковным вином.

– Крепкое, ох крепкое вино, – выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.

9. Машинная жуть

Осенний день встретил тов.Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись «Комнаты 302-349 ». Следуя пальцу спасительной руки, он добрался до двери с надписью

Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней – смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.

– Выйдем в коридор, – резко сказала матовая и судорожно поправила прическу.

«Боже мой, опять, опять что-то...» – тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался. Шесть оставшихся взволнованно зашущукали вслед.

Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:

– Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему. Я отдамся вам.

Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:

– Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покорила меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.

Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.

– Я отдамся тебе... – шепнуло у самого рта Короткова.

– Мне не надо, – сипло ответил он, – у меня украли документы.

– Тэк-с, – вдруг раздалось сзади.

Коротков обернулся и увидел люстринового старичка.

– А-ах! – вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.

– Хи, – сказал старичок, – здорово. Куда ни пойдешь, вы, господин Колобков. Ну и хват же вы. Да что там, целуй не целуй, не выцелуете командировку. Мне, старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.

С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.

– А заявленьце я на вас подам, – злобно продолжал люстрин, – да-с. Растили трех в главном отделе, теперь, стало быть, до подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воротишь девичьей чести. Не воротишь.

Старичок вытащил большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.

– Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать; господин Колобков? Что ж... – Старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель. – Берите, кушайте. Пушай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает... Пушай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только попомните, господин Колобков, – голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами, – не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут, – и старичок разлился в буйных рыданиях.

Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя он дробно затопал ногами.

– К чертовой матери! – тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам. – Я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!

Он начал рвать на себе воротничок.

Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.

– Следующий! – каркнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернув влево, миновав машинки, и очутился перед рослым, изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:

– Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?

– Документы украли, – дико озираясь, ответил растерзанный Коротков, – и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до...

– Ну, это вздор, – ответил синий, – обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полушубок подержанный. Короче.

Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал:

– Пожалте, Сергей Николаевич.

И тотчас из ясеневого ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду законченный секретарь, с писком «Доброе утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.

Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:

– Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?..

– Естественно, вылез, – ответил синий, – не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.

– Но как? Как? – зазвенел Коротков.

– Ах ты, Господи, – взволновался синий, – не задерживайте, товарищ.

Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:

– Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43 градусом широты и 5-м долготы.

– Ну и чудесно, – ответил блондин, – а то мне надоела эта волынка.

– Я не хочу! – вскричал Коротков, блуждая взором. – Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!

– Товарищ, это в отделе брачующихся, – запищал секретарь, – мы ничего не можем сделать.

– О, дурашка! – воскликнула брюнетка, выглянув опять. – Соглашайся! Соглашайся! – кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.

– Товарищ! – зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. – Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь.

– Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно – Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять! – выйдя из себя, загремел блондин.

– Рукопожатия отменяются! – кукарекнул секретарь.

– Да здравствуют объятия! – страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова.

– Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без доклада к ближнему твоему, – прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая полами крылатки... – Я и не вхожу, не вхожу-с, – а бумажку все-таки подброшу, вот так, хлоп!.. подпишешь любую – и на скамье подсудимых. – Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.

Муть заходила в комнате, и окна стали качаться.

– Товарищ блондин! – плакал истомленный Коротков, – застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.

В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием.

– Черт с ним! – загремел блондин, – черт с ним. Машинистки, гей!

Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Колыша бедрами, сладострастно

поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.

Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».

– Надевай! – грохнул блондин в тумане.

– И-и-и-и, – тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола. Голове полегчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.

– Валерьянки! – крикнул кто-то на потолке.

Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:

– Теперь одно спасение – к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!

Запахло эфиром, потом руки неясно вынесли Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепча и хихикая:

– Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!

Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть...

10. Страшный Дыркин

Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил Короткова словами:

– И чудесно. Вот я вас и арестую.

– Меня нельзя арестовать, – ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом, – потому что я неизвестно кто. Конечно. Ни арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду.

Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад.

– Арестуй-ка, – пискнул Коротков и показал толстяку дрожащий бледный язык, пахнувший валерьянкой, – как ты арестуешь, ежели вместо документов – фига? Может быть, я Гогенцоллерн.

– Господи Иусе, – сказал толстяк, трясущейся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого.

– Кальсонер не попадался? – отрывисто спросил Коротков и оглянулся. – Отвечай, толстун.

– Никак нет, – ответил толстяк, меняя розовую окраску на серенькую.

– Как же теперь быть? А?

– К Дыркину, не иначе, – пролепетал толстяк, – к нему самое лучшее. Только грозен. Ух, грозен! И не подходи. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче.

– Ладно, – ответил Коротков и залихватски сплюнул, – нам теперь все равно. Подымай!

– Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный, – нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.

На верхней площадке попался маленький лет шестнадцати и страшно закричал:

– Куда ты? Стой!

– Не бей, дяденька, – сказал толстяк, съездившись и закрыв голову руками, – к самому Дыркину.

– Проходи, – крикнул маленький.

Толстяк зашептал:

– Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке-вас подожду. Больно жутко...

Коротков попал в темную переднюю, а из нее в пустынный зал, в котором был распротерт голубой вытертый ковер.

Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков немного поколебался, но потом вошел и оказался в уютно обставленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы, рявкнул:

– М-молчать!.. – хоть Коротков еще ровно ничего не сказал.

В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбковыми морщинами.

– А-а! – вскричал он сладко. – Артур Артурыч. Наше вам.

– Слушай, Дыркин, – заговорил юноша металлическим голосом, – ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмеритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмеритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь.

– Я?.. – забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина добряка, – я, Артур Диктатурыч... Я, конечно... Вы это напрасно...

– Ах ты, мерзавец, мерзавец, – отдельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.

Коротков машинально охнул и застыл.

– То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела, – внушительно сказал юноша и, погрозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел.

Минуты две в кабинете стояло молчание, и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика.

– Вот, молодой человек, – горько усмехнувшись, сказал добрый и униженный Дыркин, – вот и награда за усердие. Ночей недосыпаешь, недоедаешь, недопиваешь, а результат всегда один – по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж... Бейте Дыркина, бейте. Морда у него, видно, казенная. Может быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите.

И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув «караул», убежал через внутреннюю дверь.

– Ку-ку! – радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюрнбергского разрисованного домика на стене.

– Ку-клукс-клан! – закричала она и превратилась в лысую голову. – Запишем, как вы работников лупите!

Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: «Лови его, разбойника!», и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.

11. Парфорсное кино и бездна

С площадки толстяк скакнул в кабину, забросился сетками и ухнул вниз, а по огромной, изгрызенной лестнице побежали в таком порядке: первым – черный цилиндр толстяка, за ним – белый исходящий петух, за петухом – канделябр, пролетевший в верхушке над острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топчущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на площадках.

Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор:

– Какая секция переезжает? Несгораемую кассу забыли!

Женский голос внизу ответил:

– Бандиты!!

В огромные двери на улицу Коротков, обогнав цилиндр и канделябр, выскочил первым и, заглотав огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах, черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протяжным:

– Артельщиков бьют, товарищи!

По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные, сиплые крики: «Держи». С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал:

– Началось!

Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стремился к гиганту – одиннадцатизэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок. На самом углу – стеклянная вывеска с надписью «RESTORAN I PIVO» треснула звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами:

– Здорово! Что ж вы, братцы, в кого попало, стало быть?..

Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько саженей и вбежал в зеркальное пространство вестибюля. Мальчик в галунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал.

– Садись, дядя. Садись! – проревел он. – Только не бей сироту!

Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас внизу, в вестибюле, загремели выстрелы и завертелись стеклянные двери.

Лифт мягко и тошно шел вверх, мальчишка, успокоившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку.

– Деньги покрал, дяденька? – с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.

– Кальсонера... атакуем... – задыхаясь, отвечал Коротков, – да он в наступление перешел...

– Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, – посоветовал мальчишка, – там на крыше отсидишься, если с маузером.

– Давай наверх... – согласился Коротков.

Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:

– Вылазь, дяденька, сыпь на крышу.

Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбоку – стук костяных шаров через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.

Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем: «Вперед!» – вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площадки с лоснящимися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхо выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла. Словно по сигналу игроки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и вмиг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь, и выросла вторая голова, за ней – третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке. Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало в верхней части как ножом, и тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной.

Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальтированная кровля громады. Стена треснула и высыпалась. Коротков под бушующим огнем успел выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков, и очень вовремя, потому что пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.

– Сдавайся! – смутно донеслось до него.

Перед Коротковым сразу открылось чудосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавшихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи и жучки-народ, и тотчас Коротков разглядел серенькие фигурки, проплясавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками.

– Окружили! – ахнул Коротков. – Пожарные.

Перегнувшись через парапет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвились, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил и их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и исчезли. Короткову показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади. Коротков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском стекол в проломе бильярдной показались люди. Они сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый Кальсонер со старинным мушкетеном в руках.

– Сдавайся! – завывало спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас.

– Кончено, – слабо прокричал Коротков, – кончено! Бой проигран. Та-та-та! – запел он губами трубный отбой.

Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков взобрался на столб парапета, покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:

– Лучше смерть, чем позор!

Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захватило дух. С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перерезало ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся вверх к узкой щели переулка, которая оказалась над ним. Затем кровавое солнце со звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал.

«Литературный Киргизстан», 1987, №4

Михаил Булгаков

Вторая корреспонденция

Лжедмитрий Луначарский

(Из провинции от Капорцева)

В нашем славном Благодатском учреждении имеется выдающийся секретарь. Мы так и смотрим на него, что он на отлете.

Конечно, ему не в Благодатском сидеть, а в Москве или в крайнем случае в Ленинграде. Тем более, что он говорил, что у него есть связи.

Над собой повесил надпись: «Рукопожатия переносят заразу», «Если ты пришел к занятому человеку, не мешай ему», «Посторонние разговоры по телефону строго воспрещаются» и, кроме этого, выстроил решетку, как возле нашего памятника Карла Либкнехта и таким образом оторвался от массы начисто.

Кто рот ни раскроет сквозь решетку, он ему говорит одно только слово: «короче!» Короче. Короче. Каркает, как ворон на суку.

В один прекрасный день появляется возле решетки молодой человек. Одет очень хорошо, роглан-пальто. Рыженький. Усики. Галстук бабочкой. Взял стул, сидит. Секретарь всех откаркал от решетки и к нему:

—Вам что, товарищ? Короче!

А тот отвечает:

—Ничего, товарищ, я подожду. Вы заняты.

Голос у него великолепный, интеллигентный.

Тот брови нахмурил и говорит.

—Нет, вы говорите. Короче.

Тот отвечает.

—Я, видите ли, товарищ, к вам сюда назначен.

Тот брови поднял:

—Как ваша фамилия?

А тот:

—Луначарский.

Молодой человек так скромно кашлянул. Вежливый.

—Луначарский.

Так тот открыл загородку, вышел, говорит:

—Пожалуйста сюда (уже «короче» не говорит),— и спрашивает:

—Виноват (заметьте: «виноват»), вы не родственник Анатолию Васильевичу?

А тот:

—Это неважно. Я — его брат.

Хорошенькое «неважно»! Загородку к черту. Стул.

—Вы курите? Садитесь! Позвольте узнать, а на какую должность?

А тот:

—За заведующего.

Здорово.

А заведующего нашего как раз вызвали в Москву для объяснений по поводу паровой мельницы, и мы знаем, что другой будет.

Что тут было с секретарем и со всеми, трудно даже описать — такое восхищение. Оказывается, что у Дмитрия Васильевича украли все документы, пока он к нам ехал, и деньги в поезде под самым Красноземском, а оттуда он доехал до нашего Благодатска на телеге, которая мануфактуру везла. Главное, говорит, курьезно, что чемодан украли с бельем. Все собрались в восторге, что могут оказать помощь.

И вот список наших карьеристов:

1)Секретарь дал, смеясь, 8 червонцев.

2)Кассир — 3 червонца.

3)Заведующий столом личного состава — 2 червонца, мыло, полотенце, простыню и бритву (не вернул).

4) Бухгалтер — 42 рубля и три пачки папирос «Посольских».

5) Кроме того брату Луначарского выписали аван-сом 50 рублей в счет жалованья.

И отправились осматривать учреждения и принимать дела. Оказался необыкновенно воспитанный, принял заявления и на каждом написал: «Удовлетворить».

Секретарь стал, как бес, все время не ходил, а бегал, как пушинка. Предлагал тотчас же телеграмму в Москву насчет документов, но столичный гость придумал лучше: «Я, говорит, все равно отправлюсь сейчас же инспектировать уезд, доеду до самого Красноземска, а оттуда лично по прямому проводу все сделаю».

Все подивились страшной быстроте его энергии. Единственная у нас машина в Благодатске, как вам известно, и на ней Дмитрий Васильевич отбыл на прямой провод (при этом: одеяло дал секретарь, два фунта колбасы, белого хлеба и в виде сюрприза положил бутылку английской горькой).

До Красноземска три часа езды на машине. Ну, скажем, на прямом проводе один час, обратно — три часа. Вернулась машина в 11 часов вечера, шофер пьяный и говорит, что Дмитрий Васильевич остался ночевать у тамошнего председателя и распорядился прислать машину завтра, в 3 часа дня. Завтра послали машину. Приезжает и — нету Дмитрия Васильевича. В чем дело — никто не может понять. Секретарь сейчас сам — скок в машину и в Красноземск. Возвращается на следующее утро, туча-тучей и никому не смотрит в глаза. Мы ничего не можем понять. Бухгалтер что-то почуял насчет 42 целковых и спрашивает дрожащим голосом:

— А где же Дмитрий Васильевич? Не заболели ли?

А тот вдруг закусил губу и:

— Асс-тавьте меня в покое, товарищ Прокундин! — Дверью хлопнул и ушел.

Мы к шоферу. Тот ухмыляется. Оказывается, прямо колдовство какое-то. Никакого Дмитрия Васильевича в Красноземске у председателя не ночевало. На прямом проводе секретарь спрашивает, не разговаривал ли Луначарский — так прямо думали, что он с ума сошел. Секретарь даже на вокзал кидался, спрашивал, не видали ли молодого человека с одеялом. Говорят, видели с ускоренным поездом. Но только галстук не такой.

Мы прямо ужаснулись. Какое-то наваждение. Точно призрак побывал в нашем городе.

Как вдруг кассир спрашивает у шофера:

— Не зеленый галстук?

— Во-во.

Тут кассир вдруг говорит:

— Прямо признаюсь, я ему, осел, кроме трех червей еще шелковый галстук одолжил.

Тут мы ахнули и догадались, что самозванец.

На 222 рубля наказал подлиз наших. Не считая вещей и закусок. Вот тебе и «корочеч».

Ваш корреспондент Капорцев

Михаил Булгаков

Рассказы

ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА

- Ну-с, господа, прошу вас, - любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол.

Мы, не заставили себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки.

Село нас четверо: хозяин - бывший присяжный поверенный, кузен его бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в Совнархозе, а ныне просто Зинаида Ивановна и гость - я - бывший... впрочем, это все равно... ныне человек с занятиями, называемыми неопределенными.

Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках.

- Вот и весна, слава богу; измучились с этой зимой, - сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика.

- И не говорите! - воскликнул я и, вытащив из коробки кильку, в миг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его килечным растерзанным телом и любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: - Ваше здоровье!

И затем мы глотнули.

- Не слабо ли... кхм... разбавил? - заботливо осведомился хозяин.

- Самый раз, - ответил я, переводя дух.

- Немножко, как будто, слабовато, - отозвалась Зинаида Ивановна.

Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом.

После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри, и благодушие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена, и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна, и борода Карла Маркса, помещавшегося прямо против меня рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж огромна, как это принято думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидящего его всей душой такова. Хозяин мой - один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящее - штука серьезная и долгая и поэтому окопался в своей квартире не кое-как, кустарным способом, а основательно. Первым долгом он признал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые трубы. После этого хозяин, полюбовавшись работой Терентия, сказал:

- Могут не топить парового, бандиты, - и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через три дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной (из передней направо) и поставил ему черную печечку. Затем пятнадцать пудов муки он всунул в библиотеку (прямо по коридору), запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер, к коврику приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие то старые газеты, и библиотека словно сгнула - сам чорт не нашел бы в нее хода. Таким образом из шести комнат осталось три. В одной он поселился сам с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися двумя комнатами (гостиная и кабинет) снял двери, превратив их в странное двойное помещение.

Это не была одна комната, потому что их было две, но и жить и них. как в двух, было невозможно, тем более, что в первой (гостиной) непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино поставил кровать и, признав из кухни Сашу, сказал ей:

- Тут будут приходить эти. Так скажешь, что спишь здесь.

Саша заговорщически усмехнулась и ответила:

- Хорошо барин.

Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему юрисконсульту такого-то учреждения полагается "добавочная площадь". На добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами, старого велосипеда без шин и стульев с гвоздями, и трех карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит, после приведения квартиры в боевой вид, разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту.

На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна учительница музыки, на двери ее комнаты удостоверение, что она служит в Совнархозе, на двери кузена, что тот секретарь. Двери он стал отворять сам после 3-го звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино.

Три года люди в серых шинелях и черных пальто, объединенных молью и девицы с портфелями и в дождевых брезентовых плащах рвались в квартиру, как пехота на проволочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через три года в Москву,

из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили.

Тогда же он и купил четыре портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что Нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кузена над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепил Троцкого. Троцкий был изображен в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился четырьмя кнопками в фотографию, мне показалось, что Троцкий нахмурился. Так хмурым он и остался. Затем хозяин вынул на папки Карла Либкнехта и направился в комнату кухни. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам обтянутым полосатой юбкой, вскричала:

- Эт-того не доставало! Пока я жива, Александр Палыч, никаких Маратов и Дантонов в моей комнате не будет!

- Зин... при чем здесь Мара... - начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив.

Ровно через полчаса последовала очередная атака. После третьего звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери, хозяин, накинув вместо пиджака, измызганный френч, впустил трех. Двое были в сером, один в черном с рыжим портфелем.

- У вас тут комнаты... - начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег электричества, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и олени рога расплылись во мгле.

- Что вы, товарищи!! - ахнул хозяин и всплеснул руками, - какие тут комнаты?! Верите ли, шесть комиссий до вас было на этой неделе. Хоть и не смотрите! Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Извольте видеть, - хозяин вытащил из кармана бумажку, - мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 131/2. Да-с. Где я, спрашивается, возьму 21/2 аршина.

- Ну, мы посмотрим, - мрачно сказал второй серый.

- П-пожалуйста, товарищи!..

И тотчас перед нами предстал Луначарский. Трое, открыв рты, посмотрели на наркомпроса.

- Тут кто? - спросил первый серый, указывая на кровать.

Товарищ Епишина, Александра Ивановна.

- Она кто?

- Техническая работница, - сладко улыбаясь, ответил хозяин, стиркой занимается.

- А не прислуга она у вас? - подозрительно спросил черный.

В ответ хозяин судорожно засмеялся:

- Да что вы, товарищ! Что я, буржуй какой-нибудь, чтобы прислугу держать! Тут на еду не хватает, а вы, прислуга! Хи-хи!

- Тут? - лаконически спросил черный, указывая на дыру в кабинет.

- Добавочная, 131/2, под конторой моего учреждения, - скороговоркой ответил хозяин.

Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз и я слышал, как черный, падая, ударился головой о велосипедную цепь.

- Вот, видите, товарищи, - зловеще сказал хозяин, - я предупреждал: чортова теснота.

Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны.

- Не ушиблись ли вы, - испугано спросил хозяин.

- А.. бу...бу...ту...ту...ма... - невнятно пробурчал что-то черный.

- Тут товарищ Настурцина, - водил и показывал хозяин - тут я, - и хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарастало на лицах трех. А тут, товарищ Щербовский, - и торжественно он махнул на Троцкого.

Трое в ужасе глядели на портрет.

- Да он, что, партийный, что ли? - спросил второй серый.

- Он не партийный, - сладко ухмыльнулся хозяин, - но он сочувствующий. Коммунист в душе. Как и я сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи.

- Ответственные, сочувствующие, - хмуро забубнил черный, потирая колено, - а шкафы зеркальные. Предметы роскоши.

- Рос-ко-ши?! - укоризненно ахнул хозяин, - что вы, товарищ!! Белье тут лежит последнее, рваное. Белье, товарищ, предмет необходимости. - Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнев, потому что вспомнил, что как раз вчера шесть серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками.

- Белье, товарищи, - предмет чистоты. И наши дорогие вожди, - хозяин обоими руками указал на портреты, все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания... тиф, чума и холера, все оттого, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя и чистоте. Наш вождь...

Тут мне совершенно явственно показалось, судорога прошла по лицу фотографического Троцкого и губы его расклеились как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь:

- Тут, товарищи, уборная, тут ванна, но конечно испорченная, видите, в ней ящик с тряпками лежит, не до ванн теперь, вот кухня - холодная. Не до кухонь теперь. На примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате. Вот, товарищи, и все! Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе коленки разбивать - эт-то, знаете ли, слишком накладно. Куда это надо обратиться, чтобы мне дали еще одну комнату в этом доме? Под контору.

- Идем, Степан, - безнадежно махнув рукой, сказал первый серый и все трое направились, стуча сапогами в переднюю.

Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул.

- Вот, любуйтесь, - вскричал он, - и это каждый божий день! Честное нам даю слово, что они меня докапают.

- Ну, знаете ли, - ответил я, - это неизвестно, кто кого докапает!

- Хи-хи! - хихикнул хозяин и весело грянул: - Саша! давай самовар!..

Такова была история портретов и в частности Маркса. Но возвращаюсь к рассказу.

...После супа, мы съели бефстроганов, выпили по стаканчику белого Ай-Даниля винделправления и Саша внесла кофе. И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок.

- Маргарита Михална, наверно, - приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет.

- Да... да... - слышалось из кабинета, но через три мгновения донесся вопль:

- Как?!

Глухо заквакала трубка и опять вопль:

- Владимир Иванович! Я же просил! Все служащие! Как же так?!

- А-а! - ахнула кузина, - уж не обложили ли его?!

Загремела с размаху трубка и хозяин появился в дверях.

- Обложили? - крикнула кузина.

- Поздравляю, - бешено ответил хозяин, обложили вас, дорогая!

Как?! - кузина встала вся в пятнах, - они не имеют права! Я же говорила, что в то время я служила!

- Говорила, говорила! - передразнил хозяин, - не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец-домовой в списке пишет! А все ты повернулся он к кузену, - просил, ведь, сходи, сходи! А теперь, не угодно ли: он нас всех трех пометил!

- Ду-рак ты, - ответил кузен, наливаясь кровью, при чем здесь я? Я два раза говорил этой каналье, чтоб отметил как служащих! Ты сам виноват! Он твой знакомый. Сам бы и просил!

- Сволочь он, а не знакомый! - загремел хозяин, - называется приятель! Трус несчастный. Ему лишь бы с себя ответственность снять.

- На сколько? - крикнула кузина.

- На пять-с!

- А почему только меня? - спросила кузина.

Не беспокойся! - саркастически ответил хозяин, - дойдет и до меня и до него. Буква, видно, не дошла. Но только если тебя на пять, то на сколько же они меня шарахнут?! Ну, вот что - расслаживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору - объясните, что ошибка. Я тоже поеду. Живо, живо!

Кузина полетела из комнаты.

- Что ж это такое? - горестно завопил хозяин, - ведь это ни отдыху, ни сроку не дают. Не в дверь, так по телефону! От реквизиций отбрились, теперь налог. Доколе это будет продолжаться? Что они еще придумают?!

Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать:

- Это меня не касается!

Край его бороды золотило апрельское солнце.

Египетская мумия

Рассказ члена профсоюза.

Приехали мы в Ленинград, в командировку, с председателем нашего месткома.

Когда отбегались по всем делишкам, мне и говорит председатель:

- Знаешь что, Вася? Пойдем в Народный дом.

- А что, - спрашиваю, - я там забыл?

- Чудак ты, - отвечает мне наш председатель месткома, - в Народном доме ты получишь здоровые развлечения и отдохнешь, согласно 98-й статье Кодекса Труда (председатель наизусть знает все статьи, так что его даже считают чудом природы).

Ладно. Мы пошли. Заплатили деньги, как полагается, и начали применять 98-ю статью. Первым долгом, мы прибегли к колесу смерти. Обыкновенное громадное колесо и

посередине палка. Причем колесо от неизвестной причины начинает вертеться с невероятной скоростью, сбрасывая с себя ко всем чертям каждого члена союза, который на него сядет. Очень смешная штука, в зависимости от того, как вылетишь. Я выскочил чрезвычайно комично через какую-то барышню, разорвав штаны. А председатель оригинально вывихнул себе ногу и сломал одному гражданину палку красного дерева, со страшным криком ужаса. Причем он летел, и все падали на землю, так как наш председатель месткома человек с громадным весом. Одним словом, когда он упал, я думал, что придется выбирать нового председателя. Но председатель встал бодрый, как статуя свободы, и, наоборот, кашлял кровью тот гражданин с погибшей палкой.

Затем мы отправились в заколдованную комнату, в которой вращаются потолок и стены. Здесь из меня выскочили бутылки пива "Новая Бавария", выпитые с председателем в буфете. В жизни моей не рвало меня так, как в этой проклятой комнате, председатель же перенес.

Но когда мы вышли, я сказал ему.

- Друг, отказываюсь от твоей статьи. Будь они прокляты, эти развлечения No 98!

А он сказал:

- Раз мы уже пришли и заплатили, ты должен еще видеть знаменитую египетскую мумию.

И мы пришли в помещение. Появился в голубом свете молодой человек и заявил:

- Сейчас, граждане, вы увидите феномен неслыханного качества - подлинную египетскую мумию, привезенную 2500 лет назад. Эта мумия прорицает прошлое, настоящее и будущее, причем отвечает на вопросы и дает советы в трудных случаях жизни и, секретно, беременным.

Все ахнули от восторга и ужаса, и, действительно, вообразите, появилась мумия в виде женской головы, а кругом египетские письмена. Я замер от удивления при виде того, что мумия совершенно молодая, как не может быть человек, не только 2500 лет, но и даже в 100 лет.

Молодой человек вежливо пригласил:

- Задавайте вопросы. Попроще.

И тут председатель вышел и спросил:

- А на каком же языке задавать? Я египетского языка не знаю.

Молодой человек, не смущаясь, отвечает:

- Спрашивайте по-русски.

Председатель откашлялся и задал вопрос:

- А скажи, дорогая мумия, что ты делала до февральского переворота?

И тут мумия побледнела и сказала:

- Я училась на курсах.

- Тэк-с. А скажи, дорогая мумия, была ты под судом при Советской власти и, если не была, то почему?

Мумия заморгала глазами и молчит.

Молодой человек кричит:

- Что ж вы, гражданин, за 15 копеек мучаете мумию?

А председатель начал крыть беглым:

- А, милая мумия, твое отношение к воинской повинности?

Мумия заплакала. Говорит:

- Я была сестрой милосердия.

- А что б ты сделала, если б ты увидела коммунистов в церкви? А кто такой тов. Стучка? А где теперь живет Карл Маркс?

Молодой человек видит, что мумия засыпалась, сам кричит по поводу Маркса:

- Он умер!

А председатель рявкнул:

- Нет! Он живет в сердцах пролетариата.

И тут свет потух, и мумия с рыданиями исчезла в преисподней, а публика крикнула председателю:

- Ура! Спасибо за проверку фальшивой мумии.

И хотела его качать. Но председатель уклонился от почетного качанья, и мы выехали из Народного дома, причем за нами шла толпа пролетариев с криками.

ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВ

Посвящается всем редакторам еженедельных журналов.

В правом кармане брюк лежали 9 копеек — два трехкопеечника, две копейки и копейка, и при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карман.

Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре! Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике и

прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат.

А копейки — брень-брень.

У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги: «Щи суточные, севрюжка паровая, обед из 2-х блюд — 1 рубль».

Вынул девять копеек и выбросил их в канаву. К девяти копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге, отдал деньгам честь и прокричал:

— Спасибо от адмирала морских сил. Ура!

Затем он подобрал медяки и запел громким и тонким голосом:

Ата-цвели уж давно-о!

Хэ-ри-зан-темы в саду-у!

Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня, на жаре, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел.

Тут за мной пошли многие и говорили со мной:

— Гуманный иностранец, пожалуйста и мне девять копеек. Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил.

— Профессор, окажите любезность...

А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мной на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом:

У Калуцкой заставы

Жил разбойник и вор — Комаров !

Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить:

— Предположим, так. Начало: жара, и я иду, и вот мальчишка. Прыгает. Беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой: молодой, голубые глаза. Бритый? Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой. Баритон. И говорит: «Мальчик, мальчик». А что дальше? «Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик...» «И в фартуке», — вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» — спросил я у мозгов удивленно. «Да этот, твой детдом».

«Дураки», — ответил я мозгам.

«Ты сам дурак. Бесталанный, — ответили мне мозги, — посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ. Графоман!»

«Не в фартуке, а в халате...»

«Почему он в халате? Ответ, кретин», — спросили мозги.

«Ну, предположим, что он только что работал, например, делал перевязку ноги больной девочке и вышел купить папирос „Трест". Тут же можно описать моссельпромщицу. И вот он говорит:

— Мальчик, мальчик... — А сказавши это (я потом присочиню, что он сказал), берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька (мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают) уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые, и назвать рассказ „Петька спасен". В журналах любят такие заглавия».

«Па-аршивенький рассказ, — весело бухнуло под фуражкой, — и тем более, что мы где-то уже это читали!»

— Молчать, я погибаю! — приказал я мозгам и открыл глаза. Передо мной не было адмирала и Черномора, и не было моих часов в кармане брюк.

Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл.

— У меня часы украли сейчас, — сказал я.

— Кто? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я.

— Ну, тогда пропали, — сказал милиционер.

От таких его слов мне захотелось сельтерской воды.

— Сколько стоит один стакан сельтерской? — спросил я в будочке у женщины.

— Десять копеек, — ответила она.

Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные девять копеек. И развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует.

«Предположим — милиционер. И вот подходит к нему гражданин...»

«Нуте-с?» — осведомились мозги... «Н-да, и говорит: часы у меня свистнули. А милиционер выхватывает револьвер и кричит: „Стой!! Ты украл, подлец". Свистит. Все бегут. Ловят вора-рецидивиста. Кто-то падает. Стрельба».

«Все?» — спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове.

«Все».

«Замечательно, прямо-таки гениально, — рассмеялась голова и стала стучать, как часы, — но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, т. е. кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городской. Нес-па{1}, товарищ Бенвенутто Челлини?»

Дело в том, что мой псевдоним — Бенвенутто Челлини. Я придумал его пять дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они поместили: «Бенвенутто Челлини» в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини.

«Или так: извозчик № 2579. И седок забыл портфель с важными бумагами из Сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в Сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили».

«Мы этого извозчика помним, — сказали, остервенясь, воспаленные мозги, — еще по приложениям к Марксовской „Ниве“. Раз пять мы его там встречали, набранного то петитом, то корпусом, только седок служил тогда не в Сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел. Умолкни! Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?..»

По шаткой лестнице я вошел с развязным видом и громко напевая:

И за Сеню я!

За кирпичики

Полюбила кирпичный завод.

В редакции, зеленея от жары, в тесной комнате сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое праздношатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира.

— Кирпичики кирпичиками, — сказал заведующий, — а вот где обещанный рассказ?

— Представьте, какой гротеск, — сказал я, улыбаясь весело, — у меня сейчас часы украли на улице.

Все промолчали.

— Вы обещали сегодня дать денег, — сказал я и вдруг в зеркале увидел, что я похож на пса под трамваем.

— Нету денег, — сухо ответил заведующий, по лицам я увидел, что деньги есть.

— У меня есть план рассказа. Вот чудак вы, — заговорил я тенором, — я в понедельник его принесу к половине второго.

— Какой план рассказа?

— Хм... В одном доме жил священник...

Все заинтересовались. Праздношатающиеся подняли головы.

— Ну?

— И умер.

— Юмористический? — спросил редактор, сдвигая брови.

— Юмористический, — ответил я, утопая.

— У нас уже есть юмористика. На три номера. Сидоров написал, — сказал редактор. — Дайте что-нибудь авантюрное.

— Есть, — ответил я быстро, — есть, есть, как же!

— Расскажите план, — сказал, смягчаясь, заведующий.

— Кхе... Один нэпман поехал в Крым...

— Дальше-с!

Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок, и вымолвил:

— Ну и у него украли бандиты чемодан.

— На сколько строк это?

— Строк на триста. А впрочем, можно и... меньше. Или больше.

— Напишите расписку на двадцать рублей, Бенвенутто, — сказал заведующий, — но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу.

Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли.

Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворешный голос:

— Не дам я вашему Чинизелли ничего. Он и так перебрал уже шестьдесят целковых.

— Дайте, дайте, — приказал заведующий.

И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с трещиной посередине.

Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мной поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт, — говорил я кружке, — если они не оживут после пива, — значит, конец. Они померли — мои мозги, вследствие писания рассказов, и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получают обратно аванс...»

Эта мысль меня насмешила, я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике.

«Живы?» — спросил я.

«Живы», — ответили они шепотом.

«Ну, теперь сочиняйте рассказ!»

В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за полтора рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне две открытки в желтом конверте с надписью:

«Граждане, помогите глухонемому».

На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланскими ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем, в жилах моих бежала пенная пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому:

— Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какое ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в «Эльдорадо»!

«Предположим так, начал я, пламенея. — ...Улица гремела, со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами (автобус)!»

«Здорово пошло дело, — заметили выздоровевшие мозги, — спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше... Вдохновенье, вдохновенье».

Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта-Таузига, под хлопанье тарелок, под звон серебра.

Я писал рассказ в «Иллюстрацию», мозги пели под военный марш:

Что, сеньор мой,

Вдохновенье мне дано ?

Как ваше мнение?!

Жара! Жара!

«Литературный Киргизстан», 1988, №7-9

Михаил Булгаков

«ВОДА ЖИЗНИ»

Станция Сухая Канава дремала в сугробах. В депо вяло пересвистывались паровозы. В железнодорожном поселке тек мутный и спокойный зимний денек.

Все, что здесь доступно оку (как говорится),

Спит, покой ценя...

В это-то время к железнодорожной лавке и подполз, как тать, плюгавый воз, таинственно закутанный в брезент. На брезенте сидела личность в тулупе, и означенная личность, подъехав к лавке, загадочно подмигнула. Двух скучных людей, торчащих у дверей, вдруг ударило припадком. Первый нырнул в карман, и звон серебра огласил окрестности. Второй заплясал на месте и захрипел:

— Ванька, не будь сволочью, дай рупь шестьдесят две!..

— Отпрыгни от меня моментально! — ответил Ванька, с треском отпер дверь лавки и пропал в ней.

Личность, доставившая воз, сладострастно засмеялась и молвила:

— Соскучились, ребятишки?

Из лавки выскочил некий в грязном фартуке и завыл:

— Что ты, черт тебя возьми, по главной улице приперся? Огородами не мог объехать?

— Агародами... Там сугробы, — начала личность огрызаться и не кончила. Мимо нее проскочил гражданин без шапки и с пустыми бутылками в руке.

С победоносным криком: «Номер первый — ура!!!» — он влип в дверях во второго гражданина в фартуке, каковой гражданин ему отвесил:

— Что б ты сдох! Ну, куда тебя несет? Вторым номером встанешь! Успеешь! Фаддей — первый, он дежурил два дня.

Номер третий летел в это время по дороге к лавке и, бухая кулаками во все окошки, кричал:

— Братцы, очищенное привезли!..

Калитки захлопали.

Четвертый номер вынырнул из ворот и брызнул к лавке, на ходу застегивая подтяжки. Пятым номером вдавился в лавку мастер Лукьян, опередив на полкорпуса местного дьякона (шестой номер). Седьмым пришла в красивом финише жена Сидорова, восьмым — сам Сидоров, девятым, Пелагеин племянник, бросивший на пять саженей десятого — помощника начальника станции Колочука, показавшего 32 версты в час, одиннадцатым — неизвестный в старой красноармейской шапке, а двенадцатого личность в фартуке высадила за дверь, рявкнув:

— Организуй на улице!

Поселок оказался и люден, и оживлен. Вокруг лавки было черным-черно. Растерянная старушонка с бутылкой из-под постного масла бросалась с фланга на организованную очередь повторными атаками.

— Анафемы! Мне ваша водка не нужна, мяса к обеду дайте взять! — кричала она, как кавалерийская труба.

— Какое тут мясо! — отвечала очередь. — Вон старушку с мясом!

— Плюнь, Пахомовиа, — говорил женский голос из оврага, — теперь ничего не сделаешь! Теперича, пока водку не разберут...

— Глаз, глаз выдушите, куда ж ты прешь!

— В очередь!

— Выкиньте этого, в шапке, он сбоку залез!

— Сам ты мерзавец!

— Товарищи, будьте сознательны!

- Ох, не хватит...
 - Попрошу не толкаться, я — начальник станции!
 - Насчет водки — я сам начальник!
 - Алкоголик ты, а не начальник!
-

Дверь ежесекундно открывалась, из нее выжимался некий с счастливым лицом и двумя бутылками, а второго снаружи вжимало с бутылками пустыми. Трое в фартуках, вытирая пот, таскали из ящиков с гнездами бутылки с сургучными головками, принимали деньги.

- Две бутылочки.
- Три двадцать четыре! — вопил фартук, — что кроме?
- Сельдей четыре штуки...
- Сельдей нету!
- Колбасы полтора фунта...
- Вася, колбаса осталась?
- Вышла!
- Колбасы уже нет, вышла!
- Так что ж есть?
- Сыр русско-швейцарский, сыр голландский...
- Давай русско-голландского полфунта...
- Тридцать две копейки? Три пятьдесят шесть! Сдачи сорок четыре копейки! Следующий!
- Две бутылочки...
- Какую закусочку?
- Какую хочешь. Истомилась моя душенька...
- Ничего, кроме зубного порошка, не имеется.
- Давай зубного порошка две коробки!

— Не желаю я вашего ситца!

— Без закуски не выдаем.

— Ты что ж, очумел, какая же ситец закуска?

— Как желаете...

— Чтоб ты на том свете ситцем закусывал!

— Попрошу не ругаться!

— Я не ругаюсь, я только к тому, что свиньи вы! Нельзя же, нельзя ж, в самом деле, народ ситцем кормить!

— Товарищ, не задерживайте!

Двести пятнадцатый номер получил две бутылки и фунт синьки, двести шестнадцатый — две бутылки и флакон одеколону, двести семнадцатый — две бутылки и пять фунтов черного хлеба, двести восемнадцатый — две бутылки и два куса туалетного мыла «Аромат девы», двести девятнадцатый — две и фунт стеариновых свечей, двести двадцатый — две и носки, да двести двадцать первый получил шиш.

Фартуки вдруг радостно охнули и закричали:

— Вся!

После этого на окне выскочила надпись «Очищенного вина нет», и толпа на улице ответила тихим стоном...



Вечером тихо лежали сугробы, а на станции мигал фонарь. Светились окна домишек, и шла по разъезженной улице какая-то фигура, и тихо пела, покачиваясь:

Все, что здесь доступно оку,

Спит, покой ценя...

Впервые — Гудок. 1925. 18 декабря. С подписью: «Незнакомец».

«Вечерний Фрунзе», 1982, 3/4

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ—ЛЬВУ ЛУНЦУ

Исследователь русской классики и исторический романист, литературный критик и кинодраматург — все это важные, но не единственные грани таланта Юрия Николаевича Тынянова (1894—1943).

Он возвратил из забвения личность и поэзию В. Кюхельбекера, в романе «Смерть Вазир-Мухтара» показал иного, нетрадиционного А. Грибоедова. Статьи Тынянова не просто по-новому анализировали творческий процесс, в них диалектически представала русская культура.

Значителен вклад Ю. Тынянова в целостное изучение XIX века, но не менее интересны его работы, посвященные современности. Глубочайшие знания и эрудицию, одаренность ученого отмечают многие, кто его знал.

Не случайна близость Ю. Тынянова к литераторам, образовавшим в начале 20-х годов творческое объединение «Серапионовы братья».

За безапелляционностью юношеского максимализма молодых писателей, особенно теоретика группы Льва Лунца (1901—1924), Тынянов смог разглядеть их большое будущее: К. Федина и Вс. Иванова, Н. Тихонова и М. Зощенко...

«Серапионы» опирались на поддержку А. М. Горького, при деятельном участии которого был издан первый сборник их произведений. Целеустремленность молодых импонировала Горькому. Закономерна поэтому оценка, данная им в строках, посвященных рано ушедшему из жизни Л. Лунцу, с теориями которого все еще продолжают спорить современные исследователи.

Статья Ю. Тынянова «Льву Лунцу» шире повода, послужившего ее написанию — годовщины смерти талантливого литератора.

В ней явственно ощущается отношение к современному художественному процессу, к одержимости молодости, ломающей традиции и каноны (Тынянов и сам являл пример новаторства в литературе и литературоведении).

Вениамин Каверин, тоже бывший «серапион», на страницах «Литературной газеты» (1986, № 49/5115/, с. 6) предложил «перепечатать и письмо «Льву Лунцу», обращенное Тыняновым к умершему товарищу в 1925 году».

Статья «Льву Лунцу» после публикации в журнале «Ленинград» (1925, № 22/61/. 20 июня с. 13) в советские издания произведений Ю. И. Тынянова не входила, хотя и сегодня ее пафос и полемичность не утратили своего значения. Все шрифтовые подчеркивания сделаны в статье Ю. Тыняновым.

ДОРОГОЙ ДРУГ!

Если бы вы были живы, я написал бы вам о многом, я написал бы вам о знакомых, о себе — потому что мы любили друг друга, о том, какие сейчас новости в русских литературах — потому что в Ленинграде одна литература, в Москве другая и разные по районам, — и письмо было бы веселое. Оно не потому было бы веселое, что литературы очень веселы и что новости очень новы, а потому, что я писал бы вам. Вам нельзя было писать невесело. Вы делали домашними все каноны литературы и жизни, и ваши предсмертные письма с пропущенными буквами и словами были веселее, чем многие наши романы и рассказы из которых, право, не мешало бы выпустить побольше слов, а иногда и все до единого.

Вы вовсе не «разрушали» канонов: разрушение канонов ведь стало делом литературного приличия: сколько добровольцев их разрушает, даже не ожидая особого одобрения критики. Вы просто их осмыслили, делали их умными, и они оказывались не-канонами. Вы были человеком культуры и Запада — два запрещенных у нас после Ильи Эренбурга слова. Как известно, Запад исчез без остатка и, по всей вероятности, он никогда не существовал. Культура же — это пенсне на носу, охрана памятников старого Петербурга, энциклопедия Брокгауза и Ефрона и воспоминания Кони о суде присяжных. (Горький, однако, полагает, что культура — это способность ко всем четырем арифметическим действиям, сложению и вычитанию в особенности). Но вы с вашим умением понимать и людей и книги знали, что литературная культура весела и легка, что она — не «традиция», не приличие, а понимание и умение делать вещи нужные и веселые. Это потому, что вы были настоящим литератором, вы много знали, что «классики» — это книги в переплетах и в книжном шкапу и что они не всегда были переплетены, а книжный шкаф существовал раньше их. Вы знали секрет: как ломать книжные шкапы и срывать переплеты. Это было веселое дело, и каждый раз культура оказывалась менее «культурной», чем любой самоучка, менее традиционной, и, главное, гораздо более веселой. Культура учила вас, как обходиться без традиций. Старые французы, которых вы изучали, были тоже враждебны по отношению к переплетам. Вашему Мариво не подал бы руки литератор, вещь которого принята в «Недра». Вы знали секрет переплетов и книжных шкапов, вы умели их разрушать и поэтому были спящим, — а ведь Серапионы питают пристрастие к хорошим переплетам с корешками из бараньей кожи.

Милый мой, вы уже год лежите на Гамбургском кладбище, — что осталось от вашей кудрявой умной головы? — Но вы все-таки живее, чем добрая половина нашей

литературы и литературной науки, И поэтому, честное слово, не «прием» — то, что вам я пишу. (К тому же я не успел вам ответить на ваше последнее письмо). Теперь ведь все называется приемом; один писатель на меня недавно обиделся за резкий отзыв, но я уверил его, что это — прием, и он долго благодарил меня.

Какой дурной, неприятный прием — умирать в 23 года и быть живее ста писателей, которые родились мертвыми!

Ваша работа была веселая, теперь она была бы мало приличная. Теперь нам нужен эпос, нам нужен роман, нам нужна добротность (для чего все это нужно — неизвестно). И в особенности мы боимся провалов. Можно сказать, что писатель пишет сейчас только затем, чтобы избежать провала. В каждом рассказе — жажда уцелеть, писать немного лучше; исчез вопрос: «может быть не лучше, а по-иному?». Возникает срединная литература. У этой срединной литературы тоже есть своя культура: Пильняк, так сказать, «культура бескультурных народов». Возник Лидин, понятие собирательное, вряд ли существующее в реальном мире. Без этой строго определенной культуры сейчас неловко появляться в большой литературе. Как оробели, как присмирели все! («Все» — это петербургская литература. В Москве есть Ефим Зозуля, я о Москве не говорю). Вещи пишут, как распечатывают колоду карт; иногда их и перетасовывают как карты.

Как вы нужны со своим верным взглядом, дорогой мой друг, при возникновении этой срединной литературы! Вы не боялись провалов, вы знали, что если не будет плохих вещей — не будет и хороших. Как вы нейтрализовали бы срединную литературу, — ваши друзья, Серапионы, которых вы так любили, право же, не в состоянии этого сделать. Им некогда, они заняты тем, что сами нейтрализуются. Однако, не все потеряно: самых «книг» еще пока, к счастью, немного, и все можно начинать сначала.

Еще два слова — лично вам. У нас в литературе есть традиция — Очень печальная — ранних смертей. Ранняя смерть уравнивала всех: и Веневитинова, и Станкевича, хотя они были разные. Я не хочу, чтобы ваш портрет вошел в этот ряд. Вы, милый, живой, прекрасно знаете, что" и этот канон — не канон. Будьте тем, чем вы были, вы нужны именно таким. И поэтому вы не рассердитесь за это письмо.

Ваш ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

«Литературный Киргизстан», 1988, №8

Переп: Вопросы литературы, 1988, №12

Произведения. Имена. Трагические судьбы... Все это – наша отечественная культура. Отказ от идеологических стереотипов, узнавание неизвестного. Восприимчивость, может быть, одна из важных качеств, необходимых для понимания истории и культуры.

Среди возрожденных имен – Борис Пильняк. Он из тех, кто вызывал в 20 – 30-е годы нескончаемые споры своей оригинальностью художественного мышления, непохожестью на все то, что преподносилось, как эталон пролетарской литературы.

Уже при жизни писателя, ставшего одной из жертв сталинских репрессий, литература, посвященная его творчеству, превышала написанное им самим. А после политической реабилитации ещё долгие годы выискивали его ошибки и просчеты, пытаясь принизить новаторство.

Вслед за малотиражным однотомником, переизданным несколько раз не столько для нас, сколько для заграницы, в периодике появились произведения, свидетельствующие о гражданском мужестве Б. Пильняка – «Повесть непогашенной луны» - об убийстве М.В. Фрунзе и «Красное дерево». Наступило время, когда Пильняк предстал перед читателями всеми гранями таланта. Противники этого явления ссылаются на Ю. Тынянова и В. Шкловского, В. Маяковского и А. Белого, оставивших отрицательные суждения о писателе–современнике.

Пильняк сегодня – пример многообразия культуры 20-х годов. Его очерки и репортажи, книги, посвященные поездкам по стране и за границу, повести и романы – все это свидетельство поисков новых форм для воссоздания увиденного и пережитого. Говоря о Пильняке, нередко добавляем псевдообъективное «но». Как удобно поместить творчество Пильняка в спасительную формулу «писатель для писателей»,

«искусственный» и т.д. и т.п.! Непривычный для нас – да. А кто из возрожденных писателей – привычный?!

История для Пильняка – не самоцель, а способ как можно глубже понять историю и современность. Петр Первый Пильняка не похож на Петра А. Толстого. Может быть, и такой Петр имеет право на существование?! Может, именно он соответствует своему историческому прототипу?

Несомненно лишь то, что публикация на долгое время забытых произведений Б. Пильняка расширяет наше знание как о художественном процессе первого советского десятилетия, так и о своеобразии писательского мастерства одного из тех, кто своим творчеством заложил основы новой литературы. Дата его рождения известна, о дате смерти можно лишь догадываться. Пильняк, без преувеличения, заплатил кровью за право на эксперимент, он был одним из немногих, находящих силы писать под дамокловым мечом репрессий и критической опричнины...

БОРИС ПИЛЬНЯК

Его величество Kneeb Piter Komandor

Не презирати, не за псы и мети,

Паче любви, яко свои дети.

Симеон Полоцкий

Россия, нищая Россия,

Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые

Как слезы первые любви.

Пускай заманит и обманет,

Не пропадешь, не сгинешь ты

А. Блок

Глава первая

«Понѣ же Государство, какъ учать французы, гармонія всѣхъ естествъ есть, не токмо фізическихъ, но і духовныхъ, мню я, что Его Величество Государь Петръ Алексѣевичъ единое оскудѣніе учинилъ Государству Россійскому, ибо владодательство, т.-е. політика, не есть дебошанство. Бывъ многажды въ Винесіи, Парізіѣ і земляхъ Фламандскіхъ не могу оставить мыслію Родины. Гісторія ея туманна есть, понѣ же холопы и прочій подлый народъ оставленъ въ бытіи первобытномъ, а шляхетство, яко-бы штудіруя въ Академіи-де-Сіянсь, імѣя Регламенты і во всякихъ художествахъ искусство получивъ, – не есть что кромѣ, како амурщіки і галанты, пітухи і мздаімцы, мордобівцы і воры, і казны государівой казнокрады, ибо совесть ихъ пропіта есть і отцовы заказы забыты суть. Младымъ отрокомъ отъ сосцовъ матери оторванъ бывъ, получивъ искусство артиллеріи за границією, съ младыхъ лѣтъ пріученъ бывъ зѣло піти, обрѣлъ я ко зрѣлому возрасту единую скорбь, безверие і плутнічество. Государство наше Россія пребываетъ въ гладѣ, морѣ, бунтахъ і смутахъ.»

Так записал в журнал свой Гвардии обер-офицер Зотов, отбывая дежурство в Адмиралтейской крепости, в канцелярии Адмиралтейств-коллегии. В каменной полутемной комнате со сводчатыми потолками было захаркано и заплевано. За приземистыми, уже успевшими запылиться, оконцами, на квадратном дворе грудями свалены были лыко, мочала, канаты, распиленный лес. Слева пламенела кузница. От нижнего каменного бойверка шла куртина. По недостроенным бастионам ходили часовые. У самой Невы, на доке стоял скелет фрегата, напоминавший костяк дохлого мамонта, привезенного недавно в куншткамеру. Около бастионов и у фрегата толпились работные людишки, пригнанные сюда со всей России, тверские, вологодские, астраханские, калмыки, татары, хохлы, в рваных зипунишках, в лаптях, а иные и без лаптей. Снег лежал грязный и осунувшийся. Ветер дул с моря, нес ростепель, невские льды тронулись ночью, серые облака шли неспешно, – мартовский день походил на октябрь. За рекой одиноко торчали неспиленные еще сосны, точно на лесной порубке. На Васильевом Хирвисари-острове, пилкой очерчивая серое небо, толпились кое-где еловые, стройные перелески. Над головою, на адмиралтейском спице пробили куранты семь, и сейчас же за ними закрипели цепи подъемных ворот. Вошел солдат и поставил на столе тусклую масленку. По бою курантов, по скрипу ворот, по походке солдата, по тому, как поднят штандарт, – гвардии офицер Зотов научился узнавать о настроении государя: служба была государева. И всегда, когда Зотов думал о Петре, все существо его напрягалось тоскою и болью: ему вспоминался серенький январский день, когда отца его, князя-папу, Никиту Зотова, восьмидесятичетырехлетнего старика, по именному указу государя, венчал девяностолетний поп с шестидесятилетней старухой Пашковой. Шествие, санкционированное указом, начиналось у Зимнего дворца, сани «молодых» были запряжены четыре медведя, к козлам был привязан олень. Во главе процессии шел палач и кесарь Ромодановский, кой «пьян во все дни». Все министры, аристократия, дипломатический корпус, – все присутствовали на этом узаконенном издевательстве. Медведи, которых били, дико ревели. Князь-папа наряжен был в костюм жреца, полуобнаженный, дрог на морозе, дрог и кривлялся, кривлялся, чтобы увеселить государя.

В канцелярии Адмиралтейств-коллегии Петр был утром, Зотов еще спал, устроившись на столе, его разбудил сержант. Государь вошел в треуголке, одетый в зеленый сивильный сюртук, сильно потрепанный, в узкие черные штаны, красные чулки, вязания императрицы Екатерины, и в скошенные немецкие туфли (карманы сюртука и брюк оттопыривались сильно, набитые трансциркулем, компасом, ватерпасом и прочими инструментами, которые Петр всегда носил при себе). Шел сгорбившись и стремительно, размахивая руками, широко расставляя тонкие свои ноги, косолапя, подражая, по привычке, голландским матросам: стало быть, его величество был в расположении духа хорошем. Гвардии обер-офицер Зотов стал во фрунт. Государь, на европейский манер, подал руку. Куранты пробили три четверти пятого пополудни. В окна шла туманная муть. Государь непристойно сострил, актерски расхохотался, как всегда, на о, – прошел к столу, просматривал бумаги. Затем отомкнул своим ключом шкаф с тайными государственными бумагами, касающимися адмиралтейства, и жестом пригласил проследовать в него офицера Зотова.

Сказал:

– Возможности не имея пребывать ноне на заседании Адмиралтейств-коллегии, прошу ваше благородие присутствовать при нем тайно, в сиянсе. Донесение извольте учинить начальнику тайной канцелярии графу Петру Андреичу.

Никогда, нигде не было такого сыска, как при Петре в России. Гвардии офицер Зотов, бряцая эспадрон и шпорами, прошел в шкаф, от государя пахнуло потом и водкой. Петр замкнул ключ и, уходя, крикнул бодро:

– Имею честь поздравить ваше благородие с открытием навигации. В завтрашний день пожаловать просим ко дворцу на трактамент!

В шкафе было темно и душно, в щели шел серый свет. Зотов покурил из голландской своей трубки, устроил сидение из бумаг, оперся на эспадрон и заснул, привыкнув спать во всяких положениях. К десяти стали собираться члены. Апраксин послал сержанта за водкой. Зотов подслушивал: говорили то, что говорила вся Россия, так же, как говорила вся Россия, – о том, что Россия разорена, что в Заволжье бунтуют калмыки, на Дону непокойны казаки, что по деревням голод и смерть, – по деревням пошли юродивые ради Христа, в деревнях нашли антихриста... Начальник тайной канцелярии граф Петр Толстой пришел в коллегию к четверем по полудни и выпустил Зотова из шкафа. И Толстой, человек, задушивший в Адмиралтейском и Петропавловском застенках не одну сотню людей, сидя у стола, глядя на Неву немигающими своими глазами, говорил так же, как все, трусливо и зло:

– На Кайвусари-Фомином острове новый праведник сыскан. В Адмиралтейский застенок сей юродивый доставлен. – Толстой помолчал. – Вся Россия зело плачет. Ночью приди.

Зотов спросил:

– Веришь, ваше сиятельство, ради Христа юродивым?

Толстой осмотрелся кругом, пристально взглянул на Зотова немигающими своими глазами, сказал тихо:

– Верю весьма преисполнен.

Куранты пробили семь с четвертью. Сумерки мутнели грязно. Нева набухала, с моря шел ветер: к рассвету надо было ждать наводнения. Зотов прошелся по комнате, разминая ноги в ботфортах с голенищами до паха. Остановился у двери и прочел царский указ, уже пожелтевший и засиженный мухами

«Великий Государь указалъ симъ объявить, какъ и прежде сего объявлено было, чтобъ у кораблей и прочихъ судовъ, такожь у галеръ въ гавани, при Санктъ Питербурхѣ, никакого огня не держать, такожь и табаку не курить, а ежели кто въ ономъ същется виновень, будетъ бить: по первому приводу будетъ наказанъ 10 ударами у мачты, а ежели приведенъ будетъ въ другой разъ, оный будетъ подь киль корабельный подпущень и у мачты будетъ бить 150 ударами, а потомъ вѣчно на каторгу сосланъ».

Прочитав, гвардии обер-офицер Зотов набил трубку и от масленки закурил.

Заснув еще, в двенадцать он сделал обход часовых, часовые стояли на посту 24 часа, и не смели спать, ибо биты были тогда батогом нещадно. Сменив посты, передав караул и дежурство, направился домой, тут же, на Московской стороне, за Мьей-рекой, в гвардейские казармы. Проскрипели подъемные ворота, в канале шумела прибывающая вода. Охватили мрак, сырость, ветер, ботфорты вязли в разбухшей глине. На пустырях пересвистывались дозорные, на Кайвусари-Фомине острове звонили в колокол. Во мраке наткнулся на сваленный лес, на изгородья новых недостроенных построек, у каторжного двора испуганно окликнул часовую. Итальянский дворец горел желтыми огнями. На немецкой слободке, где жили съехавшиеся со всех стран на легкую наживу всяческие неудачники, прохвосты и пираты, трещала колотушка. Ветер дул упорно, сырой, упругий. После суточного сидения в сырой канцелярии, нудного безделья и неловкого сна члены тела казались помятыми, опухли глаза, слипался рот. Заморосил дождь. В офицерском корпусе гвардейских казарм были шум, пение, крики, визжал орган: офицеры Только что вернулись с ассамблеи, где наплясались и перепились. Молодежь толпилась около дневальной каморы, куда затащили срамную девку.

Гвардии обер-офицер Зотов собирал и собирался записать в журнал свой материал об основании Санктпетербурга, парадиза Петра, – этого страшного города на гиблых болотах с гиблыми туманами и гнилыми лихорадками. Во имя случайно начатой (как и все, что делал Петр) войны со шведами, случайно заброшенный под Ниеншанц, Петр случайно заложил – на болоте невской дельты, на острове Енисари, – Петропавловскую фортецию, совершенно не думая о парадизе. Это было в семьсот третьем году, – и только через десять лет стал строиться – Санкт-Питер-Бурх, – строился так же дико, стремительно, жестоко, как и все, что делал Петр.

Главной задачей устройства парадиза было, чтобы он не походил на Москву. Санктпетербург должен был стать каменным: указом государя запрещалось ставить каменные поставы во всем государстве, кроме Санктпетербурга, а в оном, ежели дом и строен был из дерева, – шить его тесом и раскрашивать под кирпичи. «За Тюркскою войною зѣло мало въ высылки было работныхъ людей въ Санктъ-Питерь-Бурхѣ, чего для потщитесь къ будущему лѣту и къ зимѣ указное число выслать – съ 35 городовъ, посадовъ, дворцовыхъ волостей, помѣстьевъ, вотчинъ, всякихъ чиновъ людей, съ крестьянскихъ и бобыльныхъ дворовъ» – отовсюду велено было пригонять в Санктпетербург «от 9-ти дворовъ человека». Людей сгоняли палками, гнали в цепях, работные людишки должны были итти «съ плотничными снарядами, съ топорами, а у всякого бѣ десятника было по долоту, по бураву, по познику, а хлѣбу и запасу тѣмъ работнымъ людямъ взять съ собою чѣмъ мочно». Работные людишки голодали, гнили, мерли от повалок, редкий работал больше года, каждый год вымирало до ста тысяч людишек – город бутился человеческими костями. Не хватало инструментов, землю носили в подолах рубах; не хватало лаптей – ходили босыми. Работали, стоя по пояс в воде; жили в гнилых землянках; иные уходили в бега, в леса, к разбойникам; иные бунтовали, – тогда их вешали у Петропавловского кронверка десятками, для показу. Рабочих указ дан был брить. Местные люди жульничали (хороших жуликов любил Петр), откупались и покупались взятками – взятки Петр называл «коварством». Писал: «Съ Казанской губерніи не дослано сюда за прошлый годъ положенныхъ денегъ больше 20 т. рублей, чему удивляемся мы, что такія дѣла у насъ забвенію преданы», – и грозил дыбою. Хоронили холопов там же, где они подыхали. Работные людишки, раздетые, голодные, цынготные, безумели от страха, мучений, непонимания. Вельможам выезжать без разрешения из города было воспрещено. На всех государевых крышах указ дан был ставить «спицы», – дабы время свое люди по часам знали. Начальником города был князь Меншиков, генерал-губернатор ингерманландский, – либер-киндер-Саша, как звал его Петр.

На рассвете ударили в набат. На Петропавловской и Адмиралтейской фортециях запалили из пушек. Офицеры выбежали на плац, из казарм выбегали солдаты, примыкая на бегу к фузелям багинеты. Заревел сигнальный рог. Выстроились. Был грязный рассвет. Ветер перешел в шторм, свистел в, трех голоствольных соснах, еще не срубленных. Говорили о наводнении: на Васильевом-Хирвисари острове смыло весь запасенный лес, потонул в канале гвардии офицер Дерябин. Нева разбухла, посинела, щетинилась зелеными беляками. Кто-то сказал, что подступают шведы, заговорили о бунтах. Дождь косил косо, холодно. Загудели колокола в церквах. Опять ударили из пушек. Скомандовал дежурный генерал, офицеры передали команду по ротам. Вышли с плаца, пошли по направлению к Итальянскому дворцу. Утро было мутное, холодное, мокрое, грязное.

На дороге повстречал конный ординарец, снял шляпу (ветер сорвал его парик) и крикнул:

– Его императорское величество конфузию сию учинить приказал с первым текущим апрелем и с открытием навигации! А також указал прибыть ноне ко дворцу на трактament!

Полк прокричал приветствие императору и повернул обратно.

Глава вторая

С взморья, из-за Малой Невы, из лесов, часто набегали на Санктпетербург волчьи стаи, драли и скотину, и людей. Разливом загнало стаю на Мистула-Елагин остров. Было доложено государю, и Петр поехал ловить «сих раритетов» для куншткамеры, погнав с собою сотню людишек. День был мутный и мокрый.

На Кайвусари-Фомином острове, за кронверком, Татарской слободы, где на песках торчали тоскливые юрты киргиз и калмыков, обезумевших дикарей, пригнанных сюда с Заволжья, у старых ветел, объявился человек. Был он бос, с раскрытой головою, с бородою седой до пояса, с лицом сухим и строгим, в ладной монашеской рясе. Старик говорил о государе, о том, что царь Петр есть-де антихрист, будет-де весь народ печатать, «а на которых печати не будет, тем и хлеба давать не будут». Говорил, что Нева-де пойдет вспять, разверзнутся хляби и снесут проклятый народом город. Показывал калмыкам налоговый знак на право ношения бороды, где выбиты были двуглавый герб российский, нос с усом и борода, и надпись: «дань заплачена». На старика, на толпу бросились семеновцы с батогами, старец скрылся за юрты, его ловили. Петр, возвращаясь с ловли волков, принял участие в новой ловитве, командовал. Сыскан старец был вскорости, за кронверкским валом, к вечеру притащен был в Адмиралтейской фортеции застенок: в двадцатом году, после удушения в Петропавловской крепости Алексеевском равелине царевича Алексея, дан был указ, – «для розыска во всякихъ дѣлахъ застѣнокъ сдѣлать въ Адмиралтейской крѣпости». Под крепостным валом, в подземельи, в канцелярии застенка встретил старика граф Толстой. Тускло горела масленка, залитая конопляным маслом, комната была приземиста, без окон, со сводчатым кирпичным потолком. Толстой сидел стола, расставив ноги, барабанил тонкими своими пальцами по столу, смотрел немигающими глазами долго и пристально, молчал. Старик стоял перед ним прямо, неподвижно. От графа пахло водкой, от старика – луком и редькой.

– Как звать? Отколь? – спросил Толстой.

– Крещен Тихоном. С Белоколодезского погосту, с Коломенской волости

– За трегубую аллилую и двуперстие, што ли?

Старик помолчал.

– И за них.

– Поди сюда, сукин сын.

Старик подошел, граф ударил его ботфортом снизу в живот.

– Глаголь орацию. Говори, когда потоп предрекаешь? Какую силу в медали нашел? Слово и дело государево.

– Егда потоп придет, един бог саваоф вестя. Предсказать еще не мочен.

– Говори орацию.

Молчали оба долго. Заговорил старик.

– Грахф!.. Внемли, – всякого благорассудного естество есть, но не оскуденья. Што с землей нашей стало есть? – стон, вопль и плач мирской. Единые балаганства суть. Весь народ наготствует, совесть купуется, правда в бордели сокрыта. О, Россие! балаган!.. Мой сын стариком стал, – и все война, немцы засилили. Царь с труб кой в зубах, как матрус заморский, одет, как немчин пьян, яко ярыга, ахальничает, матершинит, яко татар, царь!.. Грахф!.. прими сие: царь наш подменный, немчин, – егда он за море с ближними людьми поехал, в стогольское царство прибыв, к стогольской той царице-девке пошел, а оная девка, Ульрика, спать с собою его положив, над государем нашим надругалась, на пуп свой клала, а пуп ей как сковорода горячая, и сменила немецкая, стогольская девка Петра Алексеевича оборотнем, дабы брил он бороды, кафтанье резал, однорядки, ферези... Грахф!.. печатать хлеб скоро будут, понеже привезены печати. Летосчисление наинак поставлено. Еретики папезники, лютеры веру застыят... А царица та, стогольская девка Ульрика, как была имянинница, стали ей говорить ее князья да бояре – пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя. Оная блудная девка сказала – подите, посмотрите, коли он жив валяется, для вас его выпущу. Те, посмотря, сказали – томен, государыня. – А коли томен, так вы его выкиньте на помет. А Алексашка Меншиков, конюх, хриstopродавец, да Лефор-немчин, подобрав его в тот час, в бочку смоленую засмолили да в море выкатили. А как видел это стрелецкий сотник, то новый их содружник-дебошир, государев оборотень, и облютился на стрельцов. Авдотью

Федоровну в монастырь сослал, потаскушку Монсову взял, – оморок мирской!.. Грахф! На смех все изделано есть!., на смех, на издевку... Балаган!.. Отверзни очесы своя!.. Грахф!..

Масленка горела тускло, коптила. Стены и потолок были в сырости, в мокрицах, сырость пронизывала. Толстой сидел неподвижно, смотрел не мигая мутными своими раскосыми глазами. Старик говорил, боясь остановиться, боясь замолчать. Лицо старика было бледно, масленка потрескивала.

– Поди сюда, сукин сын. Хвамилие? – Сенсу довольно.

– Старцев прозываюсь. Три сына у меня на войне сгибли, два мнука...

– Когда потоп предрекаешь?!

– Егда потоп будет, един бог вестя, но быть – будет.

– Поди сюда, сукин сын! Дыбу ведаешь?..

Открылась железная дверца, вошел гвардии обер-офицер Зотов. Покачиваясь, прошел к табурету, рухнул, положив голову на стол, икнул, вытащил из-за ботфорта штоф, захохотал.

– Што? – спросил Толстой.

– Ноне в сенате, собравшись в конзилию, Ягужинский со Скорняковым в каллизию вошли, за сим впутался светлейший Алексашка Меншиков. Ягужинский Скорнякова, хэбер-прокурора, за волосья оттаскал, а Шафыров с Головкиным да светлейший ворами обзывались!.. Буча! Казус!.. Меншиков побег императрице жаловаться по старому маниру. Были все зело шумны, после трактамента. Был при сем обер-фискал Мякинин, донес государю, – государь Катерине Алексеевне говорил – Меншиков-де в беззаконии зачат, во гресех родила его мать и в плутовстве скончает живот свой, а ежели не исправится, быть ему без головы. – Дебош пошел с трактамента. Алексашка теперь плачет у царицыных ножек – нюхает.

Зотов снова захохотал, рухнул пьяно головой о стол.

– Дурак! – сказал Толстой. – Не зришь-бо, монстра сия стоит со словом государевым.

Пьяное, красное лицо Зотова моментально побледнело, вытянулось, соскочили веселость и хмель. Зотов встал, взглянул на Толстого. Толстой трусливо улыбнулся.

– Понеже, ваше благородие...

– Ваше сиятельство!.. – голос Зотова дрогнул.

Толстой трусливо подошел к двери, дернул веревку от колокольца – в подземельи зазвенел глухо колокол. Вбежал солдат

– Фузель! – крикнул Толстой, и обратился к старику – Поди сюда, сукин сын! Когда...

Его перебил Зотов

– Иди, егда глаголят! – крикнул визгливо, ударил старика по лицу, бритые губы Зотова ощерились.

Вбежал солдат с фузелью, стал во фронт. Вдруг старик упал на колени, пополз к ногам Толстого, заскулил по-собачьи, заплакал. Масленка чадила тускло и смрадно.

– Сыночик, грахф!.. смилустуйся, не стрели, не стрели, каса-атик!..

Толстой отодвинулся, сожмурил глаза, скомандовал:

– Пли!

Старик завизжал, пополз к углу, фузель сначала дала осечку, затем грянула, как пушка, метнулся дым, потухла масленка, старик смолк. Солдат поспешно высек огниво. Затылок и ухо старика были разбиты, конвульсивно подергивались ноги. Граф трусливо раскрыл глаза, покойно сказал:

– Повесить сего старика на Фомином острове за кронверком у Татарской слободки на иву, где оный объявился, – для показу.

Когда Толстой и Зотов выходили из застенка и за ними поднялся мост, Толстой шопотом сказал:

– В тайную канцелярию доставлено есть письмо енерал-адмирала Апраксина, оный пишет: «истинно во всех делах, точно слепые, бродим и не знаем, что делать. Во всем пошли великие расстрой и куда прибежать и что впредь делать, не знаем. Все дела, почитай, останавливаются». Мятеж и разбой.

Над Санктпетербургом стоял туман, густой, как студень. За рекой, должно быть, в Астории, гремел оркестр. До дому Зотов не добрался, заблудился, залез в какой-то шалаш и там заночевал. Были в нем тоска и боль.

Утром гвардии офицер Зотов получил приказ отправиться в Московской провинции коломенский дистрикт комиссаром, «дабы ввести добрый анштальт». Зотов три дня пьянствовал и ускакал на перекладных, с государевой эпистолю: вопросы «коммуникации» не принимались в расчет, когда скакали по указу государеву.

Глава третья

Сейчас же за Санктпетербургом, отскакав от него верст восемьдесят, переправляясь под Тосной на пароме через реку, гвардии обер-офицер Зотов почувствовал, что он в настоящей, подлинной, древней России, что в России Великий пост, над Россией русская наша обильная, тихая, благодатная весна.

Тракт от Санктпетербурга до Тосны напоминал военную дорогу, валялись людские и конские скелеты, поломанные возки, рубленый лес. На Тосне перевозчики говорили о разбойниках, напавших регулярным строем, и Зотов не мог понять, говорится ли это просто о разбойниках или о царских солдатах. За Тосной, около корчмы на лугу в грязи валялись кандальники и работные людишки: тут их брили, дабы не попались они бородатыми на глаза государю. Закат был багряным, весенний ветер ласкал тихо, земля, родящая, разбухла обильно. В корчме подали постное. За рекой звонил великопостный колокол. За открытым окном кто-то тоскливо пел:

А си Петра, что щелканище,

С князей брал по сту рублей,

С бояр по пятидесяти,

С крестьян по пяти рублей,

У кого денег нет –

У того дитя возьмет.

У кого дитя нет –

У того жену возьмет!

У кого жены нет –

Того самого с головой возьмет!

Вечер пришел тихий и ясный. Над рекою летали стрижи, купаясь в тихих, красных вечерних лучах.

Над землею творилась весна, творился Великий пост, и Зотов почувствовал остро, – что если в Санктпетербурге, за разгулом, воровством, жульничеством, жестокостью, за лихорадками и туманами, хоть глупая, но все же была мысль стать подобным Европейской державе, – то за Санктпетербургом, в огромной России были единые разбои, холуйства, безобразия и бессмыслица. Два раза измененное местное управление, налоги, подушная, расквартировка по селам полков, натуральные поборы, наборы, солдатчина, – все спутало, перепутало, затуманило здравый смысл. Комиссары, земские и военные, ландраты, ландрихтеры, кондидаторы, провиантмейстеры, губернаторы, воеводы – мчались по своим дистриктам и провинциям, загоняя, в зависимости от аллюра и чина, тройки или шестерки, взыскивали, пороли, вешали, – бритые, похабные больше, чем татарские баскаки, похабничающие спяна надо всеми со всеми. Крестьяне боялись, как чуму, новую эту бритую бюрократию, всегда пьяную и говорящую на помеси русско-немецкого языка. Вырастало целое поколение, и было известно, что Россия все воюет с турками, со шведами, персами, сама с собою – с Доном, Астраханью, Заволжьем. Набор шел за набором, налог за налогом. Тащили с церковью колокола, обкладывали податью – хомуты, бани, борти, гроба, души. Шли недоборы, нехватка рук, голод, блудили солдаты, – солдаты, убегая, приходили зараженные сифилисом, пьяные, забитые, озлобленные, жили разбойниками в лесах. Старая кононная, умная Русь, с ее укладом, былинами, песнями, монастырями, – казалось, – замыкалась, пряталась, – затаилась на два столетия.

В одной деревне, уже за Метой, в Валдае, к повозке Зотова бросилась баба, закричала безумно, запричитала:

Охти мне, да мне тошнешенько!

Кабы мне да эта бритва наостренная,

Не дала бы я злодейской этой нечисти

Над моим сыночком надругатися!..

Распорла бы я груди этой некрести,

Уж я вин яла бы сердце то со печенкою,

Распластала бы я сердце на мелки куски,

Я нарыла бы в корыто свиным месиво,

А и печень свиным на угощение!

– Што орешь, монстра волосатая?! – отозвался Зотов.

Баба бросилась под колеса, завизжала:

– Пори мои грудыньки, коли мои глазыньки, – отдай мово дитеньку-у!.. Будь мое слово выше горы, тяжеле золота, крепче камня Алатыря... Чорт страшный, вихорь бурный, леший одноглазый, чужой домовой, ворон вещий, ворона-колдунья, Кощей-Ядун, – лютый антихрист Пе-тра-а-а!.. А придет час твой сме-ертный!..

Деревня лежала на склоне холма, росли клены, избы были под соломенными крышами, хмуро, слепо грелись на солнце. Был полдень, весенний жар. Звенели жаворонки. Была весна, кричали грачи, вечерами токовали в лесах глухари, совы кричали, филины ухали, дули вольные ветры, полошились реки, мужики собирали бороны-сохи, пели девушки на косогорах. – Баба вопила долго, пока не скрылась деревня, пока не встал впереди на горе белый пятиглавый монастырь. Кругом под не были леса, поля, суходолы.

За Москву, в коломенский дистрикт гвардии офицер Зотов прискакал на страстной и сейчас же поскакал по уезду. В великий четверг, к вечеру был у Погоста Белые Камни на местных солдатских квартирах. Верно, мужики и солдаты были предупреждены, потому что солдаты, очень оборванные и небритые, встретили его барабанным боем и подали рапорт, а мужики, очень испуганные, – хлебом-солью и челобитной. Гвардии офицер Зотов остановился на съезжей, «дабы добрый анштальт внести», – но к нему пришли священник и местный дворянин Вильяшев, просили прийти ко всенощной и затем к священнику разделить вечернюю трапезу.

Белая, ставленная из известняка, церковка стояла на холме, над Окою, за нею лежали леса, луга, вечный простор. Слюдяные оконца смотрели в землю, со стен глядели темные, строгие лики. Зотов давно уже не был в церкви, в Санктпетербурге церковное служение было увеселением, – поразили суровость, простота, благочиние. Стоял со свечью неподвижно. Обнищавшие, оборванные мужичонки молились истово, бесшумно. Свечи под сводами горели неярко, служба была долгой. Из церкви вышли когда уже стемнело, атласное синее небо вызвездилось четкими звездами. На лугу у реки кричала медведка, перекликались во мраке на полях коростели, издали доносилось чуфырканье глухарей.

В избе священника стены мазаны были глиной, горела лучина, священник принес меду, черного хлеба и ключевой воды. Сел напротив, расправил бороду, – Зотов заметил, что лицо священника утомленно, в глазах тоскование, боль и – вера, священник был высок, уже не молод, держался строго, покойно. Вильяшев, в однорядке, с бородой, стал у печки, в тени.

– Чем-богаты... – сказал священник, – в Санктпетербурге-городе, чай, новостей зело много...

Зотов поставил эспадрон свой в угол, поклонился, сел, заговорил.

Разговор их был недолог.

Отбыв из Парадиза, поражен весьма был скудостью народной, ибо кругом стон, вопль, мздоимство и дебошанство.

– Та-ак, – в один голос сказали и священник, и Вильяшев.

– Государь его величество наречен императором. В Санктпетербурге викториальные торжества. Шляхетство есть без всякого повоира и в конвилиях токмо спектакулями суть. Его величество правит без резону, по бизарии своего гумору...

– Та-ак... Темно ты говоришь, барин... Та-ак... – священник помолчал! поправил темную свою рясу и крест на груди. – Вкуси меду... А правда ли, глаголят, что государь чудит, как юродивый, – молится на шутейшем-пьянейшем соборе чубуками, уду подобными, крестом никоновым сложенными?.. Правда ли, што государь на блядюшке Меншиковой

женат и паки имеет гарем, по тюркскому обычаю?.. А знаешь, што солдаты здешние квартирный весь народ, мужиков, – всех батогами перепороли, за бабенку распутную... Знай!! Погоди. Знаешь, что в песне поют, – «это не два зверя собралися», – народ поет, – это правда с кривдой сохваталися, промежду собой они дрались-билися... Кривда правду пересилила. Правда пошла на небеса, а... – а кривда харею немецкой рыщет. Знай!! знай, что не царь у нас, но антихрист, – головой запрометываег, падучий... На бани, избы, гробы, хомуты подать?!

– Государя моего поношение слышать аз некопабель, – нерешительно сказал Зотов.

Его перебил священник, – встал, левой рукой взял крест, правую поднял

– Погоди. Отец мой в оный болотный город пошел, правду искать, – не слышал про Тихона Старцева? – отец мой...

– Поношение государя моего слышать аз некопабель, – сказал Зотов грозно и – стал краснеть, упорно-кумачево, плотное его лицо, бритые губы покрылись потом. Встал, смял кулаки. – Поношение государя моего...

– Тихон Старцев... Старцев – не ведаешь?.. Али – с волками жить – по-волчьи выть?.

– По-волчьи выть? – переспросил Вильяшев.

Гвардии офицер Зотов, пряча огромные свои кулаки назад, попятился к двери, захватил эскадрон и вышел поспешно, стукнувшись лбом о притолоку. Вслед ему крикнули:

– По-волчьи, – а?!

Над горизонтом меркнул последний пред пасхой, красный, скорбный диск луны, были тишина и мрак. Кричала под горой у Оки медведка. Церковь, вросшая в землю крестом уходила в небо. Зотов набил трубку, высек искру. В смятении, в воспоминании об отце своем (шутейший, пьянейший собор...), о Тихоне Старцеве – тоже отце, о Петре, о России, от которой он оторван был уже навсегда и которую любил, как мать, утерянную в

детстве, – он понял, что, что бы он ни писал в свой журнал, – он обречен быть по-волчьи, скулить, как те волки, что Петр травил на Мистула-Елагином острове.

Шла страстная ночь.

Глава четвертая

Человек, радость души которого была в действиях. Человек со способностями гениальными. Человек ненормальный, всегда пьяный, сифилит, неврастеник, страдавший психостеническими припадками тоски и буйства, своими руками задушивший сына. Монарх, никогда, ни в чем не умевший сокращать себя – не понимавший, что должно владеть собой, деспот. Человек, абсолютно не имевший чувства ответственности, презиравший все, до конца жизни не понявший ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Маньяк. Трус. Испуганный детством, возненавидел старину, принял слепо новое, жил с иностранцами! съехавшимися на легкую поживу, обрел воспитание казарменное, обычаи голландского матроса почитал идеалом. Человек, до конца дней оставшийся ребенком, больше всего возлюбивший игру, – и игравший всю жизнь: в войну, в корабли, в парады, в соборы, иллюминации, в Европу. Циник, презиравший человека и в себе, и в других. Актер, гениальный актер. Император, больше всего любивший дебош, женившийся на проститутке, наложнице Меншикова, – человек с идеалами казарм. Тело было огромным, нечистым, очень потливым, нескладным, косолапым, тонконогим, проеденным алкоголем, табаком и сифилисом. С годами на круглом, красном, бабьем лице обвисли щеки, одрябли красные губы, свисли красные – в сифилисе – веки, не закрывались плотно; и из-за них глядели безумные, пьяные, дикие, детские глаза, такие же, какими глядит ребенок на кошку, вкалывая в нее иглу или прикладывая раскаленное железо к пятачку спящей свиньи: не может быть иначе – Петр не понимал, когда душил своего сына. Тридцать лет воевал – играл в безумную войну – только потому, что подросли потешные, и флоту было тесно на Москве-реке и на Преображенском пруде. Никогда не ходил – всегда бегал, размахивая руками, косолапя тонкие свои ноги, подражая в походке голландским матросам. Одевался грязно, безвкусно, не любил менять белья. Любил много есть, и ел руками, – огромные руки, были сальны и мозолисты.

В Санктпетербурге, в пасхальную ночь, в начале четвертого часа пополуночи пущена была у Зимнего дворца ракета и по этому сигналу запылали в Петропавловской и Адмиралтейской крепостях из пушек. На Кайвусари-Фомином острове, в Троицком соборе, стали благовестить к заутрене, заиграл орган. Государь, государыня императрица, министры и вельможи, по регламенту, пасху встречали у Троицы. Петр был в черном сюртуке с роговыми пуговицами, в ботфортах, пел негустым своим баритоном на клиросе – заутреня была задержана, ибо государь с вечера задремал. Когда пошли кругом церкви с крестами и хоругвями, Петр удалился распорядиться фейерверками: обер-фейерверкмейстер Демидов зажег масленки на огромном двуглавом орле, и из орла вылетела ракета, ударила во льва, зажгла его, лев рывкнул глухо и разлетелся на куски: это

означало, что орел – держава российская – победил льва – короля шведского, исконного врага, уничтожил львиные его замыслы. Запалили из пушек. Ночь была темная, безветренная, моросил дождь. За Кронверкским плацем, за Гостиным двором, на Татарской слободке, около своих юрт, около ивы с повешенным, лежали на земле в страхе киргизы и калмыки, пораженные орлом и львом. Пушки палили всю ночь. Еще с полночи поднят был штандарт. Мужчины христосовались губным целованием, а с дамами указано было христосоваться целованием руки. Тотчас после литургии перед церковью выстроились литаврщики, трубачи, гобоисты, барабанщики, приветствовали государя и пошли во главе шествия к Неве, чтобы на галерах переправиться в Летний сад, на Перузину-остров, где назначено было гуляние. Нева разбухла, щетинилась беляками, была пустынной, на кораблях горели тусклые фонари, пересвистывались дозорные.

Вечер пред пасхальной заутреней государь провел в Италианском дворце, в рабочем своем кабинете. В комнате почти в уровень с головою растянута была парусина: государь болезненно не любил высоких комнат. На столе перед Петром горели свечи, был полумрак, пахло потом, водкой и сыростью. По углам, на столах, на подоконниках, в пыли, валялась всякая рухлядь, глобус, астролябия, фузели, модель корабля, ботфорты, стояли верстак в стружках, походная неудобная кровать. На полке рядами расставлены были в банках монстры и раритеты, заспиртованные уродцы людей и животных, тщательно собираемых Петром для куншткамеры, по указу – «о приносѣ родившихся уродовъ, та ко жь найденныхъ необыкновенныхъ вещахъ, понѣ же извѣстно есть, что какъ въ челоуѣческой породе, такъ и въ звериной и птичей случается, что родятся монстры». Петр сидел у стола и, локтем сдвинув на сторону бумаги, списывал из «Приклады, како пишутся комплименты» поздравление в Москву, Ромодановскому, сидел сгорбившись, в колпаке, в нижней одной рубашке, пропотевшей под мышками и заплатанной. У дверей вытянулись денщики, смотрели по сторонам, как пристяжки.

Государь писал:

Высокопочтенный господи́нь.

Во ісполненіє моеї чадскої должности не могу остави́ть прі начатіі Божію мілостію св. Пасхі, вамъ всякаго блага желать, да подасть милость Всемогущаго, дабы вы, господи́нь, не точію сей, но и многія последующія годы...

Не дописал, должно быть в расчете, что письмовник есть и в Москве. Подписался:

Ваши́ва Величества ни́жайші́й рабъ.

Kneeb Piter Komandor.

В комнате прохрипела кукушка. Петр откинулся от стола, сказал:

– Слышь?

Полубояринов налево кругом вышел из комнаты, вернулся со стаканцем водки, огурцами и кислой капустой на подносе. Орлов расставил шахматы, двинул королевской пешкой, – тот Орлов, из-за которого погибла любовница Петра, Мария Гамильтон. Петр не был ревнив, охотно делил своих любовниц с друзьями. «Френская девка» Мария утешалась с денщиками государя, с Орловым, но она – любила Петра, государь ее казнил. Государь был при казни, он около эшафота попрощался с Марией, обняв ее. Она была в белом платье с черными лентами. А когда палач отрубил голову, Петр поднял ее и наглядно разъяснял присутствующим анатомическое строение горла затем поднес голову к своим губам, коснулся мертвых губ губами своими, которыми раньше – девушку – целовал иначе, – перекрестился и ушел, – побежал на верфь, косолапя, размахивая руками, без шляпы, как всегда в теплую погоду

Государь выпил водку, съел огурец, выдвинул тоже королевскую пешку, черного офицера коня. Коню удалось взять в вилку туру и королеву, – Петр громко захохотал. Но партии доиграть не удалось – пришел прибыльщик и прожектер, царский писатель, Митюков. Стоял около приземистой дверцы, постный, елейно кланяясь, в костюме на-прокат, в парике, из-под которого торчали собственные рыжеватые волосы.

Петр сказал:

– Guten Abend.

Митюков закланялся, как флюгер от ветра.

– Прими ла плас, – сказал Петр. – Место прими.

Тот сел на кончик стула, положив руки на колени. Из-за чужого ботфорта, который был велик, торчала грязная портянка.

– Говори измышление свое.

– Ваше царское величество! Век служить тебе восхотев...

– Не мне, а государству, понеже сам служу, почав с первого Азовского похода бомбардиром. Говори сенс.

Мужичонко глубоко передохнул.

– Како обложены суть людишки померными налогами, хомутейными, шапошными, пчельными, там, банными, брадобрейными, – измыслил аз обложить весь народ курильным налогом, дабы курили все табак, а кто не восхощет, должен дань платить, смотря по чести и чину.

Петр наклонился к Митюкову, взглянул дикими своими глазами в затрепетавшие его глаза, расхохотался, крикнул:

– Орлов!

Орлов вырос у стола, руки по швам.

– Посадить оного сего человека в камору и приставить дозорщика, дать ему трубку, дабы курил оный всю ночь канупер без останова. Смотреть неотлучно. Ежели стошнен будет – вытолкать в шею, двадцать батогов дав, ежели осилит, дать бумаги по утру, дабы писал проекцию к вечерней моей аппробации.

Митюков обмяк, посерел, упал в ноги. Орлов схватил его за плечи и потащил в глубь комнаты к потайной двери. Петр хохотал весело, проводил до двери, заложив руки назад.

Полубояринов снова принес водки, государь выпил. Сел к столу, читал. Свечи горели тускло, чадили. Среди задрязганного стола, где валялись корки, карты, бумаги, пепел, объедки огурцов, около инкрустированной шахматной доски, лежала огромная, мозолистая рука Петра, с ногтями на манер копытца. Петр сидел в тени. Вскоре пришел Орлов, доложил:

– Оный Митюков блюет, ваше величество.

Петр не ответил. Орлов взгляделся. Государь склонил сильно волосатую свою бабьи-красную голову к спинке кресла, полуоткрытые глаза смотрели стеклянно, – государь спал. Захрапел тонким бабьим присвистом. Орлов стал во фронт, стоя заснул. Легла тишина, храпел государь. Как раз под государевым кабинетом в подвале блевал судорожно Митюков.

Утро пришло бледное, немощное, пустынное, – такое же пустынное, как осень. В Летнем саду на Перузине-Адмиралтейском острове было гуляние. Государь с утра был пьян. Государем указано было у ворот поставить стражу и никого не выпускать из сада до полуночи. Сад, построенный на заграничный манер, с чахлыми деревцами, с павильонами к Неве, с фонтанами, с охотничьими домиками, острокрышными, крытыми черепицей, как голландские хибарки. День пришел серый, холодный, пустынный. Трапеза назначена была под открытым небом. Маршалом был государь. По аллеям пошли гвардейцы с ушатами сивухи и крашенными яйцами, царским подарком, поздравляли ковшом водки. Мужчины поместились за длинными узкими столами – в главном павильоне, дамы отдельно – у фонтана за Статуйной аллеей. Государь ел и пил стоя, по чину маршала остатки от тарелок выливал на голову дуре-княжне Голицыной. Перепивались быстро. На женской половине в питии не отставали, вскоре оттуда понесся визг: это императрица в припадке нежности (нежности визжала ли? ненависти ли?) щекотала новую государеву галантку фрельскую девку Румянцеву, – та брыкалась, остальные хохотали. Были женщины в нескладных, дорогих, домошитых платьях, не похожих ни на русские, ни на заграничные, – разве на костюмы голландских разбогатевших мещанок, жен матросов, весело гулявших без мужей. Прически у женщин порйстрепались, дородные лица вспотели, порасползлись платья на сытых толстых телах. Запели визгливо разухабистую застольную, как поют, когда рубят капусту. Государь пьянел, мутнел медленно, заметил, что князь старик Трубецкой, склонный к старине, взял тайком вторую порцию сладкого, – закричал, призвал гвардейцев, раскрыл насильно рот старику и пичкал – в припадке – желе, пока у того не закатились глаза. Грянула музыка к танцам, офицеры вскачь бросились на дамскую половину, женщины завизжали, сбились в кучу, мужчины заигрывали, толкались, хватили – с пьяна за груди, пьяно топтались на месте в менюэте. Ягужинский, галант французский, подрался со своею новой женой. Иные из стариков уже спали, свалившись под столы. Попы мирно допивали остатки, попахивая кислой капустой. Новый князь-папа Бутурлин в малом павильоне благословлял орлом и удоподобным

своим крестом. Государь командовал лакеями, готовил буфет с охлаждаемыми и ушаты с водой для отливания омертвевших, новый сюртук его с роговыми пуговицами давно уже был засален и выпачкан в песке. Петр заходил ко князю-папе, выпил большого орла, прошел на танц-пляс, мутно поглядывал кругом, нахмурился, на глаза попала Румянцева, по дряблым губам побежала улыбка, глаза с отвислыми веками стали буйными, – подбежал к Румянцевой, схватил, поднял на руки и, на бегу закидывая ее юбки и раздирая на ногах белье, побежал к охотничьему домику на верейке, уплыл в него, крикнул императрице:

– Катька! дура! экземпель! Повелеваем пребыть в сиянсе.

Румянцева вышла через несколько минут, красная, потрепанная, поправляя платье, похожая на, потоптанную курицу. К ней подошла императрица, зашептались.

Государь вызвал к себе на озеро Толстого. Сидел на столе, поставив тонкие свои ноги в чулках на диванчик, без сюртука, мутно улыбался. Толстой стал у двери, посматривая осторожно раскосыми своими, немигающими глазами.

– Петька. Ваше превосходительство... Раритет!.. Известно всем есть, што Ивашка Мусин-Пушкин батюшки моего государя сын. Моего отца признать не мочен, бают, Тихон Стрешнев али дохтур. Понеже есть ты, ваше превосходительство, начальник тайной канцелярии, дознать сие неотложно, обополы, без всякого предика.

– Слушаюсь, батюшка.

– Кабель! Не батюшка, а – император... Понял?.. Понеже иного дела не имеете, точию одно правление, которое ежели неосмотрительно делать будете, то перед богом, а потом и здешнего суда не избежите... Погоди. На Фомином острове пойман был раскольник, предрекал оный потоп и мою подмену. Где оный раскольник?

– Казнен, ваше величество

– По чьему указу? каковы циркумстанции? Когда потоп предрекал?!!

– Не сказал, ваше величество. Гвардии офицер Зотов при сем был, возмущен был словесами. Из фузели... – немигающие глаза Толстого быстро замигали.

Петр встал, судорожно натянувшаяся правая нога откинулась назад, лицо обезобразилось судорогой, подбородок свернуло к плечу, глаза смотрели дико, беспомощно и больно.

– По чьему указу? какими регулами? – бунт? – Толстого четвертовать. Зотова на дыбу!..

Толстой шмыгнул из двери, не заметил лодки, бросился в воду, кричал императрице:

– Матушка, – томен!..

Екатерина поплыла к Петру. Петр стоял, размахивая руками, подбородок его судорожно склоняло налево, сажало на плечо, глаза были дикими и беспомощными, как ребенка. Одна Екатерина могла его успокаивать в такие минуты. Взяла обеими руками голову Петра, прислонила к груди, почесывала тихо за ушами. Села, посадила около государя, прислонила голову его к обильным своим коленам, почесывала. Государь заснул беспомощно, как ребенок.

На пустынной Неве, широко разлившейся и холодной, катались на яликах матросы. Негусто трезвонили на редких колокольнях. На Васильевом-Хирвисари острове, на самой стрелке, где торчали редкие сосны, работные людишки, парни и девки водили хороводы.

Пошел дождь. Вельможи прятались по павильенам и беседкам, ибо у ворот стояла стража, которой указано было не пускать никого с трактамента до полуночи. Нева ощетижилась, холодно обвеивал мокрый ветер. Шел серый, сырой, болотный санктпетербургский пасхальный день.

У Николы, что на Белых Камнях, в тот день шли широкие, теплые ветры. Над землею, над полями, лесами, суходолами, поемами, реками, – русскими нашими, – творилась весна, великая земная радость. Обильное солнце поднялось красно и радостно. В светлый день пели девушки веснянки. У Николы, под солнцем, и ночью до нового солнца пели девушки. Красными сарафанами одевались утренние зори, болотными купавами меркли зори вечерние. Пели девушки

Облокусь оболочками,

Подпояшусь красною зарею,

Огорожусь светлыми месяцами

Обтычусь частыми звездами,

Освечусь я красным солнышком!..

Ой, ударь ты, гремучий Гром, огнем-полымем!

Разогрей ты, Громова стрела,

Нашу матушку, Мать-Сыру-Землю!..

Девушки пели тогда, чтоб пропеть два столетия.

Коломна – Никола-на-Посадях,

Починки под Богородском.

Май 1919 г.

Ямское поле, ноябрь 1933.

Исследователи отмечают, что в 20-е годы Пильняку (Борису Андреевичу Вогау, 1894—1937 ?) было посвящено едва ли не наибольшее количество рецензий и отзывов.

Разноречивое отношение к его творчеству встречается не только у критиков и литераторов противоположной ориентации, но даже у одного и того же автора. А. В. Луначарский, критически характеризуя прозу Пильняка, тем не менее писал: «Интересно, что один из крупнейших писателей нашей революции (выделено мной — А. К), Борис Пильняк, оказался в теснейшем содружестве с попутчиками-сменовеховцами. Все они вместе составляют группу с именами и несомненными талантами. ...Даже отрицательная польза, приносимая, например, Борисом Пильняком, достаточна для того, чтобы оправдать его существование и печатание его произведений».

А. М. Горький, отрицательно относившийся к творчеству Пильняка, 29 января 1928 года в письме к Р. Ролану утверждал: «Вам пишут, что в России нет больше литературы. — Что за странное утверждение!.. Я изумлен обилием молодых литераторов... В данный

момент в России имеются сотни писателей: их количество быстро увеличивается, и я могу объяснить себе это лишь даровитостью всего моего народа.

...Очень талантливые писатели, например, Леонид Леонов, Бабель, Всеволод Иванов, ныне редактирующий журнал «Красная Новь», хотя он и (не) коммунист. Все они завоевали себе крупное положение, также как Константин Федин, Владимир Лидин, Борис Пильняк...»

После выхода в свет романа Б. Пильняка «Голый год» (1921) М. Шагинян в своем «Литературном дневнике» подчеркивала: «у Бориса Пильняка язык нудится, как у роженицы, прерывистый, с неровными периодами, замутненный, рудиментарный, трудный, неуклюжий на поворотах, но сильный — силы неразмеченной, как булыжник у Мишки в лапах, отгоняющих муху,— зычный и лохматый,— плебейский или лучше варварский,— это могучий язык зарождающейся новой русской литературы».

Главы из романа «Голый год», появившиеся в журнале «Красная новь», 1922, № 1 (5), положительно воспринял Дм. Фурманов, который отмечал, что они «написаны художественно, дают настроение» Политработник, 1922, № 3, март, с. 115). О повести «Заволочье» (1925) и предыстории ее создания Фурманов в дневнике записал следующее: «Но еще помню, рассказывал он (Пильняк — А. К) мне об этой своей поездке на «Свердруп» («Заволочье»); как по три раза в минуту на головах стояли в шторм,— это преинтереснейше, что он рассказывал, пожалуй, крепче даже того, что и как написано, хоть и там здорово» (Дм. Фурманов. Из дневника писателя. М.: ОГИЗ — Молодая гвардия, 1934, с. 89). Эти высказывания важны, потому что современные исследователи чаще в своих работах цитируют лишь материалы. Фурманова, свидетельствующие о, якобы, только отрицательном отношении к Пильняку.¹

Сложен и неоднозначен был путь Б. Пильняка в советской литературе. В его творчестве отразились поиски новых художественных форм, нового стиля и языка, характерные для литературы 20-х годов. В романе «Созревание плодов», анализируя современный литературный процесс и собственные искания, он приходит к выводу, что художественный «образ не только весом, перспективен, материален, историчен,— он обязателен, социален и классов».

Пильняк 20-30-е годы постоянно находится в движении (в прямом и метафорическом смысле). Русский Север, Центрально-черноземная область и Средняя Азия, Европа, зарубежный Восток и Соединенные Штаты Америки... На страницах периодики и отдельными изданиями выходят его произведения, написанные самостоятельно и в соавторстве со специалистами... Он везде пытается успеть, рассмотреть и понять изменения, происходящие в сознании людей, в экономике и в культуре. «Россия в полете» — образное название его книги, увидевшей свет в 1926 году. Преображение революцией — вот главная тема основных произведений Пильняка, в ней отчетливо прослеживается эволюция политических и художественных взглядов автора. В 1934 г. в анкете журнала «Новый мир» он говорил: «Во все времена, которые стоят впереди нас, годы, прошедшие от семнадцатого до наших дней, будут изучаться с тщательнейшей скрупулезностью, с волнением и восхищением, потому что эти годы были — и есть — фундаментом новых, будущих человеческих отношений».

В 20-е годы появляется разнообразная беллетристика, посвященная М. Ю. Лермонтову. На фоне ее «Штосс в жизнь» представляет собой выделяющееся явление. Критик У. Фохт, в целом отрицательно отнесшийся к опыту Пильняка и других авторов в изображении мятежного поэта, тем не менее выделил «Штосс в жизнь»: «В повести Пильняка, захватывающей несколько моментов последних полутора лет жизни Лермонтова, мы как будто находим то, чего так недоставало в только что просмотренных произведениях. Образ Лермонтова показан здесь — в соответствии с исторической действительностью — величественным, гордым и мрачным».

«Штосс в жизнь» — произведение, знаменующее собой борьбу автора с живучестью обывателя. Оно принадлежит к литературе «писатель о писателе», когда уважение и любовь «потомка» связаны пиететом, а со стремлением проникнуть мыслями и чувствами в атмосферу трагического одиночества Поэта. Автор-повествователь проводит ночь в последней квартире Лермонтова, стараясь ощутить мгновение перед роковой дуэлью.

Лермонтов Пильняка — не традиционен. Можно соглашаться или не соглашаться с трактовкой личности поэта, представшей в произведении, но фигура Лермонтова значительна, выпукла, динамична, хотя и неоднозначна.

Сегодня мы предлагаем читателям «Литературного Киргизстана» повесть «Штосс в жизнь», свидетельствующую о несомненном художественном даре ее автора. Текст произведения с незначительными сокращениями печатается по изданию: Избранные рассказы. — М.: Гослитиздат, 1935. В последующие издания произведений Б. Пильняка оно не включалось.

Примером этому является тенденциозный подбор материала в статье о Фурманове в книге А. Исбаха «На литературных баррикадах» (М.: Сов. писатель, 1964, с. 96-98). Можно было бы только, / порадоваться выходу в свет тома «Избранных произведений» Б. Пильняка (1976, 1987), составление, подготовку текста, комментариев которого осуществил В. Новиков. Он же явился автором интересной вступительной статьи. Но в ней опять цитируются лишь фурмановские конспекты статей различных авторов 20-х годов. Его же собственные высказывания о Пильняке опускаются, как будто их и не было.

БОРИС ПИЛЬНЯК

ШТОСС В ЖИЗНЬ

Повесть

Часть первая

«...и каждый день был в театре. Что за театр! Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются: смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицеймейстера: оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и одной

скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо кончать или начинать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в это время кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь, головой прямо в барабан, и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой, и что же! О, ужас! На голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой потехи я все ждал, что будет?..»

* * *

30 декабря с линии, из крепости Грозной, приехал в полк поручик Лермонтов, целый год ехавший из Петербурга в ссылку к тенгинцам. Полк был размещен на зимние квартиры в станице Раздольной. Квартирьер отвел Лермонтову халупу на краю станицы, предложив его казакам вернуться в сотню. Лермонтов казаков оставил при себе, отослав квартирьера. Весь день Лермонтов пробыл у себя в халупе, устраиваясь жить, развешивая по стенам ковры и раскладывая трубки.

Была зимняя слякоть, тучи каждодневно мазали собою небеса, снег падал и таял, и падал вновь, полк бездействовал, в полку было скучно, весть о приезде гусара, разжалованного в пехоту, поэта, дуэлянта и бамбошера, очень скоро разошлась по офицерским квартирам, и Лермонтова поджидали в корчме, где помещалось офицерское собрание. Лермонтов в корчме не появлялся, через денщиков же узнали, что к Лермонтову приехал из Симферополя со столичными сундуками крепостной его человек, по имени Иван Вертюков, лакей по положению. Вертюков приехал в петербургской ливрее, и через окно видели, как Лермонтов с казаками и с Вертюковым, сидя на корточках на коврах, с засученными рукавами, пил чай, отдыхая от уборки. Полк был провинциален. Вечером подпрапорщик Вадбольский, влюбленный в легенды о Лермонтове, подглядывал в окошко, – казак выходил за калитку, чтобы цыкнуть на ротозея. Через окошко была видна нищая казачья изба, выбеленная мелом. Лермонтов и его рабы бездельничали за трубками. Вертюков курил лермонтовскую трубку и брал табак из лермонтовского картуза. Бородатый казак рассказывал историю.

Огонь в окошке погас далеко за полночь.

Наутро Лермонтов был в штабе полка и был зачислен приказом по полку – «налицо». Лермонтов явился к командиру в полной пехотной форме; командир, уездный и боевой полковник, старый уже человек, покряхтел, покрутил пуговицу лермонтовского мундира и просил поручика пожаловать в собрание на встречу Нового года. Лермонтов откланялся, командир покряхтел. В полку Лермонтова знали понаслышке, знаком с ним был только офицер артиллерийской роты Мамацев, но Мамацева не было на месте, он должен был вернуться к вечеру, и в офицерском собрании, в корчме, за биллиардом стало известно немногое, что: невысок, головаст, кривоног, волосы темные и на самом лбу светлая прядь, одет небрежно, а пахнет английскими духами, глаза наглые.

Приказ же о зачислении «налицо» писарями пришивался к Книге приказов, где наряду с Журналом военных действий, писалось примерно следующее:

«...Выйдя такого-то числа, отряд в две роты штыков, сотню казаков и в одну пушку встретил на перевале к такому-то лесу сброд чеченцев в таком-то количестве. Хищники рассеяны по степи...»

«...Выйдя такого-то числа, таким-то отрядом, напали на такие-то аулы. Аулы уничтожены дотла, население бежало в горы...»

«...В сожженном ауле таком-то в плену остались одни грудные дети...»

«...Возвращаясь из экспедиции такого-то числа в таком-то составе, подверглись нападению обезумевших дикарей. Чеченцы лезли на штыки, не соображаясь с никаким смыслом, картечь их не останавливала. Противник уничтожен весь до одного. Отмечаем беспредельную храбрость офицеров таких-то...» – то есть приказ о Лермонтове «налицо» был вписан в книгу, где рассказывалось без всяких прикрас о кавказской кампании Николая I, той кампании, которую следует по существу называть не войною, а организованным вырезыванием людей на Кавказе, ибо война протекала «экзертациями», когда горцы – старики, дети, женщины – уничтожались поголовно, их аулы выжигались и сравнивались с землей, их стада угонялись на кормежку русских солдат и в казачьи степи. Понятно, почему «дикари» «безумели». Война шла во имя покорения Кавказа – Двуглавному Белому Орлу, дабы горцы были – «покорны»!

В корчме, нивесть каким образом, имелся бильярд. Офицеры понатащили туда ковров, трубок, шахмат и шашек. Вина продавал грек-маркитант. Тридцать первое декабря было серым днем с утра, затем шел снег, к вечеру стало морозить, и облака ушли на Кубань. Было скучно, офицеры предпочитали с утра сидеть в собрании. По правилам фронтовой жизни строгости формы не соблюдались, – одевались как вздумается, одни в артикульной форме, другие в черкесках, третьи в вышитых матерями и невестами рубашках, – играли на бильярде, курили, валялись на диванах, рассказывали всяческие истории. Собрание служило общежитием. Неожиданно и очень ненадолго приходил Лермонтов, – он перещеголял небрежностью одежды, – пришел в бурке, в папахе, их оставил на руках Вертюкова в лакейской, в буфетную вошел в старых гусарских рейтузах и в красной канаусовой рубахе, подпоясанный черкесским, с серебряным набором, ремешком. Откланялся офицерам, ни к кому не подошел, прошел в буфетную, заказал обед и вместо вина пил молоко, тяжестью глаз своих давил тарелки, ни разу не подняв их на подпрапорщика князя Вадбольского, который сидел против Лермонтова с бутылкой кахетинского. Лермонтов ушел сейчас же после обеда, Вертюков следовал на шаг сзади него, тараша по сторонам глаза.

В корчме притихло, пока там был Лермонтов, но, когда он ушел, никто ни словом не помянул его. Капитан Арапов в диванной закурил новую трубку и стал продолжать рассказ, как однажды гусары выиграли казначейшу. Юнкер Мещерский спросил:

– Арапов, ты помнишь, где это было?

– В Тамбове, – ответил Арапов.

– Жорж, так эта история описана поручиком Лермонтовым!

Было чистой случайностью, что лермонтовская «Казначейша» всплыла в памяти Арапова в день приезда Лермонтова. Арапов круто переменял тему: стал рассказывать, как при усмирении поляков гулялось с паненками.

К вечеру приехал Мамацев, и Мамацев сейчас же пошел к Лермонтову. Они поцеловались, они сели на диван рядом, рука в руку. Ванюшка Вертюков принес свежую бутылку рома. Они вспоминали Пятигорск, госпожу Гоммер де-Гэлль, Нину Реброву, водяное общество и водяные куры. За этими разговорами они пришли в собрание, Лермонтов был в сюртуке без эполет.

В собрании Мамацев возвестил:

– Михаил Юрьевич Лермонтов, новый наш товарищ, душа общества и укротитель дам! Охулки на... не кладет и банк мечет до последних брюк.

Офицеры решили, что Мамацев пьян. Командир полка, полковник Хлюпин взял Лермонтова под руку, повел представлять по чинам.

Лермонтов был любезен и весел.

– До полночи, батенька, не дам ни рюмки, – говорил командир, – как хотите, – если душа не терпит, бегайте к греку на кухню. В полночь выпьем здравие государя императора, за воинство, за тенгинцев, и тогда – как хотите!

Лермонтов и Мамацев сели играть в шахматы, но партии кончить не удалось. Стол окружили офицеры, В гостиной, готовясь к полночи, варили жженку и, как всегда бывает в таких случаях, не умели варить как следует, – призвали Лермонтова, Лермонтов снял сюртук. Штаб-офицеры сели за большой шлем, молодежь сломала колоды для штосса. Лермонтов с засученными рукавами и с половником в руке поставил карту, ее убили, он бросил золотой, отыграл, вернулся к жженке.

– Господа, – сказал князь Мещерский. – Сегодня святки, на севере в России, у нас в усадьбах, в Москве, в Петербурге, – по всей России сейчас в каждом доме – собрались наши сестры, невесты, любовницы, и все гадают и рассказывают святочные истории... Вадбольский, я уверен, что сейчас какая-нибудь Мэри или Китти или попросту горничная Дашка вздыхает по вас, забившись куда-нибудь под шубы и чихая от нюхательного табака... И за воротами спрашивает, как будут звать их жениха, а на самом деле думают о вас, князь Вадбольский!.. Попросим Лермонтова рассказать какую-нибудь святочную историю. Попросим, чтобы он придумал, чем и как нам погадать!

Лермонтов рассказать историю – согласился охотно. Он сходил к столу, взял карту, карту били.

– На счастье! – сказал Лермонтов и вернулся к жженке. – Я вам расскажу странную историю, – заговорил он. – В Петербурге эта история хорошо известна. В Петербурге проживал художник Лугин, человек, принятый в большом свете, и большой чудак. Светские забавы ему были чужды. Он только что вернулся из Европы, где осматривал мастеров живописи. Петербургские туманы заразили его сплином, аглицкой болезнью. И во сне и наяву ему стал неведомый голос твердить адрес: в Столярном переулке у Кукушкина моста, дом титулярного советника Штосса, – заметьте, мы играем сейчас в

штосс! – квартира номер двадцать семь. И так ежечасно. Лугин никогда не подумал даже о Кукушкином мосте. Наконец он решил разыскать квартиру номер двадцать семь. Адрес, пригрезившийся во сне, оказался действительностью, плешивый дворник сказал, что дом только на днях перешел к титулярному советнику Штоссу, а раньше принадлежал купцу Кифейкину, который разорился, Лугин был удивлен. Дворник рассказал, что квартира умер двадцать семь – недобрая квартира – все ра-зорились. Лугин осмотрел квартиру. Квартира была запущена, с пыльной мебелью, некогда позолоченною, со скрипящими сосновыми полами, в обоях, на которых по зеленому грунту нарисованы были красные попугаи и золотые лиры. Висели на стенах портреты. И один портрет поразил Лугина. Это был человек заплывших лет, в халате, с табакеркою в руке, с перстнями на пальцах. Портрет был плох, казалось – он написан ученической кистью, – но в выражении лица, особенно губ, дышала невыразимая жизнь. Губы были насмешливы, ласковы, злы и грустны одновременно. Портрет был зловещ и разителен, и он был неизъясним. Лугин снял эту квартиру ради этого портрета и ради вести о том, что здесь живет нечто недоброе. Не принадлежа уже своей воле, он послал людей в трактир Донона, где стоял, за вещами и к вечеру расположился в новом своем кабинете, расставив по местам свои холсты. Надо заметить, что на самое видное место он положил папку незаконченных карандашных и акварельных рисунков, на которых было рисовано одно и то же лицо – эскиз женской головки. У каждого человека есть идеал женской красоты, которую каждый человек ищет до конца своих дней, – это были наброски фантазии художника, его мечта, его видение... Непостижимая лень охватила художника, кисти валились из его рук. Свечи на столе и в канделябрах закачали свет свой и стали чадить. Приближалась полночь. И вдруг тогда за окном заиграла шарманка, она играла незнакомый старинный немецкий вальс. Эта музыка в полночь была необыкновенна. Старик-лакей вошел в кабинет оправить свечи. «Ты слышишь музыку?» – спросил Лугин. – «Никак нет, сударь!» – ответил Никита. – «Пошел вон, дурак!» – молвил бессильно Лугин. Музыка продолжалась, и необыкновенное беспокойство овладело Лугиным, ему хотелось одновременно и плакать и смеяться. Все жизненные силы напряглись в нем, он сразу вспомнил всю свою жизнь. Облик той девы, которую он видел в грезах и ради которой жил, наклонился над ним, Лугин впал в транс. Шорох шлепающих туфель привел его в память. Он поднял голову. Страшного портрета не было на стене. В доме была могильная тишина. Тогда скрипнули половицы, пропела дверь, и в комнату, со свечою в руке, в халате, в ночных туфлях, вошел – тот самый старик, который был изображен на портрете... Но не это было главное, – вслед за стариком, во плоти, опустив глаза, в подвенечном платье – шла та дева, образ которой навсегда мучил своею божественностью воображение художника. Его мечта, его смысл жизни, – она была во плоти... И поэт не заметил старика, шлепающего к нему туфлями, он весь был поглощен видением любви, которая была выше жизни. Дыхание погребца повеяло на Лугина от старика, – музыка рая неслась от девы. Старик поставил на стол свечу и положил новые колоды карт. «Позвольте представиться, – сказал старик, – титулярный советник Штоссе!» – «Хорошо, – сказал Лугин, – мы будем играть на жизнь». – «Што-с?» – спросил титулярный советник. «Прошу без шуток! – вскричал Лугин, – мы играем на жизнь и на красоту!» – «Не угодно ли я вам промечу штосс? – ответил старик, делая вид, что он не слышит, и положил на стол клюнгер, – я играю только на деньги»...

Лермонтова перебили.

– Господа офицеры, через десять минут полночь! Прошу за столы! – крикнул полковник Хлюпин. – Поручик, вы успеете еще дорассказать вашу страшную историю. Долг требует выпить здоровье его величества!

Офицеры двинулись к столам. Лермонтов остановил понтера, спросил:

– Что же, еще карту? Старик научил нас не ставить на карту желаний и дев. Я ставлю золотой.

Лермонтов проиграл, вернулся к жженке. Его помощники суетились, он был задумчив, Офицеры уходили из диванной вслед за командиром. В комнате стало тихо. К запаху табака примешался запах жженого сахара, сахар горел, облитый коньяком, синие огни бегали как гномы. Шум перешел в соседнюю комнату, в буфетную. Синие гномы бегали по сладости сахара. Вестовые тушили свечи. Несколько офицеров обступило Лермонтова.

– Михаил Юрьевич, – сказал Мещерский, – конечно, это ваше новое творение. Вы второй раз возвращаетесь к теме карточного выигрыша женщины. Первый раз это было в тонах реализма, именно в «Казначейше». Прошу вас, продолжайте рассказ ваш. Старик мистичен, – тем не менее он играл только на деньги...

У Лермонтова были тяжелые глаза. Он был низкоросл, и все же казалось, что он на людей смотрит сверху вниз, и он не умел глядеть в глаза людей – именно потому, что он был низкоросл. Лермонтов обратился к Вадбольскому:

– Знаете, прапорщик, в вашем возрасте я выигрывал женщин без карт.

Вадбольский не понял, Мещерский покраснел, как принято краснеть девицам. Молвил Мамацев:

– Полно, Мишель, продолжай твой рассказ. Скоро полночь.

Лермонтов ответил не сразу, очень серьезно – так серьезно, что серьезность можно было принять за пародию.

– Нечего продолжать, полковник перебил меня на месте, – сказал Лермонтов тихо, – я все уже кончил. Лугин хотел играть на жизнь, ибо его мечта о деве стоила жизни, – он хотел, чтобы старик поставил на карту эту деву. Старик поставил клонгер. Мистические силы – и те играют на деньги, скушно... А вы правы, Мещерский, – я никогда не думал о совпадении казначейши со Штоссом, – это совершенно не случайно. – Лермонтов помолчал. – Вы говорили, что горничная Дашка ждет Вадбольского, Мещерский! – вы свалили с больной головы на здоровую, не так ли?..

Стенные часы стали бить полночь. Офицеры побежали в буфетную к столу. Пили здоровье императора Николая Павловича. Офицеры кричали «ура», – и по тому, как они кричали, можно было с уверенностью заключить, что пьяны были офицеры задолго до полночи. Вскоре тосты спутались, пили и приветствовали каждый по своему усмотрению, на свой салтык. Тогда молодежь стала требовать тоста от Лермонтова. Притащили грузинский рог, выбрали тамаду. Тамада передал рог Лермонтову. Круг офицеров затих –

одни в безразличии, другие в недовольстве, третьи в восхищении. Соседи Лермонтова вышли из-за стола. Офицеры в конце стола стали на стулья. Лермонтов был бледен и опять очень серьезен тою серьезностью, которую можно принять за пародию, в руке у него был рог, полный кахетинского. Настала тишина.

– Господа офицеры! – крикнул Лермонтов и добавил очень тихо: – я пью – за смерть!..

Не все расслышали, слово смерть прошелестело объяснением. Лермонтов пил рог, полуприкрыв глаза. Рог, в котором было несколько бутылок вина, Лермонтов пил не отрываясь. Офицеры не нарушали тишины. Вены на висках Лермонтова надулись, но лицо бледнело. Лермонтов опустил пустой рог и опустился к столу.

– В чем дело, поручик? – спросил командир. – Что за странные шутки!

– Это очень серьезно, господин полковник, – ответил Лермонтов, подняв тяжелые веки. – Покойной ночи, господа офицеры, нового счастья!

Лермонтов поднялся со стула и пошел к двери, офицеры расступились, Вертюков подал бурку и упал, потеряв равновесие, к ногам Лермонтова. Лермонтов вышел, не поднимая глаз, Вертюков малость полз на четвереньках, затем стал на ноги. Мамацев вышел вслед за Лермонтовым.

На улице подмерзло, и светили звезды, воздух был свеж и колок. Лермонтов шел быстро, кривоногий человек. Мамацев догнал его, пошли рядом. Светила в небе громадная луна. Лермонтов остановился на перекрестке, поджидал ползущего Вертюкова, смотрел вдаль, улыбнулся луне и стал вновь серьезен. Вертюков сидел на снегу.

– Видишь, – сказал Лермонтов Мамацеву, – вон в том месте Эльборус, – видишь, там под луной должны блестеть его ледники. – Лермонтов стал торжественен. – Это я вижу первый раз Эльборус ночью.

– Да там ничего и не видно, – ответил Мамацев.

– Смотри! – Лермонтов указал в сторону, где вдали под луною должны были быть ледники хребта, вечное спокойствие. Там был мрак. Выли в станице собаки. Лермонтов долго смотрел во тьму пространства.

– Мишель, – заговорил Мамацев. – Почему такой странный тост – за смерть?

– Это очень серьезно. Конечно! Смерть – единственное реалистичное. Умрет старик-командир, умрем мы, умирают наши любовницы. А мы, солдаты, прямо к тому и существуем, чтобы умирать.

— Но ты сегодня же говорил иначе, вспоминая Жанну. Мне говорили, будто бы ты скакал на тележке в Крым, чтобы догнать ее...

Лермонтов ответил не сразу.

— Что же, и м-м Гоммер де-Гэлль тоже умрет, — а Эльборус останется.

— Ты действительно ездил к ней?

Лермонтов не ответил. Офицеры двинулись к дому Лермонтова.

— У меня был случай в жизни, — заговорил Лермонтов. — Даже смерть есть также пустяки!.. Ванюшка, нализался сукин сын! — обратился он к денщику. — Ползи вперед, зажги свечей, согрей чаю, — да не спали спяна избы, подлец!.. — Это было в Тифлисе. Я шел в баню и встретил красавицу-грузинку. Я пошел за ней, на углу она поманила меня. Я позвал ее в номер. Она пошла вперед и вскоре вернулась, опять поманив меня. Она сказала, что суббота, бани полны, и невозможно пройти туда незамеченным. Я позвал ее к себе, она отказалась. Я ее не пускал, она была прелестна. Тогда она сказала, что соглашается... Она сама найдет место — только чтоб я поклялся сделать, что она велит. Я поклялся. Я пошел за ней в туземный квартал. Она приняла меня на коврах и мутаках, она была упоительна. Тогда она потребовала выполнения клятвы. Она просила меня вынести труп. Мне стало страшно. Она повела меня по темной лестнице куда-то вниз, в подвал дома. Там, завернутый в татарский саван, лежал мертвец. Я и не подозревал, что я предаюсь объятиям в доме, где лежал — труп. Она поцеловала меня, толкая к мертвецу. Мне стало дурно, но я поднял мертвеца и поволок его в сад. Она мне помогала. Мы пошли закоулками, остерегаясь прохожих. Отдыхая, мы целовались. Я бросил труп в Куру, сняв с него незаметно кинжал. Я обернулся. Женщина исчезла. Я пошел искать ее дом и ничего не нашел. Мне сделалось совсем дурно. Я пришел в сознание только наутро на гауптвахте, куда меня отнесли дозорные. Кинжал мертвеца был при мне. Я посвятил в тайну моих товарищей. Мы отправились на розыски. Мы не смогли найти дома. Тогда мы пошли с кинжалом к Геургу, оружейному мастеру, потому что кинжал был его работы. Геург сказал, что он сделал этот кинжал русскому офицеру. Мы приказали Ахмету найти следы этого офицера. Ахмет разыскал денщика, нам стало известно имя. Денщик сказал, что его барин долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью, а затем пропал без вести. Денщик повел нас к дому, где жила старуха, этого дома я не знал, в доме никто не жил. Мы ничего не нашли. Я мечтал встретить мою грузинку. И я ее встретил. Я шел ночью по караван-сараяу и увидел ее с грузином. Она узнала меня, она подала мне незаметный знак, чтобы я не узнавал ее и шел за нею. Я пошел следом. Они вышли к Куру, пошли на мост около Метехского замка. Я шел за ними. Вдруг оба они возникли передо мною. Он спросил, как меня зовут. Я ответил. Он крикнул, как смею я волочиться за его женой. У нее в руке был кинжал, она была прекрасна. Я понял, что кинжал этот приготовлен для груди грузина. Он схватил меня за плечи, чтобы столкнуть в Куру, но у меня наготове был стилет — и грузин пал в Куру замертво. Я обернулся, чтобы поцеловать грузинку. Ее кинжал занесся над моим сердцем. Я не успел ее поцеловать — она последовала в Куру за мужем... Она была прекрасна!.. — Лермонтов замолчал. — Что же, три смерти... Я рассказываю теперь об этом спокойно... А однажды в атаке я неловко ударил чеченца саблей. Я рассек ему глаз, скулу и губы, конец сабли застрял в зубах. Я никогда не забуду его лица. Здоровый его глаз метался белком. Он извергал мольбы Аллаху и русские ругательства, и изо рта сыпались зубы, и у него было четыре кровавых губы.

— Но ты ничего не говоришь о м-м Жанне Гоммер де-Гэлль! — сказал Мамацев, совершенно пьяный.

Лермонтов и Мамацев стояли у калитки. Лермонтов молчал.

Светила полная луна. Замерзший снег блестел морозом. Вдалеке под луной покойствовал, величествовал хребет, Эльборус, — но хребта не было видно в ночи со станицы Раздольная. Мамацев предложил послать за кахетинским. — Лермонтов хотел чаю. Товарищи простились. Лермонтов долго следил за луной, лицо его было печально. В халупе он сел к столу, к свечам, и долго сидел у стола, с бумагами. Вернувшийся вчера Ванюшка Вертюков привез письма из Петербурга, от друзей, от бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Вяземский присылал книгу «Современника» со статьей Белинского о «Герое нашего времени». Бабушка рассказывала светские новости, ожидала внука в Петербург к масленой, пересылала бумагу старосты Степана насчет продажи крепостных людей, чтобы внук засвидетельствовал в полковой канцелярии руку. Лермонтов долго сидел над бумагами и книгами.

Так Лермонтов встретил 1841 год, последний год своей жизни.

Мамацев же тою ночью под 1 января 1841 г. не ложился спать, прокутив всю ночь. Он вернулся в корчму, где допивали дебоширы. Было совершенно пьяно. Тела валялись по диванам и по полу. На биллиарде спал капитан Кочубей, в изголовье его горели три свечи. На груди его метали банк. Играли в штосс. Понтеры сидели и висели на биллиарде. В буфетной допивали и пели. Мамацев догонял собутыльников в водке, и он рассказывал истории Лермонтова. Офицеры слушали без послесловий. Ссылки в связи со стихами на смерть Пушкина и за дуэль с де-Барантом были общеизвестны. Мамацев рассказал о Жанне Гоммер де-Гэлль, этой прекрасной француженке. В окна корчмы полз рассвет. Мамацев сидел на биллиарде, рассказывая. Штосс был забыт. В золотой раме на стене поблескивали масляные краски императора Николая.

— Это была обольстительная женщина, француженка, жена французского путешественника и ученого, сама путешественница и поэтесса, воспетая Альфредом Мюссэ. С мужем она исколесила всю Азию, и судьба ее занесла на воды. Лермонтов вернулся из экспедиции в Малую Чечню, где крошили хищников, и поселился в Пятигорске. Водяное общество было блестяще. Мадам де-Гэлль была окружена эскортом поклонников. В галерее каждодневно гремела музыка и были балы. В грот Дианы невозможно было ходить, потому что он перестал быть местом уединения, став отдельным кабинетом золотой молодежи. Ежедневно кавалькады уезжали на Машук и к подножью Бештау. Лермонтов был всюду. Лермонтов устраивал пирушки в гроте, заливая его шампанским. Лермонтов волочился сразу за тремя дамами — за де-Гэлль, за Ребровой и за петербургской франтихой, забыл как звали, рыжая красавица. Мадам де-Гэлль, не стеснясь, при всех называла Лермонтова Прометеем, прикованным к горам Кавказа, намекая на его ссылку. Мадемуазель Реброва была влюблена без памяти. Франтиха ездила с Лермонтовым наедине в горы. Лермонтов вел свои куры при всех сразу. Однажды вся компания переехала в Кисловодск, там был грандиозный бал в честь их высочеств в закрытой галерее. Де-Гэлль и Реброва остановились в одном доме. Лермонтов провожал Реброву и де-Гэлль. Он был блистателен. Реброва — очень оживлена. Тогда Лермонтов во всеуслышание сказал ей, что он не любит ее и никогда не любил. С Ребровой — истерика. Лермонтов все же проводил ее домой и, уходя, оставил у нее свою фуражку. В два часа ночи видели, как Лермонтов стучал в окно спальни мадам де-Гэлль. Окно отворилось, и Лермонтов исчез в нем, махнув фуражкой. Ставня закрылась за Лермонтовым... Но в пять часов утра, уже на рассвете, Лермонтова видели совсем на другой улице; он спускался на простынях с террасы того дома, где жила петербургская франтиха. Он был без фуражки. Наутро стало известно, что Лермонтов оставил за ночь три своих фуражки в трех разных

домах — у Ребровой, у де-Гэлль и у франтихи, — имея три ночных рандэву. Но Лермонтов не удовлетворился этим. Утром Лермонтов проезжал мимо окон Ребровой и де-Гэлль, — он ехал верхом рядом с франтихой, и на голове франтихи была — фуражка Лермонтова!.. Франтиха не понимала, что она всенародно компрометирует себя этой фуражкой, похожей на диогенов фонарь среди бела дня. Мадемуазель Реброва слегла в постель. Мадам де-Гэлль отослала с лакеем фуражку и отказала Лермонтову от дома. Франтиха, считавшая себя победительницей, к вечеру, вернувшись с прогулки, узнала, каким чучелом нарядил ее Лермонтов, когда она по своей же воле надела его фуражку, — и на следующее утро она выехала с вод в Петербург, потеряв весь свой престиж, совершенно скомпрометированная... Лермонтов был счастлив!..

В корчму шли утопленники рассвета. Мамацев рассказывал с упоением. Штосс был забыт. Капитан Кочубей спал на бильярде, в головах у него горели три ненужные свечи, грудь его была завалена картами. В золоте рамы на стене в белых лосинах император Николай смотрел перед собою. В буфетной выстрелами из пистолетов стали тушить свечи. Кочубей вскочил от выстрелов, с него посыпались карты. Карты собрали для штосса. За окнами рассвело. За станицей, где стоял на зимних квартирах полк, лежала степь. Вдали был виден хребет, солнце окрасило вечные льды. Хребет покояствовал вечным величием. Там в горах жили люди, с которыми воевал царь Николай — воевал насилием, огнем, уничтожением, вырезывая племя за племенем. Горы были к югу от станицы.

К северу лежала — Россия.

Мамацев рассказал истину о м-м Гоммер де-Гэлль. М-м Гоммер де-Гэлль, этой необыкновенной женщине, посвящал свои стихи Альфред де-Мюссэ, и действительно она считала Лермонтова Прометеем, прикованным к горам Кавказа, величайшим поэтом России. И действительно Лермонтов скакал по октябрьским степным грязям две тысячи верст на телеге, без разрешения начальства, вопреки стихиям, чтобы пробить несколько часов около Жанны де-Гэлль. Вот желтые листки ее дневника.

«...Тэбу де-Мариньи доставил нас на своей яхте в Балаклаву. Вход в Балаклаву изумителен. Ты прямо идешь на скалу, и скала раздвигается, чтобы тебя пропустить, и ты продолжаешь путь между двух раздвинутых скал. Тэбу показал себя опытным моряком, Он поместил меня в Мисхоре, на даче Нарышкиной, Лермонтов сидит у меня в комнате в Мисхоре и поправляет свои стихи. Я ему сказала, что он в них должен непременно помянуть места, сделавшиеся нам дорогими. Я, между тем, пишу мой дневник. Как я к нему привязалась! Мы так могли быть счастливы вместе! Мы оба поэты. Он сблизился со мною за четыре дня до моего отъезда из Пятигорска и бросил меня из-за рыжей франтихи, которая до смерти всем в Петербурге надоела и приехала пробовать счастья на кавказских водах. Они меня измучили, я выехала из Кисловодска совсем больная. Теперь я счастлива, но не надолго. Мне жаль Лермонтова; он дурно кончит. Он не для России рожден. Его предок вышел из свободной Англии со своей дружиной при деде Петра Великого. А Лермонтов великий поэт. Он описал наше первое свиданье очень мелодичными стихами. Он сам на себя клеветает: я редко встречала более влюбленного человека...

...Я ехала с Лермонтовым, по смерти Пушкина величайшим поэтом России. Я так увлеклась порывами его красноречия, что мы отстали от нашей компании. Проливной дождик настиг нас в прекрасной роще, называемой по-татарски Кучук-Ламбат. Мы приютились в бильярдной павильоне, принадлежащем, повидимому, генералу

Бороздину, к которому мы ехали. Киоск стоял один и пуст; дороги к нему заросли травой. Мы нашли бильярд с лузами, отыскивали шары и выбрали кии. Я весьма порядочно играю русскую партию. Мне казалось, что наша игра гораздо значительней, чем просто игра в бильярд, и это была русская игра... Мы дали слово друг другу предпринять на яхте «Юлия» путешествие на кавказский берег к немирным черкесам... Я всегда любила то, чего не ожидаешь...»

Тэбу де-Мариньи, владетель военной шхуны «Юлия», был французским генеральным консулом в России. Лермонтов приезжал в Крым, чтобы пробыть несколько часов с Жанной Гоммер де-Гэлль. Лермонтов играл с м-м Гоммер де-Гэлль в бильярд — в грозе, в зеленой роще — в предпоследнюю с ней встречу. Тэбу де-Мариньи собирался ехать вслед Лермонтову на Кавказ, чтобы вызвать Лермонтова на дуэль. Это был солнечный крымский октябрь. Жанна Гоммер де-Гэлль была женщиной, эта женщина, которая любила Лермонтова, человека и поэта, потому что она была нерусской, и любила так, как никто его никогда не любил. Она писала: «Мы дали слово друг другу предпринять на яхте «Юлия» путешествие на кавказский берег к немирным черкесам». — Лермонтов вернулся к своим отрядам, Жанна ушла в синь Черного моря. Тэбу де-Мариньи встретил ее на своей шхуне — пушечным салютом. Шхуна ушла в синее море, Лермонтов.

...К северу от Крыма, от Кавказа — лежала — великая! — Россия!..

Часть вторая

И еще был Новый год—1840-й. Его встречали в Пятигорске в доме наказного атамана кавказских казачьих войск генерала Верзилина, в том доме, который впоследствии перешел к Акиму Александровичу Шан-Гирею, двоюродному брату Лермонтова, и в котором 13 июля 1841 г. Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Генерал Верзилин был начальством — хлебосолом и отцом — как своих дочерей, так и падчерицы Эмилии Клинкаенберг, впоследствии Шан-Гирей. Старшая дочь Верзилина, Аграфена Петровна, вышла замуж за Василия Николаевича Дикова; у Лермонтова сохранилась строфа, посвященная Аграфене и Василию:

...А у Груши целый век Только дикий человек!..

Эмилия Александровна Клинкаенберг рождена была лютеранкой и впоследствии перекрещена в православие. Так как имени — Эмилия — в православных святцах нет, она была названа Меланией. В доме продолжали называть ее Эмилией, но день ангела справляли 31 декабря в день Мелании.

31 декабря, в ночь под сороковой год, у Верзилиных были именины и новогодний бал. И на этом бале Василий Николаевич Диков, тогда еще жених Аграфены, «грушин век», подарил Эмили Александровне серебряный кавказский стаканчик, черненный, позолоченный. Пятигорский чеченец-гравер начертал на дне стакана:

Въ День. Ангила.

Э. 1840 К.

ВД.

Стакан, по существу говоря, был провинциален и беден. На бале, в полночь, из этого стакана пригубливала красное кахетинское — Эмилия Александровна, и все, бывшие на бале, рассматривали подарок Дикова.

Рассказ повторяется. В дневнике Печорина от 26 июня записано:

«Вчера приехал сюда фокусник Апфельбаум. На дверях ресторации явилась длинная афиша, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление»...

Это было в Кисловодске. Печорин записывает:

«Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня, в десятом часу вечера, приходи ко мне по большой лестнице: муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. — Я жду тебя; приходи непременно».

Печорин только на минуту заходил смотреть фокусника. Он не видел фокусов. Ночью он был у княгини Лиговской. Этой же ночью он оказался под окном княжны Мэри. Там он подрался с Грушницким и с драгунским капитаном, секундантом Грушницкого, получившим от Печорина в рожу. Эта ночь была окончательным поводом дуэли между Печориным и Грушницким. На утро у нарзанного колодца утверждали, что Печорин имел ночное рандэву с княжной Мэри. Печорин записал о той ночи, когда он на шаях спустился из окошка княгини Веры:

«Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере, десятка два хищников осталось бы на месте».

Рассказ повторился Жанною Гоммер де-Гэлль. Прошло почти столетие. Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума, — но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

Лермонтов не послал Печорина к фокуснику Апфельбауму, герой м-м Гоммер де-Гэлль. На рассвете в Москве меня взял аэроплан, в закате дня я сошел с самолета на станции Минеральные Воды. Через сто лет самолет будет дормезом, сейчас он величествен — лермонтовски, ибо в стихиях самолет мерит себя и свою волю — только стихиями, — и мерит — только смертью: человеку на самолете гордо — за человека, за человеческого демона, то есть гения, которого искал Лермонтов. С Минеральных Вод я поехал поездом, которого не было при Лермонтове, — в Ессентуки, где ждала меня комната на даче «Звездочка» (пошлее не придумали). Я нанял извозчика — на «Звездочку». Извозчик оказался хохлом.

— Ага, — молвил он, — на Звездочку? — значит, артист!

О моих лекциях мне нечего говорить, тезисы составлял Дюкло, наш правитель, чтобы эпатировать курортное население. Но там был один тезис: «Разговор с М. Ю. Лермонтовым», — этот тезис предложил я, и я замалчивал его на лекциях. До сих пор я не могу его оформить, потому что он лежит вне слов, — я же очень хорошо знаю, что самое несовершенное в общении людей — слово, слова, — что словами можно рассказать только промилли того, что чувствуешь — и чем ответственнее чувствования, тем бессильнее слова. На самолете в небе тогда я думал о Лермонтове, и я хотел написать письмо Михаилу Юрьевичу о его местах. Меня не страшило столетие, ставшее между нами: писатели существуют только тогда, когда они могут бороться время, — пройдет еще сто лет, и мы сдвинемся с Лермонтовым на полках русской литературы — не тем, что Лермонтов описывал пошляков, а я описывал метели революции, — но тем, как мы видели, молились, ошибались, жили, любили, — и писатели знают, что их письма пишутся для черных кабинетов читателя. Я не написал этого письма, не найдя слов для песни, которая спета во мне Лермонтовым. В памяти моей остались только отрывки этой песни, сложенные в слова.

— Михаил Юрьевич! — Мне страшна ваша Россия, — полосатOVERСТАЯ, как каторжный туз, николаевская Россия. Я был в ваших местах. Я следил за бытом ваших героев. Это никак не верно, что вы автобиографичны.

Печорин, Грушницкий, капитаны (капитан, предлагавший не заряжать вашего пистолета, — просто мерзавец!), — княгиня Вера, княжна Мэри, ее мамаша — чистокровнейшие пошляки, бездельники, невежды. Умные разговоры Печорина с Вернером — глупы. Печоринская манера подслушивать под окошками — неприлична. Все вертится около скверных романишек, пистолетов и издевательств над человеком, — нехорошо! — ужели стоит марать перо о растлителей молодых девушек? — и этот Пятигорск организованной пошлости!.. — Нет, Михаил Юрьевич, — вы не автобиографичны, — век рассказал мне об этом...

Сейчас там лечат сифилитов, с лекциями и под музыку в разных галереях, живых от Лермонтова, — и жив грот, где Печорин встречался с Верой, он назван Лермонтовским, и туда ходят писать на стенах похабные слова и собственные имена похабников. Памятник на месте убийства Лермонтова так же изрешечен изречениями о Мане и Зине; там же висят засаленные черкески со страшными гозырями, и любители могут, нарядившись в них, фотографироваться около памятника! Меня обманула даже природа. Я ждал Кавказа, гор, первобытность, — я увидел холмы, заросшие лесом, куда забираются ослы и автомобили, — причем эти семь-восемь холмов сиротливо торчат среди просторов облупленной степи, и торчат случайностью. Я верю Лермонтову, что сто лет тому назад у Мэри на Подкумке, в июне месяце, закружилась голова от потоков вод этой горной реки: сейчас эту реку в июне — в любом месте перейдет курица. — Мне стыдно перепонтировать героев лермонтовского времени! Сюда ездят отдыхать и быть довольными. Витии печатают лозунги:

«Больные! Сохраняйте бодрое, спокойное настроение духа — это способствует правильному лечению!»

«Питание, выписанное врачом, должно строго соблюдаться!»

«Половое воздержание — всегда безвредно!»

«Распутство и пьянство на курортах завела буржуазия — надо изживать эти пороки, так как они мешают ремонту здоровья!»

Курорты превращены в фабрики здоровья, люди одеты в больничные халаты санаториев, из-под халатов торчат тесемки, и из больничных туфель торчат пятки, — и в общественных столовых меню разбиты по диетическим рубрикам: «при поносах», «при запорах» и пр. Не может не быть у человека уважения к земле, к ее недрам, к ее законам; в этих местах на земле бьют целебные ручьи, рожденные вулканами, целебная вода: в первый же день я пошел к источникам, как здесь называются ручьи; источники вделаны в камень; со мною шла толпа, у всех в руках были кружки и стеклянные трубочки; источники, вделанные в камень, назывались бюветами; девушки типа больничных хожалок проворно наливали в кружки воду; пили воду через стеклянные трубки, чтобы вода лучше усвоилась желудками, оттопыривали в священнодействии губы: я слышал разговоры о пищеварении, прекратились ли газы у Ивана Иваныча; один мой приятель ходил к врачу, чтобы лечиться, — врач сказал — «Конечно, воды очень полезны, но думается, что самая полезная вода — вода обыкновенная». — Я был в диетической, запорно-поносной столовой только один раз — меню мешало моему желанию есть. Дюкло называл эти столовые — не диетическими, но идиотическими. — На минеральных группах лечат — сифилис в кондилломатозном и гуммозном периодах, лейриды интоксикационные, субацидные и акацидные катарры желудка, вагиниты и эррозии, — научные слова! Больничные храмы величественны, построенные из поддельного мрамора, украшенные символами эллинского здоровья. Я ходил осматривать эти храмы. Я был в белом халате, за доктора. Меня провожал мой знакомый врач. Я был в отделении, где грязью лечат ожиревших женщин, у многих из них были подкрашены губы, — и у всех у них было на лицах обалдение распаренного уважения к целебностям; хожалки приносили ведра горячей грязи, мазали грязью женщин, заворачивали их в простыни, покрывали одеялами, и женщины лежали в блажном страдании; в клиниках покойствовала торжественность; мой знакомый доктор, — фамилия его никак не Вернер, — выгонял из мужской мочи химические формулы свинца, — это было единственно интересным. Дюкло рассказывал сказку, как мужику плохо жилось, как цыган обещал облегчить его жизнь, велел сначала взять в избу кур, потом телят, — потом свинью, затем корову, — мужик стал окончательно задыхаться, — цыган велел вывести тогда — сначала корову, потом свинью, затем телят, — мужик задышал легко и даже согласен был остаться с курами, — и Дюкло уверен, что принципы местных лечений построены на этой побасенке. — Мне стыдно перепонтировать вас нашими козырьми, Михаил Юрьевич! — Люди приезжали на поездах убежденными фалангами, убежденно лечились, организованно пищеварили в течение месяца и — возвращались — с фабрик здоровья — на российские веси — опять-таки организованно, неорганизованно выполняя лишь заветы пиит местных витий, которые печатали:

«Распутство и пьянство на советских курортах надо выжигать каленым железом!»

Под заборами этих лозунгов я вспоминал грязелечебных гусынь. Впрочем, пииты ж писали:

«Театр — отдых и школа, а на курорте, кроме того, — лечебный фактор!»

«Скука мешает правильному лечению!»

«Курортная физкультура — лечебная процедура!»—

и по вечерам на курортах было все, — симфонические оркестры, драматические спектакли, оперетта, опера, эстрада, пластические и балетные номера, комики, рыжие, раешники, — и были мы, писатели, на предмет культурной революции, о которой много говорилось в 1928 году.

Михаил Юрьевич, — я перечитал ваше письмо к Лопухиной, вы назвали это письмо «Валериком». Валериком называется — не река, но речка смерти. На Группках нет теперь никаких боев, там показывают — лермонтовский грот, лермонтовскую галерею, лермонтовские ванны, лермонтовскую долину, лермонтовский водопад, — а на месте лермонтовской смерти — фотографируются в засаленных черкесках с громадными кинжалами.

...жалкий человек... Чего он хочет. Небо ясно...

У меня не было более ненужных дней, чем эти мои дни на Группках. И я часто вспоминал вашу речку смерти, Михаил Юрьевич. Впоследствии я прочитал в донесении генерал-адъютанта Граббе о сражении при Валерике, бывшем 11 июля 1840 года, в Ольгин день, — генерал записал о вас:

«...офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

Все нужное, что связано у меня с этими моими днями, связано с вами, Михаил Юрьевич.

Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума, — но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

Это было в июньских числах Печорина, в Кисловодске, в Нижнем парке, около Нарзанной галереи, где некогда ловили печоринских черкесов. Своим человеком я прошел за кулисы, чтобы поздороваться с м-м Жанной. Меня встретил ее муж, человек в больших круглых, роговых пенсне.

— Очень жаль, что вы будете смотреть Жанну на базаре, — сказал он.

М-м Жанна была в черном, в черном платье с белыми кружевами и высоким воротником, в черных чулках и в лаковых туфельках. Волосы ее были гладко зачесаны, в ушах блестели старинные серебряные подвески. В руках у нее был белый платок. Глаза ее были девичьи.

— Мы начинаем, — сказал муж, поправив прическу, волосы мужа были зачесаны назад, за уши, в традициях партикулярных людей начала девятнадцатого века.

Я вышел к зрителям. За большими буквами афиш фотография м-м Жанны не походила на подлинник, валяная белая кепка и милые красные платочки захлопали м-м Жанне, галки на чинарах зашумели крыльями и закаркали. Вспыхнули дополнительные огни софитов, ночь за деревьями стала черней. М-м Жанна вышла с белым платком у губ, этот медиум,

она казалась девочкой и лунатиком одновременно, вид ее был прост и таинственен. С курзала донеслись медные трубы оркестра, на вокзале прогудел отходящий поезд. Вслед за м-м Жанной вышел ее муж, во фраке.

— Жанна, будьте внимательней! — крикнул муж тоном циркового наездника.

Муж спустился к рядам, чтобы принимать вопросы. Муж наклонился над критиком Леопольдом Авербахом, чтобы выслушать его вопрос. Авербах, посоветовавшись коллективно с драматургом Киршоном, шепотом спросил: — когда приедет их друг прозаик Либединский?

— Жанна, будьте внимательней! Отвечайте, мадемуазель! — крикнул жокейски муж.

М-м Жанна ответила не сразу, она опустила голову, напрягая мысль, и бессильно опусттила руки. У нее был звонкий голос, картавый на «р».

— Я п'ислушиваюсь... я слышу... вы сп'ашиваете о вашем д'уге Ю'ие... об известном писателе Ю'ие Либединском... я вижу... он п'иедет, мне кажется, в начале июля...

— Дальше, Жанна! Мадемуазель, дальше! — крикнул муж и отошел от Авербаха, наклоняясь над военкомом. — Дальше, мадемуазель, внимательней!

— Я п'ислушиваюсь... я вижу, вы а'тилле'ист, вы служите в Москве! — М-м Жанна подняла голову, улыбнулась, заговорила быстро, глаза ее были детски. — Вас зовут Исидо Мейчик, вам двадцать семь лет...

Военком был поражен: он спрашивал, в каком полку он служит, сколько ему лет. М-м Жанна отвечала быстрее, чем он задавал вопросы. Военком сдвинул фуражку на затылок, явно вспотев. Кепки притихли.

— Дальше, Жанна! Скорее! Внимательней! — кричал муж, склоняясь над ответственным работником.

Ответственный работник, в халате, в кепке и в тесемках, спрашивал: — изменяет ли ему в Москве жена? Как ее зовут? — М-м Жанна опустила глаза и руки, вид ее был беспомощен.

— Вашу жену зовут Надеждой, — сказала она беспомощно и тихо. — Нет, она не изменяет вам, нет... она верная жена... Но я вижу... я п'ислушиваюсь... — м-м Жанна сказала совсем тихо и очень печально. — Я вижу, как вы изменяете своей жене...

Ряды захохотали. Совработник заерзал на стуле. Галки кричали на чинарах, посвистывал паровоз. Ночь была душна, и под скамейками трещали кузнечики. Я недоумевал, вспоминая лермонтовский штосс. Я не мог придумать рационального объяснения этому совершенно метафизическому явлению. Дюкло не слышала вопросов, она отвечала ясновидяще правильно. Люди, задавшие вопросы, были растеряны. М-м Жанна стояла на эстраде девически целомудренно, в черном платье стиля начала прошлого века, усталая женщина, похожая на девочку. Никаких гоголевских «портретов» не было. Была уездная эстрада, открытая, в парке, ротондою. М-м Жанна выступала после пластически-раешных номеров, — ее номер считался ударным, ее выпускали под занавес. У европейцев принято

восторги выражать ладошами, — хлопали мало. Шла обыкновеннейшая курортная ночь, когда в одиннадцать надо быть в постели. В старину такие номера обставлялись черными комнатами, свечами, таинственностью, шепотом. Люди повалили с рядов бараном, опять потревожив галок. Нарзанная галерея была заперта.

Мы ждали Дюкло, пока они переодевались. М-м Жанна с мужем, профессор Федоровский с женою, писатель Иван Алексеевич Новиков и я — мы пошли в Аллаверды, в шашлычную, ужинать. М-м Жанна говорила о своей дочке, оставшейся в Москве, и медленно пила кахетинское № 110. Штосс сведен на эстраду, тресвечие, семисвечие метафизики — упразднены. М-м Жанна была очень утомлена, медленна и обыденна. Ее муж острил. Иван Алексеевич, писатель, чье творчество навсегда пропахло березками благостных зорь, — говорил — о троичином дне, о белой троичиного дня березке, называя березкою м-м Жанну. Они говорили о девочке Дюкло. В шашлычной пахло тархуном, бараньим салом, и скрипач наярывал молитву Шамиля. Профессор Федоровский строил объяснения номера м-м Жанны. Дюкло-муж не открывал секрета, предлагая придти на разоблачительную — его — лекцию. Штосс Лермонтова, прошед через кулисы эстрады, расцвел для Ивана Алексеевича Новикова — белую троичиного дня березкою.

...Я был в доме, который теперь называется Лермонтовским музеем. Там на стене висит церковная выпись, — поручик Тенгинского пехотного полка, — убит на дуэли, — «погребение пето не было». — Вы не погребены, Михаил Юрьевич, вы — живы! — Ваш домишко, где вы жили со Столыпиным перед смертью, куда привезли ваш труп после дуэли, — превращен в музей. Я ночевал в этом музее, в вашем кабинете-спальной, где некогда лежал ваш труп. Вы записали, Михаил Юрьевич:

«...моя комната наполнилась запахами цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками».

Все это по-прежнему, Михаил Юрьевич, по-прежнему стоят платаны, и скосилась коряга грецких орехов, и в палисаднике цветут цветы. Я сидел за вашим письменным столом, встречая ночь. Пятиглавый, — так называли вы его, — Бештау синел, уходя во мрак. Я был один. Над землей дул ветер, очень сильный, он пахнул степью и качал деревья в палисаднике. В домишке было глухо и сыровато. Я думал о том, что, если бы мы жили одновременно, мы, вернее всего, не встретились бы! — я был Апфельбаумом. Я говорил с вами через столетье о том, что встретиться нам необходимо, чтобы чокнуться временем сердца о сердце. Я заснул тогда очень поздно, перед сном рассматривая янтари ваших трубок. И ночью я видел вас, во сне. Это было в степной станице, в полку, в новогоднюю ночь, вы держали в руке рог, офицеры безмолствовали, вы были очень бледны, ваши глаза, всегда тяжелые, были особенно тяжелы, — вы сказали — «Я пью за — за жизнь!» — и кругом были мертвецы, мертвые офицеры, мертвая корчма, ночь, — все было мертво, и на стене блистал император Николай. Живы были только мы. Нам сказали, что нас ждут, — мы вышли. Нас ждал самолет, пилот был тот самый, который принес меня из Москвы. «Через сто лет самолет будет только дилижансом», — сказали вы, Михаил Юрьевич, — «но тогда мы найдем другие пути, чтобы брать за сердце жизнь и чтобы чокаться смертями. Впрочем, я знаю, что останется, если будет жизнь, — останутся — смерть,

любовь, рождение, рассветы и ветры!» — над степью ревел буран, космы снега заплетали Лермонтова, его папаху, его бурку, сплетая его с космосом. Вопреки стихиям над буранною степью высился Эльборус. «Мы летим меряться силами со стихиями!» — крикнули вы, Михаил Юрьевич. — Я проснулся. Был мертвый час ночи. Всеми нервами своими я ощутил, что лежу в доме, где некогда лежал мертвец — Лермонтов. Над домом, за ставнями, свистел ветер. Я зажег спичку, закурил, осмотрелся, открыл ставню. Светало. Свистел синий ветер.

Утром я понял, что от Лермонтова в его доме ничего не осталось, кроме чинары и черешен в палисаднике. Пролетарский поэт Тришин, хранивший лермонтовскую усадьбу, сказал мне, что письменный стол, столик у дивана, мундштуки — все это привезено из Петербурга, из дворцовых фондов. Кроме чинар остались перестроенные стены дома да память о том, как расположены были комнаты при Лермонтове и Столыпине. Полковник Челищев, домохозяин, призывал попа освящать этот домишко после того, как лежал здесь труп Лермонтова.

Но Тришин сказал мне, что рядом в переулке сохранился дом Верзилиных, ставший впоследствии домом Шан-Гиреев, национализированный в годы революции, — и что в доме живет сейчас Евгения Акимовна Шан-Гирей, дочь Акима Шан-Гирея, друга и двоюродного брата Лермонтова, с которым Михаил Юрьевич вместе возростал, называя его в письмах Екимом, — дочь Акима Шан-Гирея и Эмилии Александровны Клинкаберг, той, которую по неверному преданию называют княжной Мэри. Я пошел в этот дом. Он отдан в нищету, на дворе сапожничал рабочий. Я встретил Евгению Акимовну, ко мне вышла старушка в темном платье, я знал уже, что ей семьдесят три года, лицо ее было светло. Время остановилось. Мы заговорили. Мы стояли на террасе, завитой виноградником.

— Тогда этого хода не было, — сказала Евгения Акимовна, — спускались через террасу, и вот здесь, — она указала рукой, — на этом месте Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Лермонтов был злой человек, он не любил людей и всегда издевался над слабостями его окружающих. Мартынов любил порисоваться, одевался черкесом и ходил с засученными рукавами, нося на поясе громадный кинжал... Так рассказывала моя мама.

Мы вошли в дом.

— Эта комната была гостиной, и танцевали именно здесь, — Евгения Акимовна указала рукой, — здесь стоял диван, а здесь было фортепиано. У нас была вечеринка. Моя мама, Лермонтов и Пушкин, брат поэта, сидели на диване. Мартынов стоял около фортепиано с моей тетей Надеждой Петровной. Лермонтов и Пушкин острили. Князь Трубецкой играл на фортепиано. Трубецкой оборвал аккорд, и ясно прослышались слова Лермонтова: «Montagnard au grand poignarb...» — горец с большим кинжалом, — как Лермонтов называл Мартынова. Мартынов был добрый малый, но был позер. У Лермонтова был злой язык, он был недобрый человек. Мартынов побледнел... Все это мне рассказывала мама... Тогда на террасе, на том месте, которое я показывала вам, Мартынов сказал Лермонтову: — «Сколько раз мне просить вас оставить ваши шутки при дамах!» — Лермонтов ответил: «Вместо пустых угроз, ты гораздо лучше бы сделал, если бы действовал», — и Мартынов вызвал Лермонтова.

Я стоял в комнате, где возникла смерть Лермонтова. Я хотел взглядеться в комнату и в столетие. Комната была невелика и — ныне — нища, давно запыленная временем. Около меня стояла светлая старушка, осколок тех дней. Вещи, когда-то бывшие, исчезли из комнаты, изгнанные нищетой и временем. От наказного атамана кавказских казачьих войск — ничего не осталось. Я искал вещественных памятников.

— Вот это зеркало тогда висело над фортепиано, — сказала Евгения Акимовна и указала рукою. — Вот этот шкаф был тогда с книгами...

Мы прошли в комнату, которая была диванной. Некогда в ней жила бабушка, порицавшая Лермонтова. Ныне жила здесь Евгения Акимовна. Вещей от Лермонтова в этом доме почти не осталось, ничего не осталось от тех дней, дом умрет вместе с Евгенией Акимовной.

Евгения Акимовна принесла и показала мне серебряный кавказский стаканчик, очень начищенный, позолоченный. На дне стаканчика было выгравировано;

Въ День. Ангила

Э. 1840 К.

ВД.

Это был тог самый стаканчик, который подарил Василий Николаевич Диков Эмили Александровне Клинкаенберг.

— Этот стаканчик маме подарил Диков, когда он был женихом тети Аграфены Петровны и когда мама была еще девушкой, — сказала Евгения Акимовна, — мама говорила, что из этого стаканчика пиал и Михаил Юрьевич.—

Я склонился над этим осколком времени, над этою вещью из времени, чтоб заглянуть в век. Я глядел через время. Я видел век, глядя на стаканчик, из которого пили вы, Михаил Юрьевич. Евгения Акимовна была печальна. Угловая комната, некогда диванная, застыла в тишине.

Ныне этот стаканчик у меня.

Евгения Акимовна сказала печально:

— На днях приходили из милиции, требуют, чтобы мы все выселились отсюда, хотят в этом доме устроить уголовный розыск... Быть может, вы поговорили бы с Луначарским, чтобы этот дом перешел к музею... Хорошо еще у нас живут рабочие, которые не хотят этот дом отдавать под уголовный розыск...

Я сидел со старушкой, остановившей время. — Уголовный розыск будет — докапываться до уголовных причин смерти Лермонтова!? — Михаил Юрьевич, — это называется — валериком? — речкой смерти? —

...Это был бред...

Мы, люди со «Звездочки», жили звездочетами, потому что ночи у нас начинались рассветами, и дни возникали за полднями. На моей двери были нарисованы одинокие — стул и слезы. Жены через день по утрам собирались выезжать из этого сумасшедшего дома, куда актеры возвращались после работы к двум часам ночи и начинали шипеть примусами, садясь до утра за поккерное помешательство. У меня примуса не было, — у меня была одна хозяйственная вещь — стакан Василия Дикова. Двери в этом доме никогда не запирались, во многих окнах не хватало стекол, дом был полупуст, и в нем, кроме актеров, жили летучие мыши. В саду около дома каждую ночь кричали совы. В грозы в доме протекала крыша, а в тишину слышно было, как бежит вода из испорченных кранов, которые всем лень было закручивать. Тихими часами были часы от рассвета до полудня. В закаты певцы разучивали арии, музыканты экзерсировались, а драматические актеры доигрывали партии поккера, не доигранные за ночь. На визитной карточке комнаты номер первый было написано: — «Кахетинское № 110». Действительно, в моей комнате были только — стол, стул и кровать. Я набил сенник, положил его на террасе, — это было моим диваном, где я валялся днями, в табаке и книгах.

В тот вечер я был в шашлычной. В час я лег спать. В два меня разбудили Дюкло. У них были гости. Светало, и мы разговаривали. Или это был сон? Когда до солнца осталось полчаса, я пошел к полковнику, ставшему извозчиком, у которого мы брали лошадей. Я взял коня и поскакал в степь, к горе Шелудивке, навстречу Бештау. Конь шел карьером. Было совершенно светло, и с минуты на минуту должно было выползти солнце. Пахло степным рассветом, полынью. Мне было чудесно тем восхищением перед миром, которое граничит со смертной тоской, — тем восхищением, от которого мистики молятся, а я мог бы плакать. По степи стали курганы. По долинам шел благостный туман, уничтожавший таинства ночи. Я поскакал к кургану, я поднялся на его вершину. Я слушал храп коня и смотрел на восток. Небо багровело, облака расплавляли латы. Я оглянулся на юг, — в синей мгле, в ста верстах от меня, вспыхнула двуглавая шапка Эльборуса зловещим огнем. Я повернул голову — и солнце ударило мне в глаза. Конь подо мною заржал, приветствуя утро. Солнце ослепило меня, мои глаза ослепли от слез. Конь помчал дальше в пространства, в степь, к Шелудивке, к просыпающейся станице. В станице я выпил стакан водки с крынкой молока. Тем рассветом я написал, никогда не записанное, письмо Ивану Алексеевичу Новикову — о белой березке троюнца дня и о горькой березовой горечи: род Ивана Алексеевича Новикова древен писателями, и пусть, когда мы оба умрем, — пусть будет это, никогда не записанное, письмо вставлено здесь в этот рассказ о вас, Михаил Юрьевич, и о вас, Иван Алексеевич, письмо о березовой горечи счастья!..

При Лермонтове Ессентуки были пустой казачьей станицей. Печорин записал:

«...Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки, она стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. — И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; раза два он уже споткнулся на ровном месте... Осталось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если бы у моего коня достало сил еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте он грянулся на землю...

...и долго я лежал неподвижно, и плакал горько, не стараясь удержать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется»...

Михаил Юрьевич, вы должны были уметь плакать — плакать горчайшими слезами отчаяния!.. Я искал тем рассветом места, где плакал Печорин, и я въезжал на каждый курган, на эти могилы неизвестностей, чтобы дальше видеть. Дормезы заменены железными дорогами, железные дороги сменяются аэропутями, — рассветы и слезы — останутся.

Я вернулся в свой дом. Солнце не успело еще загнать в комнаты дня, гнилые ставни были заперты, горело электричество, на столах умирали хлеб и стаканы. В тот день, когда я был в клиниках лечения грязью и видел женское сало, доктор Ахматов рассказал мне о том, чего я не знал, что недавно открыли немцы, — о том, что в человеческом организме, оказывается, существуют — два сердца: одно общеизвестно, а другое — его немцы называют периферическим сердцем — другое: самые кончики, самые мельчайшие сосудики артерий, в том месте, где они переходят в вены, где кровь из артериальной становится венозной, — эти сосудики вооружены нервами и мышцами, — эти нервы и мышцы помогают большому сердцу, — миллионы этих нервиков и мышчинок составляют периферическое сердце... Мы останавливали ночь гнилыми ставнями. Со мною сотворилось странное. Я сидел рядом с Дюкло-мужем, м-м Жанна не слышала наших разговоров: и она стала отвечать мне, читая мои мысли. История художника Лугина повторялась мною. То, что м-м Жанна делала на сцене, что категорически отказывалась она делать у себя в доме, — делалось сейчас со мною. Возникал лермонтовский штосс. День был остановлен гнилыми ставнями. Я был слишком пьян рассветом, чтобы четко соображать. Дюкло-муж склонился надо мною, он весело крикнул, расхохотавшись:

— Борис Андреевич, — крикнул он, — мы весело разыграли вас! Выслушайте, на чем построен наш номер. Вы знаете, что такое стенография, — представьте себе — звукографию. Я говорю Жанне, — «мадемуазель, будьте внимательней!» — вы слышите только это, — но вибрацией голоса, ударениями на звуки, придыханием, тем, как звуки я растягиваю, — я передаю ей: — «Борис Андреевич пьян и бредит Лермонтовым, которого будто бы он караулил сейчас около Шелудивки!»

Я распахнул широко гнилые ставни.

Михаил Юрьевич! штосс Жанны Дюкло не есть даже фокус, это просто упорный труд и очень музыкальные уши. — Михаил Юрьевич! Иван Алексеевич Новиков утверждал березовую горечь троицына дня Жанны Дюкло, — ужели чудесная березовая горечь Жанны Гоммер де-Гэлль не была горечью троицына дня!?

...М-м Жанна Гоммер де-Гэлль... Впрочем, в селе Подмоклове, Подольского уезда Московской губернии, в церкви, на картине страшного суда — помещены вы, Михаил Юрьевич, в числе горящих в огне великих грешников, — вы, Михаил Юрьевич, чьи предки в Шотландии — один в одиннадцатом веке дрался с Макбетом, а другой в тринадцатом — был бардом, заколдованным царством фей и воспетым Вальтером Скоттом. Вы написали вашему другу Лопухину:

«...смотришь на сцену—и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно;

смотришь направо — ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицеймейстера»...

Да, Михаил Юрьевич, — это трагическое России — и я прав, мы наверное не встретились бы с вами, — из-за полицеймейстера. И вы не увидели бы, — как не увидели Жанну Гоммер де-Гэлль, — Жанны Дюкло, — березовой горечи вашего штосса. Михаил Юрьевич, — тогда, в новогоднюю ночь сорок первого года, когда вы пили за смерть, вы не дорассказали истории титулярного советника Штосса, — вы ставили на карту жизнь ради своих видений, которые были выше жизни, вы понтировали на жизнь, — и титулярный советник Штосс играл с вами на клонгеры!

И позвольте мне рассказать вам о м-м Гоммер де-Гэлль.

Я уже делал выписки из донесений генерал-адъютанта Граббе, — «офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством». В наградном списке, написанном Раковичем, значится:

«Лермонтов с командою первый прошел Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии выстрела от пушки. При переправе через Аргун он действовал отлично... и поражал неоднократно собственною рукою хищников».

За степями, за лесами, на севере, в Санкт-Петербурге— за плечами Лермонтова, на плечах Лермонтова — стоял всероссийский император Николай, его величество, уничтожавшее Кавказ, когда горцы в приказах не назывались иначе, как хищники, дикари и сброд. Михаил Юрьевич, пятого ноября вы расстались с Жанною Гоммер де-Гэлль. Вы вернулись на фронт в свой полк, — а мадам Гоммер де-Гэлль, на яхте французского посольства, под французским флагом, ушла в море, в бирюзу морских волн, в просторы моря, чтобы —

чтобы —

...от Жанны де-Гэлль остались пожелтевшие листки:

«Тэбу уехал, не простившись ни с кем, а на другой день снялся с якоря и отправился на Кавказ стреляться с Лермонтовым. На четвертый день я увидела яхту на рейде. У меня была задняя мысль, что Лермонтов еще не уехал и будет у меня с объяснением все же, что ни говори, возмутительного своего поступка в билиардной павильоне, когда он так скомпрометировал меня в глазах Тэбу. Он пришел. Я простилась с моим поэтом на станции, слушала и задыхалась. Я долго оставалась в раздумья, пока я слышала звон его колокольчика, и затем поспешила сесть на катер, доставивший меня на яхту...

...в ночь перевезли на яхту четырнадцать ящиков с двумястами карабинов, разной мелочью для подарков, порохом, моими туалетами и двумя горными пушками, все это под печатями английского консульства. Я их везу в подарок князю адигеев, — кроме моих парижских туалетов, разумеется, которые обворожали моего кавказского Прометея. Мне ужасно жаль поэта. Ему не сдобровать. А я целых две пушки везу его врагам. Если одна из них убьет его, я тут же сойду с ума».

— чтобы придти, сокрыто от глаз императора Николая, к бирюзе кавказских берегов, — чтобы подняться в горы к военачальникам тех племен, которых воспевали вы, Михаил Юрьевич, и которых — вы же, офицер Михаил Юрьевич, — уничтожали, — потому что эти люди отстаивали естественное свое право жить и не быть холуями императора Николая. Люди в горах встречали Жанну Гоммер де-Гэлль — всем благородством, которое вы знаете у кавказских племен. Вожди кланялись ей, этой солнечной женщине. Михаил Юрьевич, Жанна Гоммер де-Гэлль привезла на своей шхуне, по сини моря — своим горным друзьям — пушки, ружья, свинец и порох, — тот свинец и тот порох, которым кавказцы отстреливались от вас, офицер Михаил Юрьевич. Она, эта солнечная женщина, любила вас, Михаил Юрьевич, поэта и человека, любила вас так, как никто не любил. Вы не знали этого, Михаил Юрьевич, — вы играли русскую партию. Вы не знали, что те пули, которые посылали вам, — в вас чеченцы, — эти пули дала чеченцам женщина, любившая вас. Вы не написали романа м-м Жанны Гоммер де-Гэлль, вы брат Байрона.

Я знаю —

«...Жанна Гоммер де-Гэлль так описывала Тэбу, генерального консула:

«...Тэбу в самом деле смешон; он ходит с утра в светло-синем фраке, со жгутом и с одним эполетом и золотыми с якорями пуговицами, в белом жилете и предлинных шпорах (хотя он на лошади и без шпор держаться не умеет) и нанковых, несмотря на осень, панталонах. Костюм его совершенно напоминает Людовига XVIII блаженной памяти. Он очень смешон, особенно когда вальсирует или галопирует и садится на минуту, весь впопыхах. Он, кажется, лечится от воображаемого жира и танцует более для моциона. Он страдает закрытым геморроем»...

Михаил Юрьевич, вы дурачили этого фламандского ловеласа. Вы заставляли его в дожде дураком бегать вокруг биллиардного павильона, около вашей русской партии в любовь, когда чудесности были в ваших руках. И дурак стал рыскать за вами, чтобы вызвать вас. Вы проводили Жанну на его судно, отдали ее фламандцу...

Я знаю: если бы не было этой ссоры с дураком, эта женщина, любившая вас, эта солнечная женщина унесла бы вас на пути своей шхуны, вы были бы с нею в морях, вы, брат Байрона, — вы отдали б вашу жизнь вашей поэзии, вашим демонам, — и ваша жизнь была бы чудеснейшей человеческой поэмой. Вашими плечами вы подпирали бы ваших демонов, вашу поэзию, но не императора Николая Первого. Жанна Гоммер де-Гэлль ушла от вас в лазурь синих морей, она записала о вас: — «Мне жаль его, он дурно кончит. Он не для России рожден». — Она была права, ваш штосс раскрыт Жанной Дюкло, Печориным я перепонтирую вас, — причем, оказывается, Жанну Гоммер де-Гэлль совершенно не следовало выигрывать штоссом Жанны Дюкло.

На севере, за степями, за лесами — лежала в болотах — великая! — Россия.

Часть третья

...Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит: Ночь тиха, пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно. Спит земля в сияньи голубом... .. Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чем?

Солнце уходило в облака, и облака горели красным закатом. Закат наступал медленно и упорно. Синяя тень от Бештау легла далеко в степь. Машук немотствовал. Зеленый лес не шумел. Прокричала в лесу сова, уже по-осеннему. И опять была тишина и умирал закат.

На земле валялась фуражка пехотного офицера, с красным околышем, с высокою белою тульею, фуражка лежала вниз тульей, и в ней были вишни. Так эта фуражка и осталась лежать здесь ночь и рассвет, пока не приехала наутро следственная — «по делу стрельяния между поручиком Лермонтовым и отставным майором Мартыновым» — комиссия. Эта комиссия подобрала фуражку. Эта же комиссия описала в протоколе своем «место стрельяния», как сказано в протоколе.

«...место отстоит на расстоянии от города Пятигорска верстах в четырех, на левой стороне горы Машуки, при ее подошве. Здесь пролегает дорога, ведущая в немецкую Николаевскую колонию. По правую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины горы Машуки до ее подошвы, по левую сторону дороги впереди стоит небольшая гора, отделившаяся от Машуки».

Лермонтов был убит на дороге.

Солнце зацепилось за Бештау, озолотило его вершины. Прохлада ночи повеяла с Машука. Тучи собирались зловеще. Этот человек, в кавалерийских рейтузах и в красной рубашке, тот, фуражку которого подняли наутро, приехал первым к месту дуэли, и приехал один. И он долго лежал на земле, лицом к небу. Он глядел на умирающий закат и на тучи, которые собирались грозой. В картуз он положил вишен, но он не ел их.

...Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чем?..

И в тот час, когда солнце зацепилось за Бештау, когда Лермонтов увидел — с этой проезжей в немецкую колонию дороги — увидел последний раз золото солнца на вершине Бештау, — в тот час приехали к месту бойни блестящие офицеры: князя Васильчиков и Трубецкой, Алексей Аркадьевич Столыпин, гвардеец Глебов и — отставной майор Николай Соломонович Мартынов. Они приехали все вместе. — Лермонтов — был один. Мартынов был громоздок и красив, должно быть, как Николай Первый, если бы Николай отпустил бороду, предвосхитив своего внука. Мартынов приехал убивать человека, он был в черкесском белом бешмете, рукава бешмета были засучены, гозыри блестели серебром. Мартынов в бешмете походил на полосатый верстовой столб. Руки из-за засученных рукавов походили на руки мясника. Это был человек очень немногих движений, потому что он проверял каждый свой жест, чтобы каждый жест был непременно красив.

Все было очень просто.

Васильчиков и Глебов отмерили тридцать шагов, десять шагов, еще десять и еще десять: каждому по десяти шагов, чтобы идти к смерти, десять шагов мертвого пространства. Глебов передал пистолеты Лермонтову и Мартынову. Секунданты отошли в сторону смотреть, как будут убивать. За Машуком прогремел гром, вдалеке затрепетали без ветра листья.

Васильчиковскомандовал:

— Сходитесь!

Ворот красной лермонтовской рубашки был расстегнут, его рейтузы были измазаны землей, и желтый дубовый лист, оторвавшийся от ветки родимой, трепетал, зацепившись за голенище сапога. В горсти Лермонтова были вишни. Лермонтов взвел курок пистолета и взял пистолет под мышку, чтобы освободить руку для вишен. Мартынов был торжественен. Человек немногих движений, он торжественно двинулся с места, с левой ноги, пятки вместе, носки врозь. Он торжественно поднял пистолет, по всем правилам дуэлянтов. Он выстрелил. Лермонтов упал. Мартынов торжественно пошел в сторону, опустив дымящийся пистолет. Лермонтов упал с горстью вишен в руке и с пистолетом под мышкой. Лермонтов был мертв. В груди, в правом боку, дымилась рана, из левого текла кровь, — пуля прошла насквозь. Новый прогремел над Машуком гром, налетел ветер, стемнело сразу, тучи застлали небо, полил дождь. Солнце ушло за землю. Глаза мертвеца были открыты и были — мертвы. Дождь мочил волосы мертвеца, и белая прядь на лбу, которую так любила гладить м-м Гоммер де-Гэлль, выбилась из прически, завилась. Труп лежал на колее дороги.

Князь Васильчиков тогда поскакал в Пятигорск — за лекарем. Черный мрак пал на землю. Дождь лил и лил из-за Машука. Лекаря отказались ехать на место дуэли — по такой погоде, и требовали — или протокола, или приказа — полицейских. И тогда в город поехали Столыпин и Глебов — за извозчиком, чтобы перевезти труп. И опять гремели громы и перекатывались эхо в горах, и рвались молнии — и труп валялся на грязи дороги под дождем, молнии блестели над ним, и гремели громы. Извозчики в городе последовали лекарям. И только к полночи приехали полицейские дроги. Офицеры пошли к трупу, чтобы оттащить его в сторону от колеи, они поволокли его, — и мертвец тогда вздохнул, спертый воздух со свистом выступил из груди: Лермонтов вздохнул очень печально, очень глубоко и — облегченно. Мертвеца взвалили на дроги, прикрыли полицейской шинелью и повезли в город. Фуражка на земле осталась до утра коротать ночь, — а кровь осталась в земле — навсегда. И всю ночь рвалось небо молниями, и стонал лес, и метался ветер, и кричали совы.

...«Погребение пето не было»...

Усадьба Знаменское лежит под сердцем России, в тридцати верстах от Москвы, — и лежит в Черногрязенской волости родовая подмосковная.

Шли годы. Мимо усадьбы пролегла железная дорога. Вокруг усадьбы задымили заводы. Усадьба, ее парки, ее пруды, река Клязьма под горою, дом с колоннами, с мезонином и с часами на бельведере, конный двор, службы — остановили время. В залах этого дома стыла тишина. В залах этого дома висели родовые портреты. В кабинете хозяина этого дома — на письменном столе стоял портрет, один-единственный, небольшой, темный, сделанный масляными красками, неизвестного художника, — портрет Лермонтова. Лермонтов положил голову на руки и смотрел вперед — очень пристально, очень тяжелыми глазами. В этом доме нельзя было говорить о нем. Кабинет был пуст. Хозяин дома дни свои проводил в этом кабинете, никогда не появляясь на людях. За окнами осыпались листья и зеленели вновь, шли дожди и падали снега. В этом доме никогда не смеялись. Пало крепостное право, строились железные дороги и заводы, в 1871 году, в

тридцатилетие убийства Лермонтова, по всей России собирались деньги на памятник Лермонтову. Последние двадцать пять лет жизни хозяин дома выходил из своей усадьбы только раз в году— 15 июля. В дни около 15 июля хозяин дома совершенно замолкал. В этот же день — никто его не видел; полями, по бездорожью, он ходил на соседний заштатный погост князей Мышецких — и там служил — заупокойную обедню о рабе божием Михаиле. Дома в этот день он не выходил из своего кабинета, его никто не видел, и он сидел перед портретом — его. Он положил голову на руки и смотрел вперед. В этой усадьбе никогда не говорили — о нем. Дороги к усадьбе заросли лебедой.

Николай Соломонович Мартынов умер в родовой постели с 14-го на 15-е декабря 1875 года, через тридцать четыре года после дуэли. В завещании своем он наказал никаких надписей не делать на его могильном камне, даже имени, — дабы имя его было стерто песком времени.

Погребение пето — было.

Углич.

22 августа 1928

«Литературный Киргизстан», 1988, №5

Письмо писателей, оглашенное на литературном совещании при отделе печати при ЦКРКП(б) с подписью Б.А Пильняка. 9 мая 1924

Копия машинопись с правкой

«Мы нижеподписавшиеся русские писатели, узнав, что Отдел Печати при ЦК РКП организует литературное совещание, и не имея возможности присутствовать на нем, находим необходимым сообщить Совещанию нижеследующее:

Утверждая, что пути современной русской литературы – а стало – быть и наши идут и связаны с путями Новой России, строящейся в заветах Октября 1917 года, - мы думаем, что различные литературные группировки и те разногласия, как есть в критике, существуют не в плане отдаления и приближения к заветам Октября, а в плане понимания литературы и задач. Мы ниже подписавшиеся, думаем, что литература должна быть с одной стороны, отражателем той действительности, коя окружает нас, а с другой – на этой почве – созданием индивидуального писательского лица, каждый раз по своему воспринимающему мир и по своему его отражающему: мы полагаем, что озаренность писателя и его созвучие эпохе – есть основные ценности каждого писателя; - это в плане понимания литературных задач; в плане такого понимания писательства с нами рука об руку идет целый ряд писателей и критиков коммунистов.

Мы приветствуем писателей, выходящих из среды рабочих, крестьян и революционной интеллигенции и ни в коей мере не противопоставляем себя им, не считая их враждебными или чуждыми нам, и каждый из нас, что можно подтвердить нашей практикой, всячески стремится им помочь своими знанием и умением. Нападки на нас в этой области мы отпротестовываем. Мы, конечно, знаем, что право на звание писателя – высокое звание – дается не принадлежностью к той или иной группе или литературному толку, не приказом, но очень большим трудом, и культурою само – собой при наличии одаренности и понимания эпохи.

Рядом журналов, возглавляемых «На посту», и некоторыми критиками, к сожалению, сейчас принят такой ток, который во первых, часть выдается за мнение РКП в целом, а во вторых, истолковывает наши произведения заведомо – предвзято и неверно: мы считаем необходимым заявить, что такое отношение к литературе – недостойно ни литературы, ни революции и деморализует писательские нравы. Мы полагаем, что принадлежность к той или иной партии не определяет качество писателя.

Большинство писателей, подписавшихся здесь – есть практики литературы, но не теоретики её; если положение современной литературы отождествить с положением России в целом, то картина будет одинакова: практика гораздо запутаней, сложнее, трудней; - нам писателям – практикам, приходится делать очень трудную и ответственную работу: прокладывать (совместно с пролетарскими писателями конечно) Новые пути новой советской литературы, - трудные пути, на которых неминуемо должны быть ошибки. Наши ошибки тяжелее всего – прежде всего нам самим; и тот ток критики, который часто слышится по поводу нас, мы считаем первым делом палкой в колесо всем советской литературы, недолжным лишь тормозящим и разлагающим нашу и так не легкую работу, - тем – паче, что мы подписавшиеся здесь, мы берем на себя право утверждать это как факт, являемся одним из крупнейших и основных русел современной, советской литературы.

Заканчивая это письмо, мы, напомнив Совецанию еще об одном факте, именно о том чрезвычайно тяжелом материальном положении, в коем прибывают писатели, о скудности заработков, о бесквартирии, - направляем это письмо к сведению Совецания.

Москва, 9 мая 1924 г.

Бор. Пильняк»

Архивные данные

МИНУВШЕЕ И АКТУАЛЬНОЕ

Страницы литературной полемики 20-х годов

Двадцатые годы не случайно привлекают к себе внимание исследователей и читателей. Всестороннее знание истоков позволяет лучше понять закономерности развития трагизма как литературного процесса, так и советской культуры в целом.

Пожелтевшие страницы периодики доносят отзвуки литературной борьбы. Но не от частого ли произнесения термина «литературная борьба» он больше воспринимается как метафора, нежели как подлинное состояние культуры.

Столкновение разных воззрений, разного идейного, эстетического, этического мировосприятия, диаметрально противоположная оценка современных явлений, непримиримость в отношении к далекой и недавней истории — все это, как и многое другое, выявляло различный подход к проблеме «революция и культура». Но творчество не укладывалось в «прокрустово ложе» постулатов. И, переходя от деклараций к произведениям, их авторы нередко сами себя опровергали. Поэтому у представителей различных групп и группировок именно в художественной практике обнаруживалось больше общего, нежели различного, обусловленного манифестами, написанными в пылу полемики с позиций узкоцеховой приверженности. В Резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», опубликованной в «Правде» 1 июля 1925 года подчеркивалось, что «коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода гон литературной команды. Только тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитательное значение, когда она будет опираться на свое идейное превосходство. Марксистская критика должна решительно изгонять из своей среды всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное комчванство. Марксистская критика должна поставить перед собой лозунг — учиться, и должна давать отпор всякой макулатуре и отсебятине в своей собственной среде». Разве не звучат эти слова и сегодня актуально, разве в полной мере не относятся к современному уровню литературной критики?!

Состояние литературной критики, оставляющее желать лучшего, ее нетерпимость вызвали к жизни 9 мая 1924 года письмо большой группы писателей в Отдел печати ЦК РКП(б). Среди тридцати шести подписавших его были С. Есенин и О. Мандельштам, В. Катаев и Б. Пильняк, М. Пришвин и В. Каверин, И. Бабель и А. Толстой, М. Зощенко и М. Шагинян, В. Шишков и О. Форш, то есть художники разной творческой ориентации, оказавшиеся едиными в своей оценке литературной ситуации, сложившейся в начале 20-х

годов. «Мы считаем, — говорилось в письме, — что литература должна быть отражателем той новой жизни, которая, окружает нас, в которой мы живем и работаем, а с другой стороны, созданием индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего. Мы полагаем, что талант писателя и соответствие эпохе — две основных ценности писателя...

Новые пути новой советской литературы — трудные пути, на которых неизбежны ошибки. Наши ошибки тяжелее всего нам самим. Но мы протестуем против огульных нападков на нас. Тон таких журналов, как «На посту» и их критика, выдаваемые притом за мнение РКП в целом, подходят к нашей литературной работе заведомо предвзято и неверно. Мы считаем нужным заявить, что такое отношение к литературе не достойно ни литературы, ни революции и деморализует писательские и читательские массы. Писатели Советской России, мы убеждены, что наш писательский труд и нужен, и полезен для нее»¹.

Не потому ли, вспоминая атмосферу, царящую в среде творческой интеллигенции, Б. Пастернак в начале пятидесятых годов писал: «Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период, для Маяковского еще более убийственный² и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей- техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью, якобы, от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами. <...> Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюдаемой и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом и с общественным нигилизмом революции я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию, и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше»³.

Неудовлетворенность собой и общим состоянием литературы — одна из характерных черт времени поисков, времени проб и ошибок, времени творческого экспериментирования. Своеобразно перекликается в этом отношении с Б. Пастернаком и Б. Пильняк, который в книге «Камни и корни», увидевшей свет в 1934 году, призывал к иному: «И на самом деле, советским классикам и ортодоксам, Сейфуллиной, Николаю Огневу, Леониду Леонову, молодым талантам из хедера Марселя Пруста, давно надо было бы написать не публицистические комментарии к японцам, но отличный роман, множество отличных романов, в коих не надо было бы дочитывать современных персидских стихов о помещичьих идиллиях, ибо они написаны Пушкиным в «Евгении Онегине» или о японских оглы, ибо они описаны Боборыкиным, Синклером Льюисом и Тойохико Кагава. Этак в метельную московскую ночь, не теряя времени на нью-йоркские скрежеты и на токийские нюбаи, Николаю Огневу б бросить в ненадобность отошедшие Киндяковки и скомментировать Союз Социалистических Республик, цементируя его

социальной химией, его настоящее, его дорогу. Его дорога единственная. Его дорога пока не повторена всем человечеством. Его дорога сметет все кагавские христианства»⁴.

В начале 30-х годов Виктор Кин с болью и сарказмом отмечал: «У пролетарской литературы есть не только лицо, но и задница»⁵. Аналогичное суждение высказал еще в 20-е годы Виктор Шкловский: «Ведь нельзя же так: одни в искусстве проливают кровь и семя. Другие мочатся. Приемка по весу»⁶.

Понятно, почему проблемы развития революционной литературы находились в поле зрения известных общественных деятелей 20-х годов. Совещание, созванное 9 мая 1924 года Отделом печати ЦК РКП(б), «О политике партии в художественной литературе» выявило различный, порой внутренне противоположный подход к пониманию путей развития новой культуры.

А. Воронский, в своем докладе, анализируя современный ему литературный процесс, говорил; «Искусство по природе своей, как и наука, не поддается такому легкому регулированию, как некоторые иные области нашей жизни. У искусства есть свои собственные методы, как и у науки, у него есть свои законы развития, есть своя история. В новом, прооктябрьском искусстве, еще все в будущем, все в переплавке, вначале, вчерне, многое не ясно, не обнаружено. Это обстоятельство тоже диктует нам осторожный подход. <...> Удельный вес литературы велик и с каждым месяцем возрастает. <...> Считать в настоящий момент, что такие «стариками», как Горький, Толстой и т. д., пленили нас, могут только люди в совершенно горячем состоянии. <...> Что есть буржуазность? <...> У нас проповедают и советуют выбросить классиков за борт современности, в то же время, как перед рабочим классом стоит задача научить массу крестьян и рабочих читать и понимать Пушкина, Толстого, Горького. Буржуазность это или нет? Буржуазность или нет, когда ведут борьбу против искусства, как особого метода чувственного познания жизни, и выдвигают теорию жизнестроения, противопоставляя его жизнепознанию.

<...> Вместо живых людей революции нам дают символику, вместо поступательного развития получается вымученность, и часто под видом пролетарского искусства нам преподносят продукты буржуазного искусства старых времен»⁷.

В выступлении Ф. Раскольниковца нашла отражение иная точка зрения: «Когда мы, товарищи, возражаем против печатанья одиозных вещей Пильняка, Алексея Толстого, то мы этим вовсе не хотим сказать: «К стенке Пильняка, назад за границу А. Толстого». Это писатели, каждый в своем роде, конечно, талантливы, и мы совершенно не хотим создавать для них атмосферы бойкота и вовсе не требуем, чтобы им было воспрещено печататься на территории Советского Союза⁸. Мы только стремимся исправить нашу партийную политику в художественной литературе. Мы настаиваем только на том, чтобы эти чужие, а порою враждебные нам авторы перестали находить себе гостеприимный прием на страницах наших партийных и советских изданий. Сейчас, например, открывается буржуазный журнал «Русский Современник»⁹. Нет никакого сомнения в том, что часть литераторов, собранная тов. Воронским, утечет туда, так как там по-видимому будет более высокий гонорар <...> Но нам, товарищи, в нашей партийной и советской литературе надо проводить последовательную политику. В наших журналах отделы публицистики и художественной литературы должны составлять законченный монолит. Я не обвиняю тов. Воронского за то, что он пишет. Он это пишет совершенно справедливо. Но я обвиняю его в том, что он произведения этих авторов печатает в нашем советском

журнале под маркой Государственного издательства. <... > Я не говорю что всех этих авторов надо бойкотировать или «тащить и не пущать». Конечно, сколько им угодно, они могут печататься, но только не в наших советских, партийных журналах и не на рабоче-крестьянские средства»¹⁰.

«Нужно в конце концов понять, — говорил на совещании Н. И. Бухарин, — что наши пролетарские писатели должны заниматься не писанием тезисов, как они до сих пор занимаются, а писанием литературных произведений. <...> И мне кажется, что лучшим средством загубить пролетарскую литературу, сторонником которой я являюсь, величайшим средством ее загубить является отказ от принципов анархической конкуренции, потому что нельзя сейчас выработать хороших писателей, которые бы не прошли определенной литературной жизненной школы, жизненной борьбы, которые бы не завоевали себе места, не отвоевали бы каждой пяди своей позиции в этой борьбе. Если мы, наоборот, станем на точку зрения литературы, которая должна быть регулирована государственной властью и пользоваться всякого рода привилегиями, то мы не сомневаемся, что в силу этого мы погубим пролетарскую литературу. Мы сделаем из нее бог знает кого. Разве, товарищи, мы не видим, что в области нашей пролетарской литературы есть большой грех, — писатель написал 2-3 произведения, а он уже начинает себя стричь под гребенку Гёте?..»¹¹

На диспуте о судьбах русской интеллигенции 10 марта 1925 года в Большом зале консерватории Бухарин отмечал: «Мы говорим, обращаясь ко всем работникам интеллигентного труда, ко всем тем, кто имеет знания, надо работать дружно. Надо повернуть только в определенную сторону. Наша партия никогда не сможет выпустить руля из своих рук и стать на точку зрения другой идеологии. Мы располагаем колеса, как нужно социализму, мы будем действовать во всех областях под давлением той твердой идеологии, которая есть у нас а руках, и от этой идеологии никогда не откажемся»¹².

Вопрос об отношении к творческой интеллигенции — один из важнейших в культурном строительстве. В 20-е годы появляется термин «попутчики», в котором отразились бурные споры о том, нужны ли новой литературе старые кадры.

Л. Д. Троцкий, автор термина «попутчики», закрепленного в упоминаемой Резолюции ЦК РКП(б), на Совещании 9 мая 1924 года утверждал; «Кто такой «попутчик»? «Попутчиком» мы называем в литературе, как и в политике, того, кто ковыляя и шатаясь, идет до известного пункта по тому же пути, по которому мы с вами идем гораздо дальше. Кто идет против нас, тот не попутчик, тот враг, того мы при случае высылаем за границу, ибо благо революции для нас высший закон»¹³.

А. В. Луначарский на Совещании спорил и с напостовцами, и с Троцким; «Одни говорят здесь, что искусство есть особый метод познания жизни, другие — что искусство есть функция общества (Воронский, Раскольников — А. К.). Так или иначе, но гениальное художественное произведение, очевидно, ценно для нас. <...> С этой точки зрения, почти все произведения искусства без исключения, раз они талантливы, полезны для нас. <...> Откуда такие страхи, что малейшие чуждые нам или просто не совпадающие с нашими тенденциями черты в произведении искусства делают его уже ядовитым? Наш пролетариат достаточно крепок, нам нечего нежничать и бояться промочить себе ножки чужой политической водой. Вносить ясность в такие произведения, не совпадающие с

нашими политическими тенденциями, мы можем путем хорошо поставленной критики, но отнюдь не воспрещением...

От нас отпугивают художников и ученых всякие симптомы нашей нетерпимости. Мы должны это твердо помнить. А Владимир Ильич прямо говорил, что сумасшедший коммунист может думать, что коммунизм в России может быть осуществлен только коммунистическими руками. Теперь я хотел бы возразить т. Троцкому. Тов. Троцкий неправ относительно пролетарской культуры. В своей книге он говорит, что нам нужно теперь революционное искусство. Но какое же революционное? Общечеловеческое, внеклассовое? Революция, ведь, у нас пролетарская. Ссылка на то, что мы не успеем развернуть пролетарское искусство, как очутимся в коммунистическом раю, где искусство будет общечеловеческим, ровно ничего не говорит. <...> По всем этим соображениям я считаю единственно правильным выводом из нашей дискуссии только тот, что пролетарскую литературу нужно всячески поддерживать, как нашу главную надежду, но «попутчиков» ни в коем случае не отталкивать»¹⁴.

Различие точек зрения на пути новой литературы, существовавшие в 20-е годы, представляет ту атмосферу, которая сопутствовала зарождению советской литературы, как явления. Совещание в Отделе печати ЦК РКП(б) — одна из вех, иллюстрирующих выработку общей линии в литературной политике. Когда писателей пытались поставить во фронт вывода на первый план их творчества социальное происхождение.

Примечания

1 Вопросы культуры при диктатуре пролетариата: Сб-к. — М.-Л., 1925, с. 137—138.

2 Б. Пастернак, по воспоминаниям А. Гладкова, рассказывал: «7 марта 1942 г. <...> Ряд лет я был далек от него (Маяковского — А. К.) из-за всего, что определяло атмосферу лефовской группы и главным образом из-за компании вокруг Бриков. Когда-нибудь биографы установят их губительное влияние на Маяковского». И несколько раньше: «27 фев. 1942 г. <...> Я (А. К. Гладков — А. К.) прошу Г. О. (Винокура — А. К.) прокомментировать мне странную фразу, недавно сказанную Б. Л. (Пастернаком — А. К.) о том, что «квартира Бриков была в сущности отделением московской милиции» <...> Г. О. усмехается, молчит, но потом с оговорками, что это только его личное мнение и прочее, начинает рассказывать о дружбе Бриков со знаменитым Яном Аграновым, крупным чекистом, занимавшимся по своей части литературными делами. Агранов сначала заведовал специальным отделом в ГПУ и НКВД, потом стал заместителем наркома и погиб в 1937 году (тогда говорили, вспоминаю я, что он выбросился из окна, когда за ним «пришли»). Агранов с женой часто бывали у Бриков. Г. О. сам его у них встречал. По его могучей протекции Маяковскому так легко разрешали заграничные поездки, но, когда В. В. (Маяковский — А. К.) влюбился в Татьяну Яковлеву, сделал ей предложение и должен был снова ехать осенью 1929 г. в Париж, ему не дали визу. Возможно, Брики опасались женитьбы Маяковского на эмигрантке и, вероятно, информировали об этом Агранова. На Маяковского этот первый в его жизни отказ в визе произвел страшное впечатление. С его цельностью он не мог понять и примириться с тем, что ему, Маяковскому, не доверяют. Тут начало внутренней драмы, которая привела его к самоубийству. Г. О. говорит, что это не обязательно трактовать плохо: со своей точки зрения, Брики были, быть может, и правы, оберегая Маяковского от этого опасного, по их

мнению, увлечения, но, так или иначе, во вмешательстве Агранова было нечто зловещее. Вероятно, Б. Л. имел в виду этот эпизод, о котором друзья Маяковского знали».

3 Из письма Б. Л. Пастернака к В. Т. Шаламову от 9 июля 1952 г. — Цит. по воспоминаниям: Варлам Шаламов. Двадцатые годы: Заметки студента МГУ. — Юность, 1987, № 12, с. 29

4 Бор. Пильняк. Камни и корни. — М., 1934, с. 196

5 Виктор Кин. Избранное. — М., 1965, с. 314

6 В. Шкловский. Третья фабрика. — М., 1926, с. 103

7 Вопросы культуры при диктатуре пролетариата, с. 58—62.

8 Пройдет чуть более пятнадцати лет и в «Открытом письме Сталину» Ф. Раскольников будет вынужден написать: «Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично Вам неугодных писателей. Где Борис Пильняк?...» Пильняка уже не будет в живых — литературная борьба воспринималась в те годы зловеще упрощенно.

9 Журнал «Русский Современник» войдет в историю отечественной культуры тем, что на его страницах впервые появится очерк М. Горького «Владимир Ленин» (1924, № 1).

10 Вопросы культуры при диктатуре пролетариата, с. 75-76. «История русской советской журналистики» зафиксировала это время:

...Когда в конце 1924 года в редакции «Красной нови» наметились перемены и новый руководитель журнала Ф. Раскольников (сменивший А. Воронского — А. К.) обратился к Горькому с предложением о сотрудничестве, Горький послал ему следующий ответ: «Мое отношение к искусству слова не совпадает с Вашим, как оно выражено Вами в речи Вашей на заседании «Совещания», созванного Отделом печати ЦК 9 мая 1924 г. Поэтому сотрудничать в журнале, где Вы, по-видимому, будете играть командующую роль, я не могу». (М. М. Кузнецов. «Красная новь». — В. кн.: Очерки истории русской советской журналистики (1917-1932). — М., 1966, с. 210).

11 Вопросы культуры при диктатуре пролетариата, с. 83-84.

Мысли Н. Бухарина нашли отражение в Резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925), где говорилось, что «партия должна высказаться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области. Всякое иное решение вопроса было бы казенно-бюрократическим псевдорешением». И несколько раньше: «Руководя литературой в целом, партия так же мало может поддерживать какую-либо одну фракцию литературы».

12 Н. И. Бухарин. Судьбы русской интеллигенции. — В сб.: Вопросы культуры при диктатуре пролетариата, с. 162—163.

13 Вопросы культуры при диктатуре пролетариата, с. 93.

ПРОЧЕСТЬ БЕЗ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ

Долгие годы фамилия этого человека, если и упоминалась, то обязательно с добавлением «Иудушка» или «политическая проститутка», при этом ссылались на слова В. И. Ленина. Так и говорили: «Как верно сказал Владимир Ильич», или «как метко отметил Владимир Ильич». Давно фамилия человека, о котором речь, стала притчей во языцех, исчезла со страниц справочной и исторической литературы. Конечно, не совсем исчезла. Политическое движение, названное его именем, присутствовало в учебниках и энциклопедиях, а самого имени не было. И не понятно было, являлся ли он создателем этого политического движения, или оно искусственно было прикреплено к нему.

Сведения о нем, кроме полного собрания сочинений В. И. Ленина, неожиданно нашлись в комментариях к собранию сочинений А. Блока: «Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович (1879—1940), злейший враг ленинизма, исключен из РКП(б) (1927), выслан из СССР (1929) и лишен советского гражданства (1932)». В энциклопедических изданиях за политическими ярлыками основные даты жизни его не проглядываются. Вот характерный пример подобного подхода: «Троцкизм, агентура империалистич. буржуазии в рабочем движении, опаснейшая разновидность меньшевизма. Троцкисты — безыдейная и беспринципная банда вредителей, разведчиков, шпионов, провокаторов в международном рабочем движении, действующих по заданиям разведыват. органов реакционных бурж. правительств». Это из «Энциклопедического словаря», т. 3, М. 1955, статья «Троцкизм». Статья «Троцкий» отсутствует, как и в «Большой Советской Энциклопедии» (т. 43, 1956), так и в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (М., 1983), и в «Кратком политическом словаре» (разных лет издания), и... Список этот можно множить до бесконечности. Есть «троцкисты», есть «троцкизм», а «Троцкого» нет. И никого это не волновало. Такой «научный» подход считался, да и считается, нормальным. Поэтому обратимся к художественной литературе. Сегодня Троцкий уже персонаж произведений М. Шатрова, Л. Лиходеева, статей публицистов...

Но вот несколько цитат. «С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела... Напоминаю, что октябрьский эпизод Зиновьева и

Каменева, конечно, не является случайностью, но что он так- же мало может быть ставим им в вину лично, как меньшевизм Троцкому». Это В. И. Ленин, его «Письмо съезду»

(В. И. Ленин, ПСС, т. 45, с. 343—348).

Поверим вождю революции, который Троцкого характеризует, как человека, отличающегося выдающимися способностями, «самого способного... в настоящем ЦК», которому меньшевизм в 1922 году «мало может быть ставим в вину».

«...вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством товарища Троцкого, которому партия обязана прежде всего и главным образом». И.В Сталин «Правда» 7 ноября 1918г. годовщин Октябрьской революции.

Жизнь и деятельность Троцкого — тема будущих исторических исследований. Его положение в сегодняшней истории двусмысленно. Не репрессирован, но и не реабилитирован. А пока приходится довольствоваться художественной литературой и разрозненными сведениями полуполулегендарного характера, такими, как то, что партийная кличка Л. Д. Бронштейна появилась, когда молодой революционер, бежав из заключения, экспроприировал документы надзирателя Одесской тюрьмы Троцкого. В Одессе родилась и провела литературную молодость двоюродная сестра Троцкого — Вера Инбер, в семье которой нередко он бывал. Понятно, что об этом Инбер не только не писала, но и старалась забыть, т. к. такое родство грозило самыми страшными последствиями.

Публикация - выступления Л. Троцкого на Совещании при Отделе Печати ЦК РКП(б), посвященном политике партии в художественной литературе, которое состоялось 9 мая 1924 года (сборник «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата», ГИЗ, 1925 год).

Различное толкование путей развития революционной литературы выявило диаметрально противоположный подход художественных объединений в понимании задач творчества. Тем, кто жаждал уложить все многообразие советского искусства в «прокрустово ложе» своей организационно-пролетарствующей гегемонии, был дан бой. Позже, когда руками РАППа советская литература обретет желанное единообразие, РАПП, как мавр, сделавший свое черное дело, будет ликвидирован.

Прочитайте без предубеждения стенограмму выступления Л. Троцкого и вы увидите живую мысль, организаторское мастерство и литературно-критический опыт и, главное, здравомыслие.

Зачем и почему! Эти два вопроса резонно могут возникнуть у читателя. Зачем печатать?

Ещё до 1917 года Троцкий известен, как талантливый литературный критик, автор многочисленных рецензий.

С имени Троцкого с конца 80-х годов 20 века уже снято «табу». Появились художественные произведения, в которых он, один из персонажей: пьесы «Брестский мир» и «Дальше... Дальше... Дальше!» М. Шатрова, статьи о его жизни и трагической

смерти (Х. Кобо «Убийца Троцкого: палач или жертва» — «Московские новости», 1989, № 12, с. 15—16), статья С. Заворотного «Он стрелял в Троцкого» («Комсомольская правда», 1989, 22 марта) и другие; на полки библиотек возвратились его работы. Отбрасываются старые стереотипы. Не будем впадать в иную крайность, от полного проклятия к бездумному восхвалению. Лучшие почитаем, поразмыслим, прежде чем делать выводы...

Революция привела к победе пролетариата, победа пролетариата ведет к преобразованию экономики. Преобразование экономики меняет культурный облик трудящихся масс.

А культурный рост трудящихся создает настоящую базу для новой литературы и вообще для нового искусства. Современно ли это сегодня!

Л. Троцкий. Мне думается, что наиболее отчетливо точку зрения группы «На Посту»¹ выразил здесь Ч. Раскольников², — от этого вы не уйдете, товарищи «напостовцы» После долгой отлучки Раскольников выступал здесь со всей афганистанской свежестью³, тогда как другие «напостовцы» немножко вкусили от древа познания, и наготу свою стараются прикрыть, — кроме, прочем, т. Бардина⁴, который в чем родился, в том и живет.

(Вардин: «Да, ведь вы не слышали, что я здесь говорил!»). Верно, я пришел позже. Но, во-первых, я прочитал вашу статью в последнем номере «На Посту»; во-вторых, я только что пробежал стенограмму вашей речи, а в-третьих — должен сказать, что можно, и не слыша вас, знать заранее, что вы скажете. (Смех).

Но вернемся к т. Раскольникову. Он говорит: нам рекомендуют «попутчиков», а разве старая, довоенная «Правда»⁵ или «Звезда»⁶ печатала произведения Арцыбашева⁷, Леонида Андреева⁸ и других, которых теперь непременно объявили бы «попутчиками»? Вот вам образчик свежего, не обремененного размышлениями подхода к вопросу. При чем тут Арцыбашев и Андреев? Насколько я знаю, они никем не были объявлены

«попутчиками». Леонид Андреев умер в состоянии эпилептической ненависти к Советской России. Арцыбашев был не так давно попросту выслан за границу. Нельзя же так безбожно путать! Кто такой «попутчик»? «Попутчиком» мы называем в литературе, как и в политике, того, кто, ковыляя и шатаясь, идет до известного пункта по тому же пути, по которому мы с вами идем гораздо дальше. Кто идет против нас, тот не попутчик, тот враг, того мы при случае высылаем за границу, ибо благо революции для нас высший закон. Каким же образом вы можете припутывать к вопросу о «попутчиках» Леонида Андреева?

(Раскольников: «Ну, а как же насчет Пильняка?») Если вы будете говорить об Арцыбашеве, а думать о Пильняке, я не могу с вами полемизировать. (Смех. Возглас: «Не все ли равно?»). Как так: на все ли равно? Если вы называете имена, то вы должны и отвечать за них. Хорош ли Пильняк или плох, чем хорош и чем плох, — но Пильняк есть Пильняк, и о нем нужно говорить, как о Пильняке, а не как о Леониде Андрееве. Познание вообще начинается с различения вещей и явлений, а не с хаотического смешения... Раскольников говорит: «Мы не звали в «Звезду» и «Правду» «попутчиков», а искали и находили поэтов и литераторов в толщах пролетариата». Искали и находили! В толщах пролетариата! Но куда же вы их девали? Почему вы их от нас скрываете? (Раскольников: «Они есть, например, Демьян Бедный»). Ах, вот как, а я и не знал, признаться, что Демьян Бедный открыт вами в толщах пролетариата. (Общий смех). Вот видите, с каким багажом мы подходим к вопросам литературы: говорим о Леониде Андрееве, а думаем о Пильняке; хвалимся, что нашли в толщах пролетариата литераторов и поэтов, а наверху за всю «толщу» отвечает один Бедный. (Смех). Нельзя же так. Это легкомыслие. Нужно побольше серьезности в этом вопросе.

Попробуем, в самом деле, более серьезно подойти к тем дореволюционным рабочим изданиям, газетам и журналам, о которых здесь упоминалось. Мы все помним, что там было немало стихов, посвященных борьбе, Первому мая и пр. Все эти стихи, в сумме своей, были очень важными и значительными культурно-историческими документами. Они знаменовали революционное пробуждение и политический рост класса. В этом смысле культурно-историческое значение не меньше, чем значение произведений Шекспиров, Мольеров и Пушкиных всего мира. В этих беспомощных стихах — залог новой, более высокой человеческой культуры, которую создадут пробужденные массы, когда овладеют элементами старой культуры. Но, тем не менее рабочие стихи «Звезды» и «Правды» еще отнюдь не означают возникновения новой, пролетарской литературы. Нехудожественные вирши державинского или додержавинского стиля никак не могут оцениваться, как новая литература, хотя те мысли и чувства, которые искали себе выражение в этих стихах, и принадлежат начинающим писателям из среды рабочего класса. Неверно думать, будто литературно, развитие представляет собою неразрывную цепь, в которой наивные, хотя бы и искренние вирши молодых рабочих начала этого столетия являются первым звеном будущей «пролетарской литературы». На самом деле, эти революционные стихи были политическим фактом, а не литературным. Они содействовали не росту литературы, а росту революции. Революция привела к победе пролетариата, победа пролетариата ведет к преобразованию экономики. Преобразование экономики меняет культурный облик трудящихся масс. А культурный рост трудящихся создает настоящую базу для новой литературы и вообще для нового искусства. «Но нельзя же допускать двойственности, — говорит нам т. Раскольников, — нужно чтобы в наших изданиях публицистика и поэзия представили собою одно целое; большевизм отличается монолитностью» и пр. На первый взгляд, это соображение кажется неотразимым. На деле

же оно представляет бессодержательную абстракцию. В лучшем случае это — благочестивое, но не реальное благопожелание. Конечно, было бы великолепно, если бы мы имели в дополнение к нашей коммунистической политике и публицистике большевистское мироощущение, выраженное в художественной форме. Но этого нет, и нет совсем не случайно. Суть дела в том, что художественное творчество, по самой сути своей, отстает от других способов выражения духа человека, а тем более класса. Одно дело понять что-нибудь и логически выразить, а другое дело — органически усвоить это новое, перестроить порядок своих чувств и найти для этого порядка художественное выражение. Второй процесс — органичнее, медленнее, труднее поддается сознательному воздействию — и в последнем счете всегда запаздывает. Публицистика класса бежит вперед на ходулях, а художественное творчество ковыляет сзади на костылях. Ведь Маркс и Энгельс были великими публицистами пролетариата в тот период, когда класс еще настоящему не пробуждался. (С места: «Да, это-то правильно»). Я вам очень благодарен. (Смех). Но потрудитесь же сделать из этого необходимые выводы и понять, почему нет этой монолитности между публицистикой и поэзией, а это облегчит нам в свою очередь понимание того, почему в старых легальных марксистских журналах мы всегда оказывались в блоке или полублоке с художественными «попутчиками», иногда очень сомнительными, а то и просто фальшивыми. Вы помните, конечно, «Новое Слово», — лучший из старых легальных марксистских журналов, в котором сотрудничали многие из марксистов старшего поколения, в том числе и Владимир Ильич. Журнал этот, как известно, вел дружбу с декадентами. Чем это объяснялось? Тем, что декаденты были в ту пору молодым и гонимым течением буржуазной литературы. И эта гонимость толкала их в сторону нашей оппозиционности, которая имела, конечно, совсем иной характер. Но все же декаденты оказались нашими временными попутчиками. И дальше марксистские журналы (о полумарксистских и говорить нечего), вплоть до «Просвещения», не имели какого-либо «монолитного» художественного отдела и отводили широкое место «попутчикам». Можно было быть в этом отношении строже или снисходительнее, но «монолитной» политики в области искусства проводить нельзя было за отсутствием необходимых для этого художественных элементов.

Но Раскольникову этого по существу и не требуется. В художественных произведениях он игнорирует как раз то, что и делает их художественными. Это ярче всего выразилось в его замечательном суждении о Данте. «Божественная комедия», по его мнению, ценна для нас именно тем, что позволяет понять психологию определенного класса определенной эпохи. Ставить вопрос так — значит просто вычеркивать «Божественную комедию» из области искусства. Может быть, и пора это сделать, но только нужно тогда ясно понять суть вопроса и не бояться выводов. Если я говорю, что значение «Божественной комедии» в том, что она дает мне понимание настроения определенных классов в определенную эпоху, то тем самым я превращаю ее только в исторический документ, ибо, как художественное произведение, «Божественная комедия» должна говорить кое-что моим собственным чувствам и настроениям. Комедия Данте может действовать на меня угнетающе, питать во мне пессимизм, уныние, или, наоборот, приподнимать меня, окрылять, ободрять... Вот это и есть основное взаимоотношение между читателем и художественным произведением. Конечно, ничто не запрещает читателю выступить в качестве исследователя и отнестись к «Божественной комедии» только как к историческому документу. Ясно, однако, что эти два подхода лежат в двух разных плоскостях, которые связаны между собой, но не покрываются друг другом. Каким же образом мыслимо не историческое, а непосредственно эстетическое отношение

между нами и средневековым итальянским произведением? Объясняется это тем, что у классового общества, несмотря на всю его изменчивость, имеются некоторые общие черты. Развившиеся в средневековом итальянском городе произведения искусства могут, как оказывается, заражать и нас. Что для этого требуется? Немногое: требуется, чтобы эти чувства и настроения получили такое широкое, напряженное, могущественное выражение, которое поднимало бы их над ограниченностью тогдашней жизни. Конечно, и Данте — продукт определенной социальной среды. Но Данте — гений. Он поднимает переживания своей эпохи на огромную художественную высоту. И если мы, относясь ныне к другим средневековым художественным произведениям только как к объекту изучения, к «Божественной комедии» подходим, как к источнику художественного восприятия, то происходит это не потому, что Данте был флорентийским мелким буржуа XIII столетия, а, в значительной мере, несмотря на это обстоятельство.

Возьмем, например, такое элементарное физиологическое чувство, как страх смерти. Само это чувство свойственно не только людям, но и животным. У людей оно нашло сперва простое членораздельное, а затем и художественное выражение. В разные эпохи, в разной социальной среде это выражение менялось, т. е. люди боялись смерти по-разному. И, тем не менее, то, что по этому поводу сказано не только у Шекспира, Байрона, Гете, но и у псалмопевца, способно заражать нас. (Возглас т. Либединского), Да, да, я как раз пришел в тот момент, когда вы, т. Либединский, объясняли т. Воронскому¹¹ в терминах политграмоты (вы сами так выразились) насчет изменчивости чувств и настроений у разных классов. В такой общей форме это бесспорно. Однако все же вы не станете отрицать, что Шекспир и Байрон кое-что говорят нашей с вами душе (Либединский: «Скоро перестанут говорить»). Скоро ли, — не знаю, но несомненно, наступит эпоха, когда люди будут относиться к произведениям Шекспира и Байрона так же, как мы к средневековым поэтам, т. е. исключительно под углом зрения научно исторического анализа. Еще раньше, однако, наступит время, когда люди перестанут искать в «Капитале» Маркса поучений для своей практической деятельности, и «Капитал» станет только историческим документом, как и программа нашей партии. Но сейчас-то мы с вами не собираемся еще сдавать в архив Шекспира, Байрона, Пушкина, и чтение их будем рекомендовать рабочим. Тов. Сосновский, например, усиленно рекомендует Пушкина, заявляя, что лет на пятьдесят его еще непременно хватит. Не будем говорить о сроках. Но в каком смысле мы можем рекомендовать рабочему Пушкина? Классовой пролетарской точки зрения у Пушкина нет, монолитного выражения коммунистических настроений и подавно. Конечно, у Пушкина превосходный язык, — что и говорить, — но, ведь, язык этот служит у него для выражения дворянского мироотношения» Скажем ли мы рабочему: читай Пушкина, чтобы понять, как дворянин, владелец крепостных душ и камер-юнкер, встречал весну и провожал осень? Конечно, и этот элемент есть у Пушкина, ибо Пушкин вырос на определенном социальном корне. Но то выражение, которое Пушкин давал своим настроениям, так насыщено художественным и вообще психологическим опытом веков, так обобщено, что его хватило на наше время и, по словам т. Сосновского, хватит еще лет на пятьдесят. И когда мне говорят, что художественное значение Данте для нас определяется тем, что он выражает быт определенной эпохи, то приходится только развести руками. Я уверен, что многим, как и мне, пришлось бы за чтением Данте весьма и весьма напрячь память, чтобы вспомнить время и место его рождения, и, тем не менее, это не помешало бы получить художественное наслаждение, если не от всей «Комедии», то, по крайней мере, от некоторых ее частей. Поскольку я не историк средневековой культуры, у меня отношение

к Данте преимущественно художественное. (Рязанов¹²: «Это уже преувеличение. «Данте читать — что в море купаться», — так против Белинского выразился Шевырев,¹³ который тоже был против истории»), Я не сомневаюсь, что Шевырев действительно так выразился, как говорит т. Рязанов, но я не против истории, — это напрасно. Конечно, исторический подход к Данте законен и необходим влияет на наше эстетическое к нему отношение, но нельзя одно подставлять вместо другого. Мне вспоминается, что писал по этому поводу Кареев¹⁴ в полемике с марксистами: пускай, дескать они, марксисты (так тогда ироническое величали марксистов), покажут нам, какими такими классовыми интересами продиктована «Божественная комедия». А с другой стороны, итальянский марксист старик Антонио Лабриола¹⁵ писал примерно так: «Пытаться истолковывать текст «Божественной комедии» накладными на то сукно, которое отправляли своим заказчикам флорентийские купцы, могут только дураки». Выражение такое помню почти дословно, ибо в полемике с субъективистами мне приходилось не раз цитировать эти строки в старые годы. Думаю, что т. Раскольников не только к Данте, но и вообще к искусству подходит не с марксистским критерием покойного Шулятикова¹⁶, который дал в этой области карикатуру на марксизм. Против такой карикатуры и сказал свое крепкое слово Антонио Лабриола*).

*Приводим здесь дословно энергичный окрик Антонио Лабриола по адресу тех упрощителей, которые Марксову теорию превращают в шаблон и всеобщую отмычку: «Ленивые умы... пишет лучший итальянский философ марксизма — охотно удовлетворяются подобными грубыми заявлениями. Какой праздник и какая радость для всех беспечных и неразборчивых людей: заполучить, наконец, в небольшом, заставленном из нескольких предложений резюме всю науку и иметь возможность при помощи одного единственного ключа проникать во все тайны жизни! Свести все вопросы этики, эстетики филологии, исторической критики философии к одному единственно вопросу и избавиться, таким образом от всех трудностей! Таким путем глупцы могли бы низвести всю историю степени коммерческой арифметики, в конце концов, новое оригинальное толкование творения Данте могло представить нам «Божественную комедию» в свете тех счетов на суконные товары, которые продувные флорентийские купцы продавали с великой для себя выгодой!»

Вот уж поистине не в бровь, в глаз! (Примечание Троцкого А. К.).

Тов. Плетнев¹⁷ тут, в защиту своих абстракций пролетарской культуры и ее составной части — пролетарской литературы, ссылаясь против меня на Владимира Ильича. Вот уж подлинно в точку попал! На этом нужно остановиться. Недавно вышла даже целая книжка Плетнева, Третьякова и Сизова, где пролетарская культура защищается ссылками на Ленина против Троцкого. Этот метод ныне очень модный. На эту тему Вардин мог бы написать целую диссертацию. Но, ведь, вы тов. Плетнев, очень хорошо знаете, как обстояло дело, ибо вы сами приходили ко мне спасаться от громов Владимира Ильича, который за эту самую «пролетарскую культуру» собирался, как вы думали, прикрыть Пролеткульт¹⁸ целиком. А я обещал вам, что существование Пролеткульта, на известных основаниях, буду защищать, но что в отношении богдановской абстракции пролетарской культуры я полностью против вас и вашего протектора Бухарина и целиком согласен с Владимиром Ильичем.

Тов. Вардин, который выступает теперь не иначе, как в качестве живого воплощения партийной традиции, не стесняется грубейшим образом попирать то, что писал о

пролетарской культуре Ленин. Пустосвятства, как известно, на свете немало: сошлись покрепче на Ленина, а проповедуй прямо противоположное в терминах, которые не допускают никакого иного толкования, Ленин беспощадно осудил «болтовню о пролетарской культуре».19 Нет, однако, ничего проще, как отделаться от этого свидетельства: конечно, мол, Ленин осуждал болтовню о пролетарской культуре, но, ведь, он осуждал именно болтовню, а мы вот не болтаем, а серьезно взялись за дело и даже подбоченились... При этом только забывается, что резкие свои осуждения Ленин направлял как раз Против тех, которые на него ссылаются. Пустосвятства, повторяю, сколько угодно: ссылайся на Ленина, а поступи наоборот...

Позвольте, товарищи, сказать ещё несколько слов о тактике т. Вардина в области литературы, взяв хотя бы за основу его последнюю статью в «На Посту». По-моему, это не тактика, а скандал! Тон чудовищно высокомерен, а знаний и понимания убийственно мало. Нет понимания искусства, как искусства, т. е. как особой, специфической области человеческого творчества. Нет и марксистского понимания условий и путей развития искусства. Взамен этого есть недостойное жонглирование цитатами из заграничных белогвардейских органов, которые, видите ли, похвалили т. Воронского за издаваемые им произведения Пильняка, или должны были похвалить, или сказали кое-что такое, что направлено против Вардина и, стало быть, за Воронского, и прочее, и прочее — в том же духе косвенных улик, которые должны возместить недостаток знания и понимания. Последняя статья т. Вардина построена на том, что белогвардейская газета одобрила Воронского против Вардина, написавши, что весь бой пошел, как только Воронский стал, относиться к литературе литературной точки зрения. Тов. Воронский, своим политическим поведением, — так говорит Вардин, — вы белогвардейский поцелуй вполне заслужили». Но, ведь, это инсинуация, а не анализ вопроса! Если Вардин собьется в таблице умножения, а Воронский в этом совпадет с белогвардейцем, знающим арифметику, то тут для политической репутации Воронского ущерба еще нет. Да, к искусству надо относиться как к искусству, к литературе — как к литературе, т. е. как совершенно специфической области человеческого творчества. Конечно, у нас есть классовый критерий и в искусстве, но это классовый критерий должен быть художественно преломлен, т. е. сообразован с совершенно специфической особенностью того творчества, к которому мы наш критерий применяем. Буржуазия это прекрасно знает, она тоже подходит к искусству со своей классовой точки зрения, она умеет получить от искусства то, что ей нужно, но именно благодаря тому, что она подходит к искусству, как к искусству. Что же мудреного, если художественно-грамотный буржуа неуважительно относится к Вардину, который подходит к искусству с точки зрения косвенных политических улик, а не с художественно-классовым критерием? И если мне чего совестно, так не того, что у меня в этом споре может оказаться формальное совпадение с каким-либо понимающим искусство белогвардейцем, а того, что я вынужден перед лицом этого белогвардейца разьяснять рассуждающему об искусстве партийному публицисту первые буквы в азбуке искусства.

Нельзя подходить к художеству так, как к политике, — не потому, что художественное творчество есть священнодействие и мистика, как здесь кто-то иронически говорил, а потому, что оно имеет свои приемы и методы, свои законы развития, и прежде всего потому, что в художественном творчестве огромную роль играют подсознательные процессы — более медленные, более ленивые и менее поддающиеся управлению и руководству — именно потому, что они подсознательные. Здесь было сказано, что те вещи Пильняка, которые ближе к коммунизму, слабее тех его

вещей, которые политически дальше от нас. Чем это объясняется? Да именно тем, что в рационалистическом плане Пильняк опережает себя, как художника.

Сознательно повернуть себя вокруг собственной оси хотя бы только на несколько градусов — это для художника труднейшая задача, нередко связанная с глубоким, иногда смертельным, кризисом. А перед нами стоит задача не индивидуального или кружкового, а классового социального поворота творчества. Это процесс длительный, многосложный. Когда мы говорим о пролетарской литературе не в смысле отдельных, более или менее удачных стихотворений или рассказов, а в том, несравненно более полном смысле, в каком мы говорим о буржуазной литературе, мы не имеем права ни на минуту забывать чрезвычайную культурную отсталость подавляющего большинства пролетариата. Искусство создается на основе постоянного бытового, культурного, идейного взаимодействия между классом и его художниками. Между аристократией или буржуазией и ее артистами не было повседневного разрыва. Художники жили и живут в буржуазной обстановке, вдыхают в себя воздух буржуазных салонов, получают и получают от своего класса повседневные подкожные внушения. Этим-то и питаются подсознательные процессы их творчества. Представляет ли современный пролетариат такую культурно-идейную среду, не выходя из которой в повседневной жизни, новый художник мог бы получать все необходимые ему внушения и овладевать в то же время приемами своего мастерства? Нет, рабочие массы культурно чрезвычайно отсталые, малограмотность и безграмотность большинства рабочих представляет уже сама по себе величайшее препятствие на этом пути. А сверх того, пролетариат, поскольку он остается пролетариатом, вынужден лучшие свои силы расходовать на политическую борьбу, на восстановление хозяйства и на элементарнейшие культурные потребности, на борьбу с безграмотностью, вшивостью, сифилисом и пр. Конечно, можно и политические методы, и революционные навыки пролетариата назвать его культурой; но это, во всяком случае, та культура, которой предстоит отмирать по мере того, как будет развиваться новая, настоящая культура. А эта новая культура будет тем более становиться культурой, чем менее пролетариат будет оставаться пролетариатом, т. е. чем успешнее и полнее будет развертываться социалистическое общество...

Какова же перспектива? Основная перспектива — рост грамотности, просвещения, рабкоры, кино, постепенная перестройка быта, дальнейший подъем культурности. Это основной процесс, пересекающийся с новыми обострениями гражданской войны уже в европейском и мировом масштабе. На этой основе линия чисто литературного творчества будет весьма зигзагообразна. «Кузница»,²⁰ «Октябрь»²¹ и другие подобные объединения ни в каком смысле не являются вехами культурного классового творчества пролетариата, а лишь эпизодами верхушечного характера. Если из этих группировок выделится несколько хороших молодых поэтов или беллетристов, пролетарской литературы от этого еще не получится, но польза будет. Но если вы будете тшиться превращать МАПП²² и ВАПП²³ в фабрики пролетарской литературы, то вы непременно сорветесь, как уже срывались до сих пор. Член такой ассоциации считает себя не то представителем пролетариата при искусстве, не то представителем искусства при пролетариате. ВАПП дает как бы некоторое звание. Возражают, что ВАПП это есть только коммунистическая среда, где молодой поэт получает необходимые внушения и пр. Ну, а РКП? Если это действительный поэт и подлинный коммунист, то РКП всей своей работой даст ему несравненно больше внушений, чем МАПП и ВАПП. Конечно, партия должна и будет с величайшим вниманием относиться к каждому молодому родственному, идейно близкому ей художественному дарованию. Но основной ее задачей в отношении литературы и

культуры является подъем грамотности — простой, политической, научной — трудящихся масс и тем самым создание базы для нового искусства.

Я знаю, что эта перспектива вас не удовлетворяет. Она вам кажется недостаточно конкретной. Почему? Потому что вы себе представляете дальнейшее развитие культуры слишком планомерно, слишком эволюционно: будут, дескать, расти и развиваться нынешние зачатки пролетарской литературы, непрерывно обогащаясь, будет создаваться подлинная пролетарская литература, затем она вольется в социалистическую литературу. Нет, развитие пойдет не так. После нынешней передышки, когда у нас — не в партии, а в государстве — создается литература, сильно окрашенная «попутчиками», наступит период новых жестоких спазм гражданской войны. Мы будем неизбежно вовлечены в нее. Весьма возможно, что революционные поэты дадут нам хорошие боевые стихи, но преемственность литературного развития все же резко оборвется. Все силы пойдут на прямую борьбу. Будем ли мы потом иметь вторую передышку? Не знаю. Но результатом этого нового, гораздо более мощного периода гражданской войны — при условиях победы — будет полное обеспечение укрепление социалистической базы нашего хозяйства. Мы получим новую технику, организаторскую помощь. Наше развитие пойдет иным темпом. И вот на этой- то основе, после зигзагов и потрясений гражданской войны, только и начнется настоящее строительство культуры, а следовательно, и создание новой литературы. Но это уже будет культура социалистическая, построенная целиком на постоянном общении художника и культурно выросших масс, связанных узами солидарности...

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. «На посту» — литературно-критический журнал, издаваемый творческим объединением «Октябрь» в 1923—1925-гг. Резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925 г.) осудила сектантский подход к творчеству, характерный для «На посту». Вокруг журнала группировались писатели и критики, выступающие за приоритет пролетарской литературы.

2—3. Раскольников Федор Федорович (партийная кличка Ильина Ф. Ф.) (1882— 1939) — революционер, герой гражданской войны, дипломат, литератор. Сегодня Ф. Раскольников известен прежде всего как автор «Открытого письма Сталину» («Комсомолец Киргизии, 1987 г., 25 ноября, с. 9). В начале 20-х годов Раскольников считал, что пролетарская литература должна быть не только главенствующей, но единственной, имеющей право говорить от имени революционного народа. С 1921 по 1923 г.г.—посол в Афганистане. Автор книг «Революционный Кронштадт». «Кронштадт и Питер в 1917 году», «Рассказы комфлота», «Рассказы мичмана Ильина», драмы «Робеспьер» и других.

4. Вардин Илларион Виссарионович (настоящая фамилия Мгеладзе) (1890— 1941) — литературный критик, публицист, один из создателей журнала «На посту», автор книг «Советская печать», «Эпоха войн и революции», активный деятель РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей, отстаивающих в своих работах главенство пролетарской литературы.

5. «Правда» — газета, орган ЦК партии большевиков, первый номер вышел 22.4.1912 г. в Петербурге.
6. «Звезда» — большевистская легальная газета, орган социалистической фракции 3-й Государственной думы, выходила с 16(29) 12. 1910 по 22. 4(5,5) 1912 года в Петербурге.
7. Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — известный русский писатель автор романов «Сапин», «Человеческая жизнь», «У последней черты», «Женщина, стоящая посреди» и многих других произведений. После Октябрьской революции эмигрировал.
8. Андреев Леонид Николаевич (1879— 1919) — великий русский писатель, автор романов «Сашка Жегулев», «Дневник Сатаны»; советскому читателю известны его многочисленные рассказы и среди них — «Бергамот и Гараська», «Петька на даче», «Жизнь Василия Февейского», «Рассказ о семи повешенных» и другие. После Октябрьской революции эмигрировал.
9. Пильняк Борис Андреевич (настоящая фамилия Вогау) (1894—1937) — один из самых известных и популярных в 20-е годы писателей, автор романов «Голый год», «Волга впадает в Каспийское море», «Созревание плодов» и других. Современный советский читатель «открыл» Б. Пильняка, благодаря публикации таких произведений, как «Повесть непогашенной луны» (о смерти М. В. Фрунзе), «Красное дерево», «Штосс в жизнь» и других.
10. Либединский Юрий Николаевич (1898—1959 г.г.) — советский писатель, автор повестей «Неделя», «Завтра» и других.
11. Веронский Александр Константинович (1884—1943) — известный литературовед, принимал активное участие в культурной жизни, в 30-е годы был отлучен от литературно-критической писательской деятельности, первый редактор журнала «Красная Ночь».
12. Рязанов (настоящая фамилия Гольдендах Давид Борисович (1870—1938)— революционер, участник культурного строительства, в 1921—1931 г.г. — директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса.
13. Шевырев Степан Петрович (1806— 1864) русский критик, историк литературы, поэт, академик Петербургской АН, один из редакторов журнала «Москвитянин».
14. Кареев Николай Иванович (1850— 1931) — русский историк, член-корреспондент Российской Академии наук, почетный член АН СССР, автор трудов по истории Великой Французской революции.
15. Лабриола Антонио (1843—1904) — итальянский философ, теоретик марксизма.
16. Шулятиков Владимир Михайлович (1872—1912) — русский литературный критик, член редакции подпольной большевистской газеты «Рабочее знамя»; в своих работах, особенно в «Оправдание капитализма в западно-европейской философии. От Декарта до Маха» допустил ряд серьезных методологических ошибок, появился даже термин «шулятиковщина», подразумевающий разновидность вульгаризации теории исторического материализма.

17. Плетнев Валериан Федорович (1886—1942) — литературный критик, литератор, в 1921—1932 г.г. возглавляя Пролеткульт; один из его теоретиков ратовал за создание «чисто пролетарской культуры», отрицая традиции классического наследия.

18. Пролеткульт — литературно-художественная и культурно-просветительская организация, возникшая накануне Октябрьской революции и ставшая целью создания пролетарской культуры путем развития творческой самодеятельности пролетариата. Теоретики Пролет культа В. Ф. Плетнев, А. А. Богдане! пропагандировали идею «чисто пролетарской культуры». Деятельность Пролеткульта критиковал В. И. Ленин в 1924 году.

19. В «Наброске резолюции о пролетарской культуре» В. И. Ленин писал «Не выдумка новой пролеткультуры а развитие лучших образов, традиций, результатов существующей культуры...» (ПСС, т. 41, с. 462. Разряды текста — В. И.; Ленин).

20—21. «Октябрь» — литературная группа, существовавшая в 1922—1925 гг определила творческие и организационные установки РАППа; «Кузница» - литературная группа, созданная в 1919 году поэтами, вышедшими из Пролет культа, в 1931 году волилась в РАПП.

22—23. ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей). В 1920 году в состав правления были избраны члены группы «Кузница», полемизировала с теориями пролеткульта. МАПП (Московская ассоциация пролетарских писателей) оформилась в 1923 году на I Московской конференции пролетарских писателей, объединила группы «Октябрь», «Молодая гвардия», «Рабочая весна», «Вагранка». Печатным органе МАПП стал журнал «На посту».

«Комсомолец Киргизии», 1989, №27

Среди реабилитированных в новое время имен и Николай Иванович Бухарин. Он герой воспоминаний и мемуаров, политических биографий и беллетристики. Появились его работы, статьи и выступления. Вместе с восторженными отзывами звучат и иные, призывающие не забывать «вклад» Бухарина в посмертное шельмование С. Есенина и большой группы крестьянских поэтов. Одновременно появляются предположения, что делал это он по наущению Сталина, что его руками «вождь народов» сводил счеты с Троцким, восторженно воспринимающим автора «Персидских мотивов». С Бухариным спорят, как с живым. Соглашались и не соглашались. Принимают и не принимают. Значит, то, что он писал, о чем он думал и говорил имеет сегодня не только историческую ценность. Оно не сдано в партийный архив, несмотря на десятилетия упоминания его имени только в отрицательном контексте, несмотря на забвение его личности и трудов во благо революции.

Бухарин - фигура сложная и противоречивая, отразившая революционную ломку. Из его биографии нельзя произвольно вырвать тот или другой эпизод, противопоставлять тот или другой период, переписывать ее, подгоняя под наши прозрения дня сегодняшнего.

Несомненно, что возвращение Бухарина окажет воздействие на понимание путей и целей революции, а прочитанная новыми поколениями его жизнь, поможет понять, как и почему мы стали такими. Ведь он за это заплатил собственной кровью...

Многочисленны выступления Бухарина по вопросам развития литературы и искусства. Одно из них, датированное 1924 годом, как нельзя лучше представляет Бухарина-публициста и полемиста, высказывающего отношение к свободе творчества, интеллигенции, и всему тому, что определялось понятием «советская культура».

Не обязательно с Бухариным соглашаться, важно его понять. Многие из тех, с кем он спорил, позже разделили его судьбу, другие умерли своей смертью. Не о делах давно минувших дней говорит Бухарин. В его рассуждениях многое современно.

СУДЬБЫ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Николай Иванович Бухарин

I

По [1] поводу речи А. В. Луначарского [2] я могу сделать только одно замечание, имеющее вид некоторого расхождения, как и со многими товарищами нашего марксистского лагеря.

А. В. квалифицирует интеллигенцию, как мелкую буржуазию. Давая такое определение интеллигенции, он видит перед собою только российскую интеллигенцию. Если же мы возьмем не только российскую интеллигенцию, а также и западную, то увидим, как это определение недостаточно.

Прежде всего я должен сказать, что мелкая буржуазия есть постоянно распадающийся класс, который в ходе капиталистического развития исчезает. Между тем есть значительные слои интеллигенции, которые в ходе капиталистического развития не

исчезают, но нарастают, которые хотя и являются продуктом прошлого, но вместе с тем продуктом специфически-капиталистическим, которые становятся все нужнее и которых квалифицировать таким образом нельзя [3]. Вот, если вы возьмете последний американский ценз, то увидите, что из всех общественных группировок категория служащих, в том числе высших, растет быстрее всех других [4]. А если возьмете рост доходов, то увидите, что ни одна профессия не имеет такого повышения их, как инженерская. Следовательно, это общая картина. Я беру картину капитализма, который не потрясен, не дезорганизован, который стоит на всех четырех ногах. Тут надо искать основные тенденции капиталистического развития. Существует даже определенный термин, который не в марксистской литературе выдвинут и который имеет все права гражданства: интеллигенцию называют третьим сословием. Ее рост связывают с ростом крупного производства.

Я должен высказать еще одно соображение, которое имеет общетеоретическое значение. Нужно ясно видеть пред собою, что с ростом производительных сил мы имеем не только расширение всего поля материального производства, но с ростом производительных сил мы имеем абсолютное падение роста числа рабочих, занятых в сфере материального труда. В то же время мы имеем в деревне растущий процесс физического труда и труда духовного т. е. чем дальше идет процесс развития, тем больше создаются новые виды интеллектуального труда. Парадоксально выражаясь, можно сказать в известной степени, что максимум развития производительных сил совпадает с исчезновением физического труда. В капиталистическом обществе этот процесс совершенно явственно нам демонстрируется.

Это одно замечание, которое я считал уместным сделать, хотя это ни капли не нарушает нашего согласия с т. Луначарским в общем и целом.

Затем еще одно замечание. У нас очень часто в одну категорию относятся совершенно различные величины, которые между собою мало имеют общего. Так происходит, и с понятием «мелкая буржуазия». Я приведу пример. Если берете попа или псаломщика, что это такое? Совершенно ясно, что с известной точки зрения это — составная часть интеллигенции, но, с другой стороны, совершенно ясно, что между попом, псаломщиком и инженером по социальному положению чрезвычайно большая разница.

Теперь я должен опереться на тот материал, который дал т. Сакулин [5]. Я тоже говорю: давайте говорить начистоту. Вы призывали к искренности.

Я должен сделать первое основное замечание. П. Н. Сакулин в своей речи призывает нас идти не вперед, а назад, как это ни странно. Он выдвинул основное положение такое. Конечно, для представителей власти, господствующей партии, можно допустить такую роскошь, как политический подход, но если рассуждать по чести, то это в лучшем случае однобокость. Что тут правильно и что неправильно? Правильно то, что нельзя подходить к биологу и все время говорить насчет советской системы. Это было бы глупо. Правильно то, что если мы хотим провести какую-нибудь точку зрения свою собственную или хотим указать метод воздействия, то надо вообще входить в сферу их работы. Если я выступаю на съезде инженеров, то говорю по-одному, на съезде водников — по-другому, в среде крестьян по-особому. Конечно, говорю по-разному не с той точки зрения, что я должен изменять свою политическую линию, но я должен в целях психологического воздействия, в целях смычки учитывать ту обстановку, в которой выступаю. Если я ставлю задачу

борьбы, то я должен быть в курсе дела, не барабаня, а действительно понимая все политические и идеологические зацепки, Но дальше следует «но», которое вырастает из маленького в громадное и которое покрывает все.

Когда вы говорите, что нужно подходить к культурному работнику с точки зрения культуры и что особенно нехорошо подходить с политической точки зрения, то тут есть попытка тащить нас назад с завоеванных позиций. Нам надо приучаться изгонять положения, которые к делу не идут, хотя сами по себе благородны. Можно сказать о целом ряде лиц, что они благородны, серебряных ложек не крадут, цветут розы, они их не сорвут, но, тем не менее, с точки зрения объективного хода событий эта добродетель обретается в «нетях». Говорят, что и Столыпин [6] был хороший семьянин, честный человек. Разве трагедия интеллигенции заключалась в том, что это были мошенники или жулики, которые старались вредить народу? Ни капли. Тогда никакой трагедии не было бы. Мы отлично знаем и прямо говорим, что в первое время Октябрьской революции к нам пошла худшая часть интеллигенции или самая квалифицированная вроде Тимирязева [7], который размахом своей мысли являлся белой вороной. Таких белых ворон было раз-два, и обчелся. Большинство честной интеллигенции было против нас. Почему? Потому, что она разделяла те взгляды, которые у высокоуважаемого П. Н. сидят еще и сейчас.

П. Н. Сакулин заявил, что о саботаже [8] мы потом поговорим, историю писать еще рано. Он говорит: с чего вы начали? Вы посягнули на свободу научного исследования. Но разве при царизме была свобода науки? Даже при Керенском [9], я спрошу вас, сколько было большевистских профессоров? Что вы считали свободой исследования? Вы считали свободой исследования в рамках тех понятий и систем, социологическое построение которых было терпимо для господствующего режима. В этих рамках была полная свобода. Но представьте, мы допускаем свободу исследований в рамках нашего режима. С этой точки зрения у нас такие же рамки. Почему же вы то считаете свободой, а это нет? А учительница добродетельная! Вы говорите затем о добродетельной учительнице, которая голодала. С известной точки зрения это определяет ее квалификацию, но это к делу имеет мало отношения. В лучшем случае она боролась с царским режимом, но не выходила из круга тех понятий частной собственности, которые существовали. Почему, когда пролетариат посягнул на частную собственность, она не пошла с ним? Потому, что она отражала идеологию среды. В этом-то и заключалась трагедия, что люди не понимали всего исторического захвата событий. Как представляли себе все эти сливки и не-сливки, которые боролись против нас, положение дела? Они представляли так, что культура накапливалась веками. Россия была великое государство, которое худо ли, хорошо ли вело народ за собою, создавало великие ценности, хотя и под царистским покрывалом, и что вместо этого роста великой стране стала грозить опасность обратиться в ничто. Матрос или проститутка стали являться в храмы науки. Поэтому надо бороться против большевиков. Субъективно честны были эти люди. Я повторяю, что наши противники, которые боролись против нас и хотели положить жизнь свою в борьбе с нами, были честные люди. Но разве дело в оценке их субъективной честности? Утверждать так, значит, тащить нас назад. Они быть могут сколько угодно объективно честными, но эта объективная честность заключалась в том, что они являлись бревном, препятствием на пути развития по той простой причине, что не понимали всего исторического масштаба происходивших событий. В голодные годы, когда так называемый привилегированный рабочий класс питался одной картошкой, когда дело доходило до людоедства, когда самый внешний вид городов представлял картину умирающего человеческого общества, когда жутко было выйти за пределы города,— нужно было громадное проникновение в

грядущее, чтобы увидеть колоссальный подъем масс, который приведет к новому порядку. И вот все эти добродетельные учительницы и профессора, и сливки, и просто снятое молоко не в состоянии были охватить этого процесса. Повторяю еще раз, что они были субъективно честными людьми, и чем более они были честны, тем более их толкало на борьбу с нами. В этом заключалась трагедия. Этот опыт надо переварить, уяснить и сделать соответствующие выводы.

В связи с этим стоит другой вопрос, который П. Н. поднял. Мы, — говорит П. П., — политикой не занимались, мы были культурными работниками. Разве это не добродетель? Нет, это плохо, что вы политикой не занимались. Дело вовсе не в том, чтобы быть спецом от политики, а дело в том, чтобы свободно понимать любой культурный процесс. Вы строите здание таким образом, что культурный ряд является независимым от политики. Таких не бывает. Если бы вы доказали, что бывают концепции, которые лежат вне определенного режима, вне классовой структуры, это было бы другое дело. Но таких концепций нет, и с попытками доказать это мы как раз и боремся [10].

П. Н. Сакулин говорит нам, что мы считаем своим долгом проповедовать определенные взгляды, мы хотим, чтобы была гегемония марксизма. А я спрашиваю, из-за чего же мы стараемся внедряться в одну область за другой, пока не захватим их? Потому что это есть величайшее орудие в наших руках, которое позволяет нам строить то, что мы желаем. Почему царское правительство терпело всякие ценности, по совершенно не выносило марксистских? Не потому ли, что они являлись наилучшим фугасом против старого порядка? Какой-нибудь деревенской учительнице, которая кроме старых ботинок и книг Ушинского [11] ничего не видела, простительно говорить, что она занималась только культурной работой, по когда заслуженный профессор говорит, что мы не при чем, мы от политики стояли далеко, позвольте свободу преподавания против марксизма, то это никак не выходит, потому что не продумано. Свобода преподавания — это, можно сказать, есть определенный софизм, потому что речь идет не об отдельных положениях, не об отдельных фактах. Когда речь идет о выработке мировоззрения, мы натываемся на то, что эта система является определенным инструментом, который не только вырастает на определенной базе, но служит средством борьбы. Я имею ту привилегию или недостаток, что сам выхожу из интеллигенции и прекрасно знаю ее [12]. Первое, что я услышал в 17 году от старых своих учителей, которые даже божьей коровки не обидят: «Да, вы,— говорили они, — пожалуй, немецкий шпион». А когда дело дошло до разгона Учредительного собрания [13], то все люди не нашего лагеря кричали нам: «Убийцы, палачи!». Все они милые люди, прекраснотушные интеллигенты, за народ готовы отдать все, только не понимающие, что такое народ, говорят и думают, возвращаясь к старым российским понятиям, становясь на точку зрения добродетельной милой учительницы. А мы говорим, что мы руководства из своих рук не можем выпускать, на что мы имеем историческое право, и то, что нам вменяется в вину, это есть с точки зрения коммунистической величайшая добродетель. Если бы мы вам вручили судьбы России, что бы вышло? Вы бы так одной мертвой лошади испугались, что в панике бросились бы бежать. Когда надо было шагать через трупы, то, извините, для этого надо было иметь не только закаленные нервы, но для этого надо было иметь основанное на марксистском сознании знание тех путей, которые нам история отвела, а вы хотите нас повернуть назад.

В одной из записок был затронут такой вопрос, да отчасти о нем говорил и П. Н., что Маркс тоже вышел из интеллигенции. Выходит, что Маркс потому перешел на сторону рабочего класса, что вышел из интеллигенции. Но перешел-то он именно потому, что был

Маркс, а не кто иной. Маркс был исключением из интеллигенции. Это был исключительно гениальный человек. Исключительная даровитость людей заключается в широте их умственного интеллекта. Фридрих Энгельс был из фабрикантской среды, но он выскочил из нее, потому что он был исключительный человек. В этой идеологической стычке, которая происходит здесь, различный подход к классовому делу. Вся речь П. Н. была пропитана с начала и до конца фетишистскими понятиями и старой фразеологией. Я извиняюсь, но я органически не могу переваривать эту фразеологию. «Народ», «мы желаем служить народу». Это все шелуха. Когда вы говорите о народе, я скажу, что вы подразумеваете под народом, когда вы говорите о благе, то я скажу, что вы подразумеваете под благом, когда вы говорите о свободе, то я спрошу, требуете ли вы свободу и для черносотенцев? (Аплодисменты.) Я говорю, что все эти категории и все эти словесные значки есть шелуха. Я считаю, что нашей обязанностью является действовать убеждением на всех, в том числе и на т. Сакулина, чтобы он скорее простился со старой идеологией. Мы любую вещь оцениваем с точки зрения ее реальной пользы, с точки зрения великого общественного целого. Бели говорить относительно идеалов, то у нас есть, что противопоставить противникам, и несмотря на то, что многое не сделано, мы достигли того, что дай бог сделать другим. Но должен здесь сказать, что не подлежит никакому сомнению большая роль интеллигенции, которую она сыграла в нашей работе. В буржуазном обществе интеллигенты играли и играют крупную роль. Такие крупнейшие организаторы, как Стиннес [14], были большие люди, но дело в том, что у них все делается на буржуазной основе. Буржуазная интеллигенция есть вождь своего общества, но разница между ними и нами заключается в том что у них водимые никогда не могут подняться до водителей, как класс, как целое, а у нас могут, к этому мы и стремимся.

Если вы хотите сравнивать один режим с другим, если вы хотите понять динамику режима, если вы хотите понять ценность этого режима с точки зрения, скажем, социализма, то критерий должен заключаться в том, насколько данный общественный порядок представляет широту для подбора действительно настоящих людей, которые двигают все общество вперед. С этой точки зрения, я утверждало, мы, полунищие, как никто, расширили это селекционное поле подбора во всех решительно областях, мы этот фундамент заложили. Как известно, мелиорация принесет свои результаты только через известное число лет, а не сразу. Кто поднял огромные национальные пласты, кто многоцветность этих новых культур вызвал к жизни,— кто может утверждать, что что-либо подобное могла сделать какая-нибудь другая партия, кроме коммунистической? Нам приходится сталкиваться с узбеками, туркменами, и приходится удивляться, как за несколько лет такие слои подросли, которые будут скоро чудеса творить. Колоссален размах этой борьбы! А как мы подняли мужиков и рабочих! Нам приходится после целого ряда тяжелых дней спрашивать, не сон ли это? Потому что мы видим новых людей, которые правят на новых основах. Когда я прихожу в эту среду и сравниваю ее с гиблой старой культурой, то получается впечатление несравнимых величин, потому что здесь идет широкая волна, а там идут маленькие лодочки, которые желают плакаться. При сравнении у нас получается размах гигантский! Мы последнюю кухарку поднимаем до уровня государственных задач. Мы приглашаем всех людей подняться на этот уровень политического развития, который Владимир Ильич находил необходимым для кухарки. Владимир Ильич говорил, что через несколько лет мы будем вести за собою Азию [15]. Сейчас вся буржуазная печать говорит, что мы уже ведем ее за собой, что у нас существует союз с Азией. Этого еще нет, но это будет! Мы приглашаем вас подумать об этих гигантских всемирных масштабах. Сойдите, пожалуйста, с идеологической позиции,

которая восхваляет невежество сельской учительницы, и не призывайте нас к этому невежеству, а идите вперед по указанному нами пути.

Вы говорите, что сейчас не найдется ни одного человека, который сказал бы, что идет против нас; даже при тайном голосовании, мы, пожалуй, собрали бы большинство; поэтому, заключаете вы, давайте свободу творчества. Но я должен сказать определенно, что у нас во всем нашем порядке вещей основная точка зрения заключается в правильном руководстве. Мы никогда не можем стать на такую позицию, что пускай все совершается само собой,— кто в бога верует, пусть верует. Это не есть руководство страной. У нас еще нет коммунистического общества, а если нет коммунистического общества, то на нас лежит обязанность заботиться о судьбах страны. Мы не желаем спуститься на сменевеховских тормозах. Надо всем усвоить, что те идеологи, которые думают, что коммунизм уступит, ошибаются. Никогда мы на это не пойдем! Мы от своих коммунистических целей не откажемся! Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике. Я говорю, что если мы поставили себе задачу идти к коммунизму, мы должны этой задачей пропитать все решительно. Тов. Сакулин говорит, что мы должны воспитывать культурных людей. Верно. Но не просто культурных, а таких культурных, которые работали бы на коммунизм. Скажите, есть режим, который не ставил бы этой задачи? Где вы найдете учебное заведение высшее, среднее и низшее, которое не вырабатывало бы определенного кадрового состава? Таких стран и таких учебных заведений нет. Разница заключается только в том, что мы других людей вырабатываем для того, чтобы устроить другой порядок. Мы рассуждаем, как строители, как архитекторы, а не как люди, которые говорят, что не надо заниматься политикой.

Когда П. Н. говорил, что сама учащаяся молодежь разберется, то это в политике называется хвостизмом. Профессора обычно жалуются, что мальчишки сейчас указывают профессору, что нужно делать, а сегодня нам говорят, что молодежь сама разберется, сама поймет. А руководство идеологическое! Пускай Пушкин будет этим заниматься, тем более, что он умер и это не опасно.

Вопрос заключается только в том, какие социально-педагогические методы мы должны употреблять, чтобы обеспечить свободу творчества, чтобы обеспечить развитие общества, а, с другой стороны, чтобы не получилось отсутствия свободы мысли. Это две опасности. С одной стороны, опасность догматизации, где написаны готовые тезисы, а остальное, будто бы, само приложится. Против этого надо бороться. Но когда говорят, что надо дать свободу творчества, то сейчас у вас возникает вопрос о свободе проповедовать монархизм, или в области биологии свободу проводить витализм, или в области философии свободу идеалистам кантианского пошиба с субстанцией. При такой свободе из наших вузов выходили бы культурные работники, которые могли бы работать и в Праге, и в Москве. А мы желаем иметь таких работников, которые могут работать только в Москве. Опять мы наталкиваемся на разницу в подходе. Мы подходим к этому вопросу, повторяю еще раз, как строители, а не как идеологи, у которых только фраза, а нет реального содержания.

Я резко вколачивал гвозди, но думаю, что П. Н. не обидится, потому что он сам первый призывал к откровенности. Мы хотели искренно действовать убеждением. Пора бросить нейтральную по отношению к политике точку зрения. Нет такой! Все поиски ее означают

какое-то болото, которое на деле может быть чрезвычайно вредным. На эту точку зрения должна стать интеллигенция, и тогда мы получим великолепную базу. Спросите, почему рабочие делают так много предложений, направленных к улучшению производства, почему у них так развита общественность советская. Потому, что не за страх, а за совесть верят в историческую возможность начатого дела. А вот этой веры у интеллигенции нет. Луначарский верно говорит, что есть разные интеллигентские прослойки, но таких интеллигентов, которые до конца с нами шли бы, таких еще очень мало, а мы всегда их зовем и будем это делать, потому что мы считаем, что идеалы у нас всечеловеческие и всемирные. Если рассуждать с точки зрения исторических идеалов, то все то, о чем нам говорят, есть дохлая собака по сравнению с теми мерами, которые мы провели. У нас огромный размах борьбы, и то, что мы сделали, показывает, какой это размах. Мы не любим, как старые интеллигенты, и не говорим, что мы желали принести жертву и пострадать, мы прямо говорим, что желаем жить, меньше страдать, черпать свои силы в борьбе и видеть ту картину, когда забитые и угнетенные выйдут из-под гнета и начнут строить новую жизнь. Вот с этой точки зрения мы говорим, что нам не нужны общие слова о красоте, а нужна работа и обсуждение каждого вопроса деловым образом; надо дать возможность всем делать то, что можно. Поймите, мы имеем историческую ответственность не более, не менее, как за судьбы всего человечества, как зачинатели, но мы не производим экспериментов, мы не вивисекторы, которые ради опыта ножиком режут живой организм, мы сознаем свою историческую ответственность, и именно поэтому мы каждую точку зрения обсуждаем. Вы ссылались на крестьянина, что он может делать, что хочет. Это не так. Мы подходим и к крестьянину только с точки зрения политической целесообразности, с точки зрения вовлечения в практическую работу. Наша задача заключается вовсе не в том, чтобы сказать, что размахнись рука, раззудись плечо, а в том, чтобы всякая единица была использована по тому руслу, которое нужно. Этого мы будем добиваться, это мы будем решать.

Вот почему, товарищи, заканчиваю я свое выступление следующими соображениями. Русская интеллигенция,— отчасти интеллигенции других народов, других национальностей, живущих на территории нашего Союза,— пережила величайшую трагедию. К несчастью, она считает во всем виноватыми большевиков. Сейчас же важнейшая проблема заключается в том, как координировать наши силы. Но идеология известной части нашей интеллигенции является препятствием в этой правильной координации. Особенно плох фетишизм, оперирование словами, которые не имеют содержания. Разбить эти понятия, когда люди привыкли жить в определенных рамках, боятся из них выйти, трудно, они не поймут этого до самой глубины, а чтобы хорошо работать, нужно понимать до конца. Мы говорим, обращаясь ко всем работникам интеллигентского труда, ко всем тем, кто имеет знания что надо работать дружно. Надо повернуть только в определенную сторону. Наша партия никогда не сможет выпустить руля из своих рук и стать на точку зрения другой идеологии. Мы располагаем колесами, как нужно социализму, мы будем действовать во всех областях под давлением той твердой идеологии, которая есть у нас в руках, и от этой идеологии никогда не откажемся. Конечно, тут могут быть разные пропорции. Ленин сказал, что мы введем всеобщее избирательное право. Мы это избирательное право, П. Н., введем, но тогда, когда всеобщее избирательное право никем не сможет быть повернуто против нас. Что вообще большинство населения не против нас, это мы знаем. Мы так захватили позиции, что никто не сможет повернуть против нас. Точно так же и в идеологической области. Когда мы захватываем область естественных наук, мы линию свою поддерживаем, как диктуется

интересами пролетарского социализма. Мы тогда сделаем эту диверсию, когда скажет нам политический разум, а разум скажет верно. Я знаю, что в интеллигентских прослойках нарастает интерес к марксизму. Пускай он нарастает дальше. Здесь можно колоссальную работу провести. Для того, чтобы идти по этой столбовой дорожке, не нужно тащить нас с идеологических путей назад. Нужно преодолевать все больше и больше антимарксистские воззрения, нужно с полной уверенностью уничтожать навыки старой мысли, нужно становиться под знамя марксизма. Это знамя проверено во многих революциях. В области нашей революции мы победили. Почему те, кто не считал себя марксистами, оказались пораженными нами? Потому, что мы оказались способными предвидеть, заниматься политикой и правильно лавировать, потому что мы были настоящими марксистами.

Поэтому, заканчивая свою речь, я призываю вас идти под знамена рабочей диктатуры и марксистской идеологии. (Бурные аплодисменты).

II

Товарищи, я должен сказать, что никто, мне кажется, не был бы более рад, чем мы, коммунисты, если бы разногласия между нами и такими представителями интеллигенции, как Сакулин, уменьшились и были бы сведены к минимуму. Поэтому мне надо приветствовать выступление П. Н., что я не так его понял. Я продолжаю настаивать на том, что я отметил правильно с нашей точки зрения некоторые пункты. Тов. Сакулин отметил, что Луначарский и Бухарин подходили с политической точки зрения, а вопрос идет о таких работниках, как культурники. Я возражал, что мыслящий культурник не может стоять вне политики. Теоретическое разграничение этого и отрыв неправилен, а практически он приводит к такого рода идеологии, которая превращает ее в самостоятельную субстанцию. Я получил интеллигентскую записку, что нельзя связывать науку и искусство с политикой. Что это показывает? Это показывает, как определенные социальные симпатии налипают на определенные слои. Если т. Сакулин в тонкой формулировке коснулся этого вопроса, то сейчас нам преподнесла его грубее.

Второе — вопрос об условиях умственной работы интеллигенции, что это есть работа мозговая. Это совершенно правильно. Но вопрос заключается в том, когда мы говорим об условиях этой работы, должны ли мы намечать известные рамки, и если должны, то где их граница! Приведу пример. Недавно вышел за границей сборник, посвященный юбилею Струве [16], бывшего социал-демократа, теперь кадета,— вы прочтите, что там сказано. Там помещены статьи Сергея Булгакова [17], Бердяева [18], Лосского [19]. Там проблемы все подогнаны под одну тему. Я спрашивал, должны мы такую науку допускать? Должен сказать: как в искусстве вы можете любую область так разработать и под таким соусом, подать и такие нюансы, такие тональности развести, что гамма получится эстетически стройной, но общий исход — гнилье, точно так же в пределах научного творчества, вы можете божественный вопрос разработать чрезвычайно здорово. Сергей Булгаков написал книгу: «Философия хозяйства». В этой «Философии хозяйства» предполагается, что свойства мира есть греховная корка метафизического мира, который ведет свое начало от Адама и Евы. У Бердяева написано, что евхаристия [20] есть самое правильное питание. Факты это или нет? В своем роде это разработано или нет? Я повторяю, такого рода систему можно философски обосновать. Тот же Булгаков говорит, что можно подходить к

вопросу с любой точки зрения. Бердяев и подходит с евхаристического конца. Что же? Сказать — вольному воля,— и смотреть на это затемнение мозгов?

Теперь вопрос о тренировке и штампе. Когда я говорил о фабрике, то я думал не то, П. Н. Я, разумеется, говорил — фабрика метафорическая. Насчет штампа я сказал, что две опасности существует, одна из того проистекает, что может создаться чуждая идеология, а вторая, что мы можем мысль сжимать. Разве ошибка была в этой формуле? Нужно избегать этих двух опасностей, нужно вести твердо свою линию, допуская такой размах, который обеспечил бы руководство и вместе с тем сохранил бы движение мысли. Это все нормы, с которыми нужно согласиться. П. Н. против этого не возразил.

Характерно, как он думает насчет учредительного собрания. Он говорил, что самое хорошее для него всеобщее избирательное право или учредительное собрание. Но коммунизм есть всеобщая любовь, но если бы мы сейчас стали говорить: «Братья, давайте обнимем друг друга и прекратим борьбу», то мы никогда не организовали бы партию и не удержали бы власти. Если мы сейчас будем проповедовать всеобщую любовь, то никогда ее не дождемся. То же самое относительно свободы. Одна дама мне пишет: «Господин Бухарин, вы очень не любите слово «свобода», а, впрочем это и понятно». Ничего не понятно. Разная свобода бывает.

П. Н. говорит: зачем вспоминать о старом режиме. Я с этим не согласен. Вспоминать надо. Мы прибегаем к целому ряду старых методов. Армия была и теперь есть Красная Армия; тюрьмы были и есть, государственные учреждения есть, система принуждения есть, террористический режим есть — только направленный на другие цели. А вы говорите: зачем вспоминать о старом? Мы только перевернули понятие «свобода». Раньше была свобода для помещиков и капиталистов, а мы сделали для рабочих и крестьян. Вы говорите, что в университетах были профессора марксисты. В Московском университете, где я учился, если и был, то только один такой тип, как Виппер [21].

В заключение должен сказать следующее. Быть может, в первом своем выступлении я сильно направил острие полемики против П. Н. Сакулина, но он сам призывал, чтобы мы объяснились начистоту. Должен сказать, что я счел бы своим партийным долгом выступить против всякого, который говорил бы, что все прекрасно.

Призываю вас скорее и дружно бороться за будущее, которое мы завоюем своей, борьбой. (Аплодисменты).

Примечания:

1. Настоящая статья представляет собой стенограмму речи, произнесенной тов. Н.И. Бухариным на диспуте о судьбах русской интеллигенции, происходившем 10 марта в Большом зале консерватории. Сборник, включающий в себя доклад и все речи, произнесенные на диспуте, находится в печати. — Ред. [В диспутах первых послереволюционных лет о судьбах русской интеллигенции участвовали наряду с известными учеными, публицистами, литераторами (М. А. Рейснер, П. Н. Сакулин, А. К. Воронский и др.) видные деятели партии, авторитеты в вопросах культурной политики (Н. И. Бухарин, А. В. Луначарский). Диспут о судьбах русской интеллигенции проходил 10 марта 1925 г. в Москве в Большом зале консерватории. Стенограмма речи Н. И. Бухарина

«Судьбы русской интеллигенции» публиковалась несколько раз. В настоящем сборнике печатается по: Печать и революция.— 1925.— № 3.—С. 1—10.

2. Луначарский А. В. (1875—1933)—советский партийный и государственный деятель, один из организаторов и теоретиков культурного строительства в СССР. Академик АН СССР (1930). Член партии с 1895 г. После II съезда РСДРП активно сотрудничал с В. И. Лениным. Однако в годы столыпинской реакции отошел от политической деятельности. На VI съезде РСДРП (б) с группой межрайонцев принят в партию. С 1917 по 1929 г.— нарком просвещения РСФСР. Член ВЦИК и ЦИК СССР. В последние годы жизни был отстранен сталинским руководством от выработки культурной политики в стране, работал в научной и дипломатической областях.

3. Продолжая тему диспута, А. В. Луначарский 15 марта 1925 г. счел необходимым углубить полемику с Н. И. Бухариным по ключевым вопросам о социальной природе интеллигенции, ее месте и роли в современном обществе (см.: Луначарский А. В. Интеллигенция и религия.— М., 1925.— С. 3—5). Идеино-теоретические споры середины 20-х гг. были призваны способствовать выработке соответствующей новым условиям партийно-государственной политики по отношению к работникам умственного труда.

4. В США удельный вес интеллигенции и служащих, работавших по найму, в составе самодеятельного населения увеличился с 12,7 % в 1900 г. до 21,5 % в 1920 г. (Труд при капитализме: Стат. сб.—М., 1964.—С. 117).

5. Сакулин П. Н. (1868—1930) — литературовед, академик АН СССР (1929). С 1902 г. преподавал в Московском университете, который покинул в 1911 г. вместе с передовыми профессорами и доцентами в знак протеста против реакционной политики министра просвещения Кассо. Впоследствии работал в вузах Петрограда и Москвы. Одним из первых среди крупных ученых признал Октябрьскую социалистическую революцию, вел работу в разных отделах Наркомпроса. Принимал активное участие в диспутах середины 20-х гг. по проблемам интеллигенции, политики в областях науки и культуры. Научная и общественно-политическая деятельность П. Н. Сакулина получила высокую оценку А. В. Луначарского (см.: Луначарский А. В. Неизданные материалы.—М., 1970. — С. 105—112).

6. Столыпин П. А. (1862—1911)—русский государственный деятель. С 1902 г. губернатор Гродненской, с 1903 г.—Саратовской губерний. В 1906 г. назначен министром внутренних дел, затем одновременно и председателем совета министров. Организатор третьеиюньского переворота 1907 г., руководитель аграрной реформы.

7. Тимирязев К. А. (1843—1920) —один из основоположников русской научной школы физиологов растений, член-корреспондент Петербургской (Российской) АН (1890). Профессор Московского университета (1878—1911). Ушел в отставку, протестуя против реакционной политики министра Кассо. Одним из первых среди крупных ученых принял Октябрьскую социалистическую революцию. Действительный член Социалистической академии общественных наук, член Государственного ученого совета при Наркомпросе. Опубликовал сборник «Наука и демократия» (1920), высоко оцененный В. И. Лениным (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч.—Т. 51.—С. 185).

8. Саботаж, организованный чиновниками и служащими старых государственных и общественных учреждений в первые дни установления Советской власти в Петрограде и других городах страны, являлся одним из методов классовой борьбы контрреволюции против диктатуры пролетариата. Саботаж не был всеобъемлющим и длительным.

9. Керенский А. Ф. (1881—1970)—русский буржуазный политический деятель, эсер. Адвокат, получивший известность своим участием в ряде политических кампаний (в частности, в расследовании обстоятельств Ленского расстрела). Депутат IV Государственной думы, председатель фракции трудовиков. В период февральской революции 1917 г.— министр юстиции, военный и морской министр, затем премьер-министр Временного правительства, Верховный главнокомандующий. После Октябрьской революции возглавил антисоветский мятеж, с разгромом которого скрывался в подполье. Эмигрировал летом 1918 г. За рубежом продолжал вести антисоветскую деятельность. Возглавлял редакцию газеты «Дни», подготовил ряд публикаций о событиях 1917 г., а также мемуары (Гатчина.— М., 1922).

10. О марксистском анализе диалектической взаимосвязи политики со сферами научной и культурной деятельности см.: Ленин В. И. Ценные признания Пителима Сорокина. 20 ноября 1918 г. // Полн. собр. соч.—Т. 37.—С. 188—197; Он же. Речь на II Всероссийском съезде учителей-интернационалистов 18 января 1919 г. И Там же.—С. 430—433.

11. Ушинский К. Д. (1824—1870/71)—русский педагог-демократ, основоположник научной педагогики в России. В основу его педагогической системы легли требования демократизации народного образования и идея народности воспитания. В пореформенной России широкой известностью пользовались написанные им учебники «Детский мир», «Родное слово», а также педагогические труды. Среди них фундаментальное издание «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (В 2 т.— 1868—1869).

12. «Родился 27 сентября (по старому стилю) 1888 г. в Москве,— писал Н. И. Бухарин в автобиографии.— Отец был в то время учителем начальной школы, мать — учительницей там же. По специальности отец — математик (кончил физико-математический факультет Московского университета). Воспитывали меня в обычном интеллигентском духе...» (Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат.— 7-е изд.— М., б. г.—Т. 41, вып. 2.—Стб. 52).

13. Н. И. Бухарин выступил с речью от имени большевистской фракции на открытии Учредительного собрания 5(18) января 1918 г. После отказа правых партий поддержать политику Советской власти, большевики, левые эсеры и некоторые другие группы покинули заседание. В ночь с 6(19) на 7(20) января ВЦИК по докладу Ленина принял декрет о роспуске Учредительного собрания, одобренный затем III Всероссийским съездом Советов.

14. Стиннес (Stinnes) Гуго (1870—1924)—основатель финансового объединения в сфере тяжелой промышленности Германии. Во время первой мировой войны и после нее сложилась сверхмонополия «Stinnes». Она включала 1664 фирм, охватывавших различные отрасли промышленности и торговли и располагавших многочисленными филиалами за границей. После смерти Г. Стиннеса концерн пришел в упадок.

15. Речь идет об авангардной роли Советской России по отношению к национально-освободительному движению (см., например: Ленин В. И. Полн. собр. соч.— Т. 44—С. 163).

16. Струве П. Б. (1870—1944)—русский экономист, философ, историк, публицист. В 1890-е гг.— теоретик «легального марксизма», участвовал в составлении Манифеста I съезда РСДРП (1898). Со временем идейно эволюционировал в сторону буржуазного либерализма. С основанием в 1905 г. кадетской партии вошел в состав ее ЦК. Участвовал в сборнике «Вехи» (1909). Преподавал политэкономии в Петербургском политехническом институте. С 1917 г. академик Российской АН, в 1928 г. исключен из АН СССР. Враждебно встретив Октябрьскую социалистическую революцию, сотрудничал с белогвардейскими режимами Деникина, Врангеля. С разгромом войск последнего — в эмиграции. Преподавал в Пражском и Белградском университетах, занимался историей русской общественной мысли.

17. Булгаков С. Н. (1871—1944) — русский экономист, религиозный философ, публицист. В 1890-е гг. входил в группу «легальных марксистов», позднее эволюционировал в направлении буржуазного либерализма, член кадетской партии. Участвовал в сборнике «Вехи». Под влиянием Вл. Соловьева обратился к религиозной философии. В 1918 г. принял сан священника. В 1922 г. был выслан из страны. В эмиграции — профессор русского Богословского института в Париже (1925—1944). В «Философии хозяйства» (1912) Булгаков попытался дать религиозное обоснование взаимоотношения человека и мира как деятельности.

18. Бердяев Н. А. (1874—1948) — русский философ-идеалист, общественный деятель, публицист. На рубеже 900-х гг. принимал участие в революционном движении, сторонник «легального марксизма», был сослан в Вологду. В дальнейшем обратился к религиозной философии. Один из инициаторов сборника «Вехи». К Октябрьской социалистической революции отнесся отрицательно. Организатор философского объединения — Вольная Академия духовной культуры (1918—1922). В 1922 г. в составе группы российской интеллигенции был выслан за границу. Принял участие в создании своеобразного учебного и исследовательского центра — Русского научного института в Берлине (1923). С 1924 г. жил во Франции, издавал в Париже журнал «Путь» (1925—1940). Взгляды Н. А. Бердяева оказали влияние на развитие ряда философских течений (персонализм, экзистенциализм).

19. Лосский Н. О. (1870—1965) — русский религиозный философ, представитель интуитивизма и персонализма. В 1922 г. вместе с группой философов, экономистов, политических деятелей был выслан за границу. До 1945 г. жил в Чехословакии. В 1947—1950 гг.— профессор философии в Русской духовной академии в Нью-Йорке.

20. Евхаристия — то же, что и причащение.

21. Виппер Р. Ю. (1859—1954)—русский советский историк, специалист в области всеобщей истории, академик АН СССР (1943). С 1897 по 1922 г. преподавал в Московском университете, профессор (1899). В исследовании социально-экономических отношений использовал принципы исторического материализма. Отрицательно отнесся к преобразованиям Октябрьской социалистической революции. В 1924 г. эмигрировал в буржуазную Латвию. В 1927—1938 гг. профессор университета в Риге, где подвергался

преследованию за прогрессивные взгляды. С 1941 г. в Москве на преподавательской, затем научной работе.

«Комсомолец Киргизии», 1989, №46

Всеволод Иванов

16-ое НАСЛАЖДЕНИЕ ЭМИРА

Для русской литературы 20-х годов характерны две тенденции в разработке среднеазиатской тематики: реалистическая, представителем которой был Дм. Фурманов, и романтическая, реализовавшаяся в произведениях Вс. Иванова. Последнего интересует не столько тот или иной исторический факт, сколько художественное воплощение его в стилизации для «восточной» литературы.

Писатель создает ряд произведений, основанных на действительном материале, приобретающем звучание восточной легенды. Стилизация нужна писателю для рассказа о событиях, казалось бы фантастичных. Внешняя экзотика помогает изображению пробуждения революционного сознания у персонажей произведений, а шире — в освоении инонационального- материала.

Рассказ «16-е наслаждение эмира» типичен для «азиатских» произведений писателя. Форма сказок «Тысяча и одной ночи» подчеркивает необычность происходящего. Автор своеобразно осмысливает традиционный материал. В сказочное повествование вводится рассказ о революции и гражданской войне в Средней Азии. Внутренняя противопоставленность ситуаций настоящей- прошлое повлияла на стиль произведения, в котором воплотилась одна из интерпретаций сказок Шахрезады.

Текст рассказа печатается по первому изданию в журнале «Прожектор», 1927, № 4.

Рассказ

I

Хвала аллаху, ночь кончается, и костёр наш тухнет: надо спешить рассказать, и я буду краток. Я не буду описывать тебе, как торопился великий инструктор Ершов в кишлак Калей-Бигурт, ибо о кишлаке этом слава идёт по всему Заравшану, что седло не так доступно мужчине - как женщина из кишлака Калей-Бигурт, а великий инструктор, хотя и превосходно знал все языки Туркестана, хотя имел крепкую маленькую руку, красивый и хитрый нос, всё ж три месяца подряд обладал доступным седлом и мучился недоступностью женской теплоты. Красота часто приучает к невоздержанности, и, страдая девяносто дней, великий инструктор понял вред своей красоты, так как он плохо исполнял свои обязанности, спеша в город к привычным жёнам. Ибо если женщина пустыни открыла своё лицо, то это ещё не значит, что всякий сможет положить руку на её чресла.

У въезда в кишлак Калей-Бигурт инструктор остановил свою лошадь. Горестно пахли разлагающиеся отбросы. Тощие собаки искали, дрожа от ярости, в них кости. Инструктор со злобой обругал голодные пасти. Сердце его заныло. Сам председатель кишлачного совета, сам Сеид-Раджаб вышел ему навстречу: огромные глаза Сеида, усеянные алыми жилками истощения и торжественно-испуганное лицо его радостно склонились перед великим инструктором. "Ты человек Совета и поучения, и я человек поучения и Совета, но как перья птицы, лежащие рядом, не равны своей окраской,- так и мы не равны своими доблестями. Ты с пути, ты устал, а я размышлял дома, позволь мне поддержать твоё

стремя". Инструктор не подал ему стремени. Нога Ершова весело выпрыгнула, и он подумал, что похоже: пришёл конец девяностодневным мукам. Аксакалы, старики собрались быстро, и инструктор не успел сказать и трёх фраз, как они уже всё поняли и быстро ушли, и опять инструктор был доволен. Барана зарезали, сварили плов, инструктор ел много, председатель ел мало, всё же все были довольны - и инструктор больше всех, и душа у него была мягкая, словно из бараньего сала. И тогда председатель сказал так:

- Солнце поднимается, и солнце опускается: никто не в силах помешать его путям: так и никто не сможет мне запретить говорить. Я скоро буду коммунист и друг всех коммунистов на земле.

Но горечь звучала в его гордой речи.

- Говори,- сказал Ершов, и кровь поднялась в нём, как у скакуна, когда потник седла касается спины.

- Ты три месяца ездил по горам, ты устал, и седло твоей душ требует ласки; кожа, украшающая высокую луку, потрескалась от жара пустыни, и тень сосца, похожего на виноградину, будет для него целебней. Вот разве, если бы мы находились с тобой в одном взводе и брали Бухару у войска эмира, и конь бы мой пал, разве не разделил бы ты коня?

Инструктор быстро подтвердил его мысли. На мгновенье губы Сеида стали белее риса, и кусок баранины упал обратно в плов.

- Так,- продолжал после короткого молчания Сеид-Раджаб: - так... ты согласен со мной, и я согласен с тобой, так и должны поступать настоящие люди Совета. Но...

Инструктор поднял встревоженные глаза, и Сеид быстро добавил:

- Но у меня только одно персиковое дерево, один конь и одна жена. Я отряхнул для тебя дерево. Если ворвутся в кишлак басмачи и тебе потребуется скакун текинский, ты получишь моего коня и... вот, подними ковер, пройди в другую половину дома, увидишь женщину, попроси её раскинуть голубое одеяло, на котором вышит герб эмира, и пусть она взобьёт для тебя подушки.

И тогда инструктор подумал, что Сеид-Раджаб хотя и почтенный человек, но дурак, и, подумав так, успокоился. И ещё он подумал, что жена Сеида старуха, но приходилось же инструктору в семнадцатом году есть от голода кошек, и, подумав так, он ещё раз успокоился. И ещё он подумал, что Сеид неправильно инструктирован по вопросу о браке коммунистов, но ведь инструктировал Сеида другой, глупый инструктор, и, подумав так, Ершов третий раз успокоился и благодарно пожал руку Сеиду-Раджабу, и тот потупил глаза и вздохнул, и инструктор подумал, что, видимо, жена не столь безобразна, чтоб не огорчаться, и, подумав так, совсем успокоился, ковёр скрыл его спину от усталых глаз Сеида, от бледных вялых губ его.

И вот, через некоторые часы, когда он увидел помимо её ног, её весёлых чресел и прозрачных сосцов, похожих на виноградины,- фая и бархат её одежды и расшитый сафьян на задках её туфель, он спросил так: "Как твоё имя, женщина?" И она ответила ему поспешно: "Асния Агликан Антуанетта", он хотел её спросить, почему имеет она имя Антуанетта,- но понял по её восклицанию, что нужно быть вежливым и не заставлять хозяина ждать долго. Он предпочёл молчание, воскликнув для оправдания своего пыла: "Как же я не верил в существование тысячи одной ночи!"

Хозяин встретил его пловом и кумысом. Длинное полотенце лежало на его длинных и тонких руках. Инструктор взял полотенце и пожал хозяину руку, и они сели друг против друга, взаимно довольные, и Ершов спросил так:

- Кто бы мог в мире так достойно усладить путника, умученного тремя пламенными месяцами? Кто? Я девяносто дней помогал выбирать делегатов, но я не набрал себе воспоминаний и на один день, а сейчас у меня полномочия на тысячу одну ночь!

На эту вдохновенную речь Сеид-Раджаб возразил так:

- Разрешите, путник, ответить тебе таким рассказом.

III

В Бухаре жил кровожадный и злой эмир. Во дворце у него были все сокровища земли; все стены и потолки были обиты московским ситцем; в каждой комнате он имел по граммофону и жёны его четыре раза в день мылись мылом "Ралле". В детстве мой отец добыл картину с того мыла, и она долго была украшением нашего жилища. Каждый кусок мыла стоил восемь рублей или ещё больше! В гареме у эмира было девяносто шесть жён, и здесь были женщины из всех стран: от Индии до белокурой страны, в которой мужчины ходят в длинных чулках, как пастухи, а шляпы их похожи на печные трубы.

Мы, народ, желали свержения эмира; мы хотели иметь младобухарскую партию, которая б достойно управляла страной, я был одним из ничтожных звеньев этой партии, что как цепь обвилась вокруг трона эмира. В один из тенистых дней, когда эмир услаждал свой слух граммофоном, в котором был даже спрятан голос слона,- слуги и палачи эмира схватили нас и кинули в темницы, в погреба под дворцом.

У эмира по-прежнему гремел граммофон, и розовые бёдра его рабынь, умащённые прекрасными благовониями "Ралле", вились вокруг него, а кровь праздно лежала в нём, как седло на издохшей лошади. Наш же слух потрясали писки крыс, и наши казематы до колен наполняла вода. От сырости кожа и мясо сползали с наших костей и с тоски мы могли различать по писку: радуются или грустят крысы. Ненависть разрывала наши сердца: мы стонали, требуя смерти. Крысы грызли наше мясо, но ненависть заглушала нашу боль. Ещё б немного - и стены дворца упали, не выдержав стонов нашей ненависти, но в те дни войска великого Фрунзе были поблизости, и аэропланы, проносясь над Бухарой, кидали бомбы, и бомбы разрывались и кричали о свободе. И тогда эмир бежал, и народ вошёл в наши темницы и вынес нас на руках, так как ноги наши привыкли преодолевать течение воды и двигались мы медленно, а народ требовал радости. Народ плакал, кричал нам "ура" и тут же про нас сочинили первую песню, и певцы в тот же день

исполняли её на всех базарах страны вместе с вестями о бегстве эмира. Народ кричал "ура" и спрашивал, что мы хотим, и мы отвечали, что желаем залечить раны, чтобы гнаться за эмиром, и про нас сочинили вторую песню и на другой день на всех базарах страны её пели вместе с вестями о поисках эмира, бежавшего в Афганистан. Народ кричал: "Идите отдыхать и залечивать свои раны", и он нам дал для пути по коню текинской породы из конюшен эмира, по халату и по жене из гарема, ибо куда же девать этих жён, как не для подарков? Я не хотел обижать добрый народ и кинул подарки и бёдра, умащённые благовониями "Ралле", поперёк седла. Мне досталось по счёту Шестнадцатое Наслаждение эмира, оно было из Франкской земли - (ты мог осудить его недостатки и воспевать его достоинства). Главная погрешность, друг мой, в войне - это полагаться на примирившегося неприятеля,- поэтому я два года не притрагивался к Шестнадцатому Наслаждению эмира, но "женщина, как бумага,- подумал я однажды,- белое поле: кто его посеет, тот его и разумеет". Так на мгновение подумал я... а теперь она говорит мне, когда я предлагаю ей вернуться в её страну: "Я не верю, что существуют железные дороги и по ним можно ехать во Франкскую страну. Ваши мужчины приходят ко мне такие голодные, будто женщины вашей страны вымерли. Если все вы так голодны и так не устроили своё хозяйство,- мне и пятидесяти вёрст не проехать по вашей стране".

Меня зовут, друг мой, Сеид-Раджаб, я занят до того, что мне некогда брить голову, и где мне убеждать женщину, я говорю ей: "Придёт европеец, и ты поверишь ему, если не хочешь верить путникам Азии". И вот ты, инструктор, молодой и быстрый, как текинский конь, ты - европеец, ты убедил ли её возвратиться во Франкскую страну - и не позорить моего дома своим пребыванием?"

IV

- Да,- сказал инструктор уверенно: - она едет со мной. Её убедила моя европейская логика.

И ковёр вновь скрыл его спину. Он вскоре заснул и, проснувшись, обрадовался бодрящему самовару и доброму хозяину, непонятно стыдившемуся своей жены, и Ершов сказал так: "Мне радостно видеть в пустыне рост и ширь классового смысла", и добавил также, чтоб хозяин оседлал ему текинского коня, на котором до ближайшего посёлка поедет с инструктором европейка. И женщина взглянула на него весело, а хозяин побледнел, но твёрдо приказал оседлать лошадь и приказал к седлу её коня приарканить любимую её подушку, захваченную из гарема, всю умасленную запахами её радостей.

- Вам необходимо проститься,- сказал инструктор: - я беру твоего коня и буду ждать женщину у въезда в кишлак.

И мужчины опять пожали друг другу руки, и конь инструктора порадовался веселью и уверенности своего хозяина. И вот инструктор стоял у въезда в кишлак, в одной руке у него был повод текинского коня, седло которого было украшено запашистой подушкой, и Ершов сказал своему проводнику так: "Ты поезжай вперёд, я хочу сам вести её по первым пяти милям её новой дороги". И проводник ускакал вперёд. Ершов опять видел тощих собак, рывшихся в отбросах, но теперь он любил этих собак и говорил: "Если бы их откормить, были бы вполне ценные псы", и тогда к нему подошла женщина под чадрой и, взяв текинского коня под уздцы, спросила: "Доволен ли ты Шестнадцатым Наслаждением, путник?" И он ответил: что совершенно доволен и просит Шестнадцатое Наслаждение

откинуть покрывало, и она откинула чадру, и он протянул ей руку, чтобы помочь ей вспрыгнуть в седло, она ж возразила так:

- Разреши, путник, ответить тебе таким рассказом.

V

Вы, европейцы, в пустыне быстро потеете и, вспотев, очень дурно пахнете. Так вот, эмир, имевший в каждой комнате гору арабских ковров и ящик жемчуга,- потел ещё больше любого из вас. Он не любил мыться, и ногти его постоянно были цвета свинца. До Шестнадцатого Наслаждения своего он дотрагивался не больше одного раза в год, а я начинаю стареть, и ветер пустыни вреден для моих щёк.

И однажды из подвалов дворца к нам ворвался Сеид-Раджаб.

Народ подарил ему жену на выбор, и руки его мгновенно завернули меня в одеяло эмира. Пальцы его, прикрывавшие мою грудь,- вверху, украшал герб эмира. Текинский конь вымчал нас мигом из города, и первый бархан - холм услышал наши стоны, и коршун крутился над барханом, так как думал, что здесь издыхает конь или, по крайней мере, раненый бык.

Сеида ждали в родном кишлаке, чтобы праздновать освобождение, а он три дня лежал рядом со мной на песке бархана и кормил меня айраном, который подавал мне своим ртом, пока айран не скис от жары и пока не превратился в твёрдый сыр.

И дальше,- он не отставал от меня, как дым от печи, и счастье его стало вянуть, и его выгнали из родного кишлака, в который приняли с великим почётом, его выгнали в Калей-Бигурт,- так как он был невыгоден и всё время спал подле моих колен. И вскоре он понял, что его могут выгнать даже из кишлака Калей-Бигурт, где самые распутные женщины Азии и самые тощие собаки земли,- и он захотел уйти от меня, ибо ему было стыдно погибать из-за Шестнадцатого Наслаждения эмира, и он отдал меня первому прибывшему в кишлак путнику. Ревность угнетала его, он собрался бежать,- но одобрения путника ещё более возвышали его кровь, и Наслаждение Путника он ласкал сильнее, чем Наслаждение Эмира, и он не смог покинуть меня, и тогда он стал ждать европейца, так как думал, что я уйду от него с европейцем. И вот я ушла от него, и вот седло, приготовленное им для меня. Но куда я пойду? Я совсем старею. Шантанов в вашей стране нет. Голос мой, обожжённый его страстью, охрип. Что можно спеть таким голосом? Сеид-Раджаб рыдает сейчас подле одеяла эмира и сразу забудет позор Шестнадцатого Наслаждения и будет горд мной,мною, вернувшейся к нему от европейца. Страсть его получит свои законные сроки - неделю или месяц, а не будет трепать его, как малярия, три раза в день, и луна работы осветит его своим спокойным светом. Вот и ты, путник, сейчас спокоен, ты пойдёшь дальше и спокойно будешь исполнять положенный тебе твоим законом труд, и тебе не захочется торопиться в город к привычным для тебя жёнам. Разве ты не должен благодарить Шестнадцатое Наслаждение, подарившее тебя воспоминанием тысячи одной ночи? Ты киваешь головой, и бледные губы твои говорят: "да!"

Ты приезжаешь в город, и тебя спрашивают: "Кто самый бойкий и кто самый твёрдый человек в кишлаках пустыни?" Кого же, по совести, назовёшь? Кто поборол свою гордость, и кто был тебе истинным братом? Ты отвечаешь: "Я много видел умных и

крепких людей, но умнее и крепче Сеид-Раджаба, председателя из кишлака, паршивого кишлака, Калей-Бигурт,- не встречал. Но мне не понятно только,- продолжаешь ты,- почему такой достойный человек не выдвинут дальше, и почему его не ждёт кандидатура, по крайней мере, волостного председателя?" И все удивятся вместе с тобой, и все вспомнят вместе с тобой, как Сеид-Раджаб сидел в темницах эмира, как он страдал и как он недостойно вознаграждён.

Часто рука, пожимавшая груди, бывает довольна и благодарит женщину, что она скрывает свою теплоту и упругость, протягивая пальцы. Таким же пожатием, я вижу, ты хочешь проститься со мной. Простись. Я не обижусь. Я беру всё, даже обиду, с благодарностью. Склонись со своего седла и выпусти повод текинца, так как конь этот должен вернуться в стойло своего хозяина, и я отведу коня. Прощай!

VI

И тогда инструктор наклонился, передал волосяной повод, и конь заржал, и Ершов, великий инструктор и странник, пожал женщине руку и сказал: "Прощай", и лёгким, довольным шагом пустыни женщина ушла от него. Собаки радостно кинулись за нею следом. Опять горестно и одиноко запахли разлагающиеся отбросы, и Ершов тронул своего коня и сказал грустно: "Ну, что ж, качай дальше, браток".

1927

«Литературный Киргизстан», 1985, №2

Еще в начале шестидесятых 20 века Андрей Вознесенский завершил поэму «Лонжюмо» словами: «На все вопросы отвечает Ленин». Недавно возвратилась разнообразная литература, долгие годы находящаяся в забвении Наступило время исторического мышления – читателей и писателей. Не случайно, в конце 80-х так злободневны были в своем истинном свете А. Ахматова и Б. Пастернак, А. Платонов и В. Гроссман, В. Шаламов и А. Жигулин, и другие

В длинном списке и Горький. Да – бунтовщик, да – отец соцреализма, да – «первый», ну и что? Может быть от частого произнесения этих справедливых слов и произошла их затертость, потеря смысла. Чем выше поднимали на пьедестал, тем реже обращались к живому слову. Все сказанное относится и к очерку «Владимир Ленин», позднейшая переработка и канонизация которого постепенно вывели его из круга чтения.

Сегодня тот, кто прочитает очерк «Владимир Ленин», подобно археологу сможет снять позднейшие напластования и увидеть талант и горе писателя, как их увидели те, кто, взяв в руки первый номер журнала «Русский современник» в 1924 траурном году, его прочитал.

К слову, возникновение этого произведения во-многом таинственно.

Максим Горький

Владимир Ленин

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность». Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «Труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них, — нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших представителей русской воли к жизни и бесстрашия русского разума.

Лично для меня Ленин не только изумительно совершенное воплощение воли, устремленной к цели, которую до него никто из людей не решался практически поставить пред собою, — он для меня один из тех праведников, один из тех чудовищных, полусказочных и неожиданных в русской истории людей воли и таланта, какими были Петр Великий, Михаил Ломоносов, Лев Толстой и прочие этого ряда. Я думаю, что такие люди возможны только в России, история и быт которой всегда напоминают мне Содом и Гоморру.

Писать его портрет — трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, искренне верующего в возможность на земле справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е.П.Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Аpassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, детской, думаю: вот какие чудеса могут делать люди, — И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело: — Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-м, — должность адски трудная.

Должность честных вождей народа — нечеловечески трудна. Невозможен вождь, который — в той или иной степени — не был бы тираном. Вероятно, при Ленине перебито людей больше, чем при Уот Тайлоре, Фоме Мюнцере, Гарибальди. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они, в течение четырех лет позорной общеевропейской бойни, не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне культурные нации оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая глупость: тугие петли ее и по сей день душат людей.

Человек изумительно сильной воли, Ленин был во всем остальном типичным русским интеллигентом. Он в высшей степени обладал качествами, свойственными лучшей русской интеллигенции, — самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л.Андреева: «Люди живут плохо — значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжелом, голодном 19-м году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его уютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам.

Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копченой рыбой угощу — прислали из Астрахани.

И, нахмутив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину. Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают. Ерунда.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Его внимание к ним возвышалось до степени нежности, свойственной только женщине, и каждую свободную минуту он отдавал другим, не оставляя себе на отдых ничего.

Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу... Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо, устал. Надо поддержать. Настроение — немалая вещь.

На столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой. Захотелось прочесть сцену охоты, да вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище... Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно в нем? Его мужицкий голос, мужицкая мысль, настоящий мужик в нем. До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня азиатскими глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный, жмурясь, точно кот на солнце.

Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней стыдливый отзвук глубоко скрытой, радостной любви к своему народу. На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-м, а не забываете вы Россию, живя на этой шишке?

В.А.Строев-Десницкий сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере. Немцы, соседи по купе, ею спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым» людям.

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина, и немало других крупных русских людей, каким-то чудесным чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых сердец».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилица. Рыбаки объяснили ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага. Дринь-дринь.

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:

— Синьор Дринь-Дринь.

Он уехал, а они всё спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-Дринь? Царь не схватит его, нет?

В 1907 году, в Лондоне, несколько рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой такой же умный человек — Бебель или еще кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится.

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот — наш. Решительный.

Ему возразили:

— И Плеханов наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — товарищ наш.

Осенью 18-го года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина.

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.

Известно, что строже всех судят человека его служащие.

Но шофер Ленина, Гиль, много испытывавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет. Вот — везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь, изломают машину, даю гудки, очень волнуясь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я — старый шофер, я знаю, так никто не сделает.

Старый знакомый мой, тоже сормовский, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чека. Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился:

— Совсем не по характеру. Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и — стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держаться за крылья» — насилловать органический социальный идеализм свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держаться за крылья»? Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская каких-то детей, он сказал:

— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понята, все.

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только одна эта, в корне искажающая человека необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает жизнь на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такою глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастьям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, железного человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература — самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем в юности и зрелом возрасте от недостатка разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной, в старости от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто, до сего дня, не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался, а между тем в стране, где живут по книгам, такое сочинение не только имело бы оглушительный успех, но тотчас же вызвало бы ряд подражаний. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же ее плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Может быть, Ленин понимал драму бытия несколько упрощенно и считал ее легко устранимой, так же легко, как легко устранима вся внешняя грязь и неряшливость русской жизни.

Но все равно для меня исключительно велико в нем именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустраняемая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отместить прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом, и это была в нем не русская черта. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку, — Человеку с большой буквы.

В 1907 году, в Лондоне, он памятно говорил мне:

— Может быть, мы, большевики, не будем поняты даже и массами, весьма вероятно, что нас передуют в самом начале нашего дела. Но это неважно. Буржуазный мир достиг состояния гнилостного брожения, он грозит отравить всё и всех, — вот что важно.

Через несколько лет, в Париже, кажется в начале Балканской войны, он напомнил:

— Видите, — я был прав. Началось разложение. Угроза отравиться трупным ядом теперь должна быть ясна для всех, кто умеет смотреть на события прямыми глазами.

Характерным жестом своим он сунул пальцы рук за жилет под мышками и, медленно шагая по тесной своей комнате, продолжал:

— Это — начало катастрофы. Мы еще увидим европейскую войну. Дикая резня будет. Неизбежно. Пролетариат? Думаю — пролетариат не найдет в себе сил предотвратить эту кровавую склоку. Он, конечно, пострадает больше всех, это, пока, его судьба. Но — преступники увязнут, потонут в крови, ими пролитой. Его враги — обессилеют. Это — тоже неизбежно.

Оскалив зубы, он посмотрел в окно, куда-то вдаль.

— Нет, вы сообразите: чего ради сытые гоняют голодных на бойню друг против друга, а? Можно ли примириться с этим? Можете вы указать преступление, менее оправданное, более глупое? Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Он часто говорил об истории, но в его речах я никогда не чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и силой.

В 17—21 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы видеть их, но они не могли быть иными.

Он — политик. Он в совершенстве обладал тою искусственно, но четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

У меня органическое отвращение к политике, и я очень сомнительный марксист, ибо плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности.

Когда в 17-м году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами коммуны он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа. Научная, техническая, вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу своему и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией — для меня самая драгоценная сила, накопленная Россией; иной силы, способной взять власть и организовать деревню в России 17-го года, не было и нет. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперед; все это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организационному разуму города.

Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих и в годы реакции, 1907—1912, усиленно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих. Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весной 17-го года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук», учреждение, которое ставило задачей своей, с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских институтов, с другой — широкую и непрерывную популяризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные ученые, члены Российской Академии наук В.А.Стеклов, Л.А.Чугаев, академик Ферман, С.П.Костычев, Л.А.Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства: С.П.Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зооботаники. Начинание это было уничтожено октябрьской революцией, средства ассоциации конфискованы.

Для большей ясности скажу, что основным препятствием на пути России к европеизации и культуре является факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства ее и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих в гесном союзе с интеллигенцией была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложненного войной, еще более анархизировавшей деревню. С коммунистами я расхожусь по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция — научная и рабочая — была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошадкой, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс все еще остается силой, требующей руководства извне.

Я знаю, что за эти мысли буду еще раз осмеян политиками революции. Я знаю также, что наиболее умные и честные из них будут смеяться неискренно.

До 18-го года, до пошлейшей попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видел его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукою и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует, как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, проницательные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением. Взгляд очень привычный мне, — вот уже лет тридцать смотрят на меня так. Уверенно ожидаю, что этим же взглядом проводят меня и в могилу. В этой уверенности не следует искать самохвальства, я не хочу ею намекнуть, что именно «заблудившиеся» всегда открывают новые пути и Америки. Но мне легче соглашаться из уважения к ним, даже из вежливости, чем по необходимости, ясной для них, но неясной для меня.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории, — фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуто в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась.

— Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:

— Гм-гм...

Острый взгляд становится еще острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много и правильно шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — неплохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйста к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

— За это мне от интеллигенции уже попало по шее.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

— Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. И — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным, — на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в сущности, в идеале, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Все у них просто, все сформулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился мне этот...

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите Z, пойдет он работать с нами?

И когда Z принял предложение, это искренно обрадовало Ленина; потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется.

На 8 съезде партии Н.И.Бухарин, между прочим, сказал:

— Нация — значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем несообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии.

— Нет, извините, — возразил Ленин, — это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но — посмотрим еще, как оно пойдет.

Затем, показав на примере Германии, как медленно и трудно развивается процесс этой дифференциации, и упомянув, что «не путем насилия внедряется коммунизм», он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в промышленности, армии и кооперации; цитирую по отчету «Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на настоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам.

А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять производительной силы. — Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать возможность работать им лучше, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя. — Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, т.е. обогащали буржуазию огромными материальными предприятиями и в ничтожных дозах уделяли ее для пролетариата. Но они все-таки двигали культуру — в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только ценит культуру, но и помогает проведению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Тогда они будут поработаны морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны придерживаться системы мелких придирок. — Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика. — Если вчера мы говорили о легализации мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовывали меньшевиков и левых эсеров, то через эти колебания все же идет одна самая твердая линия: контрреволюцию отсекают, культурно-буржуазный аппарат использовать».

Но не мое дело говорить о Владимире Ленине-политике, мне дорог и близок Ленин-человек.

Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жизни и активная ненависть к мерзости ее, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал все, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность.

Азарт был свойством его природы, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира, — роль врага хаоса.

Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным честным солнцем юга, любоваться золотыми цветами Дрека и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

— А я мало знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка — и почти всё.

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, — от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный только человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сокрага и всевидящими глазами великого хитреца, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви и красоты.

Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице монгольского типа горели, играли эти острые глаза неугомимого охотника на ложь и горе жизни, горели прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и жутко-ясной. Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды, и хотя часто правда эта была неприемлема для меня, однако же не чувствовать силы ее я не мог.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок, — до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова. Они всегда напоминают мне холодный блеск железных стружек. С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь — узаконенный метод политики, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это — всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19-м году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, — уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчеркнуто мною по мотивам моего скептицизма по отношению к мужику, нет, — я знаю, что болезненным желанием изгадить красивое страдают и некоторые группы интеллигенции, например, те

эмигранты, которые, очевидно, думают, что если их нет в России, — в ней нет уже ничего хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Все необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут, если они жаждут, — вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли».

Владимир Ленин был человеком, который так исхитрился помешать людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Не знаю, чего больше вызвал он: любви или ненависти? Ненависть к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие чумные пятна всюду блещут ярко. Но я боюсь, что и любовь к Ленину у многих только темная вера измученных и отчаявшихся в чудотворца, та любовь, которая ждет чуда, но ничего не делает, чтобы воплотить свою силу в тело жизни, почти омертвевшей от страданий, вызванных духом жадности у одних, чудовищной глупостью — у других.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас со всех сторон медведем лезет контрреволюция, а мы что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды, после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне, почти презрение. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело

революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил.

— Гм-гм, — скептически ворчал Ленин на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

— Между нами, — говорил он, — ведь они изменяют, предательствуют чаще всего из трусости, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент.

И все-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех проклятых «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чье-то злое нежелание облегчить судьбу людей, спасти их жизнь. Мечь и злоба тоже часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие, психически нездоровые люди с болезненной жадой наслаждаться страданиями ближних.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому, химику, угрожала смерть.

— Гм-гм, — сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ. — Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но — надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим, кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомозмульсию...

— Да, да, — карболку какую-то. Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того, чтоб скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как — генерал? Устроился?

— Ну, хорошо, — говорил он мне в другой раз, по поводу некой просьбы исключительной важности, — ну, ладно, — возьмете вы на поруку этих людей. Но ведь их надо устроить так, чтоб не вышло какой-нибудь шингаревщины. Куда же мы их? Где они будут жить? Это — дело тонкое!

Дня через два, в присутствии людей не партийных и мало знакомых ему, он озабоченно спросил:

— Устроили вы все, что надо, с поруками за четверых? Формальности? Гм-гм, — заедают нас эти формальности.

Спасти этих людей не удалось, их поторопились убить. Мне говорили, что это убийство вызвало у Ленина припадок бешеного гнева.

В 19-м году в Петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

— Я княгиня Ц., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня искоса, снизу вверх, он все прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

— Если это и выдуманно, так выдуманно неплохо. Шуточка революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

— Да, этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

— Думаю — не вживутся.

— Значит — или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это, или он действительно жалеет людей?

— Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ, по преимуществу талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови.

И вспомнив некоторых товарищей, которые изжили классовую зоопсихологию, работают с «большевиками», он удивительно нежно, ласково заговорил о них.

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне 9.VIII.1921 года: А.М.! Переслал Ваше письмо Л.Б.Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье, и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и нерасчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, ни дела, одна суетня, зряшная суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямитесь, прошу Вас!

Ваш Ленин

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощенный работой, помнит о том, что кто-то где-то болен, нуждается в отдыхе.

Таких писем, каково приведенное, он написал разным людям, вероятно, десятки и десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое проницательно догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая, иногда, свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знак равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее — не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался — все это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжелой работой адовых условий 1918—1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощенном войною теле страны. Работали — без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших основ своих кровавой бурей гражданской распри. И только один раз, в беседе с М.Ф.Андреевой, у него, по ее словам, вырвалось что-то подобное жалобе:

— Что ж делать, милая М.Ф.? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете, мне тоже не бывает трудно? Бывает — и еще как! Но — посмотрите на Дзержинского, — на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

— Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова:

«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

И, посмеявшись, сказал, со вздохом:

— Какая умница! Эх...

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища «хозяйственника»:

— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

— Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное артиллерийское управление посмотреть изобретенный одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил он, но — поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:

— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то, изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

— Я сообщил моим генералам, что придете вы с товарищем, но умолчал, кто товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: это техник, профессор? Ленин? Страшно удивились — как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация! Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похохатывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но — из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, — хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И. есть и еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия, идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто — по слухам — будто бы не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Удивленный его лестной оценкой, я заметил, что для многих эта оценка показалась бы неожиданной.

— Да, да, — я знаю! Там что-то врут о моих отношениях к нему. Врут много, и кажется, особенно много обо мне и Троцком.

Ударив рукой по столу, он сказал:

— А вот показали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть. У нас — все есть! И — чудеса будут!

Он вообще любил людей, любил самоотверженно. Его любовь смотрела далеко вперед и сквозь тучи ненависти.

И был он насквозь русский человек — с «хитрецей» Василия Шуйского, с железной волей протопопа Аввакума, с необходимой революционеру прямолинейностью Петра Великого. Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывая свою страну, — издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее — исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду на темном фоне фантастической русской жизни, блестящей золотыми звездами.

Владимир Ленин разбудил Россию, и теперь она не заснет.

Он по-своему — и хорошо — любил русского рабочего. Это особенно сказывалось, когда он говорил о европейском пролетариате, когда указывал на отсутствие в нем тех свойств, которые так четко отметил Карл Каутский в своей брошюре о русском рабочем.

Владимир Ленин — большой, настоящий человек мира сего — умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение — значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его живы.

В конце концов побеждает все-таки честное и правдивое, созданное человеком, побеждает то, без чего нет человека.

Примечание

Впервые в отрывках под заглавием «Горький о Ленине» напечатано в газете «Известия ВЦИК» (1924. №84. 11 апреля). Затем с небольшими сокращениями под заглавием «Владимир Ленин» — в журнале «Русский современник» (1924. №1 (май)). Первые отдельные издания: Максим Горький. Ленин: (Личные воспоминания). М., 1924; М.Горький. Владимир Ленин. Л., 1924. Сразу же очерк был переведен на иностранные языки и напечатан в Англии, Франции, США и Германии. Полностью первая редакция появилась под заглавием «В.И.Ленин» в книге: М.Горький. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Берлин: Книга, 1927, а также в 19-м томе Собрания сочинений Горького, вышедшем в том же издательстве. Без изменения первая редакция была перепечатана в 20-м томе Собрания сочинений Горького, вышедшем в это же время в России в Государственном издательстве (ГИЗ).

В 1930 году в связи с подготовкой нового Собрания сочинений Горького к нему обратился с письмом заведующий ГИЗ А.Б.Халатов: «Вашей статьей о Ленине мы очень дорожим. Но мы просим Вас ее пересмотреть и проредактировать, учтя наши замечания. Вы знаете, как осторожно мы относимся к каждому слову о Ленине, и Вы не осудите нас за то, что мы вынуждены обратиться к Вам с этой настоятельной просьбой».

С учетом этих замечаний, а также в результате знакомства с уже изданными к 1930 году воспоминаниями о Ленине других лиц, Горький и приступил к работе над второй редакцией очерка, вышедшей в 1931 году отдельным изданием в Государственном издательстве художественной литературы (ГИХЛ). Этот текст впоследствии и стал каноническим.

Вторая редакция существенно шире первой. Образ вождя Октябрьской революции, насыщенный многими бытовыми подробностями, оказался человечнее и ближе пониманию простого читателя. В то же время исчезла угловатость, «графичность» первой редакции, написанной по недавним впечатлениям (Горький покинул Россию в 1921 году во многом из-за несогласия с политикой большевиков и лично Ленина).

Но вместе с тем во второй редакции нетрудно обнаружить стремление писателя приспособить образ вождя к духу нового времени. Так, очевидно в угоду Сталину, вставлены слова Ленина о Троцком: «А все-таки он не наш! С нами, а — не наш...» С другой стороны, снятым оказалось сравнение Ленина с Петром I, заострявшее исторический вопрос о русской революции в первой редакции. Появились в новой редакции и покаянные нотки, говорившие о том, что Горький либо пересмотрел свои взгляды 1917—1918 годов, отчетливо выраженные в цикле «Несвоевременные мысли», либо в начале 1930-х счел их действительно «несвоевременными». Оставив во второй редакции место, где он писал о несогласии с политикой Ленина в отношении научной и художественной интеллигенции, этой «горсти соли», брошенной «в пресное болото» русской жизни, Горький тем не менее посчитал нужным покаяться: «Так думал я 13 лет

тому назад и так — ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть». Однако — не вычеркнул.

В настоящем издании напечатана полностью первая редакция очерка Горького о Ленине. Ее все же следует рассматривать не как текст, отражающий последнюю волю писателя, но как исторический документ.

«Комсомолец Киргизии», 1988, №117-119

Современники о И.В. Сталине

Действующие лица предлагаемого практически детективного, сюжета, без изложения которого, публикация предлагаемых материалов была бы не полной.

Итак, Ильин – Федор Раскольников 1892 – 1939, известен в 20е годы, как активный участник гражданской войны: руководил Волжской военной флотилией, которая запомнилась и тем, что по приказу Раскольникова были зверски утоплены пленные белогвардейские офицеры. Позже, завершив военную карьеру, выдвигается на «литературную работу» назначается редактором первого всесоюзного толстого литературного журнала «Красная Новь» Радикальные взгляды Раскольникова отчетливо проявились в его выступлениях (см. примечания, посвященные Советанию творческой интеллигенции в Отделе печати ЦК ВКП (б), 9 мая 1924 года, фрагменты стенограммы которого воспроизводятся в этой же книге. Раскольников предлагает М. Горькому сотрудничество в «Красной Нови» и получает резкий отказ. В условно до раскольнический период, в этом журнале активно публиковались литераторы различной творческой направленности.

Раскольников – дипломат: в разные годы посол в Афганистане (читайте дневники и цикл очерков «Афганистан», его супруги Ларисы Рейснер, известной журналистки, очень красивой женщины, (ею увлекся и Н. Гумилев) и в Болгарии, где произошел трагический инцидент, повлиявший на дальнейшую судьбу Раскольникова. Почти одновременно, в 1939 г в посольство из Москвы, приходят два распоряжения. Первое, за подписью Наркома иностранных дел В.М. Молотова, об отзыве Раскольникова с должности посла, устно мотивированное тем, что он назначается зам. Наркома; второе , список книг, подлежащих изъятию и уничтожению, среди которых была и книга Ильина (настоящая

фамилия, Раскольников – партийная кличка). Хорошо понимая, какая судьба ему уготована, конечно, арест и, скорее всего, расстрел.

Раскольников просит политической убежища во Франции, пишет свое знаменитое «Открытое письмо Сталину», которое на долгие годы опередило будущие разоблачения культа личности. В «Письме» привычные политические и литературно – художественные взгляды Раскольникова прямо противоположны еще недавно декларируемым. (Можно сравнить, например, характеристику Б.Пильняка и многое другое). Публикуется «Письмо» (не по его вине) в белогвардейском издании «Новая Россия», 1939. Этот факт Раскольникову не могли простить исследователи даже в перестроечные годы.

После публикации «Письма» за Раскольниковым началась охота. Он прячется даже в доме умолишенных, где его находит НКВД. Раскольникова убивают (по официальной версии он «выбросился из окна». Кстати, «выбросился из окна», не мудрствуя лукаво, эта организация традиционно обозначала убийства оппонентов). См., например, историю с «самоубийством» Б. Савинкова (Ропшина).

В операции НКВД принимал участие и Сергей Эфрон, наивно полагавший, что за свою доблесть будет обласкан и награжден. Убедил в этом жену – великого поэта Марину Цветаеву. Со всеми домочадцами возвратился из эмиграции в СССР. После возвращения, Эфрона арестовали и расстреляли. (Судьба домочадцев и самой Марины Цветаевой после этого, отдельный трагический сюжет.)

Второй герой этой публикации выдающийся литератор Леон Фейхтвангер (1884-1958), известный широкой советской читательской аудитории по русским переводам его произведений, участию в дискуссии по историческому роману и т.п.

До приезда Фейхтвангера, в Советском Союзе побывал лауреат Нобелевской премии, французский писатель Андре Жид. Целью его посещения было упрямое вступить за гомосексуализм. Он получил грубый отказ, пишет книгу «Возвращение в СССР» (1936), разоблачающую мнимые достижения советской власти. Конечно, книга эта была написана не потому, что цель приезда не была достигнута. Умудренный опытом, он смог разгадать вуалированное советской властью, что и повлияло на его разочарование в коммунизме.

Леону Фейхтвангеру, при посещении страны советов, была уготована судьба оппонента французскому писателю, самим Сталиным.

Соответствующим был и прием, регламентированы поездки и встречи, «открыты двери в святая святых».

В 1937 году, в Амстердаме, на немецком языке публикуется книга «Москва 1937», в 1937 же выходит на русском, в СССР. Композиция книги напоминает своеобразную полемику с предшественником.

А теперь несколько слов, придающих некую детективность рассказанному.

Понятно, что «Письмо» Раскольниковова было в советском союзе «репрессировано»; переписывающие и хранящие его, рисковали своей судьбой и судьбой своих близких, но «запретный плод...»

Немного автобиографии. В 1963 году я оказался в Ленинграде, в гостях у своей тетушки, которая была выдающимся дефектологом, по её книгам работали многие поколения логопедов, Иды Наумовны Шапиро. Копаясь в библиотеке, я наткнулся на ученическую тетрадку, с «Письмом» Раскольниковова, с разрешения хозяйки, его переписал, понимая последствия, положил и «забыл»

История с книгой Л.Фейхтвангера «Москва 1937: Отчет о поездке для моих друзей» не менее мистична.

После того, как книга увидела свет в Амстердаме, в одну из ночей в кабинете директора Гослитиздата зазвонил телефон. Звонил ОН, любивший по ночам давать «советы», различным большим и малым начальникам, с трепетом ждущим «а вдруг, Позвонит!» Сам, Человек с усами и с курительной трубкой, И.В. Сталин.

Разговор состоялся приблизительно такой (опустим приветствия):

Сталин: «Вы знаете, что в Амстердаме вышла книга Леона Фейхтвангера «Москва 1937»

На это замечание был получен положительный ответ (а какой мог быть?!)

Сталин: «Вы не думаете её издавать?»

Вновь прозвучал положительный ответ.

Сталин: «Сколько Вам для этого понадобится времени?»

Директор издательства лихорадочно подсчитал, перевод – набор и пр. и дрожащим голосом озвучил: «Полгода», на что получил уверенное указание: «Я думаю, хватит месяца».

И началось, и закончилось... Через месяц книга Л. Фейхтвангера лежала на столе Вождя Народов..., а очень скоро, у тех, у кого её находили, как и книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», получал тюремный срок.

Мне повезло. На первом университетском курсе, куратором стала уникальная женщина, дочь первой советской летчицы, Кокориной Зинаиды Петровны – Зинаида Сергеевна Смелкова, опекающая своих студентов и после окончания ими университета. В её поле зрения попал и я (Уникальность семьи Кокориной – Смелковой требует отдельной книги. Зинаиде Петровне посвятил обширную статью «Первая», сам Василий Песков)

Зинаида Сергеевна хорошо знала мою запойную страсть к литературе, как-то, к какой-то дате, подарила мне «1937» Л. Фейхтвангера. (купила у какого-то букиниста.)

С 1971 года я начал публиковать и републиковать в газетах и журналах забытое, запрещенное: от Дм. Фурманова (1971) до Михаила Булгакова (1981, 1982) и Павла Антокольского (1982, 1986)...

В 1987 году сделал своеобразный коллаж из «Письма» Раскольникова и отрывков из книги Фейхтвангера, отнес в «Литературный Киргизстан». И стал ждать. Задержка, как позже узнал, произошла из-за сомнений начальства «Л.К.» в подлинности варианта «Письма» хранившегося у меня. Известный историк, в партийном архиве, в Москве, сличил варианты и засвидетельствовал их идентичность.

Редакция решила опубликовать..., но тогдашний зам. редактора эту публикацию решил присвоить, думаю с молчаливого согласия коллег, убрал мою фамилию, переписал предисловие и...

Совсем случайно, я зашел в редакцию узнать о судьбе материала, увидел это безобразие, подготовленное и уже отправленное в набор, поднял шум, и тогда редакция указал мою фамилию – публикатора.

Позже, журнал «Наше наследие» напечатал «Открытое письмо» Раскольникова, с упоминанием, что первая публикация А.Кацева появилась в журнале «Литературный Киргизстан»

ФЕДОР РАСКОЛЬНИКОВ

Открытое письмо Сталину

Я правду о тебе порасскажу такую,

Что хуже всякой лжи...

Сталин, вы объявили меня «вне закона». Этим актом вы уравнили меня в правах – точнее, в бесправии – со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона.

Со своей стороны отвечаю полной взаимностью: возвращаю вам входной билет в построенное вами "царство социализма" и порываю с вашим режимом.

Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далёк от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата.

Вам не поможет, если награждённый орденом, уважаемый революционер-народоволец Н.А. Морозов подтвердит, что именно за такой «социализм» он провел пятьдесят лет своей жизни под сводами Шлиссельбургской крепости.

Стихийный рост недовольства рабочих, крестьян, интеллигенции властно требовал крутого политического маневра, подобно ленинскому переходу к нэпу в 1921 году. Под напором советского народа вы "даровали" демократическую конституцию. Она была принята всей страной с неподдельным энтузиазмом.

Честное проведение в жизнь демократических принципов демократической конституции 1936 года, воплотившей надежды и чаяния всего народа, ознаменовало бы новый этап расширения советской демократии.

Но в вашем понимании всякий политический манёвр – синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку.

Что сделали вы с конституцией, Сталин?

Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями вы бесшумно уничтожали "зафинтивших" депутатов, насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, что хозяином земли советской является не Верховный Совет, а вы. Вы сделали всё, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того, чтобы пойти по линии намеченного конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором. Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры, вы открыли новый этап, который в истории нашей революции войдёт под именем «эпохи террора».

Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста, никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза – все в равной мере подвержены ударам вашего бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели.

Как во время извержения вулкана огромные глыбы с треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так целые пласты советского общества срываются и падают в пропасть.

Вы начали кровавые расправы с бывших троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев, потом перешли к истреблению старых большевиков, затем уничтожили партийные и беспартийные кадры, выросшие в гражданской войне, вынесшие на своих плечах строительство первых пятилеток, и организовали избиение комсомола.

Вы прикрываетесь лозунгом борьбы «с троцкистско-бухаринскими шпионами». Но власть в ваших руках не со вчерашнего дня. Никто не мог "взобраться" на ответственный пост без вашего разрешения.

Кто насаждал так называемых «врагов народа» на самые ответственные посты государства, партии, армии, дипломатии?

– Иосиф Сталин.

Прочитайте старые протоколы Политбюро: они пестрят назначениями и перемещениями только одних «троцкистско-бухаринских шпионов», «вредителей» и «диверсантов». И под ними красуется надпись – И. Сталин.

Вы притворяетесь доверчивым простофилей, которого годами водили за нос какие-то карнавальные чудовища в масках.

– Ищите и обряцете козлов отпущения, – шепчете вы своим приближённым и нагружаете пойманные, обречённые на заклятие жертвы своими собственными грехами.

Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может бросить вам в лицо правду.

Волны самокритики «не взирая на лица» почтительно замирают у подножия вашего пьедестала.

Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь!

Но советский народ отлично знает, что за всё отвечаете вы, «кузнец всеобщего счастья».

С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения знакомые вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.

Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, М. Горький умер естественной смертью и Троцкий не сбрасывал поезда под откос.

Зная, что всё это ложь, вы поощряете своих клеветников:

– Клеветайте, клеветайте, от клеветы всегда что-нибудь останется.

Как вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. Я и сейчас не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой. Принципиально расходясь с Троцким, я считаю его честным революционером. Я не верю и никогда не поверю в его сговор с Гитлером и Гессом.

Вы - повар, готовящий острые блюда, для нормального человеческого желудка они не съедобны.

Над гробом Ленина вы принесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить как зеницу ока единство партии. Клятвопреступник, вы нарушили и это завещание Ленина.

Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др., невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которых они не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы.

А где герои Октябрьской революции? Где Бубнов? Где Крыленко? Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко?

Вы арестовали их, Сталин.

Где старая гвардия? Её нет в живых.

Вы расстреляли её, Сталин.

Вы растлили, загадили души ваших соратников. Вы заставили идущих за вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

В лживой истории партии, написанной под вашим руководством, вы обокрали мёртвых, убитых, опозоренных вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги.

Вы уничтожили партию Ленина, а на её костях построили новую партию «Ленина-Сталина», которая служит удачным прикрытием вашего единовластия.

Вы создали её не на базе общей теории и тактики, как строится всякая партия, а на безыдейной основе личной любви и преданности вам. Знание программы первой партии было объявлено необязательным для её членов, но зато обязательна любовь к Сталину, ежедневно подогреваемая печатью. Признание партийной программы заменяется объяснением любви к Сталину.

Вы – ренегат, порвавший со вчерашним днём, предавший дело Ленина. Вы торжественно провозгласили лозунг выдвижения новых кадров. Но сколько этих молодых выдвиженцев уже гниёт в ваших казематах? Сколько из них вы расстреляли, Сталин?

С жестокостью садиста вы избиваете кадры, полезные, нужные стране. Они кажутся вам опасными с точки зрения вашей личной диктатуры.

Накануне войны вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот её мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским.

Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову военной техники и сделали её непобедимой.

В момент величайшей военной опасности вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров.

Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров?

Вы арестовали их, Сталин.

Для успокоения взволнованных умов вы обманываете страну, что ослабленная арестами и казнями Красная Армия стала ещё сильнее.

Зная, что закон военной науки требует единоначалия в армии от главнокомандующего до взводного командира, вы воскресили институт военных комиссаров, который возник на заре Красной Армии и Красного Флота, когда у нас еще не было своих командиров, а над военными специалистами старой армии нужен был политический контроль.

Не доверяя красным командирам, вы вносите в Армию двоевластие и разрушаете воинскую дисциплину.

Под нажимом советского народа вы лицемерно вскрываете культ исторических русских героев: Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут вам больше, чем казнённые маршалы и генералы.

Пользуясь тем, что вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и японская разведка с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной вами воде, подбрасывая вам в изобилии подложные документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей.

В созданной Вами гнилой атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщего сыска и всемогущества Наркомвнутридела, которому вы отдали на растерзание Красную Армию и всю страну, любому «перехваченному» документу верят – или притворяются, что верят, – как неоспоримому доказательству.

Подсовывая агентам Ежова фальшивые документы, компрометирующие честных работников миссии, «внутренняя линия» РОВСа1 в лице капитана Фосса добилась разгрома нашего полпредства в Болгарии – от шофера М. И. Казакова до военного атташе В. Т. Сухорукова.

Вы уничтожаете одно за другим важнейшие завоевание Октября. Под видом борьбы с текучестью рабочей силы вы отменили свободу труда, закатали советских рабочих, прикрепив их к фабрикам и заводам. Вы разрушили хозяйственный организм страны, дезорганизовали промышленность и транспорт, подорвали авторитет директора, инженера и мастера, сопровождая бесконечную чехарду смещений и назначений арестами и травлей инженеров, директоров и рабочих как «скрытых, еще не разоблаченных вредителей».

Сделав невозможной нормальную работу, вы под видом борьбы с «прогулами» и «опозданиями» трудящихся заставляете их работать бичами и скорпионами жестоких и антипролетарских декретов.

Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и выгоняют с квартиры.

Рабочий класс с самоотверженным героизмом нёс тягость напряжённого труда и недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров. Он верил, что вы ведёте к социализму, но вы обманули его доверие. Он надеялся, что с победой социализма в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о великом братстве людей, всем будет житья радостно и легко.

Вы отняли даже эту надежду: вы объявили – социализм построен до конца. И рабочие с недоумением, шёпотом спрашивали друг друга: «Если это социализм, то за что боролись, товарищи?».

Извращая теорию Ленина об отмирании государства, как извратили всю теорию марксизма-ленинизма, вы устами ваших безграмотных доморощенных «теоретиков», занявших вакантные места Бухарина, Каменева и Луначарского, обещаете даже при коммунизме сохранить власть ГПУ.

Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. Под видом борьбы с «разбазариванием колхозной земли» вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Организатор голода, грубостью и жестокостью неразборчивых методов, отличающих вашу тактику, вы сделали всё, чтобы дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации.

Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, учёного, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовство запуганной вами цензуры и понятная робость редакторов, за всё отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не может высказать своё личное мнение, не отмеченное казённым штампом.

Вы душили советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливym однообразием воспекает вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность».

Бездарные графоманы славословят вас, как полубога, «рождённого от Луны и Солнца», а вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести.

Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неудобных русских писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что была женой Сокольников?

Вы арестовали их, Сталин.

Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг.

Я видел своими глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащих немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии, то в 1937 г. в полученном мною списке обречённой огню литературе я нашёл мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году». Против фамилий многих авторов значилось: «Уничтожать все книги, брошюры, портреты».

Вы лишили советских учёных, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа учёного становится невозможной.

Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать в лабораториях, университетах и институтах.

Выдающихся русских учёных с мировым именем - академиков Ипатьева и Чичибабина, вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для вашего режима факт, что лучшие учёные бегут из вашего "рая", оставляя вам ваши благодеяния: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в совнаркомовской столовой.

Вы истребляете талантливых русских учёных.

Где лучший конструктор советских аэропланов, Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин!

Нет области, нет уголка, где можно было бы спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссёр, выдающийся деятель искусства Всеволод Мейерхольд не занимался политикой. Но вы арестовали и Мейерхольда, Сталин.

Зная, что при нашей бедности кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел.

Уничтожая везде и всюду золотой фонд нашей страны, её молодые кадры, вы истребили во цвете лет талантливых и многообещающих дипломатов.

В грозный час военной опасности, когда острие фашизма направлено против Советского Союза, когда борьба за Данциг и война в Китае – лишь подготовка плацдарма для будущей интервенции против СССР, когда главный объект германо-японской агрессии – наша Родина, когда единственная возможность предотвращения войны – открытое вступление Союза Советов в Международный блок демократических государств, скорейшее заключение военного и политического союза с Англией и Францией, вы колеблетесь, выжидаете и качаетесь, как маятник, между двумя «осями».

Во всех расчетах вашей внешней и внутренней политики вы исходите не из любви к Родине, которая вам чужда, а из животного страха потерять личную власть. Ваша беспринципная диктатура, как гнилая колода, лежит поперёк дороги нашей страны. «Отец народов», вы предали побеждённых испанских революционеров, бросили их на произвол судьбы и предоставили заботу о них другим государствам. Великодушное спасение жизни не в ваших принципах. Горе побеждённым! Они вам больше не нужны.

Европейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними дверь нашей

страны, которая на своих огромных просторах может гостеприимно приютить многие тысячи эмигрантов.

Как все советские патриоты, я работал, на многое закрывая глаза. Я слишком долго молчал. Мне было трудно рвать последние связи не с вашим обречённым режимом, а с остатками старой ленинской партии, в которой я пробыл без малого 30 лет, а вы разгромили её в три года. Мне было мучительно больно лишаться моей Родины.

Чем дальше, тем больше интересы вашей личной диктатуры вступают в непрерывный конфликт и с интересами рабочих, крестьян, интеллигенции, с интересами всей страны, над которой вы измываетесь как тиран, дорвавшийся до единоличной власти.

Ваша социальная база суживается с каждым днём. В судорожных поисках опоры вы лицемерно расточаете комплименты «беспартийным большевикам», создаёте одну за другой привилегированные группы, осыпаете их милостями, кормите подачками, но не в состоянии гарантировать новым «калифам на час» не только их привилегий, но даже права на жизнь.

Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго. Бесконечен список ваших преступлений. Бесконечен список ваших жертв, нет возможности их перечислить.

Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов.

17 августа 1939 г

Лион Фейхтвангер.

Я замечал с удивлением и вначале скептически, что в Советском Союзе все люди, с которыми я сталкивался — притом и случайные собеседники, которые ни в коем случае не могли быть подготовлены к разговору со мной, — хотя иной раз и критиковали отдельные недостатки, были, по видимому, вполне согласны с существующим порядком в целом. Да, весь громадный город Москва дышал удовлетворением и согласием и более того — счастьем.

С каждым днем всё лучше и лучше. И эти люди знают, что их процветание является не следствием благоприятной конъюнктуры, могущей измениться, а результатом разумного планирования. Каждый понимал, что, прежде чем заняться внутренним устройством дома, необходимо было заложить его фундамент. Сначала нужно было наладить добычу сырья, построить тяжёлую промышленность, изготовить машины, а затем уже перейти к производству предметов потребления, готовых изделий. Советские граждане понимали это и с терпением переносили лишения в своей частной жизни. Теперь становится очевидным, что план был намечен правильно, что посев был проведен рационально и

может принести богатый, счастливый урожай. И с чувством огромного удовлетворения советские граждане наблюдают теперь за началом этого урожая. Они видят, что ныне именно так, как им было обещано, они располагают множеством вещей, о которых еще два года тому назад они едва осмеливались мечтать. И москвич идет в свои универмаги, подобно садовнику, посадившему самые разнообразные растения и желающему теперь взглянуть, что же возшло сегодня. Он с удовлетворением констатирует: смотри ка, сегодня имеются в продаже шапки, ведра, фотоаппараты. И тот факт, что руководящие лица сдержали свое слово, служит для населения залогом дальнейшего осуществления плана и улучшения жизни с каждым месяцем.

Сознание того, что государство не отрывает у большинства потребительские блага в пользу незначительного меньшинства, а, наоборот, действительно помогает самыми разумными методами всему обществу, это сознание, подкрепленное двадцатилетним опытом, вошло в плоть и кровь всего населения и породило такое доверие к руководству, какого мне нигде до сих пор не приходилось наблюдать. В то время как на Западе общество, наученное печальным опытом, питает к заверениям и обещаниям своих правительств недоверие — недоверие настолько сильное, что иногда считают, что определенный факт должен совершиться именно потому, что правительство утверждает обратное, в Советском Союзе твердо верят, что обещания властей будут выполнены в точности и к назначенному сроку.

Люди чувствуют потребность выразить свою благодарность, свое беспредельное восхищение. Они действительно думают, что всем, что они имеют и чем они являются, они обязаны Сталину. И хотя это обожествление Сталина может показаться прибывшему с Запада странным, а порой и отталкивающим, все же я нигде не находил признаков, указывающих на искусственность этого чувства. Оно выросло органически, вместе с успехами экономического строительства.

Сталин, в противоположность другим стоящим у власти лицам, исключительно скромн.

О частной жизни Сталина, о его семье, привычках почти ничего точно неизвестно. Он не позволяет публично праздновать день своего рождения. Когда его приветствуют в публичных местах, он всегда стремится подчеркнуть, что эти приветствия относятся исключительно к проводимой им политике, а не лично к нему. Когда, например, съезд постановил принять предложенную и окончательно отредактированную Сталиным Конституцию и устроил ему бурную овацию, он аплодировал вместе со всеми, чтобы показать, что он принимает эту овацию не как признательность ему, а как признательность его политике.

Сталину, очевидно, докучает такая степень обожания, и он иногда сам над этим смеется. Рассказывают, что на обеде в интимном дружеском кругу в первый день нового года Сталин поднял свой стакан и сказал: «Я пью за здоровье несравненного вождя народов великого, гениального товарища Сталина. Вот, друзья мои, это последний тост, который в этом году будет предложен здесь за меня.

Сталин выделяется из всех мне известных людей, стоящих у власти, своей простотой. Я говорил с ним откровенно о безвкуском и не знающем меры культе его личности, и он мне также откровенно отвечал. Ему жаль, сказал он, времени, которое он должен тратить на представительство. Это вполне вероятно:

Сталин — мне много об этом рассказывали и даже документально это подтверждали — обладает огромной работоспособностью и вникает сам в каждую мелочь, так что у него действительно не остается времени на излишние церемонии. Из сотен приветственных телеграмм, приходящих на его имя, он отвечает не больше, чем на одну. Он чрезвычайно прямолинеен, почти до невежливости, и не возражает против такой же прямолинейности своего собеседника.

Сталинская формула—культура, «национальная по форме, интернациональная по содержанию» — в настоящее время проведена в жизнь. Социализм проявляется в Союзе на многих языках и в разнообразных формах, национальных по выражению и интернациональных по существу. Национальные особенности автономных республик — язык, искусство, фольклор всякого вида бережно и с любовью охраняются; народам, понимавшим до сих пор только устное слово, дали письменность. Везде созданы национальные музеи, научные институты для изучения национальных традиций, национальные оперные и драматические театры, стоящие на высоком уровне. Я видел восторг, с которым москвичи — люди, искушенные в театральных зрелищах, принимали грузинскую оперу, которая шла в их Большом театре.

В том, насколько здорова и действенна национальная политика Советского Союза, меня лучше всего убедил примененный Союзом метод разрешения трудного, казавшегося неразрешимым, еврейского вопроса. Царский министр Плеве, по его собственным словам, не мог придумать иного выхода, как только принудить одну треть евреев к обращению в христианство, другую треть — к эмиграции, а третью — к вымиранию. Советский Союз нашел другой выход. Он ассимилировал большую часть своего пятимиллионного еврейского населения и, предоставив другой части обширную автономную область и средства для ее заселения, создал себе миллионы трудолюбивых, способных граждан, фанатически преданных режиму.

Я сталкивался в Советском Союзе со многими евреями из различных кругов и, интересуясь положением еврейского вопроса, подробно беседовал с ними. Исключительные темпы производственного процесса требуют людей, рук, ума; евреи охотно включились в этот процесс, и это благоприятствовало их ассимилированию, которое в Советском Союзе шагнуло гораздо дальше, чем где бы то ни было.

Великий организатор Сталин, понявший, что даже русского крестьянина можно привести к социализму, он, этот великий математик и психолог, пытается использовать для своих целей своих противников, способностей которых он никоим образом не недооценивает. Он заведомо окружил себя многими людьми, близкими по духу Троцкому. Его считают беспощадным, а он в продолжение многих лет борется за то, чтобы привлечь на свою сторону способных троцкистов, вместо того чтобы их уничтожить, и в упорных стараниях, с которыми он пытается использовать их в интересах своего дела есть что-то трогательное.

Советский Союз имеет два лица. В борьбе лицо Союза — суровая беспощадность, сметающая со своего пути всякую оппозицию. В созидании его лицо — демократия, которую он объявил в Конституции своей конечной целью. И факт утверждения Чрезвычайным съездом новой Конституции как раз в промежутке между двумя процессами — Зиновьева и Радека — служит как бы символом этого.

Борис Савинков

ПОЧЕМУ Я ПРИЗНАЛ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

Борис Савинков (1879-1925). История жизни этого человека полна противоречий и парадоксов. Революционер и контрреволюционер. Товарищ военного министра Временного правительства и террорист. Борец против царского режима и один из руководителей белогвардейского движения. Видный деятель партии эсеров, из которой в сентябре 1917 года был исключен...

Его литературные произведения, подписаны псевдонимом В. Ропшин, они представляют внутренний мир разочаровавшегося в борьбе человека. «Конь Бледный» (1909) — эсера-боевика, «Конь Вороной» (1923) — руководителя белого и зеленого движения против советской власти. В «Предисловии к русскому изданию»

(Государственно издательство «Прибой», М.—Л., 1924) «Коня Вороного» автор подчеркивал: «Я описывал либо то, что пережил сам, либо то, что мне рассказывали другие. Эта повесть не биография, но она и не размышление».

Форма дневника, используемая в обоих произведениях, помогает проследить внутренние метания главного героя, за которым легко угадывается сам автор. Савинков ведет дневник и в жизни (от своего и не от своего имени). Известен его дневник, который писался при нелегальном переходе советской границы в августе 1924 года, после ареста в тюрьме (первый от имени Любови Диренталь, его личного секретаря). Художественные произведения обобщали события, участником которых он был. Их герои были похожи на автора, но и автор старался походить на героев своих произведений.

Статья «Почему я признал Советскую власть» представляет ценность не только как человеческий документ времени ее написания, но и как свидетельство одного из первых жертв советской «охранки»

Эта статья, видимо, была написана потому, что руководители НКВД обещали сохранить ему жизнь, обещание, конечно, было нарушено, после её (статьи) появления. Официально было объявлено, что Савинков совершил самоубийство.

В 1926 году тиражем 50000 экземпляров издательство «Огонек» выпускает Посмертные статьи и письма Б. Савинкова, в предисловии подчеркивая: «Индивидуалист-одиночка, не связанный ни средой, ни делом, да и неспособный на коллективное дело, жизнь борьбу, Савинков метко и верно разоблачает истинную природу врагов революции — и сам при этом невольно предстает пред глазами рубящихся в истинном виде и свете, или, вернее, в истинном мраке истории нашей контрреволюции».

Почему я признал Советскую власть?.. Одни объясняют мое признание «неискренностью», другие «авантюризмом», третьи желанием спасти свою жизнь... Эти соображения были мне чужды. Правда заключается в следующем.

Я боролся с большевиками с октября 1917 г. Мне пришлось быть в первом бою, у Пулкова¹ и в последнем, у Мозыря². Мне пришлось участвовать в белом движении, а также в зеленом³. Мне пришлось заниматься подпольной работой и готовить покушения. Исчерпав все средства борьбы, я понял, что побежден. Но признать себя побежденным еще не значит признать Советскую власть. Я признал эту власть. Какие были к тому причины?

После октябрьского переворота многие думали, что обязанность каждого русского бороться с большевиками. Почему? Потому что большевики разогнали Учредительное

собрание⁴; потому что они заключили мир⁵, потому что, свергнув Временное правительство, они расчистили дорогу для монархистов; потому что, расстреливая, убивая и «грабя награбленное», они проявили неслыханную жестокость. На белой стороне честность, верность России, порядок и уважение к закону, на красной - измена, буйство, обман и пренебрежение к элементарным правам человека. Так и я думал тогда.

Кто верит теперь в Учредительное собрание? Кто осуждает заключенный большевиками мир? Кто думает, что октябрьский переворот расчистил дорогу царю? Кто не знает, что расстреливали, убивали и грабили не только большевики, но и мы? Наконец, кому же не ясно, что мы не были «рыцарями в белых одеждах», - что мы виноваты именно в том, в чем обвиняли большевиков?

Сказанное выше не требует доказательств. И если бы дело шло только об этих, второстепенных, причинах, мы, конечно, давно бы сложили оружие и признали Советскую власть. Но мы русские. Мы любим Россию, т. е. русский народ. Мы спрашиваем, с кем же этот народ? Не захватчики ли власти большевики? Не разоряют ли они родину? Не приносят ли они в жертву Россию Коммунистическому Интернационалу? И где завоеванная Февральской революцией свобода?

На три последних вопроса ответить нетрудно. Возьмите цифры. Сравните посевную площадь за 1916, 1922 и 1923 гг. Сравните продукцию угля, нефти, металлургии и хлопчатой бумаги за 1922 и первую половину 1924 г. Сравните производительность труда, товарооборот, заработную плату и транспорт за тот же период времени. Сравните, конечно, на основании проверенных данных. К каким выводам вы придете? Да, Россия разорена войной и величайшей из революций. Да, чтобы поднять ее благосостояние, необходима напряженная и длительная работа. Но большевики уже приступили к этой работе, и страна поддержала их. Лучший пример - Донбасс. Почему же предполагать, что белые работали бы быстрее? Мы ведь знаем, как «восстанавливались» Юг и Сибирь. Нет, возлагать надежды на белых, на эмиграцию, все равно что тешить себя легендой - легендой о полном финансовом и экономическом банкротстве большевиков. Главные затруднения уже позади. Власть, которая выдержала блокаду, гражданскую войну и поволжский голод - жизнеспособная и крепкая власть. Власть, которая создала армию, разрешила самый сложный национальный вопрос и защищает русские интересы в Европе - русская, заслуживающая доверия власть. О разорении страны уже не может быть речи. Речь идет о восстановлении ее. Признаем нашу ошибку. Или мы можем мыслить современное государство только с помещиками и крупной буржуазией? Или нам снова нужны варяги, чтобы «править и владеть» Россией... «править на фабриках и «владеть» в лесах и полях?

Я не коммунист, но и не защитник имущих классов. Я думаю о России, и только о ней. При царе Россия была сильна, - и стала жандармом Европы⁷. Советская власть, укрепившись, объединила в равноправный союз народы бывшей Российской империи. Она стремится к усилению и процветанию СССР. Пусть во имя Коммунистического Интернационала. Значит ли это, что Россия приносится ему в жертву? Нет, это значит, что в глазах миллионов русских людей вчерашний жандарм, Россия, станет завтра освободительницей народов. Для меня достаточно восстановления ее. Но меня спросят: как же восстанавливать без свободы? Я на это отвечаю: а, если бы белые победили, разве бы не было диктатуры? Я предпочитаю диктатуру рабочего класса диктатуре ничему не

научившихся генералов. Рабочий класс кровно связан с крестьянством. А генералы? С «третьим» и «пятым» снопом. Мы это видели на примерах.

Все это общеизвестно. Общеизвестно в России, но гораздо менее известно за рубежом. Эмиграция живет испугом - воспоминанием о расстрелах и нищете. Испуг - советчик плохой. Как забыть о революционном развале? Как поверить в государственное строительство рабочего класса, в строительство без на мель выброшенной буржуазии? Ведь, по эмигрантскому мнению, восстанавливать государство значит вернуться к капитализму... Но, даже поверив в творческие силы народа, неизбежно ли признать Советскую власть? Не всякое правительство идет навстречу народу, еще реже оно неразрывно спаяно с ним. И при царе народ создавал и производил. И при царе очень медленно, но поднималось благосостояние страны. Однако царь был врагом. Он был, в частности, врагом и моим. Его власть я не признавал никогда и признать бы не мог. А Советской власти я подчинился. Подчинился не потому, что большевики восстанавливают Россию, и не потому, что Россия - одно, а Коммунистический Интернационал - другое, и не потому, что диктатура рабочего класса, конечно, лучше диктатуры буржуазии. Еще раз, почему?

Я сказал, что признать себя побежденным еще не значит признать Советскую власть. Если бы был побежден только я, если бы был разгромлен только «Союз защиты Родины и свободы», я был бы вынужден прийти к заключению, что лично я неспособен к борьбе. Но мы все побеждены Советской властью. Побеждены и белые, и зеленые, и беспартийные, и эсеры, и кадеты, и меньшевики. Побеждены и в Москве, и в Белоруссии, и на Украине, и в Сибири, и на Кавказе. Побеждены в боях, в подпольной работе, в тайных заговорах и в открытых восстаниях. Побеждены не только физически - насильственной эмиграцией, но и душевно - сомнением в нашей еще вчера непререкаемой правоте. Перед каждым из нас встает один и тот же вопрос: где причина наших бедствий и поражений? В тылах? Но и у красных были тылы. В воровстве, в грабежах, в убийствах? Но и у красных вначале были грабительство и разбой. В бездарности, в неразумии? Но ведь не боги горшки обжигают... На нашей стороне был «цвет» военных людей, и «цвет» ученого мира, и «цвет» общественности, и «цвет» дипломатии. По крайней мере, мы искренно думали так. Однако красный командир из рабочих победил стратегов Генерального штаба. Однако крестьянин, член РКП, лучше понял смысл совершающихся событий, чем заслуженные и прославленные профессора. Однако рядовой партийный работник ближе подошел к трудовому народу, чем патентованные народолюбцы. Однако советские дипломаты оказались сильнее и тверже многоопытных российских послов. Прошло семь лет. Мы распылены. Мы живые трупы. А Советская власть крепнет с часу на час.

Больше года назад, за границей, я задумался над этим явлением. Больше года назад я сказал себе, что причина его должна быть простой и глубокой. Признаем снова нашу ошибку. Мы верили в октябре и потом долгих семь лет, что большевики - захватчики власти, что благодаря безволию Временного правительства горсть отважных людей овладела Москвой и что жизни им - один день. Мы верили, что русский народ, рабочие и крестьяне, с нами - с интеллигентской или, как принято говорить, мелкобуржуазною демократией. В этой вере было оправдание нашей борьбы... Что же? Не испугаемся правды. Пора оставить миф о белом яблоке с красною оболочкой. Яблоко красно внутри. Старое умерло. Народилась новая жизнь. Тому свидетельство миллион комсомольцев. Рабочие и крестьяне поддерживают свою, рабочую и крестьянскую, Советскую власть.

Воля народа - закон. Это завещали Радищев⁹ и Пестель¹⁰, Перовская¹¹ и Егор Сазонов. Прав или не прав мой народ, я - только покорный его слуга. Ему служу и ему подчиняюсь. И каждый, кто любит Россию, не может иначе рассуждать.

Когда при царе я ждал казни, я был спокоен. Я знал - я послужил, как умел, народу: народ со мной и против царя. Когда теперь я ожидал неминуемого расстрела, меня тревожили те же сомнения, что и год назад, за границей: а что, если русские рабочие и крестьяне меня не поймут? А что, если я для них враг, враг России? А что, если, борясь против красных, я, в невольном грехе, боролся с кем? С моим, родным мне, народом.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. «Мне пришлось быть в первом бою, у Пулкова» - речь идет об антисоветском походе на Петроград генерала Краснова в конце октября 1917 г., в котором участвовал Б. В. Савинков. 31 октября красные перешли в наступление в районе Пулковских высот и нанесли поражение войскам ген. Краснова.

2. Бои у Мозыря происходили в 1920 г, во время советско-польской войны, развязанной буржуазно-помещичьей Польшей против Советской России. В них участвовали представители «белого движения», бежавшие от арестов после антисоветских вооруженных выступлений в 1918-1919 гг. в Рыбинске, Ярославле, Муроме и др. городах, белые офицеры из организованного Б. В. Савинковым «Союза защиты Родины и свободы». После поражения под Мозырем эти отряды были интернированы польским правительством.

3. «Зеленое движение» - вооруженные отряды уклонявшихся от воинской службы и прятавшихся в лесах и горах белогвардейцев, бежавших в Польшу и оттуда совершавших набеги на советскую территорию в Витебскую, Минскую и Псковскую губернии. Эти отряды включали в себя остатки так называемой «русской народной армии» Б. В. Савинкова. 5 июня 1921 г. на съезде «Народного союза защиты Родины и свободы» были разработаны цели и задачи этого «зеленого движения» - вооруженные налеты, грабежи, убийства советских работников, еврейские погромы и шпионаж в пользу польской и французской военных миссий. Руководило «зеленым движением» информационное бюро в Варшаве, возглавляемое Савинковым. «Зеленое движение» было ликвидировано Красной Армией в 1924 г., а 43 «савинковца» предстали перед советским судом.

4. Учредительное собрание - представительное учреждение, избранное на основе общего избирательного права для установления формы правления и выработки конституции. Было избрано в ноябре - декабре 1917 г., собралось 5 января 1918 г. В. И. Ленин считал Учредительное собрание в условиях буржуазной республики «высшей формой демократизма» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. т. 35, с. 162). При выборах в Учредительное собрание большевики получили 24% голосов; преобладали эсеры (40,4%). Председателем Учредительного собрания был эсер В. М. Чернов. Учредительное собрание отказалось обсуждать предложенную Я. М. Свердловым от имени ВЦИК «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», не признало декреты Советской власти. Большевистская фракция покинула заседание, заявив, что Учредительное собрание представляет «вчерашний день революции». Вслед за большевиками ушли левые эсеры и представители некоторых других групп. Продолжавшееся около 13 часов заседание

Учредительного собрания было закрыто в пятом часу утра по требованию караула. В ночь с 6 на 7 января ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания.

5. «...заключили мир...» - речь идет о Брестских мирных переговорах, которые были начаты 20 ноября 1917 г. между советским правительством и представителями германской коалиции. 22 ноября 1917 г. был подписан договор о прекращении военных действий, а 15 декабря 1917 г. было подписано перемирие между Советской Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией - с другой. Брестские мирные переговоры предшествовали заключению Брестского мира, подписанного 3 марта 1918 г. и ратифицированного Чрезвычайным четвертым Всероссийским съездом Советов 15 марта 1918 г. 13 ноября 1918 г. в связи с революцией в Германии Брестский мир был аннулирован постановлением ВЦИК,

6. «...завоеванная Февральской революцией свобода...» - речь идет о Февральской революции 1917 г. в России.

7. «...стала жандармом Европы...» - выражение, которое было, употреблено Г. В. Плехановым (Плеханов Г. Б. Соч. т. 12, с 326), повторено В. И. Лениным (Ленин В. И. Полн. собр. соч. т. 19, с. 52) для характеристики роли русского царизма в Европе в середине XIX в.

8. «Союз защиты Родины и свободы» - контрреволюционная организация офицеров, возникшая в марте 1918 г. в Москве (с отделениями в Казани, Ярославле и др. городах). Возглавлялась Б. В. Савинковым. Цель «Союза» - организация восстаний для свержения Советской власти. В июле 1918 г. «Союз» поднял антисоветский, мятеж в Ярославле, Рыбинске, Муроме, Елатье. После подавления восстания деятельность «Союза» прекратилась.

9. Радищев Александр Николаевич (1749-1802) - русский революционный мыслитель, писатель и поэт. В своих произведениях обосновывал необходимость народной революции, разбуженной «вольным словом». Был осужден Екатериной II на смертную казнь, которая была заменена ссылкой в Сибирь.

10. Пестель Павел Иванович (1793-1826) - декабрист, полковник, создатель проекта социально-экономического и политического преобразования в России - программа «Русская правда». Она была принята в качестве политической программы Южного общества декабристов. В 1825 г. вел переговоры с польскими революционерами о совместных революционных действиях. Арестован 13 декабря 1825 г. в Тульчине, повешен в числе пяти декабристов в Петропавловском крепости.

11. Перовская Софья Михайловна (1853-1881) - русская революционерка, член исполнительного комитета «Народной воли». Содержала конспиративные квартиры, вела пропаганду среди рабочих. Была арестована, сидела в Петропавловской крепости, судилась по Процессу 193-х («хождение в народ»), но была оправдана. Участвовала в вооруженной попытке освободить осужденного по процессу И. Н. Мышкина, арестована, отправлена в ссылку, по дороге бежала» Участвовала в подготовке покушения на Александра II под Москвой, (1879), в Одессе (1880), в Петербурге (1 марта 1881 г.) Арестована 10 марта 1881 г. по процессу первомайцев, приговорена к повешению. С. М. Перовская - первая женщина в России, казненная по политическому делу.

С этой мыслью тяжело умирать.

С этой мыслью тяжело жить.

И именно потому, что народ не с нами, а с Советскою властью, и именно потому, что я, русский, знаю только один закон - волю русских крестьян и рабочих, я говорю так, чтобы слышали все: довольно крови и слез; довольно ошибок в заблуждений; кто любит русский народ, тот должен подчиниться ему и безоговорочно признать Советскую власть.

Есть еще одно обстоятельство. Оно повелительно диктует признание Советской власти. Я говорю о связи с иностранными государствами. Кто борется, тот в зависимости от иностранцев - от англичан, французов, японцев, поляков. Борьтсья без базы нельзя. Борьтсья без денег нельзя. Борьтсья без оружия нельзя. Пусть нет писанных обязательств. Все равно. Кто борется, тот в железных тисках - в тисках финансовых, военных, даже шпионских. Иными словами, на границе измены. Ведь никто не верит в бескорыстие иностранцев. Ведь каждый знает, что Россия снится им как замаскированная колония, самостоятельное государство, конечно, но работающее не для себя, а для них. И русский народ - народ-бунтовщик - в их глазах не более, как рабочая сила. А эмигранты? А те, кто не борется, кто мирно живет за границей? Разве они не парии? Разве они не работают батраками, не служат в африканских войсках, не просят милостыни, не голодают? Разве «гордый взор иноплеменный» видит в них что-либо иное кроме досадных и незваных частей из низшей, из невольничьей расы? Так неужели лучше униженно влачиться в изгнание, чем признать Советскую, т. е. русскую власть?

Ну а если ее не признать? За кем идти? О монархистах я, конечно, не говорю. Вольному воля. Пусть ссорятся из-за отставных «претендентов». Я говорю только о тех, кто искренно любит трудовую Россию. Неужели достойно «объединяться» в эмигрантские союзы и лиги, ждать, когда «призовут», повторять, как Иванушка-дурачок, легенды и мифы, и верить, что по шучьему велению будет свергнута Советская власть? Мы все знаем, что эмиграция болото. Для «низов» - болото горя и нищеты. Для «верхов» - болото праздности, честолюбия и ребяческой веры, что Россию нужно «спасать». Россия уже спасена. Ее спасли рабочие и крестьяне, спасли своей сознательностью, своим трудом, своей твердостью, своей готовностью к жертвам. Не будем смешивать Россию с эмигрантскими партиями. Не будем смешивать ее с помощниками и буржуазией. Россия - серп и молот, фабричные трубы и необозримые, распаханые и засеянные поля. Но если бы даже Россия гнила, эмигрантскими разговорами ее не спасешь.

Многое для меня было ясно еще за границей. Но только здесь в России, убедившись собственными глазами, что нельзя и не надо бороться, я окончательно отрешился от своего заблуждения. И я знаю, что я не один. Не я один, в глубине души, признал Советскую власть. Но я сказал это вслух, а другие молчат. Я зову их нарушить молчание. Ошибки были тяжкие, но невольные. Невольные, ибо слишком сильная буря свищет в России, во всей Европе. Минует год, или два, или десять лет, и те, кто сохранит «душу живую», все равно пойдут по намеченному пути. Пойдут и доверятся русскому трудовому народу» И скажут:

Мы любили Россию и потому признаем Советскую власть.

Борис Савинков. Сентябрь 1924

Внутренняя тюрьма

«Литературный Киргизстан», 1987, №12

Один только путь: труд — непрерывный...

Из писем Павла Антокольского о театре.

Жизнь Павла Григорьевича Антокольского (1896—1978) богата сферами творческого приложения таланта — поэзия (собственная и художественный перевод), проза, литературно-критическая деятельность и театр, с которым он связал себя с юности и которому как драматург и режиссер отдал много времени и сил. Литература и театр в

творческой биографии поэта переплелись и существовали долгие годы в неразрывном единстве, и даже тогда, когда активная (режиссерская и драматургическая) работа ушла в прошлое, Антокольский оставался пристальным и благодарным зрителем всего значительного, что появлялось на сцене.

Об этом свидетельствуют его письма, написанные в разные годы и донесшие до нас взгляд глубоко заинтересованного, до последних дней жизни не теряющего свежести восприятия и молодости ощущений человека.

«Чкаловский» период творчества П. Г. Антокольского — явление знаменательное не только в жизни поэта. Он отражает целую эпоху художественной жизни страны. Центральные театры в середине 30-х годов брали шефство над крупными предприятиями и стройками. В 1934 году над Горьковским автозаводом и областью взял шефство Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова. П. Г. Антокольский и В.З. Масс создала при автозаводе молодежный театр, в котором ставили свои пьесы, русскую, зарубежную и современную советскую драматургию, осуществляли художественное руководство коллективом. Позже театр из Горького переехал в Томск, где и обосновался.

Сам Антокольский писал в автобиографии, помещенной в 1-ом томе избранных сочинений (1956 г.):

«В течение всех двадцатых и первой половины тридцатых годов я проработал в вахтанговском театре как режиссер и сорежиссер. Параллельно шла и литературная жизнь. Выходили первые книжки стихов и первые поэмы.

...В 1934 году вахтанговский театр взял на себя шефство над впервые организованными колхозными молодыми театрами. Это было новое, очень важное начинание. Вахтанговцам досталась Горьковская область. Впоследствии театр, в котором работал я, вырос из колхозного в городской, получил базу на автозаводе имени Молотова, присвоил себе имя земляка-горьковчанина В. П. Чкалова. Меня окружала одаренная, вышколенная в суровом труде, способная на чудеса рабочего рвения советская молодежь. Я многим обязан общению с нею и по совести не знаю, где кончалось мое ученичество у молодежи.

Тогда же во второй половине тридцатых годов, я всерьез начал работать как переводчик советских братских поэтов, узнал Грузию, Азербайджан, Армению¹. Работа развернулась широко и крупно. Исторический и социальный кругозор для меня сразу расширился»².

В процессе рождения и становления театра было все: и временное охлаждение — разрыв Антокольского с труппой, и постоянная насыщенная работа по формированию взглядов, отношения к творчеству молодых людей, и советы о том, что и как ставить, т. е. весь комплекс мер воздействия к тому времени известного (в глазах молодых актеров маститого) драматурга и режиссера на личность людей, связавших свою жизнь с искусством. Для Антокольского важен не сам по себе репертуар или его сценическое воплощение. Мысль Антокольского направлена на привитие молодежи тех навыков, которые и отличают человека творческой профессии. Отношение к труду, взаимоотношения в коллективе, атмосфера взаимоуважения — вот та основа, на которой держится театр.

В архиве семьи Ивановых, на творческую судьбу которых оказал воздействие П. Г. Антокольский, сохранились его письма разных лет. Интерес, представляют те, которые

относятся к периоду руководства П. Г. Антокольским «чкаловцами». В них отчетливо проявляется упорство, с каким Антокольский воздействовал на близких людей, наполнял их неиссякающим оптимизмом (даже в самое тяжелое время), верой в то, что только трудом можно преодолеть все невзгоды и несчастья.

Бывшие «чкаловцы», студийцы Антокольского Георгий Игнатьевич Иванов (1912—1979), к которому обращены письма 40-х годов, и его жена Мария Сергеевна Стряпкина через всю свою жизнь пронесли и сохранили не только письма поэта, но и благодарность за то, что Антокольский определил их творческую биографию (и всю последующую жизнь следил за ней). Заслуженный деятель искусств РСФСР и Киргизской ССР Г. И. Иванов (в письмах Антокольского — Жора, Егор) стал крупным режиссером, работавшим последние годы в русском драматическом театре им. Н. К. Крупской г. Фрунзе главным режиссером. М. С. Стряпкина — народная артистка РСФСР и Киргизской ССР (в письмах Антокольского — Маруся, Муся).

Письма донесли до нас отношение поэта не только к драматургии, что- само по себе интересно, так как в них он выступает с позиций деятеля театра, но и высказывания по поводу современных (для времени их написания) произведений литературы. Любопытны и мысли Антокольского по поводу писателей-современников.

В архиве семьи Ивановых, помимо писем П. Г. Антокольского, сохранились и подаренные поэтом книги с дарственными надписями, которые со всей очевидностью свидетельствуют о неразрывности двух сфер творческой деятельности Павла Антокольского — литературы и театра (кстати, симптоматично, что в своих письмах поэт слово «театр» часто употребляет с заглавной буквы, как бы призывая молодежь относиться к нему с уважением и душевным трепетом).

Позже, в 1958 году, в автобиографическом очерке «Мои записки» Антокольский вспоминает «чкаловцев», теперь уже военной поры: «В феврале. (1942 г.) дали знать о себе чкаловцы. В их жизни и в образе существования театра произошла перемена, которой следовало ожидать. Большинство мужского состава труппы и часть женского составили фронтовой театра имени Чкалова, были причислены к Московскому военному округу и ждали направления в армию. В письмах они извещали о том, что скоро явятся в Москву, и предлагали нам обоим, Зое и мне, к ним присоединиться. Скоро они действительно явились в полувоенном обмундировании, в каких-то укороченных тулупчиках, в ушанках, гимнастерках и всем прочем, что полагается. У них уже была составлена программа фронтового концерта. С ними уже был В.З. Масс, вновь вернувшийся после двухлетней работы в Горьковском областном театре. Мы с Зоей прикинули свои московские дела и обстоятельства, легко убедились в том, что ничто и никто в Москве нас особенно не задерживает, и решили, что предложение чкаловцев даст нам наилучшую возможность приложить свои силы не где-нибудь, а в армии».

Письма Поэта — это человеческий документ своего времени (написанные эмоционально, они передают движение души их автора — восторг и горечь, надежды и разочарования). Но в то же время эти письма — своеобразное послание будущим поколениям молодых людей, мечтающим посвятить себя творчеству.

Рассуждения П. Г. Антокольского об искусстве шире конкретного повода, по которому они были высказаны. Поэт как бы говорит о том, что творчество невозможно без дерзости

и душевной чистоты, без труда (ежедневного, ежечасного), без волнения и активной позиции, своего отношения ко всему многообразию проблем, выдвигаемых жизнью — без любви и ненависти, которые определяют место художника в едином строю.

1 В семье Ивановых сохранились книги с дарственными надписями П. П. Антокольского: «Марусе — от одного из действующих лиц этой интересной драмы. Май 40 г. П». — Надпись на кн.: Антология азербайджанской поэзии. Редактор В. Луговской.— Азернешр: Баку, 1938; «Дорогому моему другу Жоре на добрую память с вечной любовью. Павел». — Надпись на; кн.: Низами. Лейли и Меджнун. Предисловие и перевод Павла Антокольского.— М.: Молодая гвардия, 1948.

2 П. Антокольский. Вместо предисловия.— В кн.: П. Антокольский*. Избр. соч. в двух томах, т. 1. Стихотворения.— М.: ГИХЛ, 1956, с. 7—8.

На экземпляре книги, подаренной Ивановым, имеется дарственная надпись: «Милым друзьям Жоре и Мусе с верной вечной любовью от старого поэта и режиссера. Павел Антокольский. 28 августа, 56, Москва».

3 Зоя Константиновна Бажановна (1902—1968) — жена П. Г. Антокольского. В 1969 году по поводу её смерти Антокольский пишет Ивановым: <...> Первое время я как-то еще и не понимал непоправимость её ухода, не отдавал себе отчета в том, что и для меня (73-летнего) все кончено.

Все пришло позже. Но говорю открыто: раздавленным червем не буду, останусь человеком, достойным её памяти, её беспредельно мужественной, смелой души. Для этого есть один только путь: труд — непрерывный, во что бы то ни стало — труд, труд, труд. Это не спасение, не прибежище вроде монастыря, не отвлечение куда-то в сторону — а СУДЬБА: обреченность. Мое дело — ставить Зое памятники. Один из них — поэма (какая она вышла — не знаю...) уже существует. Другой, на бедной могиле, может быть поставлен только весной 1970 г. Третий — её работы, её скульптура последних десяти — двенадцати лет, её страстное увлечение существует и переживет надолго всех нас. Четвертый — задуманная не мною одним, а многими друзьями, коллективная книга о Зое. Это дело трудоемкое, еще бог знает, как удастся пробить такую книгу в печать, но и здесь, надеюсь, помогут многие.

Ваш П (авел).

29 апреля 1969».

4 П. Антокольский. Проза о войне.— Вопросы литературы, 1985, № 5, с. 171—176.

Эти письма никогда не были бы опубликованы без содействия сына Иванова — Стряпкиной, Евгения, моего друга, светлой памяти которого посвящена эта публикация.

МОСКВА. 13 ДЕКАБРЯ 40.

Дорогой Жора!

Николай Иванович¹, наверно, рассказывал тебе о нашем разговоре с Малаховой². Разговор был, в общем, ценный. Относительно твоего назначения у неё не оказалось особо веских возражений, и мы условились, что ты будешь проведен приказом по управлению. Я очень жду этого и очень прошу, когда это произойдет, известить меня. Кроме того была названа фамилия Лурье, и он тут же появился, вызванный Малаховой. Положение с ним вырисовывается в таких чертах. Сейчас он занят в областном театре: сорежиссура с Массом — «Кутузов» до марта; в марте — своя постановка, дипломная работа — «Король веселится!»! Работать у нас, по его словам, ему крайне хочется. Я предложил ему: по возможности чаще бывать у нас, на автозаводе, приглядываться вообще к коллективу, а в частности, особенно, к текущей работе — Исая³ над «Счастливым днем», и твоей — над «Строптивым сердцем». И буде ему, Лурье, захочется в эту работу так или иначе войти, — не стесняясь сделать это. Что ты на это скажешь? Мне кажется, нам стоит привлечь этого человека, по общим отзывам, способного и живого. В мае он готов взять у нас большую работу. Предлагает «Овечий источник» Лопе де Вега. Я со своей стороны выдвигаю для него Лермонтовский спектакль. Он обещал подумать. Дело в том, что «Овечий источник» — опять (после «Минина») — массовая, не ролевая пьеса: народное восстание, испанский фольклор. Там одна только роль, — в которой потрясала Ермолова.

Таков главный результат с Малаховой. Репертуарный план (за исключением «Бесприданницы» и почему-то «Снегурочки») возражений не вызвал.

Вчера я послал Туфке⁴ письмо с просьбой показать его тебе. Как с ним иначе поступить, я не знаю, по чести! Пусть делает как хочет.

Теперь я хочу немножко остановиться на кое-каких вещах в «Дяде Ване». Это и мизансцены и приспособления для актеров.

Первый акт.

Астров (дяде Ване): Расскажи что-нибудь*, — при этом Астров как бы произносит про себя что-нибудь вроде: «а ну тебя к черту, м...к! Утри слюни». Хлопает дядю Ваню по плечу, чтобы как-то взбудоражить его. Дядя Ваня встрепнулся и бодрой, даже молодецватой походкой идет к столу и начинает свою реплику. Между тем, Астров на месте (у балкона) и в течение реплики дяди Вани — незаметно, подошел к столу (сзади), чего-то взял, пожевал — и к нужному моменту (когда обоим вместе идти к скамейке) очутился справа от д. Вани. Телегин — начинает свое обращение к няньке не за столом, а подходя к нему с той же стороны, откуда только появился вместе с профессором (он там и задерживается). Причем Телегин, говоря о природе, пенье птиц и т. д., как бы ссылается на все, что видит и слышит, приглашая к тому же няньку. Словом, это надо сделать ярче (сценически, а не актерски).

Финал акта: Дядя Ваня не подходит к перилам, вызванный Еленой Андреевной («...Вероятно, потому что мы с вами друзья...»). Пробуй два варианта: 1) Остается до конца у портала. 2) Подходит к: столу, который как бы отгораживает для него возможность дальнейшей близости: оперся обеими руками на стол и в таком ощущении порыва к ней ведет весь финал. Второе, кажется, лучше.

Второй акт.

Только по финалу. Елена Андреевна ушла играть. Соня одна. Не надо никакой мелодии, никакой пьесы. Раздается несколько арпеджио: это Ел. Андр. пробует руки. Валентин поймет в чем дело; причем арпеджио именно одной рукой. Может быть она (т. е. Муся) пробует взять их и голосом (рояль должен быть слева от зрителя). Возвращается, услала Соню, осталась одна, говорит свои слова, прогнала сторожа, после этого несколько секунд напряженно ждет Соню. Ждет и волнуется: какой ответ принесет Соня. Соня вернулась, остановилась в дверях, четко говорит: «Нельзя». Елена Андр. (у стола как было) низко опускает голову. Её ожидание перед этим необходимо, чтобы донести мысль финала.

Третий акт. Профессору, выбегая после выстрела, не надо крутиться вокруг своей оси, а бежать, вытянув руки вперед, как слепой, или как в игре в жмурки (у него от страха глаза закрыты), наткнуться на что-нибудь (скажем, на диван) и так застыть в напряженно-нелепой позе. Дядя Ваня: бац! Не попал... — возможно скорее, ничего лишнего не играя, бухнуться к столу, в кресло. При этом выбегают с двух противоположных сторон и Телегин, и Марья Васильевна.

Четвертый акт.

Астров: ...«Вам обоим суждено сеять разрушение»... при этом у нас было» установлено, что Ел. Андр., оскорбленная, уходит к печке. Не надо этого делать. Как стояла у стола, так и осталась, но при этих словах — резкое движение возмущения, которое он заметил и на которое реагирует следующими словами, — но опять же не уходя, не приближаясь к ней, только вскочил с кресла. В очень повышенном темпе — все вплоть до «...да и вам не сдобровать!» Тут, как было: «Эх!...», несколько отходит от стола и — «finite la comedia» — ломает карандаш. Дальше все как было. Таким образом, Ел. Андр. не придется бежать через всю сцену за карандашом.

Кроме всего этого напоминаю, что на прогоне было нечисто выполнено: 1) Мария Васильевна в споре с сыном раньше собралась уходить. 2) Во втором акте Соня появляется не на словесную реплику Астрова (пьяного), а на гитару и пляску.

Вот, кажется, все.

Кончилась моя работа, а сказать по правде, я просто разохотился по отношению к «Д. Ване» и что-то мне кажется, его стоит довести до зеркального блеска: в кусках, в мизансценах. Он может стать сейчас любимым спектаклем театра.

Напиши мне, пожалуйста, как идет твоя работа. Если у тебя возникнут в процессе последних репетиций хорошие новые подробности, используй их во что бы то ни стало, хотя бы потому, что всякое освежение пойдет сейчас только на пользу и обогатит игру актеров. Ее надо обогащать: красками, точностью в определении самочувствия, вообще жизнью.

Я хотел было написать и исполнителям, но сделаю это, когда у меня в руках будет текст.

<...>Твой любящий тебя

Павел Антокольский.

1 Николай Иванович Бокарев — в то время директор театра им. Чкалова..

2 Заведующая отделом культуры Горьковской области.

3 И. А. Шароградский — актер театра им. Чкалова.

4 Т. И. Лондон — актер театра им. Чкалова, драматург, его постановка «Женитьба Фигаро» стала программным спектаклем «чкаловцев», заслужила высокую оценку П. Г. Антокольского. Резкость высказываний о нем Антокольского в первых письмах объясняется расхождением в вопросе о структуре театра, спором о том, как ставить комедию Бомарше.

10 ЯНВ. 41. МОСКВА

Дорогой Жора!

Спешу ответить на твое милое, умное письмо. Прежде всего поздравляю тебя с Новым Годом, желаю ролей, рублей, роста, счастья.

Сейчас идет твоя премьера. Не зная еще о том, что она отложена на сегодня, я послал свою телеграмму 8-го. Думаю, даже уверен, что спектакль пройдет благополучно и произведет хорошее впечатление. Эх, если бы быть уверенным и в том, что ты напишешь сейчас же после сегодняшнего вечера о том, как все было. Но, увы, это — несбыточная мечта. Все твои горести, недоумения, обиды я очень хорошо понимаю и прошу разрешения целиком взять их на себя: я за тебя полностью отвечаю в этом году — прежде всего отвечаю за артиста, за то, в чем по твоим словам ты больше всего терпишь урон и нуждаешься: актерская, кормящая работа, Она у тебя будет. А что касается режиссуры, то здесь уже достаточно на сегодня того, что ты успел сделать: 1) Мой сын, 2) выпуск «Дяди Вани», 3) черновая работа по пьесе Патреева. Больше никто тянуть из тебя жилы не собирается.

Очень прошу тебя — на времяними вопрос о своем заместительстве худрука. Наверно ты сам чувствуешь, что это место — тонкое,— и для меня лично здесь сходится, как в нервном узле, масса проводов и нитей. Я не представляю себе сейчас Театра вне этой структуры, вне твоего лично сотрудничества рядом со мной. Ты хочешь отказаться от роли моего заместителя, как только я приеду,— а я на это скажу, что как раз после моего приезда, ты сможешь вступить в исполнение своих обязанностей. Словом, очень прошу — отложить этот разговор!

Все, что ты пишешь о Лондоне — абсолютно справедливо. Его ответное письмо еще раз убедило меня в этом, насколько он недалевиден, зазнался, эгоистичен. У меня прямо руки опускаются работать «Минина» рядом с таким нервным и глупым субъектом.

Но ты напрасно упрекаешь меня в мягкотелости; совершенно сознательно я дал Лондону возможность проявить себя до конца. Раз он отвечает за этот участок работы на протяжении какого-то периода, пускай и управляется с ним по-своему, пускай

хозяйствует, как сам захочет. Это единственный способ приучить вас работать самостоятельно. А я еще и еще раз повторяю: вы должны хотеть работать самостоятельно и должны уметь так работать. Это самая боевая задача для меня в течение этого сезона. Ты можешь подумать, что таким решением я хочу свалить часть своей ноши на другие, слабые плечи? Да! Но не в этом дело.

Театр должен расти. Ежедневно. Ежечасно. Вы часто забываете об этом и ждете признаков роста откуда-то извне. Ни Масс, ни Антокольский, ни Лурье, ни какой-нибудь еще икс или игрек не могут подменить собой внутреннего импульса, который есть в коллективе, но разложен, разрыхлен — главным образом как раз нами, нашим вахтанговским воспитанием. Если окажется при этом, что возникнут внутренние трения: частичное неприятие тебя в коллективе, или то, что Лондон зарвался, и все проистекающие отсюда нехорошие вещи,— ну что ж! честное слово, это лучше, ценнее для роста театра, чем ваша обычная апатия, разложение, пьянство и т. д. Лучше страдать, злиться, активно не соглашаться, чем сидеть где-то в сторонке. Честно тебе говорю: я очень доволен, что вы (ты, в частности) имеете основания выходить из себя! Пожалуйста, только не остывай!

Вчера я смотрел генеральную репетицию «Перед заходом солнца» в театре Вахтангова (для коллектива). Замечательно, первоклассно играет ряд исполнителей. Мансурова — это высший сорт А. Лучшая её роль. Тоже самое Глазунов. Невозможно смотреть на эту пару без волнения. Какая глубина чувства. Какая интенсивность. Как все понятно и заразительно. Очень близко к этой паре неожиданно оказалась Вера Львова. У неё труднейшая роль неприятной старой девы, почти кликуши, влюбленной в отца, малость фальшивой, да еще к тому же кривобокой. Посмотрел бы ты, как мила, трогательна, правдива Львова. Я просто очень хочу, чтобы увидели этот спектакль. Пьеса очень талантливая и сильная, но чужая, а нам (театру) и ненужная. Боюсь, что, несмотря на превосходную игру, она не будет иметь большого успеха у зрителя.

Ах, да! С чего ты взял, что мне «досталось» за патреевскую пьесу? Где? Когда? От кого? Конечно, её нужно работать! Сделаем веселый спектакль, за который в области нас только поблагодарят.

<...> Крепко тебя целую. До скорого, надеюсь, свидания. Передай привет друзьям.

Твой любящий тебя Павел <...>

5

ДЕКАБРЯ 43

Дорогой милый друг Жора!

У меня уже был написан ответ на твое первое письмо, но по непростительной небрежности он залежался в кармане пальто. За это время пришли одно за другим письмо коллектива и второе от тебя...

Как же ответить теперь по совокупности? Прежде всего повторить вкратце все, что написал раньше.

У меня нет никаких внутренних причин, чтобы отказаться от работы в Театре Чкалова. Прошлые «обиды»¹ давным давно прошли. Да и были ли они? Кроме того, я действительно стосковался по режиссерской деятельности, по нашим боевым ночам. И наконец, знаю и помню о своей ответственности перед всеми вами: мы слишком близкие люди, слишком много пережили вместе, чтобы могло быть иначе! Да и перед советской общественностью я как-то отвечаю за Театр.

Поэтому, раз-навсегда: надо начинать жизнь — если не с начала, то с того момента и места, где она остановилась, где прервалась наша совместная живая деятельность.

Но... вот тут начинается грустное, трудное, неизбежное. До сих пор ломаю- голову над этой проблемой и выхода еще не нашел... Как ухитриться приехать к вам для работы, т. е. на более или менее солидный срок? Поверь, что я действительно должен быть либо в Москве, либо на фронте. Речь идет не о какой-нибудь свирепой организации, которая держит без отпусков. Нет — проще: я сам себя не могу, не имею права отпустить². Так обстоит дело на сегодняшний день. Что же будет завтра, не знаю.

На что же можно надеяться? Конечно, не только на конец войны, хотя и он тоже не за горами.

Прежде всего нам необходимо держать связь друг с другом. Теперь, когда вы сделали оседлыми людьми, это стало несравнимо легче и несравнимо необходимее для обеих сторон. Говорю об этом, потому что всегда — и в ближайшем будущем тоже — может выдаться неделя — другая, — и чем черт не шутит! — сел в вагон, и на следующий день уже в Дзержинске... Поэтому очень прошу: хоть изредка, скажем, раз в две недели присылай мне хоть открытку: мы делаем то-то, выпускаем то-то, чтобы я был в курсе вашего текущего дня. Поскольку вам, очевидно, созданы неплохие, сравнительно, условия — задача сводится к тому, чтобы продержаться, не развалиться, запастись доверием друг к другу и не ронять профессиональной хотя бы чести, ставя профессионально-крепкие спектакли. Это задача не маленькая, хотя я сознательно ограничил её минимальными требованиями, имея в виду непростые условия войны. Дело в том, что в дни войны многое в нашей культуре, — театры, музеи, вузы — обязаны пребывать в законсервированном виде, чтобы сохраниться в целостности для будущих счастливых времен — Театр, да молодой к тому же, не может стоять на месте, он должен расти. Поэтому здесь консервация носит относительный характер. Она означает отказ: от поисков, от творческой дерзости, от многого, что мы очень любили. Надо скромно ставить скромные спектакли. Вот почему я говорю о минимальных требованиях.

Убежден в том, что вам не составит труда выдержать эти требования. К тому же это школа профессионализма. Как раз её вам не хватало. Вы — партизаны, любители, берете с наскока, авралом. Пришла пора смиренно* трудиться, не бояться согбенной спины, не стесняться маленьких задач, довольствоваться малым.

Прошу извинить меня за проповедь и прописи... Может быть, издали я вижу все в неверном свете и говорю не о том, о чем нужно.

Что ставить? Опять же издали, не глядя вам в глаза, очень трудно решать. Хочется мне ставить многое и разное. Прежде всего, конечно, современную пьесу. Из всего, что знаю, мне до сей поры больше всего нравятся две пьесы: по-прежнему «Бессмертный», к

которому возвращаться, конечно, незачем,— и «Ленушка» Леонова, пьеса удивительная, смелая, в основном очень мрачная и печальная, но как всегда в настоящей трагедии, она может и должна вывернуть человека наизнанку, чтобы в конечном счете он поклонился ей в ножки за торжественный урок, и в конечном счете он уйдет утешенный и освеженный её грозой.

Но что об этом мечтать...

Знаю, Жора, и глубоко понимаю твою неудовлетворенность. Тебе бы, конечно, надо работать сейчас интересную роль (предпочтительно в моей постановке), но Жизнь по-прежнему не балует тебя и заставит снова сесть за ненавистный режиссерский столик. Ничего, брат, не поделаешь. Помни, что бывает и хуже...

Ты молчишь об этом обо всем, но я решил досказать за тебя. Может быть, тек тебе будет легче.

Итак, короткое резюме: работать в Театре — активно хочу. Сейчас — не могу. Обещаю — стремиться. Не будем же терять связи и надеяться на более или менее скорое и дельное свидание.

Крепко тебя обнимаю и целую.

Шлю привет всем товарищам. Любящий тебя Павел Антокольский.

1 В начале 1943 г. наметился временный разлад Антокольского с театром,, о чем свидетельствует его письмо от 1 апреля Иванову.

2 В письмо была вложена листовка с известным стихотворением П. Антокольского «Рассказ о мальчике, оставшемся неизвестным», отпечатанная Главным Политическим управлением Красной Армии 26.3.42 года. «К советскому населению временно оккупированных немцами областей» под грифом: «Смерть немецким оккупантам», «Прочитай, передай товарищу».

10 ЯНВАРЯ 44 г. МОСКВА.

Очень прошу извинить меня за то, что так безбожно затянул ответ на письма — твое и вашего директора. Столько приходится мотаться, время насквозь не мое, а неизвестно кому принадлежащее. С опозданием поздравляю чкаловцев скопом и каждого в частности с Новым Годом. Желаю здоровья, счастья и удач. Всем нам вместе желаю, чтобы этот год был годом окончательной победы,— да так оно, наверно, и будет.

Надеюсь, что мне действительно в скором времени удастся приехать к вам. Когда? Боюсь уточнять срок. Примерно в районе февраля. Это случится, если 1) у меня поправится нога, 2) меня не пошлют в противоположном направлении. >

А «Ленушка» вам не понравилась. Увы! Обыкновенная история, с первого раза вам всегда не нравятся мои предложения...

А по-моему, это замечательное произведение. Оно говорит о самом важном: о народе, о страданиях народа, о способности их преодолевать. Ленушка как образ действительно не дописана, но Ленушка и не должна, выделяться, её смысл и обаяние—в молчаливых сценах, в том, как смотрит,, тоскует, ждет, любит. Трудная, конечно, роль, но такие случаи бывали в театре. Героини Шекспира Корделия, Дездемона, Офелия,— тоже не в словах проявляются. Зато остальные образы, братья Дракины, танкист, его» товарищ, председатель колхоза... Разве это не благодарнейший материал для актера? Разве не ясно, как напряженно это все должно быть сыграно? Разве не предчувствуешь отклик зрительного зала? Но не стоит заранее агитировать. Для этого у нас будет возможность. Очень правильно, что вы склоняетесь к «Бедности — не порок». Я все время вчитываюсь в эту пьесу, чтобы обнаружить в ней свежие возможности. Ведь что греха таить, она заиграна ужасно, так что приходится многое забыть, чтобы ощутить её заново.

Еще раз хочу напомнить о «Снегурочке». Сейчас было бы очень своевременно поставить сказочный и праздничный спектакль. Ведь если уж уводить зрителя от тяжелых и страшных картин сегодняшней борьбы и горя, то уводить совсем далеко, в снежный лес, в царство царя Берендея, сделать это с такой же принципиальной смелостью, как когда-то Евгений Богратионович в «Турандот». Что ты думаешь по этому поводу? Не знаю, есть ли у вас исполнительница для Снегурочки. Жилина, пожалуй, велика ростом,, и для Юли¹ в «Снегурочке» найдется другое дело. Напиши об этом.

Но все это предположения,— голые, приблизительные, без учета ваших желаний и возможностей. Но повторяю то же самое, что говорил много- раз: ориентируюсь на репертуар юношеский, на молодежь на сцене и на молодежь в зрительном зале, на ансамбль и на яркое звучание общих сцен.. От многого, из того, что у нас было, я хочу отправиться и в дальнейшем. У нас есть традиция, не прожитая до конца и не исчерпанная. Эта традиция — «Солдат шел с фронта» и до некоторой степени «Фигаро». Я не считаю, что вы пережили свою молодость. Ее нужно снова поднимать, снова как десять лет назад играть ею, а не мастерством.

Посылаю тебе свою книжку². Почему ничего не пишет Сережа? Получил ли он мое письмо и журнал «Знамя»?³ Дело было довольно давно. Жора,, напиши мне, пожалуйста, обо всем основательно: о работе, о премьере, если такова была, о самом себе. Я продолжаю стремиться к вам и сделаю для этого все, что в моих силах. Крепко тебя целую, дорогой, и шлю нежный привет всем товарищам.

Твой Павел Антокольский.

Прости, что пишу на машинке: чернила из рук вон плохи <...> *

1 Ю. Жилина — актриса театра им. Чкалова.

2 В семье Ивановых сохранились два экземпляра книги П. Антокольского «Стихотворения 1933—1940».— М. : ОГИЗ-ГИХЛ, 1941, подаренные Г. И. Иванову и М. С. Стряпкиной. На одном из них шуточный экспромт:

Тебе, любимый Жора,

Желаю больше жара,

А также больше жира

И бурного мажора.

И места пассажира

Вокруг земного шара —

Нет, серьезно, я очень тебя люблю. П[авел].

2 марта 42. Монино.

На экземпляре М. С. Стряпкиной рукой П. Г. Антокольского на .180 странице, там, где начинается цикл стихов «Весна сорокового года», написано: «Муся! Тут ты играешь роль инженю. П[авел]. Тула. 8. XI—42.

3 В журнале «Знамя», (№ 7—8, 1943) была опубликована поэма П. Антокольского «Сын». На экземпляре, подаренном Г. И. Иванову, написано: «Дорогому другу Жоре с любовью и дружбой на всю жизнь. Павел. 21. IV—44.

МОСКВА. 30 ДЕКАБРЯ 1944.

Дорогие мои!

Прежде всего поздравляю вас с Новым Годом. Хочу пожелать всем нам вместе и каждому в отдельности причалить, наконец, к пристани и зажить спокойно, трудовой и творческой жизнью. Если я хоть что-нибудь понимаю з этих делах и если вы мне вообще верите, то такая пристань у нас уже имеется. Это. Томск. Надеюсь, что рассказ Ж. Иванова и С. Постникова основательно убедит вас в этом.

Перед Театром открывается возможность настоящей, планомерной и плодотворной работы, настоящего роста. У нас будет свой дом, каждый уголок которого можно организовать, обставить и украсить по-своему. У нас будет своя сцена, на которой можно репетировать, ни с кем не делясь временем; репетировать во всю нашу силу, без всяких компромиссов, доделывая подробности и добиваясь таких результатов, в которые мы верим, что они действительно лучшие для нас. Вокруг Театра будут друзья, которые сейчас только и ждут: кого бы им полюбить, кому бы помочь, на кого бы истратить свое рвение и свои организационные возможности. У нас будет отличная, квалифицированная аудитория—вузовская молодежь и старая профессорская интеллигенция, и рабочие. Область и город находятся на подъеме, а культурная жизнь города тем более может и должна расти, и, конечно, Театр может сыграть в этом очень серьезную роль. Наконец, у нас будут довольно сильные (если говорить скромно) внешние условия.

На свете ничего не вечно, ничто не делается навсегда. Невечным был для нас Горький, не вечным будет и Томск. Как известно, это обусловлено м в деловых отношениях, и зафиксировано в приказе ВКИ. Но, может быть, сейчас и не стоит об этом особенно

задумываться. «Томский» период только начинается, он может оказаться настолько интересным, что мы и сами не захотим торопиться и торопить время.

Должен прибавить еще несколько слов о себе. Твердо и окончательно решил, что в конце зимы приеду к открытию Театра и на новую постановку, — по-моему так проще и выгоднее, чем приезжать дважды: к февралю не открытие, а в апреле на постановку. Впрочем, это — подробность; важно другое: я очень скоро после вашего приезда буду в Театре, и мы сделаем еще один опус, за который ни перед кем не придется краснеть: большой, шумный, пестрый спектакль, в котором будет много движения, много трогательного и смешного, больших чувств и маленьких трюков, любви к людям и любви к женщине — словом всего, чем держится и на чем стоит Театр.

Сейчас не стоит окончательно фиксировать: может быть, это будет «Снегурочка», может, и другое. Мы — люди суеверные и старинным опытом наученные: пьесу нельзя называть заранее.

Я убежден, что перед лицом кардинальных, исключительно серьезных перемен в жизни театра вы будете исключительно серьезны и сплочены. Ведь предстоит радость и труд,— этим сказано все. Убежден, что в ближайшее время каждый из вас будет вознагражден за многие наши беды, неудачи и прочее, что у нас, к сожалению, было в таком избытке.

На сегодня необходимы прежде всего сплоченность, прежде всего дружный подъем всего коллектива. Ведь есть и еще одна задача, о которой я ничего не сказал до сих пор! Ведь предстоит еще завоевать томского зрителя, не ударить лицом в грязь, оправдать доброе мнение о Театре и доверие к нам. Это немалое и совсем непростое и не такое уж легкое дело! Надо с первой же минуты произвести выгодное впечатление — еще задолго до того, как в первый раз будет дан занавес.

Еще раз горячо и от всей души поздравляю вас с Новым Годом, с годом Победы. Крепко обнимаю и целую всех поочередно. Зоя Константиновна присоединяется ко всему здесь сказанному. Если Театр даст ей отпуск, он* обязательно приедет со мной на все время постановки.

Ваш навсегда Павел Антокольский.

Дорогие мои чкаловцы!

<...> Вы являетесь в Томск как коллектив. Необходимо, чтобы это сразу же чувствовалось. Чтобы объединяющие вас чувства, объединяющее прошлое бросились в глаза каждому, кому придется иметь дело с Театром. Необходимо, чтобы сразу, с первых же дней, вы произвели впечатление взрослых, культурных людей. Необходимо, чтобы вы были уверены в себе, но без тени самоуверенности. Необходимо быть тактичными и вежливыми с людьми, которые встречаются вам. Но еще необходимее, чтобы дружеская, полная обоюдной поддержки атмосфера господствовала внутри коллектива,— пускай это тоже заметят чужие люди.

В первые же дни в Томске появятся новые артисты, которым предстоит работать в Театре. И в немалом, наверно, количестве! Их надо принять достойно. Это значит широко

открыть перед ними возможности работы, но при этом и самим не ударить лицом в грязь. Это значит, чтобы они чувствовали себя на первых порах хорошо, даже отлично, но потом немножко спохватились: «Черт возьми, уж больно хороши здесь старики, надо подтягиваться!» Если вновь принятые скажут это про себя,— тогда дело театра сделано наполовину. Больше чем убежден в том, что это вполне в ваших силах.

Особенно незачем принимать в штыки новых артисток. Прошу прощения у наших женщин, но я имею основания не слишком доверять их доброте и такту. Правда, это относится не ко всем, но к подавляющему большинству. Так вот, и здесь необходимо вести себя безупречно. Иначе мы рискуем с места в карьер потерять кое-что из ненажитой еще репутации. Вам пред, стоит обживать новые логова,— подразумеваю квартирки, которые пошлет господь бог. Это очень хорошее и приятное дело. Но кроме того предстоит на следующий день по приезде обживать и то общее жилье, в котором мы будем работать не один год, даст бог,— подразумеваю театральное помещение. Это дело посерьезнее. Отнеситесь к нему с должным трепетом. Это наш Театр. Это наши стены. Это наша сцена. Все дальнейшее зависит полностью от нас. Кончились колхозные и рабочие клубы кончились грязные уборные, прокуренные и заплеванные сцены, закулисное пространство, где толчется всякий сброд. Кончились уборщицы, моющие полы у нас под носом. Кончились капельдинерши, вытуривающие в? три шеи наших работников из зрительного зала. Кончилась беготня в поисках за репетиционным помещением <...> Кончилось кочевье! Началось строительство своего собственного дома, который вырастет таким, и только таким,, как мы пожелаем и задумаем. Это должен быть отличный, прочный, веселый, уютный, чистый и красивый дом. В нем всем должно' легко дышаться.

Мне кажется, что каждому уместно подумать сейчас над тем, что он может внести в это начинающееся строительство. Какое изобретение, какую здравую мысль, какое украшение, какое «правило внутреннего распорядка»? Особенно прошу об этом Аверичеву, Жилину, Куличенко, Иванова. Впрочем, написал четыре фамилии и убежден, что зря! Ибо не представляю, что остальные — ведь их так немного,— могут сделать меньше. Блесните коллективным вкусом, изяществом, чистотой намерений. Наложите отпечаток своего собственного характера на новые пустые уборные, фойе, вестибюль, сцену, лестницы, коридоры, пол, потолок и т. д.

Все это сторицей вознаградит нас на репетициях и спектаклях. Как я был бы счастлив, если бы имел сейчас возможность принять во всем этом участие.. Мне кажется, в жизни Театра нет лучшего момента, чем этот.

Кажется, я сказал все , что собирался. Конечно, это письмо не только деловое. В отношении деловом: еще раз подтверждаю свое обязательство прибыть за несколько дней до открытия Театра. Утверждаю также, что в мае мы начинаем новую работу,— по-прежнему боюсь окончательно фиксировать, «Снегурочка» это или что-нибудь другое (не худшее!).

<...> До скорого свидания!

Ваш навсегда Павел Антокольский.

9 марта 45

Москва

Дорогой мой друг Жора!

Как видишь, ни я, ни Зоя Константиновна сейчас не приехали. В письме к коллективу я подробно написал по этому поводу. Могу прибавить сейчас, что чем дальше двигалось время, тем все труднее и бессмысленнее становился этот приезд, а главное — тем больше бы он поставил под удар другой приезд: в конце апреля, к открытию театра. Мне по-прежнему кажется, что гораздо необходимее мое пребывание в театре именно к открытию и после открытия, а сейчас вы безусловно обойдетесь!

Хочу в настоящем письме вручить тебе бразды правления. Ты являешься моим заместителем по руководству художественной жизнью театра. Думаю, незачем объяснять, почему ты, а не кто-нибудь другой, окажем, Лурье. Лурье одной ногой в театре, а где его другая нога, он и сам порядком не знает.

Так вот тебе предстоит работенка, не всегда, конечно, приятная и легкая. Увы! мой друг, это, во-первых, не впервой для тебя, а во-вторых, все же легче тебе, чем кому бы, то ни было другому в театре: ты внутренне взрослее и собраннее, чем наши общие друзья.

Первая задача, с которой ты столкнешься — отбор томских артистов для приема в нашу труппу. Мне кажется, следует не слишком раскошелиться и на первых порах принять только действительно необходимый рабочий минимум, то есть таких людей, которые непосредственно понадобятся в текущем репертуаре и возобновлениях. Наверно, это будет человек шесть — восемь. (Я говорю о приеме в труппу, не о вспомогательном составе, — надо установить это разграничение). И опять же мне кажется — одним из решающих признаков подхожести должен быть возраст человека: если больше тридцати лет, это почти и наверняка не особенно придется нам ко двору, почти наверняка что-нибудь типа Дольского (Сергач, 1934 г.). Нам нужен бодрый и мало тронутый театральщиной (тем более глубоко провинциальный) народ. Как проверять этих людей? Конечно, на первых порах вопрос решают голос и внешние данные. Если при этом есть возможность проверить темперамент и угадать сценическое обаяние, тогда картина сразу прояснится. Но главное, как кажется мне, не следует увлекаться, — это так называемым стажем, опытом, обилием сыгранных ролей. Лучше неопытный, но способный, чем поднаторелая бездарность. Впрочем, все это такие избитые истины, что, может быть, тебе и не нужны мои советы.

Женщин принимай особенно туго. По настоящему нам нужна Только трагедии, т. е. в шаблонном понимании амплу артистка, могущая играть девочек и совсем молоденьких девушек. Это так оказать Скутан. Все остальные разновидности и амплу могут оказаться трагическим балластом.

Само собой разумеется, с первых же дней придется начать работу по возобновлению.

Мне очень нравится твоя мысль: Барон—Лондон. Туфка мог бы играть великолепно Барона. Пусть даже комикует сколько угодно. Пусть выдумывает для себя самые выгодные приспособления. Но главное, на что следует тянуть, — возраст. Чем старше и даже чем старее, дряхлее делать Лондона, тем вернее для него. Пусть он попробует

рамоли, т. е. шамкающее, страшноватое существо, впадающее в детство, жалкое. Конечно, Аверичеву-Васи- лису надо сохранить, как основную исполнительницу. Если, как мы надеемся, появится Гольцев¹, пусть, Клеща или Медведева, что ему интереснее.

По «Лесу» главной заботой у тебя будут Бодаев и Милонов. Это не так уже трудно. Бодаева придется предложить Гольцеву. Главное: пусть исполнители знают хотя бы текст и основные мизансцены, потому что жаль будет тратить на это время.

По «Давным давно» всемерно настаивай на полной разгрузке основного состава от вторых ролей. Надеюсь, что возобновлением займется Леонид Эммануилович², я ему скажу обо всем. Кстати, моя точка зрения такова, что спектакль, сделанный режиссером, которого уже нет в театре, полностью поступает в хозяйство театра и его художественного руководства: если в нем требуются изменения рисунка, мизансцен, даже толкования, сокращения и прочее, их необходимо проводить безо всяких колебаний и оглядок. Мы говорили с Михаилом Ивановичем о том, как и чем открываться, и пришли к выводу, который ты наверняка примешь. Конечно, открываться надо «Садами»³. Это благородная и оправданная традиция чкаловцев, которую можно и даже выгодно подать откровенно. Дескать, вот пьеса, рожденная в недрах театра, в ней играет автор, она л свое время принесла театру то и то, прошла столько-то раз, это наша «Чайка», наша «Турандот». Спектакль «Садов» наверняка прозвучит, вы будете играть на подъеме. Словом, это умный и верный шаг.

Дальше — хорошо было бы «Давным давно» — все-таки единственный наш спектакль, тематически связанный с войной!

Затем — «На дне» или «Лес», то есть русская классика. Не знаю, что выгоднее. Может быть, «На дне», поскольку работа над этим в меньшей степени зависит от моего присутствия. Во всяком случае, у Михаила Ивановича есть примерный репертуарный план на весь первый месяц. Я думаю, что мы его вытянем. «Фигаро» попадет сейчас в руки Лондона. Надеюсь, что это не слишком мучительная для него нагрузка. А что он справится с нею, в этом больше чем убежден, судя по прошлому году. Наконец — «Жестокий романс». Слухи о том, что пьеса запрещена, совершенно недоброкачественны, Пьеса по-прежнему возбуждает у меня самые нежные чувства. Это обаятельное и талантливое произведение. Тебе будет приятно работать.

Мы не успели обменяться пятью словами по поводу распределения ролей. Михаил Иванович говорил о твоей точке зрения. Сначала по поводу Аси. Вот мои соображения. Первое. Муся за последние годы сыта-пересыта. Ты как никто в курсе моего отношения к артистке Стряпкиной. Я очень хорошо знаю, что большое дарование её выросло, окрепло, что ей предстоит многое. Но нам надо подумать и о других, вернее сказать — обо всех. Ведь Клюева⁴ человек очень интересный. Она талантлива, сценична, у неё есть очень неожиданные возможности. Вдвинуть её сейчас в большую, разнообразную, лирическую роль, в которой есть юмор и трогательное, и темперамент, и просто молодость — это весьма полезно для театра. Мне Клюева нравилась и в «Пади», и в «Обыкновенной истории», и в «Двадцать лет спустя». У неё положительно все данные для Аси.

Второе. Это чуть-чуть шепетильно, но лучше всегда говорить прямо. Тебе, молодому режиссеру, несравненно выгоднее работать не с женой. Вечная проблема во всех театрах! Тем более выгоднее, что ведь о Стряпкиной вообще-то не приходится беспокоиться.

<...> Сказав это все, Жора, я хочу подчеркнуть, что полностью доверяю тебе. В постановке ты полновластный хозяин. Поэтому окончательный вариант распределения ролей—дело твое и только твое. Подумай еще раз и действуй. Как бы ты ни решил, я буду поддерживать твое решение. И все таки, и все таки... подумай еще раз. Ну вот, кажется,— все. Может быть, я вспомнил и не все, но главное здесь сказано. Думаю, незачем говорить о том, какой взять тон по отношению к областным организациям,— спокойный, ровный, предельно вежливый, без тени заносчивости, но так, чтобы никто не наступал на ноги. Поверь, мне очень грустно и обидно, что не могу быть сейчас с вами. Ведь этот момент не повторится в жизни театра!

Крепко тебя целую. До очень скорого свидания.5

10 марта 45.

1 Актер театра им. Чкалова.

2 Л. Э. Лурье — режиссер театра им. Чкалова.

3 «Сады цветут» — пьеса В. Масса и Н. Куличенко — актера театра им. Чкалова, впервые была поставлена в этом театре.

4 Т. Ключева — актриса театра им. Чкалова.

5 Сохранилась книга статей П. Антокольского «Испытание временем» (М. : Советский писатель, 1945) с дарственной надписью поэта: «Дорогому Жоре на память о нашей вечной и верной дружбе и любви.»

— Ну и будем ругаться друг с другом — зато тем веселее потом мириться. Твой Павел». 5/IX—45.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА П. АНТОКОЛЬСКОГО

Старые письма. Реликвии семейных архивов. Пожелтевшие страницы, со стертыми буквами на сгибах рассказывают о минувшем, о делах, людях и событиях, которые когда-то волновали, были причиной радости или горя, были тем, что называется существом жизни их автора. Старые письма. Они обладают бесценным даром — повествуют не только о малых и больших событиях в жизни человека, но и передают отношение их автора к этим событиям, современника всего, о чем в них рассказывается.

Письма, какие бы они не были, — всегда личны, в них всегда в большей ИЛИ меньшей мере, содержится исповедальность, качества, позволяющие проследить самые глубины человеческого существа. В контексте времени эти живые человеческие документы приобретают особое звучание: по ним легко проследить правильность или ошибочность тех или других оценок, воочию увидеть нюансы ранее известного, узнать какие-то новые грани, подробности прошлого, уже отошедшего в историю, то есть все то, что еще более углубляет, обогащает наше представление о личности их творца.

Жизнь Павла Григорьевича Антокольского (1896—1978) богата сферами творческого приложения таланта — поэзия (собственная и художественный перевод), проза, литературно-критическая деятельность и театр, с которым он связал себя с юности и которому как драматург и режиссер отдал много времени и сил. Литература и театр в творческой биографии поэта переплелись и существовали долгие годы в неразрывном единстве, и даже тогда, когда активная (режиссерская и драматургическая) работа ушла в прошлое, Антокольский оставался пристальным и благородным зрителем.

Об этом свидетельствуют его письма разных лет, донесшие до нас взгляд глубоко заинтересованного, до последних дней жизни не теряющего свежести восприятия и молодости ощущений человека.

«Чкаловский» период творчества П. Г. Антокольского — явление знаменательное не только в жизни поэта. Он отражает целую эпоху художественной жизни страны. Центральные театры в середине 30-х годов брали шефство над крупными предприятиями и стройками. В 1934 году над Горьковским, автозаводом и областью взял шефство Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова. П. Г. Антокольский и В. З. Масс1 создали при автозаводе молодежный театр, в котором ставили свои пьесы,, русскую, зарубежную и современную советскую драматургию, осуществляли художественное руководство коллективом. Позже театр из Горького переехал в Томск, где и обосновался.

В архиве семьи Ивановых, на творческую судьбу которых оказал воздействие П. Г. Антокольский, сохранились его письма (1969—1976), в которых поэт вспоминает свою молодость, говорит о постигшем его горе (смерти жены Зои Константиновны Бажановой).

Письма донесли до нас отношение поэта не только к драматургии, что само по себе интересно, так как в них он выступает с позиций театрального деятеля, но и высказывания по поводу современных (для времени их написания) произведений литературы. Любопытны и мысли Антокольского ПО поводу писателей-современников.

Бывшие «чкаловцы», студийцы П. Г. Антокольского, Георгий Игнатьевич Иванов (1912—1979), и его жена Мария Сергеевна Стряпкина через всю свою жизнь пронесли и

сохранили не только письма поэта, но глубокую благодарность ему за то, что он определил их творческую биографию (и всю последующую жизнь следил за ней). Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и РСФСР Г. И. Иванов (в письмах Антокольского — Жора, Егор) стал крупным режиссером, работавшим последние годы в Русском драматическом театре имени П. К. Крупской г. Фрунзе — главным режиссером, М. С. Стряпкина — народная артистка Киргизской ССР (в письмах Антокольского — Маруся, Муся).

В архиве семьи Ивановых, помимо писем П. Г. Антокольского, сохранились и подаренные поэтом книги с дарственными надписями, которые со всей очевидностью свидетельствуют о неразрывности двух сфер творческой деятельности Павла Антокольского — литературы театра (кстати, симптоматично, что в своих письмах поэт слово «театр» часто употребляет с заглавной буквы, как бы призывая молодежь относиться к нему с уважением и душевным трепетом).

Сам Антокольский писал в автобиографии, помещенной в первом томе его избранных сочинений (1956 г.):

«В течение всех двадцатых и первой половины тридцатых годов я проработал в вахтанговском театре как режиссер и сорежиссер. Параллельно шла литературная жизнь. Выходили первые книжки стихов и первые поэмы.

...В 1934 году вахтанговский театр взял на себя шефство над впервые организованными колхозными молодыми театрами. Это было новое, очень важное начинание. Вахтанговнам досталась Горьковская область. Впоследствии театр, в котором работал я, вырос из колхозного в городской, получил базу на автозаводе... присвоил себе имя земляка-горьковчанина В. П. Чкалова. Меня окружала одаренная, вышколенная в суровом труде, способная на чудеса рабочего рвения советская молодежь. Я многим обязан общению с нею и по совести не знаю, где кончалось мое руководство и начиналось мое ученичество у молодежи.

Тогда же, во второй половине тридцатых годов, я всерьез начал работать как переводчик советских братских поэтов, узнал Грузию, Азербайджан, Армению. Работа развернулась широко и крупно. Исторический и специальный кругозор для меня сразу расширился»²

Письма большого поэта — это всегда волнующий человеческий документ своего времени. И в то же время — это своеобразное послание будущим поколениям молодых людей, мечтающим посвятить себя творчеству.

Рассуждения П. Г. Антокольского об искусстве шире конкретного повода, но которому они были высказаны. Поэт говорит прямо и между строк о том, что творчество невозможно без дерзости и душевной чистоты, без труда (ежедневного, ежечасного), без волнения и активной гражданской позиции, своего выстраданного отношения ко всему многообразию проблем, выдвигаемых жизнью...

1 В. З. Масс — советский драматург, который в конце 30-х годов вместе с П. Г. Антокольским некоторое время руководил театром им. В. П. Чкалова.

2 П. Антокольский. Вместо предисловия. — В кн.: П. Антокольский. Избр. соч. в двух томах, т. 1. Стихотворения. М., ГИХЛ, 1956, с. 7—8. На экземпляре книги, подаренной

Ивановым, имеется дарственная надпись: «Милым друзьям Жоре и Мусе с верной вечной любовью от старого поэта и режиссера. Павел Антокольский 28 августа 56. Москва».

Милая Маруся!

Спасибо за письмо и за то, что напомнила мне на счет «ты»... Как оно выскочило у меня из головы, сам не знаю, но почему бы и твоему Егору не тряхнуть стариной, не написать старому другу две-три строки? Говорят, он очень растолстел... Пускай по мере сил, досуга, охоты спускает лишние килограммы: в них правды нет, один только жир. В этом отношении я пришел в норму и вешу ровно столько, сколько полагается по росту.

Если действительно Жора сядет за стол и напишет 3—5—10 страниц про Зою — это будет святое дело. Пока еще эта мысль (о книге) полностью висит в воздухе: и собрать материал и главное, пробить кованые железом двери издательств — дело чрезвычайно громоздкое. Не знаю, какие силы, авторитеты, грома небесные потребуются. Ведь Зоя не была ни в каких рангах и званиях... Она жила скромно и всю жизнь отвергала мысль о том, чтобы как-то выдвинуться. В этом была ее сила, ее обаяние, дарование, мораль. Она расточала себя щедро и лила свой свет на других. Если вы оба читали некролог в «Литературной газете», то поймите, как ее любили и чтители многие хорошие люди и за что именно чтители. Что касается ее скульптур, то в журнале «Наука и жизнь» (очень хороший журнал) в июльском № будет материал об этих скульптурах, несколько фотографий... Дней через 10 выйдет и я постараюсь его прислать вам. Книжка моя, в которой есть и поэма, тоже выйдет — надеюсь месяца через 2—3. И уж вето наверняка пришлю вам — лишь бы знать, где вы будете к тому времени. А если окажетесь в Москве, еще того лучше! Когда предполагаете это?

На Пахре я живу тоже, но не так часто и много, как было все последние годы. Теперь этот дом (на Пахре) принадлежит моей дочери, ее детям и внуку (моему правнуку) — но ни одно место на Земле не полно в такой степени Зоей, ее трудом, ее радостью и болью. Здесь же собраны г-все ее' скульптуры — это навечно экспозиция, открытая для всех хороших людей. Погребена Зоя на Востряковском кладбище, там же, где ее мама и крестная. Рядом с Зоей есть место и для меня. Ведь мне 73 года и скоро пора собираться в дальнюю дорогу. Не прими этих слов за то что я тороплю свой час! Нет! Я должен жить и работать, не покладая рук, пока есть силы, пока бог не позвал меня. Но все надо видеть ясно и зорко и не обманывать ни других, ни себя. Очень хорошо, что между нами завязалась письменная переписка, не забывай о ней, милая Муся! Шлю вам обоим самые добрые пожелания и обнимаю обоих.

Ваш всегда П. 21 июня 69.

Милая Маруся!

Спасибо тебе за доброе и подробное письмо, за хорошие слова о моей книжке¹. Спасибо за память о Зое.

Все ближе и ближе надвигаются черные дни годовщины и сердце у меня сжимается от страха, как это пережить и вынести. Но на поверку выходит, что и сердце прочное и человек вообще выносливое, терпеливое животное вроде рабочего скота.

Очень мило то, что ты написала о «Женитьбе Фигаро» — о новой у Плучека и о старой нашей, сгинувшей, как будто она снилась во сне². Да, это было чудесное время — тем более, что я был влюблен в одну прелестную актрису, так стыдившуюся щеголять в рейтузах Керубино. Боже ж ты мой, как давно это было!

Сегодня иду — в третий раз! — на «Преступление и наказание» у Завадского³. Это — премьера, что особенно «волнительно» (если употреблять актерское слово). Этот спектакль кажется мне Чудом искусства. Условность доведена до того, предела, когда дальше некуда. Она тем и сильна. Но, кажется, летом я рассказывал вам обоим об этом спектакле.

Милый друг, насчет Евтушенко и его книг я право не знаю как быть! Хоть он и числится у меня в друзьях, но вижу его раз в год по чайной ложке. Он парень легкомысленный и — увы — так занят своей персоной, своей мировой славой, что с него и взятки гладки. Говорю не в осуждение и не в обиду — просто, чтобы ты поняла трудность исполнить твою просьбу. А то видит бог — исполнил бы!

Спасибо Жоре, что собирался выпить за меня в праздник — это дело, правда, не хитрое до известного возраста. Я, например, в те три дня принимал внутрь не более 75 грамм и то с прохладцей и не дома, а в гостях, на Пахре, причем все три раза — в разных домах, но примерно в той же кампании с небольшими вариантами. На третий раз был и Владимир Захарыч — сколько он глотнул коньяка, я не заметил. Но вообще он не «музыкален» на этот счет, главным образом занят своими внуками.

Я много пишу. Никак не могу перестать. Но только в этом смысл моей жизни, только ради того и живу — доживаю свой срок.

Ну, родная моя, дай вам обоим бог здоровья, покоя, бодрости...

Крепко Вас обнимаю.

Павел 11 ноября. 69.

1 Павел Антокольский. Повесть временных лет. Поэмы и стихотворения. М., «Советский писатель», 1969. На дарственном экземпляре — надпись: «Жоре и Мусе с любовью. Память ЗОИ. П. 1969».

2 Речь идет о спектакле «Женитьба Фигаро», поставленном в Московском театре сатиры и раньше — «чкаловцами».

3 Спектакль «Петербургские сновидения» по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в Московском театре им. Моссовета.

Милая Муся!

Скажи пожалуйста, с каких это пор я стал для тебя «уважаемым»? Вот уже сколько лет был дорогим и милым, — и вот на тебе!..

Спасибо за поздравление и привет, вообще за письмо, но на счет того, «что давно не было вестей», это, мой друг, относится и к вам обоим, к тебе и к твоему толстенькому супругу, разленившемуся к пятидесятилетию до полной немоты...

Что сказать о себе? Февраль и май прошли в четырех или пяти гриппах плюс одно воспаление легких. Но все это миновало бесследно. Сейчас я убедился в том, что весь прошлый страшный год провел я в каком-то трансе: не до глубины души сознавал свое горе, — много, как никогда, писал и это писание было своего рода оглушающим наркотиком. А вот с января ничего не пишу, разве только письма. Но такая пауза всегда бывает неизбежна в нашем ремесле, т. е. в искусстве.

Зоин памятник делается в несколько пониженном темпе: все московские каменщики гранатчики были мобилизованы в связи со столетней годовщиной. Надо надеяться, что в мае положение будет другое, более благоприятное. (...)

Очень хочется видеть вас обоих. Может быть правда в каникулярное время соберетесь в Москву, а? Во всяком случае, Муся, пиши, пиши,, пиши!

Крепко обнимаю тебя и Жору.

Ваш Павел 26 апреля 70.

Марии Стряпкиной и Егору Иванову

от П. Антокольского.

Милая Маруся!

Спасибо за поздравление, за память! Связь у меня более или менее прочная с Володей Кузнецовым, Тува1 болеет, давно ничего о нем не знаю. Как-то прислал Зоечкину фотографию 34 года: вот она стоит на столе. Мне 77 год. Старость дает знать о себе — каждый день все больше и больше. Живу на сухом законе — надеюсь продержаться до Нового года, а там посмотрим...

Почему ничего ты не пишешь о себе? О Жоре, о потомстве, о том, как живет в театре, чем вы оба заняты в театре, в телевидении?

От всего старого сердца желаю вам обоим добра и счастья.

Ваш П. А. 4. XI. 72.

Милые, давние друзья, Жора с 1934 г., Маруся — позже! Спасибо за память, за поздравления с новым, 73 годом, когда мне 76 лет (старше XX века на 4 года)—увы, мне поздравление не радостное —в конце декабря 68 года Зоя ушла и не вернется больше...

Но раз живешь, — ничего не поделать, трудись без отдыха, срок всем смертным где-то в календаре отмечен... Не хочу отравлять Вам этот день... Всем сердцем и всей памятью о прошлом — с вами, со всем вашим потомством.

Будьте, будьте, будьте... Остальное в ваших руках.

П. Г. 27 дек. 72.

1 В. Кузнецов и Т. Лондон — бывшие актеры театра им. В. Чкалова.

Псков — рядом Михайловское и Пушкин!

(Письмо написано на открытке: Псков. Гремячая башня. 1525 г.; слово Пушкин подчеркнуто рукой П. Г. Антокольского).

Дорогие Маруся и Жора!

Простите, что отвечаю с таким безобразным опозданием! Причин для этого нет и все-таки они существуют. Дело в том, что на 77-м году жизни не так просто организовать время и предвидеть все его издержки на дело и на безделье. Во всяком случае от всей души благодарю Вас за память и внимание. Нас не так уж много осталось на белом свете, которые могут вспомнить былые, счастливые года совместной жизни и работы, а те, которые остались, живут так далеко друг от друга, так разобщены, что только и остается обмениваться сигналами под большие праздники: «Жив, курилка? Ау» - вот и все наше общение.

А между тем все время подсовывает свои сюрпризы — бывают они счастливыми и добрыми, бывают и печальными, и злыми. Всего не перечислишь и не перескажешь.

Что сказать о себе? Живу, работаю, как всегда, т. е. пишу. Стихов — совсем мало, больше статьи. В течение этого мая выйдет IV и последний том моего Собр. Соч. — как ни верти, важное событие, итоговое, по- своему. Собрание не полное, не «академическое»¹, но в 2-х первых томах поэзия моя представлена в основном хорошо. А в III том — новинка: «Сказки времени», их тринадцать штук и, кажется, это лучшее из всего, что я сделал за последние 4—5 лет².

Зоя всегда рядом со мною, хотя ее бедный прах покоится на кладбище, а над изголовьем стоит тяжелый камень карельского гранита с ее бронзовым профилем — и это все, что осталось у вдовца. Но об этом рассказывать не надо. Вы и так поймете все, что осталось между строк. Живу я с дочерью Натальей Павловной и внучкой, Катюшой. Варвара³ наша заимела отдельную комнату рядом, но большей частью бывает здесь, на улице Щукина, и

хранит «Заветы дома» по мере своих сил. Внуку моему Андрею 31 год, он женат и сам уже отец, у меня есть правнук, пятилетний сорванец Денис.

Много новых друзей, но и старые близки и верны той поруке дружбы и братства, которая насчитывает не одно десятилетие, а то и целых полвека.

Все это — как полагается, и я думаю, что пока котелок варит, а руки рвутся к перу, перо к бумаге, — жаловаться не на что.

Если вы дадите знать заранее, когда в июле будете в Москве, я постараюсь обязательно быть на стреме, т. е. на улице Щукина, чтобы обязательно встретиться и договорить все, что в письме не умещается, да и сверх говорения просто посидеть рядком, выпить по чарке, повздыхать, погрустить и порадоваться, что вот, дескать, живем, небо не коптим, радуемся встречам...

Крепко обнимаю Вас обоих и буду ждать Вашего сигнала.

Ваш П. Антокольский.

9 мая 1973. ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

1 В предисловии к собранию сочинений П. Антокольский писал: «Строки этой прозы предваряют первое собрание моих сочинений. ...Но я не вижу нужды в том, чтобы загружать это первое Собрание моих сочинений. Оно не полное, на что живой писатель и не должен претендовать». (П. Антокольский. Собр. соч. в четырех томах, т. I, М., ИХЛ, 1971, с. 5, 6—7).

2 Книгу «Сказки времени» (М., СП, 1971) П. Г. Антокольский прислал Ивановым с такой надписью: «Милые, родные Муся и Жора! Вместо «Одной строчки» посылаю сначала эту книжку, в которой больше двух сотен страниц, и надеюсь она понравится Вам больше, чем «Одна строчка». С выражением любви, памяти... Письмо скоро пошлю!

3 Домработница в семье Антокольских.

Милые и родные Муся и Жора!

Сначала простите, ради бога, что отвечаю с таким опозданием. (...)

Что сказать о себе? Жив-здоров, работаю, как всегда, безостановочно, друзей много. А Зоя снится часто и всегда счастливая, молодая, любимая — но разве это может заменить ЕЕ живую?

Жалко, не могу послать Вам четыре томища своего Собр. соч. Они разошлись мгновенно. Издание было «подписное» так что разошлось, как пыль или дым, — и не с кого спрашивать, негде искать. Моя вина, что своевременно вам не выслал эти тома. Вина непростительная, запишите ее за мной и на том свете сосчитаемся.

Со мной живут на улице Щукина моя дочь (бывшая Кипса, теперь Наталья Павловна) и внучка Катя, а также Варя, у которой рядом есть и своя комната. Внук Андрей с женой и сыном (моим правнуком) живут на улице Вахтангова.

Но, честно говоря, живется мне на улице Щукина не ахти. Да и не мне одному. Нат. Павл, тяжело больна, у нее полиартрит — вещь мучительная. Она ходит с двумя палками. Правда, постепенно, очень медленно ей становится все лучше и лучше, — важно, что снова начала работать (она художница-иллюстратор книг для детей), но заново, после большого перерыва (со дня смерти Зои) входить в профессиональную жизнь — дело хлопотное. Но хорошо уже то, что дочь моя великая оптимистка, никогда не унывает. А внук — кандидат наук, готовится к докторской диссертации. Человек он большого дарования, чистый математик, значит, до того уж далекий от нас, грешных, что мы совсем не понимаем его исканий и находок — верим на слово.

А вокруг — столько близких ушло навсегда из жизни, что их и не сосчитаешь! Каждая утрата — так или по другому незаживающая рана, об этом нелегко, да и не надо, говорить.

А Вас я очень прошу писать не только к праздничным датам, а по возможности и в будни, когда придется, когда есть настроение... И ты, Жора, не слишком уж предавайся Бахусу! Честное, благородное, — не стоит он твоей преданности. Из всех богов это самый вредный и неблагодарный, просто сукин сын, этот Бахус.

Крепко Вас обнимаю и привет потомству.

Всегда Ваш Павел.

19 ноября 73.

Милые Маруся и Жора!

Да-а! Действительно, редко мы обмениваемся сигналами — дескать живы-здоровы, чего и вам дай бог... Это очень плохо и с Вашей и с моей стороны. С одним только Вол. Кузнецовым хоть изредка обмениваемся мы письмами, больше — ни с кем. Разве только раз в год заглянет на улицу Щукина Тувка, а ведь он совсем рядом с Москвой!

От всего сердца поздравляю Вас и с Первым и особенно с Девятым Мая — это для всех нас праздник праздников, близко касающийся каждого, о себе говорить не очень интересно. Но что ж, всего год с чем-то до восьмидесятилетия, а жив курилка! Столько вокруг ушли навсегда — их и не сосчитаешь... Да и надо ли? И вы об этом знаете не меньше меня. И наверно помните свято дорогих сердцу.

Так часто вместо письменного отчета о себе посылаю свою новую книжку, которая вышла еще в январе этого года¹. В ней по мере сил отражена моя жизнь, да и жизнь всех нас, грешных.

У меня многочисленное потомство, включая и семилетнего правнука, очень милого парня по имени Денис Андреевич. Дочь моя, Наталья Павловна человек хронически

больной, у нее полиартрит, было время, когда ходила с двумя палками, сейчас, слава богу, с одной. Но она не теряет бодрости, работает, «ведет дом», даже целых два, ибо ее сын — мой внук живет отдельно.

Но все это проходит как-то в стороне от меня, ибо и друзья мои свои, то есть другие, и вся работа, все мысли далеко от домашнего клана. Тут ничего не поделаешь — так сложилась не слишком счастливая старость — с тех пор, как угасла Зоя.

Ну вот, на этом самое время и кончить письмо. Обнимаю вас крепко и прошу писать не только поздравительные записки с праздниками, а и в будние дни!

Ваш П. 1 мая 1975.

(На конверте штемпель 2.05. 75—А. К).

Милые друзья, Маруся и Жора!

Спасибо Вам за привет и поздравления с «мужским» праздником. Надеюсь, что это, письмо не опоздает к 8-му марта, чтобы и вас поздравить с женским праздником. Что же до «боевого строя» и так называемой бодрости, то черт возьми, этого мне не занимать стать, несмотря на возраст более, чем солидный: ведь через четыре месяца, 1 июля, мне стукнет 80 лет. Жду не без содроганья: мало ли что может случиться за 4 месяца!

У меня уже три правнука: от внука Андрея — два: Денис 8-ми лет, Антон полугодовалый и от внучки Кати только что родился Иван. Вот какие дела!

А в остальном — все, как надо. Пишу, издаю книги, выступаю перед, разными аудиториями и считаю, что если мне меньше аплодируют, чем Плисецкой, — значит, я провалился. Но это, конечно, глупая шутка. Тоже очень хотелось бы встретиться с вами — может быть, летом очутитесь в нашей столичной деревеньке, на улице Щукина. Хорошо бы! Как твое здоровье, Жора? Оправился ли?

Из старых друзей вижу изредка Тувку, и еще реже Володю Кузнецова, зато с ним переписываемся. А Тувка, по-прежнему, влюбчив во все стороны. Впрочем, тут он мой ученик.

От всего моего старого сердца обнимаю Вас обоих и шлю привет вашему потомству и вашим друзьям.

Итак — до встречи, дорогие!

Ваш П. 28 февраля 76.

1 П. Антокольский. Ночной смотр. Стихи 1970—74. М., СП, 1974. Книга с дарственной надписью: «Марусе и Жоре первомайский привет от всего сердца! П. Антокольский. 1975».

ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ЛЕКАРЕЙ

Залман Львович Амитин-Шапиро вошел в историю кыргызской библиографии как крупнейший специалист. В 1959 году статья о нем в "Советской Киргизии" к 65-летию так и называлась "Старейший библиограф". Он представлял собой тип ученого-интеллекта, как его рисовали тогдашние карикатуристы. Тщедушный, маленький, плохо видящий даже в очках, с энциклопедическими знаниями. "Огромной души человек", - говорили окружающие. В своих работах он был педантично и по-донкихотски бесстрашен. Бояться ему было нечего. Свое в конце 30-х он получил, познав сталинское правосудие и пройдя через тюрьмы и лагеря. Как он выжил в нечеловеческих условиях - уму непостижимо. Может быть, своей непохожестью на окружающих. Мир вокруг был по отношению к нему враждебным, был непреодолим. Свободно он себя чувствовал среди книг, здесь он был, как говорят в плохих романах, лоцманом в книжном море. Одна за другой выходят его работы по библиографии, без которых и сегодня специалисты обойтись не могут, хотя его не стало в 1968 году.

Первые его научные статьи появятся в далекие двадцатые. В Ташкенте выйдут исследования, посвященные жизни и быту бухарских евреев, ставшие очень скоро не только библиографической редкостью, но не имеющие до сих пор аналогов в мировой науке. Сын раввина, окончивший хедер, он впитал в себя вдумчивость и любовь к книге, ставшей его страстью и подвигом.

Вполне возможно, что на допросах в темные 30-е ему припомнили его увлеченность обычаями евреев. Потому, по отношению к Амитину-Шапиро, вполне справедлива мысль древних, что ученый расплачивается жизнью за свои опыты.

Статья, которую мы сегодня предлагаем, анализирует своеобразие народной медицины бухарских евреев, сохранивших в своей самобытности корни древних представлений о мире, и ни в коем случае не претендует на роль практического справочника по самолечению.

В статье по техническим причинам изъяты названия на иврите, но сохранено с небольшим сокращением то, что открыл, собрал и передал будущим поколениям неистовый ученый Амитин-Шапиро, не варварство видя в древней медицине, а пристальное внимание к человеку.

Залман Львович АМИТИН-ШАПИРО

О НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ТУЗЕМНЫХ ("БУХАРСКИХ") ЕВРЕЕВ ТУРКЕСТАНА¹

Народной медициной туземных евреев я заинтересовался еще летом 1921 года, будучи преподавателем педагогических курсов в Бухаре. Эти курсы были организованы для учителей старых туземно-еврейских школ, среди которых было много так называемых дуаханов (лекарей).

Благодаря некоторым обстоятельствам, я вынужден был сделать перерыв в собирании этого материала до лета 1924 года, когда такие же краткосрочные курсы были организованы в Ташкенте. На эти курсы съехались курсанты-учителя из многих городов Туркестана. Это мне дало возможность, как преподавателю этих курсов, проверить и дополнить ранее собранные материалы.

Кроме того, я использовал мои знакомства со многими семьями туземных евреев, где сообщителями явились женщины и дети. ...

Задачей настоящего очерка является ознакомление с народной медициной туземных евреев исключительно на основании материала, почерпнутого из наблюдений над бытом народа и слышанного из его уст.

В болезнях туземный еврей усматривает не только наказание божье, но и воздействие злых духов, которые во главе с "сананом" следят за людьми и при первой возможности готовы поразить их различными недугами и неприятностями. Иногда духи просто вселяются в человека и мучают его.

Вылечиться - значит освободиться от духов, отогнать их. Достигнуть этого можно или борьбой с ними путем разного рода наговоров, заклинаний, амулетов и проч., или же стараясь умилостивить их жертвоприношениями.

Для лечения приглашается "дуахан", т.е. колдун, лекарь. (Букв. с ар.-перс. - "читающий молитву", "отчитывающий (больного)").

Дуахан, обыкновенно - духовное лицо: народный учитель, резник, вообще ученый религиозный еврей (мулла).

Он или борется со злыми духами молитвами, обращенными к богу на древнееврейском языке, или произносит разные заклинания, заимствованные от мусульманских дуаханов. Хотя туземный еврей не верит в силу мусульманского бога (Аллах), он тем не менее верит в силу мусульманского дуахана, в его умение запугать и прогнать злого духа, вызывающего болезни.

Поэтому часто приглашают не еврейского дуахана, а мусульманского колдуна "джодугара", а в случае острой болезни обращаются к мусульманскому "дев-банду". Кроме подобного вида лечений, борьбой со сверхъестественными силами, существуют и обычные способы лечения, когда в роли врача выступают: цыганки, просто знакомые люди и др.

Методы лечения бывают общие, применяемые ко всем болезням, и специальные - для лечения определенного рода болезней.

1 Доложено вкратце на заседании секции этнографии и археологии Турк. Отд. Русск. Географ. Общества 1 апреля 1925 г.

1. ОБЩИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

1. Лечение кровью

Режут барана (у богатых) или курицу (у бедных), причем устраивается пир, пекут лепешки на масле (чалпак).

Кровью из горла животного, а иногда из легких и сердца, намазывают грудь и лицо больному, а стены и углы дома обрызгивают кровью изнутри (впрочем, кровь именно сердца и легких не является обязательным средством). Обрызгиванием достигается совершенное изгнание духа из дома. Во время намазывания больного и обрызгивания стен дуахан совершает характерные гримасы и харкания, изображающие процесс выхода злого духа из человека. В это время, кроме больного и лекаря, в комнату никто не допускается, чтобы болезнь-не перешла на присутствующего. Обыкновенно меняют это смазывание кровью к тем беспокойным детям, кот просыпаются с криками по ночам, в чем видят непосредстве воздействие на ребенка злого духа, определяя это термином хмат заде, т.е. дух побил. Некоторые смазывают больного кровью с Халлафа, как известно, до некоторой степени священного еврейским законам. Иногда берут немного муки, собранной с домов, и обсыпают им тело больного после смазывания кровью.

2. Лечение "Оши Худой"

При лечении кровью устраивается иногда так называемое Худой, т.е. угощение бедных. Мясо зарезанного животного отдают бедным. Бедные совершают молитвы, читают псалтырь или Зо т.е. каббалу. Некоторые стараются собрать 10 человек "до мулл которых зовут в некоторых местах "Ассара батлоним" - "батлон" древнееврейски - человек не занятой, имеющий возможность от ваться исключительно богослужению. «Ассара батлоним» батлоним).

Если больной не может купить барана в данный момент, то навязывает себе на руку шнурок, дабы помнить, что он обязан п; нести эту жертву при первой возможности.

Навязывание шнурка является обетом настолько обязательны что равносильно немедленному принесению жертвы, и больной у успокаивается после этого, будучи уверен в своем выздоровлении.

3. Лечение водой

Лечат такой водой, над которой совершается предварительно богослужение. Последнее совершается обычно таким образом: набожный еврей берет пиалу или чайник с водой, подносит ко рту и произносит несколько стихов из Псалтыри (большей частью из псалма 121), или делают так: пишут на внутренней стенке пиалы некоторые наговоры, а иногда

пишут чернилами на бумаге, которую клали в пиалу, потом наливают воду в нее, и наговоры эти таким образом смываются. После этого вода считается целебной и ее дают пить больному в течение 7-ми, 21-го или 30 дней, в зависимости от того, с какой болезнью имеют дело.

4. Лечение молитвами

Многое зависит от того, где и в каком месте совершается молитва об исцелении больных.

Самым приличествующим местом считаются могилы святых, поэтому туземные евреи г.Самарканда, например, совершают молитвы над головой пророка Данияра (ибо они уверены, что Данияр есть никто иной, как библейский Даниил), или над могилой "Хотыша" (так называют евреи могилу Хозрати-Шахи-Зинда). Там же часто творят зауспокойную молитву Кадыш.

На таких чтимых могилах всегда можно видеть подвязанные к шнурке лоскутки материи, оставленные молившимися, обязавшимися этим принести жертвы или еще раз посетить это место. Обет этот называется "ният".

Я знал одну женщину из Ташкента, которая во время беременности ездила специально в Самарканд молиться на одной из упомянутых могил. Она завязала там узелок на шнурке, пообещав при этом приехать развязать его, когда ребенку исполнится три года. Происходило это в период гражданской войны. С большой горечью рассказывала потом эта женщина, как много она ходатайствовала о выдаче ей пропуска на проезд в Самарканд (что тогда являлось обязательным), и как ей было в конце концов отказано в этом, так как власти не нашли причину поездки достаточно необходимой.

5. Лечение "кучурма"

Изгнать злого духа можно также посредством шума и звуков бубна. Называется это "Кучурма", т.е. изгнание. Приглашаются обыкновенно старухи, которые произносят известные наговоры, старясь при этом побольше шуметь и бить в бубны. Больной при этом находится посередине, а женщины, играющие в бубны, и наговаривающие, находятся вокруг больного. После "Кучурма" обычно завязывают на голове больного платок, к платку привязывают бумагу с именами святых, берут три куса хлеба, соль и растение "испан" (*Requum Navmala*), приговаривая "сук, сук, сук", что значит "дурной глаз", прикладывают все это к разным частям тела больного и кормят животных этим хлебом. Устраивается пир, и женщина-колдунья берет с собой кушанье, которое должно служить, по ее словам, угощением для злых духов. Это кушанье называется "Оши Момобо"....

7. Лечение "Iemahu-Alac"

Большой популярностью пользуется лечение "Iemahu-Alac".

Укладывают больного посередине комнаты или двора, покрывают его одеялом или большим платком и зажигают вокруг него сорок свечей или масляных фитилей, потом делают самый "Iemahu-Alac". Для этого женщина-знахарка берет лоскут материи, зажигает его и ходит вокруг больного. По окончании "аласа" больного обыкновенно

обмывают водой и плюют ему в лицо. Существует даже проклятие “Латэби-алас шеви”, т.е. чтобы тебе стать лоскутом сжигания.

8. Лечение “Оби-Арак”

“Оби-Арак”, что значит “вода потения”, употребляется в тех случаях, когда больной не потеет, а ему по мнению врача-колдуна или окружающих необходимо потеть, его покрывают одеялом и один человек (обязательно чужой) берет немного воды и обрызгивает больного. После чего больной непременно должен вспотеть....

9. “Миджози-Хунук” и “Миджози-Гарм”

К лечением общего характера следует отнести “Миджози-Хунук” и “Миджози-Гарм”. У бухарских евреев, как и мусульман, существует медицинское мировоззрение, относящееся ко всем предметам питания и их воздействию на человеческий организм. Заключается оно в следующем: все предметы питания делятся на “Миджози-Хунук”, т.е. натура или свойство холодное, и на “Миджози-Гарм” - свойство горячее. Человеческий организм только тогда является здоровым, когда в нем господствует равновесие между этими двумя началами. В случае перевеса одного из них человек заболевает и лечение должно восстановить это равновесие. Например, болезни горла, кашель, кожные болезни и кровотечение из носа происходит от того, что человек стал “Миджози-Гарм”, т.е. в его организме преобладают теплые элементы. Для лечения он должен есть “Хунуки”, как-то –зеленый чай, сухие вишни, урюк, пиво, рыбу, арбуз, кислое молоко которое является “Миджози-Хунук”. Если живот болит от “Хунуки» то употребляют “Гарми”: спиртные напитки, чеснок, орехи, черный чай, сладости и мясо (не козье!). После кори необходимо есть холодное, и потому не едят мяса. Впрочем, живот иногда болит и от “Гарми”, и при трудности определить причину, начинают лечить “Гармом”, а если это не помогает, приступают к лечению “Хунуком” “Гарм” возбуждает эротические чувства, “Хунук” ослабляет их.

Хлеб, вода - нейтральные “Миджози”. Впрочем, температура не играет никакой роли в “Миджози”. Горячий чай зеленый действует охлаждающим образом, а холодное мясо наоборот * нагревает организм. Люди тоже делятся на “Хунуки” и “Гарми”. Человек белый блондин - считается “Хунуки” и поэтому нуждается больше в пище “Гарми”; человек черный, брюнет - “Гарми” и поэтому нуждается в пище «Хунуки»

II. СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ

ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БОЛЕЗНИ

1. Лечение “Ови-Гунги”

При затруднении врачей определить болезнь, лечат посредством “Ови-Гунги” - немой воды. Человек с покрытым лицом и посудой в руке отправляется ходить по улицам. Подойдя к первому попавшему двору, он, по местному обычаю, стучит кольцом в дверь, чтобы ему открыли ее. Вышедший навстречу, увидят пришельца в таком виде, ничего его не спрашивает; тот тоже ни слова не должен произнести. Встретивший уже сам догадывается о цели прихода “немого” гостя и наливает немного воды в его пиалу. После

этого пришедший идет дальше в другой дом, и так он ходит от одного двора к другому, обойдя до семи дворов, пока его пиала таким образом не наполнится водой. Эту воду дают пить больному. Этот способ лечения употребляется большей частью при скрытой лихорадке (малярии)....

ЛИХОРАДКА (ВАРАДЖА)

1.Лечение жуком и его золой

Берут кусочек черного жука “Конгузи пусок” жужелицы (Covadidae), втыкают его в кишмиш и дают есть больному, или сжигают жука и получившуюся золу взбалтывают водой, которая дается после этого больному пить.

2..Лечение мочой

Особенно полезной для излечения считается моча детей. Часто приходят женщины в “хомлу” с пиалами для собирания мочи детей, главным образом, первенцев, причем, некоторые собирают мочу от семи первенцев. Мочу эту дают пить больному.

3..Лечение сжиганием теней

Это лечение заключается в том, что выводят больного на двор, ставят напротив солнца и на том месте, где от него падает тень, разводят огонь. Это называется “Соя Созоны” - сжигание тени. «Соя Созоны” делают только по средам (как видно, дух этот господствует только по средам)

4.Лечение испугом

Лечат даже испугом. Вдруг начинают кричать и поднимают тревогу с целью испугать больного....

IV. ЛЕЧЕНИЕ ОТ СКРЫТОЙ ЛИХОРАДКИ

КРАДЕННОЙ ПТИЦЕЙ ИЛИ ВЕЩЬЮ

«Вараджапи Дози», т.е. скрытую лихорадку, лечат тем, что больного кормят курицей или другой птицей, обязательно краденой. Или заходят обыкновенно- к человеку, имеющему двух жен (крадут также и у имеющего одну жену), и стараются у него что-нибудь украсть. Краденое держат семь дней, а потом возвращают хозяину (подбрасывая).

V. ЛЕЧЕНИЕ ОТ ДУРНОГО ГЛАЗА

И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

1.Лечение фитилями

По общепринятому поверью болеют вследствие “дурного глаза”. Для избавления от него берут клочки ваты и вертят ими над головой больного, потом из них делают фитили, зажигают их и ставят возле арыка или в печи по указанию дуахана (очевидно, в угоду злему духу).

2.Лечение глазом животного

Когда считают, что в доме господствует “дурной глаз”, берут глаз от коровы или быка, разрезают его и вытекающей из него жидкостью мажут порог дома. Иногда вешают глаз на нитку против ворот дома, где находится больной,

3.Лечение “Испаном” (Pedanum Navnala)

От “дурного глаза” помогает также растение “испан”. Растение это зажигают, и дым, получившийся от горения, изгоняет злого духа из дома.

4.Лечение колючками

Для изгнания злого духа, явившегося от “дурного глаза”, вбивают в комнатах на стенах колючки “Хол”, чтобы злой дух не мог прикоснуться к обитателям дома.

5.Лечение “Афикоманом”

Предохраняет также от “дурного глаза” и разных болезней кусок «афикоман», который носят всегда в кармане.

6.Лечение амулетами

Для предохранения от болезней и “дурного глаза”, лечат те, что носят на шее, а иногда на руке, или кладут в карман, разные амулеты и талисманы, называемые “Томол”.

Существует много видов “Томолов”:

Томол “Шаддай”. Состоит из клочка пергамента, на котором написаны мелким шрифтом несколько глав из Торы. Этот пергамент кладут в футляр, обыкновенно в серебряный, на котором написан слово “Шаддай” (одно из библейских имен бога) и имя “Рашби”; т. Раби-Шимон-бен-Яхой-таммудиста, которому религиозные евреи приписывают сочинение кабалистической книги “Зогар”. Впрочем, туземная - еврейская - масса значение слова “шаддай” не знает.

Есть и такие “Томолы”, которые пишутся на простой бумаге доопределенного лица. В этих томолах заклиняются все дьяволы именем Бога, святых ангелов и разными святыми кабалистическими им нами, чтобы эти дьяволы причиняли никакого зла данному (указывается его имя и имя его матери). Обыкновенно зашивают “Томолы” в шелковом лоскуте....

7.Лечение яйцом

Варят яйцо, на скорлупе которого дуахан надписывает наговор от “дурного глаза”, такое яйцо вешают в комнате.

VI. ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

1. Лечение кровью голубя

При болезни глаз режут голубя (иногда и другую птицу) и тут же, пока кровь теплая, пускают несколько капель в кровь больного...

2. Разные лечения от бельма

Бельмо “Нашм гул афтанда” и красноту глаз лечат следующими средствами:

- а) пускают в глаз несколько капель крови от зарезанной перепелки;
- б) бросают с головы больного серебряную монету в пиалу с водой, которую он держит в это время в руках, а больной должен смотреть на монету, когда она падает в воду, и
- в) сыплют в глаз толченый фарфор.

3. Лечение “Рух”

Хорошим средством для лечения глаз - (Дорудар чашм) - является порошок под названием “Рух”, который ценится туземными евреями. “Рух” берут от ювелира. Это серебряные опилки “рухи заргари”. Его сыплют в глаза на ночь, повторяя это через день или два.

4. Лечение иголкой

Этим лечат “Гомиджа”, т.е. ячмень на глазу. Для этого пришивают иголку к тюбетейке таким образом, чтобы она висела перед ячменем. Затем больной, зайдя в таком виде в уборную, должен совершить поклон своим экскрементам (обыкновенно три раза). По мнению некоторых, он должен кланяться всем людям богато одетым, которых он встречает на улице (хотя бы они были ему совершенно незнакомы)...

VII. ЛЕЧЕНИЕ УХА

Лечение молоком из груди

При болезни уха: больной кладет голдву на колени женщины. Те выжимает молоко из груди в ухо, пока оно не наполнится. Обыкновенно берут молоко от женщины, имеющей грудного ребенка - девочку. (шири духтар хона).

VIII. ЛЕЧЕНИЕ ОТ КРОВОТЕЧЕНИЯ

1.Лечение «Шаранджом»

Если человек страдает кровотечением из носа, то берут сухой туземный переплетный клей “Шарандж”, разводят его водой и намазывают лицо больного. Затем приклеивают ко лбу скорлупу фисташек (листа) и к вечеру ее снимают и обмывают лицо- водой.

2.Лечение раскаленным железом

Домулла лечит кровотечение следующим образом: берет железо от кетменя, накаливает его на огне, потом медленно подносит к лицу больного, почти до самого носа. От жары раскаленного железа прекращается кровотечение.

3.Лечение сажей

Кровотечение при ранениях кожи лечат тем, что снимают быстро сажу со дна котла в виде порошка, насыпают ее на кровоточащую рану и затем последнюю чем-нибудь завязывают.

IX. ЛЕЧЕНИЕ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ И МАЛОКРОВИЯ

1.Лечение “Нарзи бонь”

Против головной боли лечатся следующим образом. Мажут на ночь голову бараньим салом в теплом виде, а потом яйцом и обсыпают толченым “навотом” (сахарный леденец), а на следующий день идут в баню. Лечение это называется “нарзи бони“, т.е. укрепление мозга. Иногда для “нарзи бони” варят вместе кофе, баранье сало и сахар, а потом мажут голову.

2.Лечение “Шохом”

Особенно распространено лечение “шохом”(рог животного). Им лечат цыганки и парикмахеры. Если человек худеет и лицо его бледнеет, это значит, что он страдает от избытка испорченной крови (но не от малокровия) и для его выздоровления необходимо спустить кровь. С этой целью приглашается обыкновенная цыганка. Она делает надрез ножом в некоторых местах плеч, потом приставляет к ранам коровий рог и высасывает через него кровь. Высасывание крови через “шох” называется “хиджемат”. Это делается и при головной боли, для удаления испорченной крови. “Шох“ кладут на виски или на подзатылок....

XI. ЛЕЧЕНИЕ РАН, НАКОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

И ЗУБНОЙ БОЛИ

1.Лечение пиявками

Распространено лечение ран и зубной боли пиявками: их прикладывают к ранам, а при зубной боли к деснам....

2.Лечение от бородавок

Бородавка - "Азак" - по представлениям туземных евреев получается от того, что человек помочился на собаку или обрызгал ее водой. Лечат бородавку следующим образом:

- а) мажут руки кислым молоком и дают собаке облизать;
- б) берут 7 копеечных и 1 сальную свечу и отдают сторожу какой-либо святой могилы (мусульманской);
- в) берут семь кусков соли, закапывают в берегах арыка, верят, что после того, как соль растворится в воде, бородавка проходит;
- г) обвертывают бородавку волосом от хвоста лошади;
- д) прикладывают на "азак" раскаленное железо.

3. Лечение "Совун рои доги"

Веснушки лечат обмыванием их специальным мылом, т.е. "Совун рои доги" - мылом от пятен. Состав этого мыла; сало баранье, пенка с реки, горький миндаль, цвет с карагача и огуречные семена.

4.Лечение "танзу"

От укуса скорпиона и опухоли лечат тем, что опухшее место растирают желтым камнем, который называется "танзу".

5.Лечение "Гуи-Кофтар"

На опухшее место кладут пластырь, составленный из испражнений голубя, мозга позвоночного столба животного и орехов, отсюда и называется это лечение "Гуи-Кофтар", т.е. испражнение голубя. "Гуи-Кафтар" помогает также от коросты на голове.

7. Лечение от ожогов

От ожогов лечат обсыпанием места ожога золой, получившей от сжигания кошмы. Также мажут это место бекмесом с яйцом.

XII ЛЕЧЕНИЕ ГОРЛА

1.Лечение свинки

Тепки, т.е. свинку, лечат таким способом; кладут больного на порог дома и проводят ножом по горлу, произнося разные заклинания и молитвы.

2.Лечение ногой дяди

Свинку лечат также тем, что дядя больного или больной должен прикоснуться к свинке ногой, в то время когда больной лежит на пороге. Свинку мажут уксусом вместе с "Савром" (Алое).

3.Лечение настоем

Для лечения горла делают в пиале настой на воде из зеленого чая или вишни в продолжение одного дня и потом дают его пить больному.

4.Лечение ангины

Дар-д-и-Гули т.е. ангину в горле лечат таким образом; засовывают палец в рот до горла и придавливают железы до выжимания крови.

ХІІІ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛТУХИ

1.Лечение мочой

Берут корку арбуза, собирают в ней мочу больного и на следующее утро дают ему ее выпить.

2.Лечение вшами

От желтухи дают больному съесть кусок хлеба, в котором вложено несколько вшей (понятно, без ведома больного). Существует поверие, что после приема вшей больным или поправляется, или умирает.

3.Лечение серой

Лечат также тем, что больной принимает маленькую ложку истолченной "отангугерд", т.е. горючей серы.

4.Лечение холодной водой

купают больного в холодной воде, в арыке, даже зимой.

5.Лечение желтым камнем

Навязывают на руку и на шею камень желтого цвета, например, янтарь (зермора). Больной должен все время смотреть на этот камень.

6.Лечение рыбой

Больной ест живую рыбу, или кладут ее перед ним в посуде и он должен смотреть на ее движения. Этим болезнь его переходит на рыбу; после этого, обыкновенно, эту рыбу не едят.

7.Лечение желудком

Ведут больного в баню, мажут его испражнениями, взятыми из желудка коровы. Затем дома дают ему есть этот самый желудок. Это средство считается самым верным против желтухи.

XIV. ЛЕЧЕНИЕ КОРИ

При кори необходимо пить холодное молоко ослицы для понижения температуры; считают, что если не дать больному этого молока, он будет страдать поносом. ...

XV. ЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОСТУДЫ

1.Лечение “Эм Эм”

При болезнях суставов рук и ног, нагревают деревянную ложку и в горячем виде прикасаются ею три раза к месту боли, произнося в это время: ’Эм Эм”, что означает “прививка”.

2.Лечение “гарм-дору” -(Radix Zingiberis)

От простуды и ревматизма лечат тем, что берут “гарм-дору”, т.е. имбирь, толкут его и обсыпают тело больного в бане после мытья.

XVI. ПОРОК СЕРДЦА

От него лечат следующим образом: режут барана или корову, вынимают сердце животного, разрезают его пополам и сейчас же в теплом виде прикладывают к сердцу больного на некоторое время. Порок сердца называется “Дил-буро”, т.е. дословно, “выход сердца”.

XVII. ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ

1.Лечение ребенка-сидня

Бели ребенок долго не ходит (в таком случае он называется шал, т.е. калека), его ставят на ноги и между ногами льют воду. Прodelывается это исключительно по средам. Иногда в таком случае берут пенку, образующуюся при варке какого-нибудь большого блюда, например, плова, или баранье сало и мажут этим ноги ребенка.

2.Лечение при прорезывании зубов

Во время прорезывания зубов разносят всем соседям чистый горох, дабы выросли у ребенка чистые зубы.

3.Лечение от поноса

Когда передняя часть головы у ребенка - плоская, то этому явлению приписывают разные болезни. Обыкновенно дети болеют тогда, по мнению туземных евреев, поносом. Причину плоскости головы видят в опускании неба, "Кам-Афтодан". Для округливания головы прижимают пальцем верх неба, т.е. поднимают его, и этим достигается нормальный вид головы....

XVIII. Беременность и роды

1. Женщины во время беременности должны 7 недель по пятницам подметать синагогу.
2. Желающие родить сына съедают крайнюю плоть ребенка, которая обрезывается во время совершения обрезания (впрочем, помогает также и от бесплодия)¹

XIX. ЛЕЧЕНИЕ ОТ БЕСПЛОДИЯ

1. Пробежать 7 раз под слоном или верблюдом туда и обратно.
2. Делают амулет из костей слона.
3. Берут испражнение или сердце мыши, растирают в порошок и насыпают в вино на одни сутки. Через сутки женщины выпивают это вино. Пьют обыкновенно вино после менструации и возвращения из бани.
4. Едят много перца, только черного.
5. Берут "бадиян" (*fvuctus foeniculi*), смешивают с пчелиный медом или жарят его в бараньем сале, а затем в теплом виде завертывают в тряпку и кладут во влагалище.
6. Едят растения Зард-чева (*Rhlzoma Cuveumae*) или в истолченном виде завертывают в тряпку и кладут во влагалище.
7. Кладут во влагалище в истолченном виде "Зира" (*Semen anisunt*), смешанный с сахаром. Все то, что кладут во влагалище, нельзя вынимать оттуда до 10 дней, но если оно само выпало до этого срока - то нет надобности класть еще раз. В течение этого времени никаких сношений с мужем не разрешается.
8. Лечат также посредством пара "бук". Берут негашеную известь и женщина садится таким образом, что при обрызгивании извести водой, пар, полученный от испарения, войдет во влагалище.
9. Бук получается также и от петрушки (кашнис), для чего берут петрушку, кладут в горшок и кипятят. Женщина должна сесть так, чтобы этот пар вошел в ее влагалище.

10. Делают настой из "Сарсевиль" (Rad. Savsapavllae) в водке. Берут, приблизительно одну горсть на бутылку. На 40 дней вешают бутылку водки с "Сарсевилем" на солнце, а потом дают ее пить бесплодной женщине. Чем водка старше, тем она считается более полезной и целебной....

XX. ИКАНИЕ

1. От икания "хичак" - пьют семь глотков воды, или:

2. Присутствующие начинают пугать больного, обыкновенно тем, что обвиняют его в каком-либо дурном поступке, больше всего в том, что съел краденое.

XXI. ЗОБ

Зоб в некоторых домах туземных евреев лечили по указанию одного узбека тем, что давали есть больному лягушку в вареном виде. Обыкновенно варят лягушку в большом блюде и дают ее больному, чтобы он не знал, что он ест, во избежание его к ней отвращения.

1 Этот способ воздействия существует и у таджиков, как любезно сообщила мне О.А. Сухарева. О магической роли крайней плоти, см., например, книгу А. Вилла: Религия в свете науки. Москва, 1923 г., стр.133.

XXII. Лечение от падучей болезни

1. Берут черную курицу, режут ее и сжигают, после чего ее золу растирают в порошок и взбалтывают с водой. Во время взбалтывания произносят некоторые молитвы. Больной должен пить эту воду три раза в день перед едой.

2. Второе средство - режут барана под больным, для чего сажают больного на барана и в таком положении режут последнего. (Впрочем, лечения от падучей болезни являются не особенно популярными).

XXIII. СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО

Небезынтересно отметить один случай лечения психического больного, имевший место в одном богатом европеизированном туземно-еврейском доме в гор. Ташкенте в 1921-22 гг. При первых симптомах болезни, пригласили опытного дуахана. Тот написал наговор на крыле белого голубя и выпустил его. Голубь улетел и больной "выздоровел". Через год он вновь заболел, но в более острой форме. Снова начали искать того дуахана, но его не оказалось, так как он куда-то уехал. Тогда Пригласили туземку-мусульманку, которая стала лечить больного тем, что начала бить в бубны и плясать вокруг больного, которому дали предварительно в руки курицу и заставили бить ее под такт бубен до смерти. Затем

взяли чашу с расплавленным оловом и, держа ее над головой больного, поставили тому на голову пиалу с водой, в которую и стали лить по каплям расплавленный металл. Фигуры, образовавшиеся в воде, стали рассматривать через круглое зеркальце без наружных винтов. После этого устроили вокруг него "Лоти-Алас".

Но так как это лечение не помогло, то больного отдали на лечение мусульманину на две недели; тот бил его три раза в день, причитывая при этом разные молитвы и оставляя его на ночь одного в мечети. Больной сильно изнурился и успокоился. Параллельно с этими лечениями больного пользовали и европейские врачи.

Все перечисленные средства считаются более или менее популярными, но существуют еще довольно много других, менее популярных: лечение разными травами¹, содержащимися в тайне у старух и колдунов.

¹Впрочем, еврейские духаны пользуются всеми лечебными травами, приводимыми А.Шишовым в его книге "Сарты".

Духаны еврейские пользуются, между прочим, медицинскими книгами духовного содержания, которые печатаются в Палестине и считаются авторитетными в глазах туземных евреев.

Необходимо отметить, что еврейские духаны пользуются большим доверием и у мусульманского населения, так что очень часто их приглашают к больным мусульманам, несмотря на то, что они произносят очень много заклинаний и наговоров на древне-еврейском языке и обращаются с молитвами к еврейскому богу.

В народной медицине, еще больше, чем в других сторонах народного быта, отражается влияние на туземных евреев культуры местного мусульманского населения и потому-то мы видим во многих этих способов народного врачевания знакомые народной медицины других местных народностей: таджиков, беков, кыргызов и др¹. И аналогии в этом отношении бывают поразительны, что доказывает иногда не только на посредственные заимствования одним народом у другого, и на использование ими одних общих древних источников, из торы черпали свои сведения по врачеванию все народности населяющие Среднюю Азию.

В заключение считаю своим приятным долгом принести свою искреннюю благодарность профессору А.А.Семенову за его ценные указания, сделанные им при просмотре настоящей работы.

Ташкент. 1 января 1926

«Литературный Кыргызстан», 1992, №7-8

¹ Ср.А.Шишов "Сарты". Этнографическое и Антропологическое исследование. 4.1.Этнография. Ташкент. 1905 г. См. также статьи А.Диваева о народной медицине

киргизов в Турк.ведом. N 80 за 1902 г.; N 43 за 1903 г. и N 59 за 1906 г. и труды Кушелевского и Наливкиных, упомянутое выше в примечаниях.

ЭКЗАМЕН НА ВРЕМЯ

Профессор А.Кацев подготовил для читателей уникальную книгу, она очень значима в качестве хрестоматии по истории русской литературы. Она дополняет и пополняет эту историю теми произведениями, которые по вполне известным (и не совсем известным) причинам оказались в архивах времени, их тихо забывали, их гневно убирали и со страхом прятали, ибо были опасными для правителей того времени, перед которым авторы свой экзамен прошли на отлично, прошли с отвагой и блеском. Что же касается последующих времен, то сами эти времена проходили, проходят и будут проходить экзамен уже перед ними. Шедеврам не нужны подтверждения на предмет их качественной состоятельности. Они состоялись раз и навсегда.

В книге представлена первая волна эмигрантов, покинувших Россию в 20-х годах, после революции большевиков, которая стала для них не великой, а трагической. Их творчество (в том числе, и дореволюционное) оказалось под запретом. Это Зинаида Гиппиус (1869-1945) вместе со своим мужем Дмитрием Мережковским, они были в числе основателей русского символизма и создателей серебряного века русской поэзии (конец 19-начало 20 века). Здесь их сверстница Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая), автор сатирических стихов и юмористических рассказов, публиковалась в журнале «Сатирикон». Это и Арцыбашев Михаил Петрович (1878-1927), он прославился своим скандальным эротическим романом «Санин». В этом ряду и Борис Савинков (1879-1925) - эсер, вдохновитель контрреволюционного террора, автор литературных произведений. В 1924 признал советскую власть и перешел границу, его арестовали, он покончил с собой.

Значительное место в книге занимают рассказы Михаила Булгакова, где в сатирической форме отражен хаос постреволюционной эпохи, метания человека из одной стороны в другую в период гражданской войны. Рукописи романов этого потрясающего классика сохранились, а рукописи рассказов в его архиве отсутствуют (они печатались в журналах в 1923-1927 годы). Надо сказать, что советская власть больше всего боялась настоящей (зубастой) сатиры, поэтому так жестоко травили в те годы критиков «раболопствующей литературы» (термин ввел Салтыков-Щедрин). Как сказал критик Виктор Шкловский, «советскому строю нужны были Гоголи, но такие, чтобы они его не трогали», власть не трогали. Но ведь авторы трогали, и еще как, потому что традиции вольнодумцев оказались бессмертными. Они бичевали власть в жуткие сталинские времена, за что их, как выразился Андрей Платонов, «двигали слегка, чтобы стали нормальными».

В книгу включены два произведения и одно письмо Бориса Пильняка, неизвестные письма Павла Антокольского, здесь и письмо Юрия Тынянова, пушкиниана 20-х годов, оценка Сталина его современниками, стенограмма выступления Льва Троцкого в 1924 году, записи Дмитрия Фурманова, исчезнувшая глава из романа Ильи Эренбурга. Представляет интерес позиция Николая Бухарина о судьбах русской интеллигенции. Это он выступил в 1934 году на первом съезде писателей с отрицательной оценкой творчества Сергея Есенина, что привело к запрету на издания поэта (самого Бухарина в 1938 расстреляли). Есть в книге произведения двух менее известных авторов - это К.Романов и А.Колосов.

А начинается книга с великого Николая Гоголя, с которого начинается собственно и сама русская классическая проза. Полное академическое собрание его сочинений в 14-томах было осуществлено в 1937-1952 годы, после этого издавались уже просто 3-томники, 5-томники, 7-томники (в советский период было 711 изданий на русском языке и 400 изданий на языках народов СССР), куда не входила та часть, которая касалась последних лет жизни с мистически-религиозными проявлениями. В книге представлены его размышления о божественной литургии.

В 1980-е годы (период перестройки и гласности) начался процесс возвращения того, что было закрыто ставнями и занавесками идеологии. Начался шквал публикаций тех, кого считали «враждебными», и до этого их сочинения читались (с риском для собственной свободы) через подпольные «самиздаты». Это была, как отмечает А.Кацев, «вожделенная литература». Точно так, вожделенная, так как ее жаждали, с нею очищались, в те годы аристотелевское понятие «катарсиса» получило особую практическую значимость. Это было очищение духа и возвышение души.

В те годы Александр Самуилович Кацев преподавал историю русской советской литературы в вузах нашей республики, я был в числе его студентов, и курс этот для нас был как «окно в мир». Он рассказывал то, чего не было в учебниках, а наиболее «надежным» давал читать тексты, которых не было в библиотеках. В связи с этим хочу отметить, что совсем не случайно то, что именно этот человек стал автором именно этой книги. Она станет настольной для филологов, журналистов, историков, впрочем, и для физиков тоже, они же всегда идут в связке с лириками. Конечно, станет, как же иначе, ведь такие «подвижнические» вещи проходят экзамен перед временем по высшему разряду.

Кубан Мамбеталиев

доктор филологических наук

Когда писателю везет...

Кто делает, или, если хотите пафосно, - творит литературу? «Писатель» - ответят многие, удивляясь странности – это мягко говоря, - вопроса. И будут правы лишь отчасти. Да, есть «уникальный творец», «обнаженный нерв эпохи», который в трансцендентном экстазе творчества создает нечто...

А вот что мы получим в результате: «нЕчто» или «нИчто», решать уже не ему, и даже не читателю. Есть такая теория – «читатель как сотворец литературного произведения».

Представьте себе: читали вы что-то в юности - зачитывались, восхищались, даже благоговели, испытывали трепет, узнавали себя в строках романа, стиха. А потом вдруг оказывалось, что кумир-то ваш вовсе не тот за кого себя выдает. Думали – гений, а он отца родного предал, или еще того хуже функционером партийным оказался, «комуняк читать – себя не уважать» - придумал бы великую поговорку великий народ, если бы не погрузился в пучины масскульта. А тот, вроде и не «комуняка», так за генеральскими женами в щелочку подглядывал – извращенец. Тот бифштексы с волосатого живота поручика ел, тот алкаш, этот выживший из ума сифилитик, а некоторые вообще пе...ребрали с леворадикальными воззрениями. И уходят куда-то одни тексты, их сменяют другие, чьи авторы имеют биографию более адекватную времени, запросам, идеям.

Или еще вот пример, «чистой колодезной водицей», было для вас творчество Писателя, но появляется некто, популярный и востребованный в определенных кругах, и вот вам: «крепкий середнячок», две главные эмоции которого - «скука и раздражение». За любимого писателя–то вы, конечно, вступитесь, но святость чувства уже будет осквернена. Помните, Жуку сначала тоже понравилась Дюймовочка.

Можно, конечно, еще заставить пятнадцатилетнего подростка читать многотомные творения гениев, а потом анализировать, что чувствовал главный герой, лежа под деревом и глядя в голубое небо, и быть уверенным, что впредь никогда он не возьмет в руки книги. Можно еще снять пару тройку сериалов с оригинальной интерпретацией, и классика засияет новыми цветами и запахнет новыми запахами (нет, не ароматами).

Литература, как мы видим, творчество коллективное. И не каждому писателю удастся обзавестись хорошими соавторами: биографами, критиками, литературоведами,

составителями антологий, создателями учебников, журналистами, пиарщиками и, наконец, (в этом списке, а не по важности!), преподавателями литературы.

Авторам-писателям, чьи произведения вошли в книгу А. С. Кацева «Страницы русской литературы разных лет (опубликованные и републикованные)» повезло. Им достался в соавторы настоящий профессионал, знающий, чувствующий, понимающий и... создающий литературу. В литературный, интеллектуальный обиход возвращаются тексты, едва не канувшие в небытие. Одни под весом «классической ржавчины», другие обремененные репутацией создателя, а о третьих просто никто ничего не знал, одни медленно, другие стремительно катились прочь с корабля современности. Но вовремя найдя одни, опубликовав другие и организовав выгодное соседство для третьих, составитель хрестоматии дает им новую жизнь, новое звучание. Вместе с этим отчасти биограф, отчасти критик, журналист, создатель уникальных книг, и самое главное – замечательный преподаватель, он творит лицо современной литературы. Нет, не оговорка, именно, современной. В подобной подаче Гоголь, Пильняк, Фурманов, Троицкий, Булгаков, Эренбург, Арцыбашев, Горький воспринимаются как современники, вслед за автором данной книги, чувствующие и знающие, что нам нужно, что нас волнует.

Ныне живущие авторы, обязаны профессору А. С. Кацеву, за то, что с их творчества стряхивается налет, сор ежеминутности, суетности. Из категорий временного их творчество попадает в разряд вечного, по крайней мере, для читателей данной хрестоматии.

И в самом большом выигрыше оказываются те, кто будет эту книгу читать и открывать для себя хорошую, настоящую литературу, очищенную от всего ненужного, мелкого, преходящего.

«Страницы русской литературы разных лет (опубликованные и републикованные)» - это талантливая книга талантливых писателей сделанная талантливым человеком. Есть еще один ответ на вопрос, поставленный нами в начале: «Кто делает литературу?». Литературу делает талант и данная книга лучшее тому подтверждение.

Слободянюк Н.Л

**Мысли о книге «Страницы русской литературы разных лет
(опубликованные и републикованные)»**

О литературе можно говорить много и долго. Но что же является отправной точкой всех наших эмоций, связанных с литературой?! Конечно же, сам текст. Он раскрывает, обогащает читателя, если хотите, обладает способностью переформатировать его мысли и чувства. И в этом случае, наличие правильно подобранных и составленных текстов оказывает на человека положительное влияние.

Автором целого ряда бесценных хрестоматий является доктор филологических наук, журналист и педагог А.С. Кацев. К подбору материала для своих сборников литературных произведений профессор, насколько я знаю, всегда подходит очень тщательно и с большим трепетом. В эти дни в свет выходит его новая работа под названием «Страницы русской литературы разных лет (опубликованные и неопубликованные)». Имена авторов-писателей сразу обращают на себя внимание. Подборка произведений вызывает особый интерес. Многие из них неизвестны широкому кругу читателей. А между тем, современный читатель должен знать путь формирования литературы, в том числе, русской, если претендует на звание поистине культурного и образованного человека.

Чтение, по моему мнению,, очень обогащает внутренний мир любого человека. Я сам, когда только начинал свой творческий путь, зачитывался произведениями мировых, русских классиков и не только. И именно в те советские годы было много «запрещённой» литературы, авторов. Сейчас мы имеем возможность прочитать то, что было нам недоступно в то время. Эту уникальную возможность нам дарят сборники А.С. Кацева. И его новая книга - это калейдоскоп удивительных авторов и их не менее удивительных произведений.

Народный поэт КР,

Президент общественного фонда «Международная

Академия поэзии Омора Султанова»

Когда в помещении собираются литераторы, воздух обычно сгущается, наполняется электричеством, становится горячим. Любая тема может вызвать среди собравшихся взрыв эмоций. Любой вопрос из зала может стать причиной стихийного бедствия. Пишущие люди, питающиеся чистой энергией космоса – материал взрывоопасный, лучше держаться от них на расстоянии и соблюдать правила пожарной безопасности.

Совсем недавно на одном литературном мероприятии я стала свидетелем свирепого шторма в стакане. В зале находились литературные сливки современной России, делились своими соображениями по самым разным темам, отвечали на вопросы читателей. Один вопрос, в общем-то, прозрачный и безобидный – о том, на кого ориентироваться молодому поколению в бескрайнем книжном мире, так раззадорил писателей и критиков, что в конечном итоге те чуть не передрались. Случился скандал. Обвинения в адрес друг друга дошли до конечной точки: «А этот ваш текст я бы вообще запретил!»

Я абсолютно уверена в том, что тема запрета – это конечная остановка в любом дискурсе, это тупик и, вместе с тем, давняя традиция. Дикая, неоправданная, дурацкая. Потому что хорошие тексты, даже запрещенные, вырезанные и сожженные, все равно так или иначе дойдут до читателя.

Этот учебник тому подтверждение. Возвращенные из небытия, переосмысленные и бережно собранные страницы русской литературы разных лет расскажут читателю о многих знаковых авторах чуть больше, чем сказано в их биографиях где-нибудь в Википедии.

Спасибо, Александр Самуилович, за то, что Вы это сделали!

Диана Светличная

